Цена 90 коп.   Индекс 73293

«Октябрь», 1988, № 11, 1—208.

Октябрь

ISSN 0132-0637

Октябрь

11

1988



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1988

НОЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АНАНЬЕВ

Советский фермер

I

Не знаю, но мне кажется, я не помню года, чтобы не говорили у нас в стране о продовольственной проблеме. О ней пишут, принимаются решения, что-то беспрерывно подлатывается, вроде бы улучшается, отпускаются фонды, утверждаются капиталовложения, постоянно идут всякого рода накачки, инъекции, а кардинального сдвига к лучшему как не было, так и нет. Случайность ли это? Допускаю, хотя и с натяжкой, что в жизни могут быть случайности у отдельной семьи или просто у человека. Но человек, если с ним произошло нечто непредвиденное, тем более трагичное, старается оглянуться назад и исследовать, как, почему и отчего, чтобы с ним не могло повториться подобное. Мы давно уже из года в год закупаем зерно и мясо за рубежом, посылаем караваны судов в Канаду и Аргентину, и если все это назвать случайностью (в данном примере: перманентной, хотя такого термина нет и не может быть по его абсурдности), то надо признать, что случайность эта произошла с народом. Но мыслимо ли, вообще допустимо ли, чтобы не с отдельным человеком, не с отдельной семьей, даже не с хозяйством или предприятием (типа Чернобыля, хотя какая же там случайность!), а с целым народом, с государством происходило нечто перманентно непотребное — случайность за случайностью, случайность за случайностью? Случайно, что социализм, построенный нами, оказался настолько далеким от совершенства, что лишил, в сущности, человека самых элементарных демократических прав и свобод, к которым мы так упорно теперь стремимся вернуться; случайно, что именно такая могучая (в теории) система, как социализм, записавшая на своих скрижалях — все для человека и во имя его! — десятилетиями вынуждена держать его в очередях за всем, что только нужно ему: за колбасой, мясом, молоком, овощами, фруктами, за промышленными товарами, наконец за жильем, самым элементарным, без чего вообще немыслимо никакое существование. О бытовых услугах тут уж и не приходится говорить.

Если все-таки случайность, что сельское хозяйство не срабатывает, как требуют от него обстоятельства и жизнь, то почему на протяжении по крайней мере последних тридцати лет — я имею в виду не погодные условия, а организационные формы, которые сегодня присущи нашему сельскому хозяйству, то есть те формы, которые были заложены в конце 20-х — начале 30-х годов,— почему на протяжении даже, скажем, трех-четырех последних лет мы так и не осмелились заглянуть в корень вопроса, в корень зла, как сделал бы это всякий простой человек, глава семьи, чтобы избежать повторных, а главное, идентичных, из раза в раз повторяющихся ударов судьбы? Ведь не срабатывает не что иное, как общественный механизм труда, должный как будто бы по заложенным в нем параметрам быть безотказным, а это уже, думаю, вряд ли можно отнести к категории случайностей; тут либо ошибка в теории, либо все должно упираться в некомпетентность или нерадивость исполнителей; и если к теории мы и теперь не решаемся прикоснуться, как если бы ее и в самом деле составляли не люди, а боги, и считаем ее незыблемой догмой, то к человеку, или, как мы говорим, к человеческому фактору (термин своего рода поучительный), готовы предъявить все: что он-де (я имею в виду прежде всего русского крестьянина), с одной стороны, всегда был и остается приверженцем общинного землепользования,

хотя это и не так, его насильственно и с определенными целями держали в подобных условиях, а с другой—что надо воспитывать в нем коллективизм, приучать к коллективному труду и хозяйствованию, растолковывая явные будто, но отчего-то не замечаемые им выгоды от этой, мягко говоря, уравниловки. В поддержку теории (и в ущерб человеческому фактору, с которым, как показывает время, не считаться уже нельзя) разрабатывались самые, казалось бы, веские доводы, что только в колхозах как высшей форме организации (сказано, словно припечатано навечно) возможна поголовная и всеохватная механизация трудовых процессов, что мощная техника способна развернуться лишь на огромных просторах, а крупные массивы обрабатывать куда легче и сподручней, чем мелкие (да был бы толк), что и коровник, если он на тысячу голов, то есть в согласии с гигантоманией, то, соответственно, и прибыль от него, а если на сто или пятьдесят, то — о чем тут говорить, будто скученность и для животных есть непременное условие их продуктивности. Да, теоретически все можно расписать и украсить, но что показала практика? Более чем полувековая и достаточная, как мне кажется, для эксперимента?

А показала она то, что у жизни есть совсем иные законы, чем те, опираясь на которые, мы хотели возвести светлое и надежное здание обновленной деревни.

Если нет надежного фундамента, не будет и надежного здания, потому что его просто не на чем возводить. Не лучше ли было бы нам обратиться к самой системе, в которой, вернее, в основе которой, я имею в виду, разумеется, сельское хозяйство, заложено что-то настолько непотребное, что при всех неимоверных усилиях народа и государства мы постоянно получаем тот же нулевой результат? Давайте вскроем, наконец, и ясным взглядом посмотрим, что же в действительности не срабатывает в ней. Я понимаю, что, в сущности, ломлюсь в открытую дверь, что мне вполне резонно могут возразить: дескать, разве в прошлом не велись подобные изыскания — и до, и после коллективизации, взять хотя бы Чаянова, или Вавилова, или других ученых, чьи труды не признавались, а головы летели за добросовестность и честность перед собой, народом и государством, перед будущим; наконец, поиски велись и после войны, и в годы застоя, но более уже в литературе, чем в науке, адресуясь к нравственным истокам. Да, поиски велись и ведутся, и, может быть, самым значительным (в этом ряду работ) остается «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Вслед за Львом Николаевичем Толстым и с той же глубиной он обратился к теме земли и человека на ней, а вернее сказать, ко все той же извечной крестьянской проблеме, которая и теперь еще, после стольких битв и сражений, стольких надежд и упований на них, по сути дела, остается нерешенной — крестьянин без земли, да можно ли его назвать крестьянином, и способен ли он выполнять свою отведенную ему функцию в сообществе граждан? Роман Шолохова бессмертен уже тем, что он как бы возвращает (и будет возвращать новые и новые поколения читающих его) к тем годам, когда рушился не только царизм, но и бросалось под каток событий и уходило в историю то бесценное, что одно лишь и определяло нравственную связь человека с землей и вызывало в нем и поддерживало саму энергию жизни. Рвалась связь, исчезали и любовь к земле, и понимание ее; и, как итог, опустошенность и безразличие к труду, к семье, да и к Отечеству. Слова еще произносились, но уже как отзвук в продырявленном барабане, лишь напоминали что-то, но не волновали и не затрагивали душу. Образ Мелехова — самый трагичный во всей нашей русской литературе, и уже этим своим трагизмом он представляется мне более чем современным.

Можно назвать и ряд публицистов во главе с Валентином Овечкиным и Георгием Радовым, которые (по тогдашней смелости и возможностям) пытались прокладывать путь, Федора Абрамова с его неумирающими Пряслиными, Бориса Можаева, опубликовавшего роман «Мужики и бабы», который сразу же получил широчайшую известность, да и других, активно работающих в этой области литераторов. Я не только разделяю, но готов подписаться подо всем, что высказал (по нашим аграрным делам) академик Тихонов в только что опубликованной им статье в «Литературной газете». Он показал и всю противоправность и насильственность мер, применявшихся к деревенскому человеку во время коллективизации, и вскрыл несостоятельность бытующих и теперь убеждений о неизменно собственнической натуре мужика. Что и говорить, как-то уж слишком привыкли мы видеть в нем некоего хо-

зяйчика, который только и норовит, чтобы подгрести под себя, только и забот у него, чтобы накопить и сберечь. Подобный взгляд, как известно, способствовал лишь одному — полному и моральному, и экономическому разорению хлебопашца. Миф о так называемом «собственничестве», если по-серьезному взглянуть на него, во-первых, не соответствует действительности, потому что в любом сословии людей есть трудяги и трутни, норовящие прожить за чужой счет, и точно так же, как о крестьянстве, можно распустить слух и об интеллигенции, основываясь на одном или двух-трех индивидах, и опорочить ее. Здесь-то, думаю, и заложена самая тяжелая и грубейшая ошибка, которую повторяем и сейчас, считая, что крестьянин, допусти его только к земле, тут же начнет окулачиваться. А не смещаем ли мы понятия, не создаем ли тот искусственный образ врага, с которым затем призываем бороться, хотя враг этот — не только не враг, а, напротив, кормилец и защитник, которому и всего-то надо, чтобы его поняли и не мешали ему. Крестьянин никогда не выращивал лишь для себя, он всегда был и будет зависим от общества, но взаимоотношения его с обществом должны быть на равных; труд на поле и труд в промышленности, если это действительно труд, разве он не одинаково ценен? Речь идет, разумеется, не об уравниловке, а об оплате истинных усилий ума и рук. Он кормит себя и государство; так ли, иначе ли, через государственный ли заказ, который должен быть обоюдно — как для крестьянина, так и для заказчика — выгоден, через рынок ли, который в сути своей не может или, вернее, не должен столь намного, как теперь, превышать цены госзаказа, все произведенное им попадает на стол людям. Происходит, если хотите, все тот же натуральный обмен (да и чем можно заменить его, придумало ли человечество что-либо иное, кроме разве бумажных банкнот, за которыми — все тот же товар), но при таком обмене будет происходить распределение благ по труду, а не по должностям и званиям. Но это мечта; а пока что все продолжается по-старому, и сегодня точно так же, как и вчера и позавчера (и что характерно для любого района, любого хозяйства), как только человек стал переходить на арендный подряд, да не тот однодневный и рваческий, который скорее можно было бы назвать «для галочки» и который хорош лишь для сиюминутных, ближних целей, а более или менее долговременный, основательный; как только появились у арендатора заработки, соответствующие, разумеется, вложенному им труду (я уж не говорю, как резко при этом повысилась производительность), на него сейчас же начали посматривать косо, с подозрением: дескать, ага, зарабатывает, под себя гребет, начинает жить лучше! Психологически происходит это не только на уровне районного или сельского руководства; но так смотрят на него соседи, окружающие, то есть та самая деревня, которая, казалось, хотела бы жить лучше, по-человечески. Да она даже не представляет, как по труду своему и прилежанию могла бы жить! Но психология подозрительности, однако, настолько сильно укрепилась даже в самих деревенских людях, что ее, как ржавый гвоздь из доски, можно вырвать только общими усилиями, миром.

Я понимаю, мне могут сказать, что все это пока лишь рассуждения, а где же тот конкретный человек, на примере которого можно было бы увидеть, как на самом деле обстоят дела в сегодняшней нашей деревне, что заботит сельского труженика, как он живет, работает и удовлетворен ли трудом и жизнью? Резонно. Но ведь и сама эта статья задумывалась как диалог, и с этой целью была предпринята поездка в один из колхозов Нечерноземья. Мне хотелось побеседовать, с предельной, разумеется, откровенностью, с теми, кто сегодня берет землю в арендный подряд, и такая семья нашлась, даже не семья, а целый семейный клан, решившийся взяться за это новое, по нынешним меркам, но, в общем-то давно и давно известное (в опыте людей) дело. Но, к сожалению, я не могу назвать ни фамилии этого семейства, ни названия колхоза и села, в котором они живут. Не могу по двум причинам. Во-первых, чтобы подчеркнуть типичность явления, и, во-вторых — и это главное,— чтобы не навредить этим труженикам той правдой, без которой вообще немыслим был бы разговор о них. Их условия труда, их быт, их взаимоотношения с руководством колхоза — все это настолько несовершенно и на таком уровне, и столько им ставится искусственных преград (все из того же опасения, что заработают и станут жить лучше, а если откровеннее — обессмыслят и оставят без занятий все или почти все руководящее звено), что нетрудно представить, как не хотелось бы тому самому руководству выно-

сить на общее обозрение сор из своей избы. И это не домысел; перед самым нашим приездом семью арендаторов предупредили, чтобы, чего доброго, не сболтнули лишнего. А если ослушаются, если все же сболтнут и мы с полным откровением вскроем все, что творится в хозяйстве, творится с арендным подрядом, то тогда вновь и уже в третий раз не видать им коттеджа, как не дали им в первый и во второй раз. Грустно сознавать это, грустно, что действительность такова: назови мы все своими именами, последствия окажутся такими, что герои наши будут лишены самого элементарного — права на жилье да получат еще невидимое, неуловимое давление на себя и, может быть, будут вынуждены уйти из колхоза, а то и из сельского хозяйства вообще.

II

Если говорить о советском фермерстве как о явлении, которое должно набирать силу и выравнить, выправить наконец наше сельское хозяйство; если, иначе сказать, со всей серьезностью (и с расчетом и надеждой на будущее) взглянуть на арендный подряд, что он мог бы дать, во-первых, крестьянину, а во-вторых, государству, укрепив и усилив его могущество, то мне бы хотелось повести речь в двух планах: действительность, как она есть, и перспектива, как могло бы и должно обстоять здесь дело, а заодно и обратиться к некоторым примерам западного, скажем так, образца, к которым, судя по достижениям их, не зазорно было бы и приглядеться повнимательней и углубленней.

Первое и, может быть, самое тяжелое впечатление, какое осталось у меня от поездки в нечерноземную деревню,— это прежде всего общий вид самой деревни. Она, мне кажется, почти ничем не отличается от тех деревень, какими, я хорошо помню, были они после войны, когда я работал агрономом в райзо. Она такая же приземистая, с теми же избами, теми же покосившимися, словно вросшими в землю лачугами, которые, по современным понятиям, вряд ли можно назвать жильем, теми же телеграфными столбами вдоль улицы, которые пляшут, словно с утра уже набрались градусов. В этот день, кстати сказать, прошла буря, столбы повалило, и деревня была без света; без света оказалась и ферма, и мастерские, прекратилась подача воды, остановилась, в сущности, вся жизнь. Те же тропинки вдоль домов — в грязи после дождя, и асфальтированная дорога — узенькая, на которой не разъехаться, пожалуй, подводам, а не то чтобы могучим «Кировцам» или грузовикам, тот же знакомый всем нам сельмаг с облезлой вывеской и возле него неизменный атрибут, который, видимо, долго еще не исчезнет у нас — довольно молодой еще мужик, успевший уже набраться до чертиков и теперь по-бычьи озиравший округу. Он стоял по центру дороги, не желая уступить ее нам, и весь мир, казалось, был виноват перед ним, и он лишь высматривал, на кого бы обрушить всю свою тупую и бессмысленную злобу.

Да, к сожалению, без такого атрибута, без этого типа под градусом, кажется, нет и не может быть у нас деревни. И ведь это на той же земле, пропитанной именно мужицким потом и кровью, которая видела все, и взлеты, и падения, с которой снимали огромные урожаи и которая бывала нищей. Кстати, небольшой экскурс в историю. Думаю, не в земле, вернее, не только в земле или погодных условиях, на что принято теперь ссылаться, дело. В Нечерноземье, конечно, земли бедные, так что даже Радищев, знаток крестьянской жизни, ссылаясь на неплодородие ее, отпускал ей, в сущности, мизерную возможность, когда подсчитывал, сколько людей и скота может прокормить на себе подобная десятина. Но, как мы знаем теперь, даже он ошибался; эта же самая десятина, когда она была сразу же после революции отдана в крестьянские руки, показала, что способна прокормить в два, три, а то и в четыре раза больше людей, чем предписывалось ей. Значит, дело не только в земле, а и в том, кому она принадлежит, кто и с каким усердием работает на ней. Накануне коллективизации совершенно истощенная будто бы, по свидетельству Радищева, российская земля начала приносить баснословные урожаи, и прежде всего тут сказался действительно освобожденный труд на ней. Да, да и еще раз да, зависит все не только от земли и погоды, но зависит от рук, от души, от привязанности, умения, наконец, от свободного, приносящего удовлетворение и достаток труда на ней. Земля и воля. Земля и основательность. Земля и труд. Я уже не говорю о столыпинских хуторах, которые тогда еще показали, на что способна эта наша земля, окажись она действительно в хозяйских руках.

Вот таково было мое первое, при въезде в деревню, впечатление и раздумье о ней. Да знает ли нынешний наш крестьянин, как бы он мог жить на этой земле, что мог бы иметь, от души и вволю трудясь на ней? К сожалению, предчувствия не обманули меня: не знает. (Впрочем, замечу в скобках, это тоже одна из причин, что нужный диалог, в сущности, не состоялся.) Но, может быть, надо поправиться: знает, да не в той полноте. Вроде брезжит на горизонте какая-то узкая рассветная полоса, а до самого рассвета еще ох-ох как далеко. Чувства есть, есть желание, но нет размаха, нет понимания, что нужно и на что можно предъявить права, а в целом, если хотите, нет того ясного будущего, которое бросило бы в бой, и потому — мысли и чувства сосредоточены лишь на сиюминутном и мелочном, что должно бы, по ходу жизни, решаться само собой, но что, так уж повелось, не только не решается само собой, но и требует еще больших, чем для выполнения основного дела, усилий. Деревенский человек, как, впрочем, и городской, до такой степени погрязает в сиюминутных и важных, разумеется, для быта проблемах, что не в состоянии дальше трех метров видеть вокруг себя. Преувеличение? Да нет, присмотритесь к себе и к другим. Глава арендного семейного клана, с которым мы как раз и собрались вести диалог, вместо крупных основополагающих (в деле аренды) вопросов, которые следовало бы выдвинуть ему, заговорил прежде всего о мопеде (стоимостью в 200 рублей), который в колхозе (и, главное, в счет аванса) не могут или не хотят приобрести ему. А мопед этот нужен, я понимаю, для удобств и для экономии; мелочь, да, мелочь, а человек нервничает, ходит с просьбами, обивает пороги кабинетов, и где уж тут поразмышлять ему над тем государственным, что принесло бы удовлетворение и пользу ему и обществу.

Давайте зададимся вопросом: что такое современная семья, взявшая землю в аренду, какими должны быть условия ее работы и жизни? Дело для нас в общем-то новое, хотя — что же тут нового? Не на Северный же полюс отправляем людей (хотя, кстати, там-то как раз все и давно отработано), а всего-то — на той же земле и с тем же деревенским трудом и бытом. Но есть, конечно, или, во всяком случае, должны быть и свои особенности. Можно взять для примера, скажем, венгерских, чехословацких или тех же эстонских, наконец, арендаторов. Прежде всего у такой семьи должна быть своя усадьба, именно усадьба со всеми хозяйственными пристройками и постройками, и располагаться она должна либо на самом арендованном участке, либо вблизи его, чтобы все было под рукой и на глазах. Такое же впечатление должно оставаться от дома и двора, если он расположен в селе. Лицо дома, лицо двора, лицо пашни — это лицо самого земледельца. Если говорят, что нищенская жизнь способна рождать только нищенские мысли, то и неустроенный быт, в сущности, может породить лишь нерадивость и неустроенность в работе; исчезнет прилежание, я повторюсь, та нравственная связь, без которой пахарь — это не пахарь, а бездушный исполнитель чего-то вроде бы нужного, но неизвестно чего, исчезнет, наконец, чувство красоты и гордости, так важного, впрочем, во всяком деле, и чувство основательности, что и ты не нуль, а нужная и себе, и семье, и людям трудовая единица. Нет, ни дом, ни быт не могут быть зачуханными, заезженными, как в пору крепостников. Раскрепощен труд — раскрепощена душа, как было, к примеру, на вольных землях Сибири или на тихом Дону.

Но перед глазами (в той означенной деревне, куда мы приехали) предстала совсем иная картина. В ряду бревенчатых изб и халуп, как нечто неуклюжее и чужеродное, стоит дом из светлого силикатного кирпича, то ли полутора-, то ли двухэтажный, сразу и не поймешь. Он разделен на четыре однокомнатные квартиры с верандами и небольшими кухоньками. Справа и слева от него — что-то вроде ограды, именно вроде, из темных и поломанных горбылей, ворота, скорее напоминающие пролом, и все это не только никогда не знало краски или олифы (ведь дерево же!), но, видимо, никому из жильцов и в голову не приходила мысль, чтобы покрасить, исправить, то есть привести в тот должный порядок, который (по какой-то, может быть, иронии) мы презрительно называем «немецким» и в котором более, думаю, чем в чем-либо другом, мог бы проявиться и наш русский характер.

С минуту постояв перед всем этим, мы вошли через открытые ворота в небольшой и не очень чистый дворик. В нем чувствовалось какое-то запу-

стение, словно здесь жили не крестьяне, а некие временщики, которые сегодня здесь, а завтра там, и всякий раз — после них хоть трава не расти. Разумеется, такое отношение к жизни — это далеко не крестьянское отношение; это уже нечто новое, привнесенное нашим бытом, и как бы нам ни хотелось отбросить его или не замечать, но ведь действительность, она всегда выше нас; она выше королей и императоров, выше президентов и премьеров, и так ли, иначе ли, рано или поздно, но непременно заявит о себе и заставит с ней считаться. И хотя хозяева этого двора, те самые не названные поименно арендаторы, я верю, не были летунами, а напротив, как я почувствовал потом, хотели и добивались основательности, но впечатление, оно было; и оно волнует и занимает теперь. В глубине двора был виден сарай и старенький «Запорожец» в нем, возле которого в весьма ветхом одеянии работал человек. Им и оказался глава семьи, глава всего семейного клана, решившегося пойти на арендный подряд.

Мы поздоровались. Глава клана любезно пригласил нас пройти в дом, и то, что увидели мы в квартире этого безотказного труженика, тоже было неприглядным и грустным. Мне не хотелось бы, чтобы, читая эти строки, глава клана да и все гостеприимное и доброе семейство его приняли хоть что-то из написанного себе в укор. Нет, я далек от такой мысли. Довлеет надо мной лишь одно — сказать правду, как она есть, и пробудить истинное внимание и интерес к сельскому труженику. Так вот, комната, сама по себе и без того небольшая, разделена на две узкие, как пеналы, клетки, в одной из которых — кровать и шифоньер, в другой, бо̀льшей,— нечто похожее на стенку с приданной ей мебелью. Еще не по-городскому, но уже и не по-деревенски; ни от интеллигенции, ни от крестьянства, а так, что-то между этими двумя разрядами жизни, и мне так и хочется задать вопрос: да есть ли в подобном доме хоть частица души? В каждом доме, тем более крестьянском, должна быть душа. Душа зависит от состояния жизни, состояния работы, от общего настроя на будущее. Нет, я не почувствовал ни теплоты, ни уюта в этой квартире; все равнодушно, холодно; какая-то будто смесь — из того самого социализма, который мы сегодня перестраиваем. Именно этого самого социализма, в котором вроде бы все есть, вроде бы чего-то много, но в то же время и чего-то недостает и нет главного. Унификация. И без души.

Но не будем торопиться и посмотрим, может быть, впечатление это ошибочно, и там, где дело, где работа, на пашне,— там все по-иному, основательность и порядок. Ан нет, и тут нас поджидало разочарование. Арендный подряд, если вдуматься, оказался в данном случае не подрядом, а карикатурой на него. Земля, закрепленная за арендаторами, оказалась разбитой на три поля: 35, 7 и 8 га. Расположены эти поля более чем на двенадцать-тринадцать километров друг от друга, и мотаются наши арендаторы от поля к полю, мечутся, растрачивая время, которого в летнюю пору для деревенской работы и так в обрез, затрачивают силы на эти словно в насмешку созданные им неудобства. А ну-ка походи вот так, изо дня в день, с поля на поле (для этого-то и нужен был им мопед!),— от одних этих переходов к вечеру доволочить бы до дому ноги. Ну а если к этому прибавить технику, трактора, которые тоже надо перегонять с поля на поле? На гусеничном, а в хозяйстве у них два трактора: гусеничный и колесный, по асфальтированной дороге не проедешь, так что с ним и вовсе беда, а ведь к тому же сколько летит горючего в воздух из-за подобных переездов? Трактора старые, то и дело ломаются, и хорошо еще, что почти все семейство — механизаторы, могут сами все починить. Какая уж тут производительность, и что можно ждать от подобного арендного подряда? Невольно начинаешь верить, что сельский человек и впрямь двужилен, потому что даже в подобных (карикатурных!) условиях результат у него высок. А каким мог бы быть при иных, нормальных, скажем так, условиях?

Но вот что тут настораживает: сами арендаторы говорили о неудобстве такой отдаленности полей как-то уж очень робко, с боязнью, как о чем-то излишнем, что стеснительно было просить им. Так решило правление, так нарезали, что уж теперь! А почему бы не настоять, чтобы одним клином, ведь не для себя же, вернее, не только для себя: конечный результат, он ведь для всех, для народа. Почему бы не потребовать, ведь в стране сегодня идет перестройка; сегодня либо можно, наконец, решительно изменить ход жизни и наладить ее, либо вновь обречь себя и страну на голодный социализм. Но такой решительности я не почувствовал в них. Напротив, в их лицах вы-

разилось недоумение: а можно ли, удобно ли, не упрекнут ли за это, не откажут ли вообще, если начнешь просить лишнее? И опять же—обещанный правлением долгожданный коттедж, он снова, как выразились они, «помашет ручкой». «У НИХ власть, ОНИ все могут, а что мы?..» Люди в деревне унижены, они не знают своих прав и всего боятся. Они запуганы даже не сталинизмом, а теми условиями жизни, в какие словно бы навечно поставили их. Страх этот, к сожалению, и сегодня живет в них. Я говорю об этом с болью, потому что действительно надо смотреть не только в историю, но еще пристальнее вглядеться в сегодняшний день, каков он, что наносного закрепилось в нем и не может отцепиться, мешает обновлению, какие трудности испытывает хлебопашец, как мы опекаем его, как помогаем подняться на ноги и обрести чувство хозяина, какую и на каких условиях готовы предоставить в аренду землю и что можно получить с нее? Вопросы не праздные. Равнодушие, процветающее и сейчас, особенно в районных и сельских звеньях руководства, удручает и настораживает. Оно непонятно. Кто, для чего, из каких соображений постоянно дергает тормозной рычаг? Кому и для чего нужно, чтобы ничто не менялось в деревне? Неужели все еще непонятно, что со старыми методами не накормить страну, что народ, да-да, именно народ устал — не столько даже от команд, как от бестолковщины, и надо, наконец, положиться на его мудрость и поверить ему. Нет, я не понимаю и не смогу, наверное, понять, на что надеется районное и колхозное руководство, не только не помогая, но прямо-таки и теперь не давая укрепиться деревенскому человеку на земле. На его исконной земле. А ведь в хозяйстве, о котором идет речь, всего три подрядных звена. И те, как сбоку припека, и отношение к ним — лишь бы с плеч долой, то есть по принципу: меньше хлопот — лучше, и, глядя на подобное отношение к аренде, да кто же пойдет на нее?

Между тем хотелось бы сделать еще один экскурс в историю. Почему крепостники тормозили отмену крепостного права? Ведь крепостной труд, как и всякий рабский труд, невыгоден и привел сельское хозяйство России в такой упадок, что не снизу, а наверху начали приходить к пониманию, что надо менять существующий порядок. Наемная сила, работающая на земле, не могла обеспечить страну продовольствием. Но крепостники сопротивлялись и в течение почти сорока лет (пережив несколько царей) удерживали свои позиции. Из опубликованных новейших исторических работ теперь мы досконально знаем, как проходил процесс отмены крепостного права, какие возникали препятствия и как преодолевались они. Дело дошло до того, что сам царь — Александр II,— по признанию его, должен был прибегнуть к гласности, то есть обратиться к третьему сословию, к разночинцам, чтобы, наконец, провести свою хотя бы и половинчатую реформу. В то время и — к гласности! И лишь когда третье сословие, разночинцы, поддержало его, крестьяне получили в конце концов долгожданное (но без земли, ее заставили выкупать) освобождение. Крепостникам, надо полагать, неважно было, в каком состоянии находилась Россия, они блюли свои интересы и не хотели терять власть над мужиком — даровой, в сущности, рабочей силой. Это понятно. Но есть еще одна характерная деталь. Как ни покажется на первый взгляд странным, но земля в России во все почти времена, начиная с Рюриковичей, по существу, оставалась бесхозной, то есть не принадлежала никому. Она выделялась в наделы — князьям, боярам — и отбиралась, а мужик только работал на ней (кстати, традиционная бесхозность эта в той или иной степени продолжает сохраняться и теперь); как пишут историки, когда при отмене крепостного права встал вопрос, как записать, кому принадлежит земля, то сочинили такой, с позволения сказать, параграф, что земля в России принадлежит народу, потом подумали и добавили: и дворянству; потом, подумав еще, приписали: но больше дворянству. Вот так, ни больше, ни меньше, и кто хотел и как хотел, так и разбазаривал ее, раздаривал, отдавая ее всем, кроме, разумеется, крестьянства, которому она по праву должна бы принадлежать. Формально земля у нас и сейчас считается государственной. Советская власть лишь навечно будто бы передала ее колхозам, вернее, в вечное пользование, и колхозы, сельсоветы, районное и даже областное начальство, как крепостники в своих наделах, прикрываясь закрепительными актами, не разрешали крестьянину на этой земле даже накосить с обочины корма корове; а если, случалось, косили, то накошенное отбиралось, реквизировалось и уничтожалось; как говорится, ни себе, ни людям, ни сам не гам, ни другим

не дам. Было такое; да, было и повсеместно; но было еще и не такое, и не хотелось бы вновь открывать прожитую страницу, если бы не настоящее, в котором если и не с таким размахом (и не в этом очевидном, что немедленно было бы осуждено теперь), но все же так ли, иначе ли не повторялось прошлое. Привыкли командовать, привыкли зажимать, привыкли бояться, привыкли видеть во всяком человеке собственника, только и помышляющего, как бы урвать для себя. Да уж не основывались они на собственной психологии, потому что... Да не ясно ли, почему? Для себя — и дом получше, и вокруг дома, и в доме, а для рядового, что ж, он привычен ко всему, перетерпит, смирится. Конечно, трудно и больно проводить подобную параллель, но все же — не крепостники ли, но уже иной, нашей формации, сегодня тормозят перестройку? Да, не крепостники ли? Не хочу огульных обобщений, есть Стародубцев, есть Бедуля, у которых коллективные хозяйства хоть напоказ. Есть еще и еще, но не столько по стране, чтобы прокормить народ, обеспечить его разнообразной и качественной пищей. Так не крепостники ли сегодня сопротивляются реформе? Сопротивляются передаче в арендный подряд или, вернее, как я думаю, в бессрочное, без права продажи пользование землей? Страшное слово, тяжелое, может быть, даже неверное, но что-то все же подталкивает произнести его,— крепостники,— потому что тормоз и сопротивление невероятны по своей силе и изворотливости; я бы сказал больше, неуязвимости. Потому-то и не могу назвать имени нашего арендатора, что предвижу, как все колхозное, районное и даже, может быть, выше руководство может обрушиться на него, обрушиться так, что ни «ЛГ», ни «Октябрь» не смогут защитить его.

Вот таковы нынешние обстоятельства. А мы хотели бы решить продовольственную проблему, хотели бы накормить страну, чтобы не только песни, но и хлеб был бы у нас на столе. Песни, кстати, были и в годы застоя, да и какие, а хлеб?..

Так что же все-таки нужно, чтобы получить достаток и раз и навсегда прекратить разговор о хлебе и мясе? Некоторые утверждают, что нужно выстроить в деревне дома, создать условия, дать машины, удобрения — и пусть работают. В такой точке зрения есть, конечно, свой здравый смысл. Но в ней заключено и другое, что сравнимо, скажем, с утепленным коровником или телятником. Построил, наладил подачу воды и корма, и — чего еще там — выпускай их на луг. Но человек не рабочая скотина, у него есть те интересы жизни (причем у каждого свои), которые можно удовлетворить лишь в свободном, творческом проявлении, в чем только и может каждый человек утверждать себя на земле. Дайте ему землю, чтобы он сам на ней поставил для себя дом и корнями (благодаря этому дому, который унаследуют потом дети) врос в нее, дайте первоначальную и на льготных условиях ссуду и то, из чего строить,— материалы, которые, впрочем, все пойдут в дело, а не лягут, как у нас обычно вокруг строек, кладбищем расточительности и беспечности за счет общего кармана. Чтобы у него появилась именно усадьба, как я уже говорил, где под навесом и в добротном, рабочем состоянии держался бы инвентарь и машины. И, разумеется, все это — на той арендованной (у государства, а не у председателя колхоза, который сейчас, в сущности, безграничен в правах по отношению к арендатору) земле, на которой изо дня в день придется трудиться ему; и не надо бояться здесь частной собственности, как и пишет академик Тихонов, ибо накопление капитала, в том числе и государственного, зависит от состояния и жизнеспособности крестьянской семьи, мужика, деревни. Нет, государство богато не накоплением бриллиантов и золота, но прежде всего богато крестьянским благополучием. Так дайте нашему крестьянину возможность обустроиться на земле, обосноваться и врасти наконец корнями в нее. В наследство, надо полагать, передаются не только дом и всякое иное движимое и недвижимое имущество, но передаются и мастерство, особенно в таком деле, как хлеборобское, и любовь и привязанность к земле, и понимание ее. На земле по опыту родителей (и всех других уходящих вниз предков) знаю, разбогатеть нельзя. Но жить в достатке и удовлетворении можно; можно созидательным трудом на ней, то есть основательным и продуманным, накапливать ценности, из которых в конечном итоге как раз и складывается экономическое и духовное богатство страны.

Но вернемся к арендатору, каким бы мы в идеале хотели видеть его. И что для этого нужно. Прежде всего, мне кажется, нужен закон, признающий и ограждающий его права. Нужно записать, что человек, взявший в арендное пользование землю, советский фермер, существует и действует не как частное лицо, а как самостоятельное юридическое лицо со всеми вытекающими из этого правовыми нормами. Ферма (пока что другого и лучшего названия у меня нет) — это та крайняя ступень всей огромной государственной системы, которую мы называем социалистической. Глава фермы должен иметь право брать ссуды в сельскохозяйственном банке, и таковой надо создать; он должен иметь право заключать прямые договора с поставщиками удобрений, с заводами, изготавливающими сельскохозяйственные машины и оборудование, и при этом, разумеется, он не возьмет трактор без колеса или с полуразобранным мотором, а потребует от промышленности, чтобы все было в целости, добротным и работало, а не стояло в ремонте. Он должен иметь право на квалифицированное обслуживание техники, и тут можно вспомнить МТС, которые скомпрометировали себя разве лишь тем, что брали непомерную за свои услуги плату с колхозов. Он должен иметь право на техническое обслуживание на дому, по соответствующей договоренности, по которой, как принято, например, в Канаде, за всякий срыв обоюдно выплачиваются неустойки. Нужно, нужно, нужно, но — давайте посмотрим: разве на все это «нужно» так ли уж много потребуется капиталовложений? Скорее потребуются закон, желание и добрая воля Советской власти.

И еще: мне уже приходилось писать и говорить, что у нас, в сущности, нет закона ни о земле, ни о землепользовании, по которому бы определялась стоимость этого бесценного богатства и взыскивалось (в уголовном порядке) за порчу, истощение и разбазаривание земли. Такой закон необходим, как и специальный закон об аренде. Земля должна иметь цену по многим параметрам, и прежде всего по плодородию; повысилось плодородие — удвоилась и цена, и арендатор, если он по каким-либо причинам расторгает договор, получал бы вознаграждение за свои усилия; понизилось плодородие — понижается соответственно стоимость, а разница (от начальной, стержневой) взыскивается с виновного. Нужна шкала стоимости земли по зонам, с учетом всех климатических и иных условий. Этого требует жизнь, и чем раньше появится такой закон, тем больше шансов будет у нас сохранить землю, ее плодородие, ее бесценную значимость для жизни.

Здесь же, наверное, следует сказать еще об одном явлении. Сейчас широко раздаются садово-огородные участки. Во многих местах целые деревни с их землями, скотом и инвентарем передаются промышленным предприятиям, и все это проводится под лозунгом: для подспорья, чтобы каждый в меру своих сил мог обеспечить себя необходимыми продуктами. Этим, в сущности, мы всенародно расписываемся под беспомощностью сельского хозяйства, но некоторые досужие сценаристы и режиссеры уже успели написать и отснять фильмы (даже многосерийные) на эту до конца еще не проясненную тему. Ну а если без предвзятостей и не коленопреклоненно взглянуть на всю эту складывающуюся ситуацию в стране? Предприятиям предлагается самообеспечиваться, людям — тоже, и все это, все — с шести (у предприятий, разумеется, больше) соток чаще всего бросовой земли. Списанной или непригодной. Но тогда невольно возникает вопрос: а что же наше доблестное колхозное сельское хозяйство будет делать на своих необъятных (и не доведенных пока еще до крайней ручки) просторах? Что будет делать оно, какова роль отводится ему? Лишь потреблять — горючее, машины и ту людскую энергию, которая хотя и неизмерима, но тоже имеет холостой ход и способна пробуксовывать. А не лучше ли, не полезней и не дальновидней ли было бы взять и передать основную пахотную землю крестьянам? Неужто не справятся? Неужто деревня превратилась в столь гнилое звено в общей цепи жизни, что на нее и положиться нельзя? Не верю и не могу поверить; и, думаю, неразумно мы поступаем, недальновидно. В первые послевоенные годы, я помню, земля уже передавалась производственным коллективам, и что же? Ни настоящей промышленности, ни настоящего сельского хозяйства; подкрепились, подлатали — и снова на проторенную колею, которая и привела нас к сегодняшним неодолимым проблемам.

Передача земли на бессрочной и фундаментальной основе в аренду, конечно же, потянет за собой и другие, тоже кардинальные перемены — в системе закупок, хранения и сбыта. Ведь фермер, в сущности, не должен возить свою продукцию сам на рынок. Подобные поездки будут только отвлекать его от основного дела, и за грошовой прибылью может уплыть сквозь

пальцы настоящая, от труда. Вот тут-то и должен сказать свое веское слово государственный заказ.Он должен обладать такими свойствами надежности, чтобы поставщик буквально бился за него; цена госзаказа — это, по существу, и есть рыночная цена, во всяком случае, регламентирующая ее. Потребуются, видимо, специальные кооперативы по хранению и сбыту, как, например, все в той же Канаде. Держит фермер сто коров. Коровы у него определенной породы, он сдает молоко только для детских учреждений, и потому — все у него регламентировано. Ни рацион кормления, ни породу он самовольно не может изменить. По договору три раза в день, после каждой дойки, у него забирают молоко. Если не увезли вовремя, платят неустойку, и солидную; если не приготовлено к положенному часу, неустойку, и тоже немалую, выплачивает фермер. Система работает настолько слаженно, что приходится лишь удивляться, что при этом нет никакой надстройки (административной) над ней, никто не издает директив, и не накаляются телефонные трубки от надрывных: «Давай, давай!» — как у нас. Такая же или близкая к ней система функционирует и по другим видам сельхозпродукции, поставляемой фермерами, и все вовремя и в лучшем виде приходит к потребителю. Так почему бы параллельно с фермерством не разрешить и у нас создание кооперативов по сбыту и хранению, и не было бы и нам нужды гонять нашего крестьянина на рынок и ставить его за торговый лоток. Но на все это требуется закон. Не тот закон о кооперации, который принят и над которым даже юристы ломают голову, что же в конце концов позволяет он и что запрещает, а иной, простой, ясный и решительный. Нужна, если хотите, сама концепция кооперации в наших социалистических условиях, и тогда частности отпадут сами собой.

Не могу удержаться и не сказать о японцах. С чисто своей японской точностью в Мариоко, например, подсчитали, сколько городское население потребляет яблок в год. Разделили полученную сумму на число дней в году и построили соответственно дням емкости. В каждую емкость (под давлением азота) закладывается нужное количество плодов, и затем в течение всего года — город со свежими яблоками. Прямо-таки — социализм; можно, конечно, иронизировать, но все же — чем не социализм? Даже точно подсчитали, сколько для этого нужно иметь корней яблонь (40 тысяч), и ни одним больше, ни одним меньше. И никакого агропрома...

Берем же мы за образец новейшие достижения техники, науки и ориентируемся на эти достижения, на мировой уровень и стараемся достичь его. Так почему бы не присмотреться и к сельскому хозяйству, к тому уровню, на каком оно ведется в передовых западных странах? Ведь и там есть мировые образцы и мировые достижения, то есть то, что отработано и проверено до мельчайших мелочей и более чем хорошо зарекомендовало себя. Почему? Если бы все-таки обратились, то, думаю, не просто бы взяли и механически перенесли все, что увидели, на нашу действительность, а внесли бы свои коррективы; те коррективы, которые связаны с духом социализма; но не тем, когда «разрушим до основанья, а затем», а с разумным, в котором сочетается и «я», и нужды народа и государства. Да, мы должны брать мировые стандарты. Показывают нам, к примеру, сельское хозяйство Дании или Голландии — как удобно там организовано производство, как все продумано и предусмотрено, и никакого тебе начальства над хозяином, нет бумаг, никто не подгоняет и не командует; единственный командир — жизнь, требующая от каждого, в том числе и сельского жителя, каждодневных и определенных усилий; нет отчетности, нет плана и плановых заданий, а есть только потребность данного города, отражающаяся через рыночный спрос. Я думаю, это хорошо, что даже наши ведущие телекомментаторы-международники наряду с политической информацией стали подавать и чисто бытовую и вместо критики, как бывало в недавние еще времена, когда все, что не у нас, непременно с червоточиной,— вместо критики начали показывать поучительные примеры жизни. В том числе и примеры из сельскохозяйственного опыта, так что и в этом плане, как говорится, все на виду: что взять и что отбросить. И зря, что многое и многое мы пропускаем мимо глаз и ушей, а в общем, мимо жизни, тогда как тот, чужой будто бы механизм труда, механизм отношений, он позволяет многим народам и странам получать продукцию и качественную, и в изобилии, которую они и готовы продавать нам. А что же мы?

Мы лишь оптовый и выгодный покупатель. Имея собственную землю, имея народ, который может и умеет трудиться и доказал это исторически и которого, в сущности, бьют по рукам, да, собственно, ударили с такой (в полувековой, по историческим меркам, но свежей для нас давности) силой, что он только и способен, что шевелить пальцами. Но сравнения сравнениями, а жизнь жизнью, и если верить в будущее, а не верить в него нельзя (другое дело, не только верить, но приближать, строить), то и нельзя не придерживаться и той реалистической ясности, с какой был начат и ведется здесь разговор. Нет, я не исключаю, что все же придется нам обратиться к мировой современной практике земледелия, вернее, тем достижениям и образцам, которые надежно показали себя; но и убежден, что не возьмем слепо, сразу приобщившись к духу коммерции и наживы, что, разумеется, есть и что не отнять у тех образцов, а внесем, как уже говорил, свое, чем характерна наша тысячелетняя действительность. Я знаю, чувствую, есть во мне что-то, воспитанное историей и современностью, что отличает меня от западного человека, и это ч т о-т о более благородно (как мне это кажется), чем там. Но я, как видите, не могу сформулировать, что это ч т о-т о, что отличает меня. Интернационализм? Коллективизм? Дружба? И высоко, и примитивно. К сожалению, ни за тысячелетнюю историю, ни за семидесятилетие Советской власти мы не удосужились как следует сформулировать кредо нашего человека. Упрек философам, социологам, писателям, но упрек и партии как ведущей сегодня силе в стране. Так что, да, я чувствую, что ч т о-т о отличает меня от человека Запада; но отличительное яснее обнаруживается пока лишь в том, что они реалистичней, а мы утопичней смотрим на жизнь и строим ее.

Сейчас, после партконференции и прошедшего за ней пленума, партия решительно перестраивается, ищет свое новое и достойное место в обновляющейся жизни и готова и больше взять на себя, и передать, как творцу, народу; и в этой связи странно иногда слышать (по радио) или читать (в газетах), что главная роль партийных вожаков по-прежнему остается — воспитывать, воспитывать и воспитывать массы, разъясняя им преимущества системы, в которой они живут. Но что же разъяснять, когда все должно быть и есть на виду и когда если разумное и приносит благо, то говорит само за себя (народ ведь не слеп, он видит и соображает). Для сельского жителя подобные разъяснение и воспитание означают не больше, не меньше как опять не за понюх табаку надевать хомут. Энтузиазм — это ведь вспышка народной энергии, а не постоянная сила, выматывающая его. То, что обещано, должно отдаваться, иначе наступает безверие. Заманчивым будущим нельзя без конца подменять настоящее. Перестройка не должна стать мифом. Но и надо понять, что никто со стороны не придет к нам и не изменит нам жизнь. Пора и самим засучивать рукава и браться за дело, благо и условия, и все предпосылки к этому есть, и, как мне представляется, дело остается (разумеется, я говорю относительно сельского хозяйства) лишь за желанием и доброй волей Советской власти. А что касается вопроса о воспитании, то не повторяем ли мы здесь ошибку, которую так решительно осуждаем со всех трибун? Может быть, пора уже воспитывать не словом, не обращениями и посулами, а очевидным и разумным делом? Да и скорее, надо бы побольше прислушиваться к народу, чем воспитывать его; он мудр, как мудра жизнь, и так ли, иначе ли, но все навязанное и неприемлемое, умертвляющее дух и плоть будет отброшено им, и это так нетрудно понять и признать. Ведь и нравственность, и мораль, и состояние человека, его работоспособность произрастают из основательности его жизни. Когда в доме и в государстве все основательно, то и народ доволен жизнью; доволен в том смысле, что каждый в ней может проявить себя, и оттого все вокруг становится родным, близким, незаменимым.

III

Будучи в Канаде, в Оттаве (а был я там с писательской делегацией, по приглашению), я попросил, чтобы меня свозили на какую-либо близлежащую ферму. «Потемкинских» ферм, разумеется, там нет, их не создают, потому что работают не напоказ, а для того, чтобы жить самим и кормить страну. Там вообще ничего показного нет. Мы отъехали от столицы километров на пятьдесят — шестьдесят и остановились в небольшом и очень уютном городке, который, если сравнить его с чем-либо подобным у нас (по масшта-

бам и значимости разве что), живо напоминал районный центр или центральную усадьбу гиганта-колхоза или совхоза. Но центральная усадьба, или скорее все же районный центр,— по канадскому образцу состоит не из аппаратных работников, руководящих всем и вся в округе, нет, не из администраторов, а из обслуги. Аппаратчик там — один только юрист, находящийся на содержании фермеров для разрешения их конфликтных нужд. Все остальные в городке — это водители молоковозов, овощных фургонов, рабочие тарного цеха, консервного завода и еще в этом же роде. Здесь же довольно широкая сеть магазинов, в которых фермеры могут приобрести все: и продукты питания, недостающие им, и товары, и технику.

Из городка, разветвляясь, словно огромная елка, идет асфальтированная дорога к фермам. Дороги в Канаде, надо сказать, находятся в отличнейшем состоянии, как, впрочем, и все на Западе, по которым мне приходилось когда-либо проезжать. У одной из фермы остановились. Хозяин вышел встретить нас у ворот. Семья у него небольшая: жена, сын, дочь. Собственно, это и есть персонал фермы.

Ферма животноводческая. Ухоженная усадьба, ухоженный, аккуратный, засыпанный щебенкой двор, в глубине его, под навесом, инвентарь и техника; и вся в таком состоянии, что хоть сейчас на витрину, в продажу, словно никто и ни разу еще не употреблял ее в дело. Бережливость и аккуратность, я заметил, одна из характерных черт канадских фермеров. Почти к самому сараю примыкает высокое и открытое, как принято в Канаде, кукурузохранилище, а рядом с хранилищем цех по приготовлению комбикормов, соединенный с коровником. Подача корма из цеха механизированная. Я взял из желоба пригоршню этой смеси из кукурузы, сена и еще чего-то, что сразу и не определишь, понюхал — сдобный дух. А хозяин улыбается и говорит, что отправляет молоко детским организациям и не может изменить состав корма, потому что тогда молоко и по вкусу, и по запаху будет другим, его не возьмут, и он понесет убыток. И я невольно вспомнил, как и чем кормим мы дойное стадо на фермах; вспомнил силосные ямы с их кислым, гнилым, плесневелым духом и наше общепитовское молоко, переболтанное, перемешанное от разных пород коров и с разных ферм и превращенное сперва в порошок, а затем вновь разведенное, которое мы (согласно стандарту или ГОСТу, не знаю, как точнее) покупаем в магазинах. Это же молоко подается и в школьных столовых, и в детских садах — без аромата, без вкуса, с одним только названием, чтобы нельзя было ни с чем спутать.

Канадские фермеры находятся под постоянным контролем. У них проверяют и состояние коров, и состав корма, подающегося скоту, и в какой чистоте содержатся доильные аппараты и емкости под молоко, да и многое другое. Но зато, надо сказать, механизация работ на ферме совершенная; и не только в подаче кормов, но и в уборке навоза, который мощными насосами выдавливается прямо на поле. Если же, к примеру, поломался трактор на полосе, фермер тут же, по телефону, установленному на тракторе, вызывает ремонтников. А возможен ли с подобными условиями советский фермер? Я задавал себе этот вопрос тогда там, в Канаде, и задаю его здесь, теперь. Да, возможен, а почему бы и нет? Но для этого надо многое. Другой взгляд на деревню, на сельское хозяйство вообще, другие отношения, другая организация дела да, собственно, и другой человек, который, впрочем, и появится, если обретет уверенность и станет действительным хозяином на своей земле.

О канадских фермерах, об условиях их труда и быта мне, естественно, захотелось рассказать нашему семейному арендному звену, у которого я был в гостях. Слушали они внимательно, но, мне показалось, восприняли как некую красивую сказку. Да иначе, наверное, и не могло быть с их (описанным выше) деревенским бытом, их условиями труда и условиями аренды, с их на версты отдаленными друг от друга клочками полей, ожиданиями коттеджа как непомерного, несбыточного счастья и ожиданием мопеда, который обещают и, словно дефицит, не могут достать. Конечно, в сравнении с этим, *нашим*, канадский фермер — сказка, о которой трудно даже предположить, чтобы она могла осуществиться в жизни. Но наряду с удивлением и неверием, какое было и у главы, и у всего его семейства, нельзя было не заметить и не почувствовать в них и того желания, той готовности к освобожденному и потому основательному труду, который хотя и не сразу, думается, но принес бы им и удовлетворение, и достаток, и радость, а обществу — так

недостающие ему продукты питания. Но готовность их, словно в стену, упирается сегодня в нерешительность колхозных, совхозных и агропромовских аппаратов, которые не то что не хотят получить от арендного подряда прибыль, но настолько погрязли в рутине и косности, настолько покрылись, словно позеленевшим мхом, всевозможными старыми и новыми директивными бумагами, что до каких уж тут перемен? Да, по старинке, оно и спокойней, и привычней. Вот и подумаешь: может ли в такой рутинной системе образоваться, то есть возникнуть полноправный советский фермер? Видимо, нет; система не даст, не позволит, не допустит возникновения его. А что за примером, так что ж далеко ходить: не землю в аренду, а вот вам клочки, произвольно вырванные из нее и отдаленные на версты друг от друга. Уму непостижимо, для чего и зачем это. Кого они наказали? Они наказали не фермера, хотя и его, конечно. Этим они наказали сам принцип арендных подрядов, арендных отношений. Если бы они наказали только отдельное звено, в конце концов через прессу, через суд можно было бы найти управу; но они наказывают социализм — этот, который мы сегодня перестраиваем и создаем.

На съезде колхозников, который прошел в этом году, проступала в речах явно такая тенденция: большинство председателей требовало свободу колхозу, свободу председательской инициативе, то есть развязывания ему рук, а это ведь нечто другое, чем развязывание рук крестьянину, колхознику, тому, кто непосредственно работает на земле. Сколько ни предоставляй свободы председателю, крестьянин остается в подчинении, остается закрепленным, но не хозяином. А хозяин — только председатель. Ну, скажем, если бы все председатели были Стародубцевыми или Бедулями, куда ни шло. Но такие редки. Они только — очаги на колоссальное количество разбросанных по стране хозяйств, только отдельные личности в общей и несрабатывающей как должно системе. И потом не надо забывать, что мы прошли через огромную трагедию культа личности Сталина да и другой, определившей так называемые годы застоя, когда безраздельно и самовластно командовалось всем и вся в стране. Пройдя через большое, можем ли делать ставку на сильную личность в малом? Личность есть — есть хозяйство, нет личности — и хозяйства нет. А что же народ? Народ-то что же?

●

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Триумф и трагедия

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И. В. СТАЛИНА

Генеральный секретарь

Одиннадцатый съезд партии был последним, на котором присутствовал Ленин. Доклад об организационной деятельности ЦК сделал В. М. Молотов. Охарактеризовав состояние внутрипартийной жизни, Молотов показал, как перегружены работой отделы ЦК. За «год через ЦК прошло 22,5 тысячи партийных работников, т. е. около 60 товарищей в день». Молотов поставил вопрос об упрощении «передвижки» кадров, налаживании должного учета, внесении большей организации в деятельность аппарата ЦК. В докладе подчеркивалось, что за минувший год увеличилось количество заседаний ЦК; увеличилось количество вопросов, обсуждавшихся в ЦК, увеличилось количество конференций, других всепартийных совещаний. Выступавшие на съезде делегаты выражали неудовлетворение работой центрального органа. Так, Осинский упрекал Политбюро за то, что оно много занимается «вермишельными» (то есть мелкими) делами, наподобие того, «отдать наркомзему «Боярский двор» или нет, отдать типографию такому-то учреждению или оставить другому?». Делегаты для совершенствования управления партией и страной предлагали иметь в ЦК три бюро: Политбюро, Оргбюро и Экономбюро.

Читая стенограммы первых съездов, восхищаешься открытостью, подлинной гласностью в выражении мнений. Критика была естественна как воздух. Не было славословия, чинопочитания, лести. Никто не добивался единства ради единства, были вожди, но культа их не было. Например, на XI съезде доклад Ленина при общей высокой оценке его положений и выводов подвергали критике многие делегаты: Скрыпник, Антонов-Овсеенко, Преображенский, Осинский. Рязанов, например, под общий смех делегатов, критикуя деятельность ЦК, заявил: «Наш ЦК совершенно особое учреждение. Говорят, что английский парламент все может; он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее: он уже не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается». Далее Рязанов продолжал, что «пока партия и ее члены не будут принимать участия в коллективном обсуждении всех этих мер, которые проводятся от ее имени, пока эти мероприятия будут падать как снег на голову членов партии, до тех пор у нас будет создаваться то, что тов. Ленин назвал паническим настроением».

Откровенное, открытое обсуждение всех вопросов, касающихся партийной жизни, было непреложной нормой. К слову сказать, позже, в 30-е годы, все критические выступления, сделанные ранее, уже расценивались как «вредительские». Целые десятилетия затем можно было только «единодушно одобрять», «поддерживать», восхищаться...

Еще в двадцатом году практика работы аппарата ЦК показала, что для организации деятельности секретариата нужно ведущее, специально выделенное лицо. ЦК РКП на своем заседании 5 апреля 1920 года, обсудив этот вопрос, вынес такое решение:

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 10 с. г.

«1. Секретарями избрать тт. Крестинского, Преображенского, Серебрякова. Вопрос о назначении одного ответственного секретаря не предрешать. Представить секретарям, по указанию опыта, через некоторое время вынести в ЦК предложение по этому поводу.

2. В состав Оргбюро кроме 3-х секретарей ввести тт. Рыкова и Сталина».

Знакомство с протоколом ЦК, который велся на отдельных листочках школьной тетрадки в линеечку, показывает, что «вопрос о назначении одного ответственного секретаря» возник не в 1922 году, а значительно раньше. После XI съезда один из секретарей был уже выделен особо. Ответственные секретари избирались и раньше: Стасова, Крестинский, Молотов, но теперь речь шла о повышении статуса ответственного секретаря до уровня генерального. Чье это было предложение? Откуда исходило? По имеющимся данным, от Каменева и Сталина. Несомненно и то, что Ленин знал об этом предстоящем нововведении. Есть все основания считать, что предварительно эти вопросы были «оговорены» с ним.

Состоявшийся 3 апреля Пленум ЦК, сформированный на XI съезде партии, избрал в соответствии с пожеланиями делегатов Политбюро, Оргбюро и секретариат. На Пленуме было принято решение ввести должность Генерального секретаря ЦК РКП(б). В этот же день первым генсеком (кто мог тогда предположить, что на долгие годы) был избран И. В. Сталин. (Если быть точным, после XVII съезда партии Сталин, как об этом говорят документы, официально не избирался в качестве Генерального секретаря. Но он уже и без формального статуса был более чем «генеральный», если судить по степени его единовластия. Да, он был единоличным «вождем», и это, видимо, устраивало его больше. Кстати, когда он умер, в официальных документах не было упоминания о нем как о Генеральном секретаре.) Таким образом, Сталин занял сразу три высоких поста: члена Политбюро, члена Оргбюро и Генерального секретаря. Тогда же секретарями были избраны кандидат в члены Политбюро Молотов и Куйбышев. Сегодня историки, философы, все люди, которых волнует отечественная история, задаются вопросом: почему именно Сталин, а не кто-нибудь другой? Кто предложил его кандидатуру? Какое участие в этом акте принял Ленин? Подразумевало ли назначение Сталина генсеком передачу ему о с о б ы х полномочий? Чтобы ответить на эти и подобные вопросы, обратимся к бесстрастным документам.

На Пленуме ЦК присутствовали его члены: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Дзержинский, Петровский, Калинин, Ворошилов, Орджоникидзе, Ярославский, Томский, Рыков, Андреев, Смирнов, Фрунзе, Чубарь, Куйбышев, Сокольников, Молотов, Коротков. Участвовали в заседании и кандидаты в члены ЦК: Киров, Киселев, Кривов, Пятаков, Мануильский, Лебедь, Сулимов, Бубнов, Бадаев и член ЦКК Сольц.

Заслушали и приняли решение по нескольким вопросам. Первый — конституирование ЦК. О председателе:

«Подтвердить единогласно установившийся обычай, заключающийся в том, что ЦК не имеет председателя. Единственными должностными лицами ЦК являются секретари; председатель же избирается на каждом данном заседании».

Затем обсудили вопрос, почему на списке членов ЦК, избранных съездом, есть отметки о назначении секретарями тт. Сталина, Молотова и Куйбышева. Каменев разъяснил (Пленум принял к сведению), что «им во время выборов, при полном одобрении съезда было заявлено, что указание на некоторых билетах на должности секретарей не должно стеснять Пленум ЦК в выборах, а является лишь пожеланием известной части делегатов». Прежде всего это «пожелание» исходило от Каменева, Зиновьева и негласно от Сталина.

Хотя официально съезд избирал только членов ЦК, есть основания полагать, что Каменевым была проведена немалая «работа» по организации поддержки избрания будущих секретарей. Нельзя не усмотреть в этом (поскольку Каменев знал, что будет рассматриваться вопрос о новой должности Генерального секретаря) стремления провести в Секретариат определенных людей. А проще говоря, Каменев хотел иметь в качестве «своего» человека руководителя аппарата ЦК. В то время у него отношения со Сталиным были весьма хорошими. Будущий генсек

не раз подчеркивал особое положение Каменева, бывшего заместителем Ленина по Совнаркому,— тогда это котировалось выше, чем, пожалуй, положение в партийной иерархии. Многие косвенные доказательства таковы, что Каменев стремился провести Сталина на вновь вводимый пост явно с ведома и желания последнего: Сталину нравилась работа в аппарате, и он почувствовал те возможности, которые она открывает.

Далее в протоколе Пленума ЦК говорится:

«Установить должности генерального секретаря и двух секретарей. Генеральным секретарем назначить т. Сталина, секретарями тт. Молотова и Куйбышева».

В протоколе, ниже, рукой Ленина записано:

«Принять следующее предложение Ленина:

ЦК поручает Секретариату строго определить и соблюдать распределение часов официальных приемов и опубликовать его, при этом принять за правило, что никакой работы, кроме действительно принципиально руководящей, секретари не должны возлагать на себя лично, перепоручая таковую работу своим помощникам и техническим секретарям.

Тов. Сталину поручается немедленно приискать себе заместителей и помощников, избавляющих его от работы (за исключением принципиального руководства) в советских учреждениях.

ЦК поручает Оргбюро и Политбюро в 2-х недельный срок представить список кандидатов в члены коллегии и замы Рабкрина с тем, чтобы т. Сталин в течение месяца мог быть совершенно освобожден от работы РКИ».

На следующий день, 4 апреля, в «Правде» было сообщено: «К сведению организаций и членов РКП. Избранный XI съездом РКП Центральный Комитет утвердил секретариат ЦК РКП в составе: т. Сталина (генеральный секретарь), т. Молотова и т. Куйбышева. Секретариатом ЦК утвержден следующий порядок приема в ЦК ежедневно с 12—3 час. дня: в понедельник — Молотов и Куйбышев, во вторник — Сталин и Молотов, в среду — Куйбышев и Молотов, в четверг — Куйбышев, в пятницу — Сталин и Молотов, в субботу — Сталин и Куйбышев. Адрес ЦК: Воздвиженка, 5.

Секретарь ЦК РКП Сталин».

На этом же Пленуме было избрано Политбюро в составе семи человек: Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Томский, Рыков и трех кандидатов: Молотов, Калинин, Бухарин. Сформировали Оргбюро. На пост генсека была предложена одна кандидатура (Каменевым), возражений не было ни у кого. Так все это было.

О необходимости улучшения работы ЦК, Политбюро В. И. Ленин говорил на XI съезде, обращая особое внимание на совершенствование организационной работы. При этом Ленин делает ряд очень важных замечаний, которые, к сожалению, ни тогда, ни позже, при Сталине, не были полностью учтены. Одно из них касается культуры, умения управлять. Ленин говорил, что у многих ответственных работников-коммунистов культура управления просто мизерная и жалкая. А один из методологических устоев управления, замечает он, заключается в умении выделить основное звено в общей цепи проблем. На сегодня, говорил Ленин на съезде, таким главным звеном является подбор *нужных людей*.

Сразу после революции секретарские, технические функции исполняли несколько товарищей, которыми руководил Я. М. Свердлов. После его смерти в 1919 году от элементарной простуды все сразу ощутили, сколь велика потеря. Текущие дела захлестнули работу ЦК. После VIII съезда была введена должность ответственного секретаря; им стала член партии с 1898 года Е. Д. Стасова. Затем ее сменил Н. Н. Крестинский, избранный одновременно и членом Политбюро (при этом он исполнял еще и обязанности наркома финансов РСФСР!). После IX съезда партии в помощь Крестинскому были избраны еще два секретаря — Преображенский и Серебряков. На X съезде вместо них секретарями были избраны Молотов, Михайлов и Ярославский. После смерти Свердлова Ленин был часто недоволен работой Секретариата: его медлительностью, рутинностью и ошибками. Так, в своей записке В. М. Молотову 19 ноября 1921 года В. И. Ленин выразил неудовлетворение постановлением Оргбюро, определяющим отношение судебно-следственных учреждений к проступкам коммунистов, которое готовил Молотов. Ленин писал:

«Т. Молотов!

Я переношу этот вопрос в Политбюро.

Вообще неправильно такие вопросы решать в Оргбюро: это *чисто* политический, всецело политический вопрос.

И решать его надо иначе».

Можно сказать, что введение нового партийного поста диктовалось необходимостью упорядочить работу «штаба» ЦК — Секретариата. Но вместе с тем подчеркнем, что пост генсека тогда совсем не представлялся главным, ключевым, решающим. Если бы это было так, то, видимо, первым Генеральным секретарем был бы Ленин.

Врачи продолжали настаивать на серьезном лечении Ленина, в апреле 1922 года они пришли к выводу, что необходим продолжительный отдых и горный воздух. Решили, что будет полезна поездка на Кавказ. Ленин согласился и даже написал несколько писем И. С. Уншлихту и Г. К. Орджоникидзе, работавшим в это время на Кавказе. Вот одно из этих писем, отправленное 9 апреля 1922 года:

«Т. Серго!

По поводу просьбы Камо и в связи с ней я должен еще добавить, что мне надо поселиться *отдельно*. Образ жизни больного. Разговора даже втроем я почти не выношу (однажды были Каменев и Сталин у меня: *ухудшение*!). Либо отдельные домики, либо только такой большой дом, в коем возможно абсолютное разделение. Это надо принять во внимание. Посещений быть не должно...

Ваш Ленин».

Но, увы, план поездки на лечение осуществить не удалось... Ленин продолжал работать. Он хотел отладить деятельность аппарата ЦК, исключив рутину и бюрократизм.

Политбюро заседало в соответствии с ленинским предложением раз в неделю, а текущую работу необходимо было осуществлять ежедневно. Секретариат готовил материалы на заседания Политбюро, организовывал доведение его решений до исполнителей, выполнял поручения членов Политбюро. Секретариат непосредственно не занимался вопросами экономики, обороны, государственного аппарата, просвещения. Он выполнял в значительной мере техническо-исполнительную роль в общем механизме управления партийным аппаратом. Поскольку основные ведомства возглавлялись видными большевиками, не очень уделявшими внимание технической стороне дела, было принято решение одного из членов Политбюро сделать отвечающим за всю работу Секретариата в ранге новой должности Генерального секретаря.

Были ли данные у Сталина занять этот пост? Формально, видимо, были. Судите сами: Сталин с 1898 года — член партии, с 1912 года — член ЦК, входит в бюро ЦК, член Оргбюро и член Политбюро. Единственный из членов Политбюро занимает два государственных поста: нарком по делам национальностей и нарком государственного контроля (РКИ); член коллегии ВЧК — ОГПУ от ЦК, член Революционного военного совета республики, член Совета труда и обороны... Мы назвали еще не все должности И. В. Сталина, на которых он находился к моменту его избрания Генеральным секретарем ЦК.

Бесспорно, вхождение в самые высокие партийные, государственные органы свидетельствовало не только о признании его вклада в дело революционного переустройства общества, но и знание Сталиным механизма политического и государственного управления. Если многие крупные революционеры того времени тяготились или, скажем так, не особенно были склонны к административной работе, то приверженность Сталина к управленческой работе была замечена многими. В целом выдвижение Сталина на новый пост не было воспринято как нечто неожиданное. Большинство руководителей продолжали считать этот пост обычным, организационным. Все так и было, пока был здоров и жив Ленин, пока вопрос о

лидере партии, вожде государства не вставал. В новой роли Сталин для партии, для народа был по-прежнему один из многих, в руководстве же с этого момента все его положительные и отрицательные качества стали видны более рельефно.

Пройдут десятилетия, прежде чем станет возможным описать характер Сталина: этот человек умел прятать свои чувства очень глубоко, даже гнев его видели немногие. Он был способен самые жестокие решения принимать спокойно. В будущем в его окружении это расценят как признак великой мудрости и прозорливости. Разве всем дано сохранять спокойствие средь бесконечной сумятицы мира? Жалость была неведома Сталину. Чувства сыновней любви, к детям, внукам? Едва ли: из восьми своих внуков он видел несколько раз только детей дочери Светланы да дочь и сына Якова, своего первенца. Личная жизнь полностью огорожена, только работа, работа, работа. Решения, совещания, заслушивания, указания, выступления...

Окружающий мир у Сталина был, как у дальтоника, лишь белым или черным, все цвета радуги бесконечно богатого мира втиснуты в ложе: если не соответствует «линии», то все это враждебное. Полутонов он не признавал, любил, по сути, бинарную логику, вращение вокруг двух категорий — «да» и «нет». Категоричность и однозначность. Но жизнь ведь неизмеримо богаче, в ней так много волнующих неопределенностей, туманностей, переходов, игры красок бытия... Сталину это было непонятно. Категоричный, телеграфный стиль записок, речей, докладов. Уже тогда это многим нравилось: человек дела, человек долга. Никаких сентиментальностей, он не любил слово «гуманизм». Но об этом и многом другом никто пока и ничего еще толком не знает. Все видят в ЦК: выше партийной дисциплины, партийного долга и генеральной линии РКП(б) для Сталина ничего не существует.

В течение 1922-го, начала 1923 года, пока Ленина окончательно не лишила возможности писать и диктовать болезнь, им было направлено Сталину несколько десятков записок, проектов документов, писем. Из них видно, что Ленин озабочен организационным и политическим решением ряда вопросов. Совсем не случайно, что через девять (!) месяцев после избрания Сталина на пост генсека Ленин приходит к выводу, что кандидатура является неудачной и ее нужно переместить на другое место. В этом Ленина убедил ряд опрометчивых шагов, сделанных Сталиным на посту генсека еще при его жизни.

Так, например, ошибочным было решение Сталина в поддержку предложения Сокольникова и Бухарина об отмене государственной монополии внешней торговли. В своей записке Сталину Ленин категоричен:

«Т. Сталин!.. Предлагаю опросом членов Политбюро провести директиву: «ЦК подтверждает монополию внешней торговли и постановляет прекратить всюду разработку и подготовку вопроса о слиянии ВСНХ с НКВТ. Секретно подписать всем наркомам» и вернуть оригинал Сталину, копий не снимать.

15. V Ленин».

В сентябре, когда Ленин поправляется после первого тяжелого приступа, Сталин выступил с идеей об «автономизации», то есть об объединении национальных республик через их вступление в РСФСР. Фактически это была линия не на создание Союза Советских Социалистических Республик, а Российской Советской Социалистической Республики, в которую на правах автономии войдут другие национальные образования. Сталин уже успел провести свое предложение через комиссию ЦК, занимавшуюся этим вопросом. Ленин среагировал немедленно в своем письме Каменеву, адресованном для членов Политбюро:

«Т. Каменев! Вы, наверное, получили уже от Сталина резолюцию его комиссии о вхождении независимых республик в РСФСР...

По-моему, вопрос архиважный. Сталин немного имеет устремление торопиться. Надо Вам (Вы когда-то имели намерение заняться этим и даже немного занимались) подумать хорошенько; Зиновьеву тоже».

Пожалуй, никто так часто не бывал у Ленина в Горках во время его болезни, как Сталин. Иногда Владимир Ильич приглашал Сталина для информации о текущих делах сам, часто генсек приезжал по своей инициативе. Во время многочисленных бесед В. И. Ленин подробно расспрашивал о работе аппарата, ходе выполнения партийных решений, интересовался самочувствием товарищей, здоровье которых было плохим,— Дзержинского, Цюрупы, других работников. Известно, например, что Ленин обсуждал и здоровье самого Сталина, побеседовав предварительно по телефону с лечащим врачом Сталина В. А. Обухом.

После опрометчивой идеи Сталина об «автономизации» Ленин приглашает 26 сентября генсека в Горки и около трех часов беседует с ним о путях объединения советских республик. Ленин предлагает принципиально новую основу создания союзного государства: добровольное объединение независимых республик, в том числе и РСФСР, в Союз Советских Социалистических Республик, с сохранением полного равноправия каждой из них. Сталин не спорил с Лениным, быстро принимал его аргументы, хотя, со ссылками на советские источники двадцатых годов, иногда утверждают, что позицию Ленина в национальном вопросе Сталин характеризовал как «либеральную».

Эти частые беседы с генсеком были для Ленина не просто способом получения информации, передачи советов, предложений, но и одновременно учебой руководителя аппарата ЦК, его изучением. Представляется, что Ленин в ходе многочисленных встреч и бесед со Сталиным смог лучше понять сильные и слабые стороны этого человека, оценки и предложения в отношении генсека, сделанные им в конце 1922-го — начале 1923 годов,— результат глубокого анализа и размышлений. Национальный вопрос, попытки решения его Сталиным по-своему открыли для Ленина не только некоторые новые политические грани этой личности, но и прежде всего грани нравственные. Позже, но еще в этом году, в своих записках «К вопросу о национальностях или об «автономизации» В. И. Ленин расценил эту идею как отступление от принципов пролетарского интернационализма. Как бы резюмируя, Ленин обобщает политические и нравственные характеристики генсека:

«Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого «социал-национализма». Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль».

«Достается» в этом письме и Орджоникидзе за «рукоприкладство» во время его поездки на Кавказ с комиссией. Ленин со всей определенностью пишет, что «никакой провокацией, никаким даже оскорблением нельзя оправдать этого русского рукоприкладства и что тов. Дзержинский непоправимо виноват в том, что отнесся к этому рукоприкладству легкомысленно. В этом конфликте Сталин не занял принципиальной позиции, что позволило Ленину публично отметить у генсека не только «торопливость и администраторское увлечение», но и, что особенно важно, «озлобление» при решении политических дел.

Ленин неоднократно возвращался к этому делу, о чем свидетельствует «Дневник дежурных секретарей В. И. Ленина», в котором есть записи Л. А. Фотиевой о том, что Владимир Ильич распорядился о доставке дополнительных материалов по «инциденту». Сталин ответил отказом, ссылаясь на необходимость ограждения больного от ненужных волнений. Но Ленин настойчив. За пять дней до нового обострения болезни, в результате чего Ленин утратит речь, он 5 марта 1923 года пишет записку Троцкому:

«Уважаемый тов. Троцкий!

Я просил бы Вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив».

В этот же день Ленин пишет еще одну записку, на этот раз Сталину. Письмо внешне носит личный характер, но только внешне. Предыстория его такова. В декабре 1922 года В. И. Ленин диктует Н. К. Крупской ряд важнейших для судеб партии писем. После одной из таких диктовок, по-видимому, письма Троцкому по вопросу о монополии внешней торговли, в ночь с 22 на 23 декабря происходит ухудшение в состоянии здоровья Владимира Ильича — наступает паралич правой руки и правой ноги. Об этом докладывают членам Политбюро. Сталин на следующий день в самой грубой, бесцеремонной форме отчитал, отругал

по телефону Надежду Константиновну за «нарушение режима больного вождя». Сделано это было в предельно бестактной, грубой манере. На другой же день, 23 декабря, Надежда Константиновна Крупская, потрясенная бесцеремонностью генсека, пишет Каменеву:

«Лев Борисович, по поводу коротенького письма, написанного мною под диктовку Влад. Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил себе вчера по отношению ко мне грубейшую выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, т. к. знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае лучше Сталина. Я обращаюсь к Вам и к Григорию, как более близким товарищам В. И., и прошу оградить меня от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз. В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности. Н. Крупская». Сталин в соответствии с решением Политбюро оберегал вождя от волнений, но можно предположить, что изоляция Ленина от информации, ограничение его влияния на дела в партии входило в его планы укрепления своего положения в неопределенный период болезни Ленина.

Каменев довел содержание записки Крупской до Сталина. Тот без всяких споров написал письмо с извинениями Надежде Константиновне, объясняя свое поведение исключительно заботой об Ильиче. Насколько здесь был искренен генсек — судить трудно. Ведь нормы морали он исповедовал исключительно прагматично: если было ему выгодно, он мог переступить любую. Как бы то ни было, о выходке Сталина в отношении своей жены Ленин узнал лишь через два месяца от Надежды Константиновны — 5 марта 1923 года. В этом поступке генсека вождь увидел не только личное, а нечто большее.

Итак, вскоре после разговора с женой Ленин вызывает М. А. Володичеву, диктует ей письмо Троцкому, просит передать его по телефону и как можно скорее сообщить ответ, а затем продиктовал письмо И. В. Сталину. Вот его содержание:

«Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения.

С уважением. Ленин. 5-го марта 23 года».

Ленин резок. Никто в партии не знает, что им еще в декабре 1922-го — январе 1923 г. написано «Письмо к съезду», где он дает оценки личным качествам деятелей из ядра партии, предлагает переместить Сталина с поста генсека. Запиской Сталину от 5 марта он лишь дополняет политическую и нравственную картину обстоятельств своего отношения к нему. Ленин окончательно пришел к выводу о том, что моральная ущербность Сталина, нежелательная, но вынужденно терпимая в обиходе между рядовыми товарищами, является абсолютно недопустимой для руководителя. Ленин провидчески усмотрел в нравственных аномалиях сталинского характера опасность для политики, всего дела партийного руководства. К сожалению, в долгие последующие годы моральные характеристики по сравнению с классовыми, политическими вообще стали мало что значить.

Но это не все. На следующий день Ленин диктует свой последний в жизни документ, в котором фигурирует Сталин.

«Тт. Мдивани, Махарадзе и др. Копия — тт. Троцкому и Каменеву. Уважаемые товарищи! Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для Вас записки и речь.

С уважением Ленин. 6-го марта 23 г.».

К великой горечи, ни записок, ни речи Ленин не приготовил. Через четыре дня новый удар лишит его возможности не только писать, но и диктовать. Однако есть все основания предполагать, и об этом говорят последние три записки, продиктованные Лениным 5 и 6 марта, что действия Сталина в отношении грузинского инцидента еще больше убедили Ленина в верности выводов, сделанных в «Письме к съезду». Ленину было нелегко убедиться в том, что выбор, сделанный ЦК в начале апреля 1922 года, оказался глубоко ошибочным. Ошиблись тогда все, в том числе и он, поддержавший предложение Каменева. Однако есть возможность ошибку поправить. Нельзя допускать, чтобы во главе аппарата ЦК стоял человек безнравственный, потенциально опасный для дела. Если Сталин способен на грубость, двуличие, проявление озлобленности в отношении самых близких Ленину людей, то как он поведет себя с остальными? Может быть, и не является случайным ухудшение состояния Ленина именно в эту, первую декаду марта? У нас нет оснований категорически заключать, что «грузинский инцидент» или личная стычка со Сталиным ускорили роковое течение болезни Ленина, но именно в эти мартовские дни мы видим столь драматическое стечение обстоятельств, что такая возможность велика.

Здесь мы добавим лишь, что то, за что боролся Ленин в области национальных отношений, было осуществлено. На Первом съезде Советов, открывшемся 30 декабря 1922 года, было провозглашено образование Союза Советских Социалистических Республик. С докладом, в основу которого были положены идеи письма В. И. Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации» (само ленинское письмо увидело свет лишь через тридцать четыре года), выступил И. В. Сталин. В его выступлении, как и в Декларации об образовании СССР, которую огласил Генеральный секретарь ЦК РКП(б), стержневой была мысль о пролетарском интернационализме, приверженности всех национальностей Союза дружбе, классовой солидарности, верности революционным идеалам. На нынешнем этапе, повторял Сталин ленинские идеи, но уже выдавая их за свои, особая задача нового Союза заключается в ликвидации фактического неравенства наций, унаследованного от прошлого.

Ленин был болен, но смог с исключительной настойчивостью отстоять самое верное решение национального вопроса в огромной стране, населенной более чем ста национальностями.

Многочисленные зарубежные биографы Сталина типа А. Авторханова делают прямое заключение о виновности Сталина в кончине Ленина. Примерно так же считает и Троцкий, утверждая в мемуарах, что только болезнь помешала Ленину «политически разгромить Сталина». Он пишет, что своеволие генсека часто выводило больного вождя из себя, в результате чего болезнь стала прогрессировать. У нас нет конкретных данных о намерении Ленина «разгромить» генсека. Однако сам факт, что после избрания Сталина на эту должность 2 апреля 1922 года, всего через девять месяцев, а именно 4 января 1923 года, Ленин пришел к выводу о необходимости «перемещения» его с поста генсека, говорит о многом. В этом смысле ленинское «Письмо к съезду», известное вместе с другими последними статьями и письмами как его «Завещание», имеет ключевое, методологическое значение для понимания политического и нравственного лица И. В. Сталина.

«Письмо к съезду»

Сегодня мы знаем, что Ленин велик не только потому, что он был мудр, обладал колоссальной духовной мощью и нравственным совершенством, но и был человеком поразительного политического мужества. Стоя у роковой черты, утром 23 декабря он просит врачей разрешить ему (всего в течение пяти минут!) продиктовать несколько строк, ибо его «волнует один вопрос». Он настойчив, он про-

сит. Он требует. Разрешение получено. Ленин начинает диктовать свое знаменитое «Письмо к съезду». То было величайшее мужество мысли.

В минуты, когда никто не мог быть уверен, не возобновится ли приступ, не последует ли новый удар, Ленин думает о будущем. Его письмо было философским напутствием-предостережением. Он чувствовал опасность, боялся, что тот руководитель, кто попытается увидеть себя эпицентром бытия, может погубить дело, которому он сам отдал всю жизнь.

О чем думал гений, готовясь диктовать свои последние статьи и письма? Не о том ли, что, вопреки ожиданиям и прогнозам, пожар Октября не перекинулся на другие страны Европы, не получилось и «революционного прорыва на восток»? И теперь России, не ставшей детонатором мировой революции, предстоит утвердить, защитить себя в национальных границах? А может быть, о том, что только теперь, когда большевики держат власть в руках, во всей гигантской сложности перед ними предстала бездна труднейших проблем? Может быть, он думал и об этом. А может, вспомнил слова патриарха русских социал-демократов Г. В. Плеханова, с которыми тот обратился к Ленину:

— В новизне твоей мне старина слышится!

— Почему?

— Время плебейской революции не пришло...

Да, отпал от революции Плеханов. Но, пожалуй, остался в истории научного социализма рядом с Каутским, Лафаргом, Гедом, Бебелем, Либкнехтом. Остался навсегда.

А может, в ту минуту ему вспомнился Мартов (Ю. О. Цедербаум)? Когда-то за рубежом говорили о «троице»: Ленин, Потресов, Мартов. За убийственно скучными речами Мартова скрывался тонкий, даже изящный ум, способный «расчленить» все, что сказал противник, и использовать абсолютно каждый промах и каждый мельчайший уклон. Пожалуй, он был певцом философского импрессионизма, испытывавшим удовольствие от бесконечной перемены своих взглядов. Это был тот случай, когда утонченность личной культуры не опиралась на прочные социальные, мировоззренческие устои. В последний раз о союзе с Мартовым Ленин думал в июне 1927-го. Но тот, вечно клонящийся вправо, как писал А. Луначарский, «сам решил свою судьбу: быть непризнанным ни в сех, ни в тех и вечно прозябать в качестве более или менее кусательной, более или менее благородной, но всегда бессильной оппозиции». Так ведь и остался блестящий марксист на задворках революции! Почти два года назад на заседании ЦК в длинном перечне вопросов, подлежащих обсуждению, Ленин увидел и такой:

«10. Письмо ЦК РСДРП в Совет Народных Комиссаров о разрешении выехать за границу Мартову и Абрамовичу...

Решили: ходатайство ЦК РСДРП — удовлетворить».

Бежал в чужие веси. Возможно, Троцкий прав, дав еще в апреле 1922 года меткую и убийственную характеристику Мартову в своем восьмом томе сочинений «Политические силуэты». Как всегда категорично, но не без интеллектуального изящества Троцкий писал: «Мартов несомненно является одной из самых трагических фигур революционного движения. Даровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум. Прошедший марксистскую школу, Мартов войдет тем не менее в историю рабочей революции крупнейшим минусом. Его мысли не хватало мужества, его проницательности недоставало воли. Это погубило его. Лишенная волевой пружины мысль Мартова всю силу своего анализа направляла неизменно на то, чтобы теоретически оправдать линию наименьшего сопротивления. Вряд ли есть и вряд ли когда-нибудь будет другой социалистический политик, который с таким талантом эксплуатировал бы марксизм для оправдания уклонений от него и прямых измен ему. В этом отношении Мартов может быть без всякой иронии назван виртуозом... Необыкновенная, чисто кошачья цепкость — воля безволия, упорство нерешительности — позволяла ему месяцами и годами держаться в самых противоречивых и безвыходных положениях».

Но у революции есть не только задворки, есть и авангард, передовая линия, есть «штаб». О нем сейчас речь. В ЦК, в Политбюро тревожно, нужны изменения, необходимо единство, надо утверждать демократические начала в работе ЦК.

Его мнение уважаемо, он должен его высказать. Ленин еще раз требует, чтобы ему разрешили диктовать. Его план грандиозен: он не только намерен сказать о путях укрепления руководства партией, но и продиктовать свое видение путей строительства социалистического общества.

Судьба последних ленинских работ драматична. Значительная их часть была скрыта от партии, окутана саваном сталинской тайны. Исключительно глубокие работы «О придании законодательных функций Госплану», «К вопросу о национальностях или об «автономизации», «Письмо к съезду», некоторые другие ленинские добавления увидели свет лишь после XX съезда партии. Статью «Как нам реорганизовать Рабкрин» хотели вначале отпечатать лишь в... одном экземпляре, чтобы показать Ленину. Но и опубликовав ее (с купюрами), Политбюро и Оргбюро направили специальное письмо в губкомы, где говорилось, что это-де страница из дневника больного Ленина, которому разрешили в силу невыносимости умственной бездеятельности писать. Эту бестактность подписали Андреев, Бухарин, Куйбышев, Молотов, Рыков, Сталин, Томский, Троцкий 27 января 1923 года.

Ленинский поиск, основанный на понимании опасностей авторитаризма, не был понятен Сталину. Ленин стоял настолько выше своих соратников в интеллектуальном отношении, что довольно часто его голос словно не доходил до их сознания.

Главная идея, прослеживающаяся во всех этих работах, глубоко оптимистична: у социализма в России есть будущее. Все кардинальные вопросы — индустриализации, переустройства сельского хозяйства на кооперативных началах, превращения культуры во всенародное достояние, вопросы создания партийного и государственного механизма управления — рассматриваются через призму осуществления подлинного народовластия, непременной демократизации всех сторон жизни общества. Изложенные контуры плана созидания нового общества требовали людей, которые могли бороться за его реализацию; сейчас для Ленина это было главным.

Внимательное изучение последних писем, заметок, статей Ленина дает основание говорить о том, что он раньше других увидел опасность авторитарного правления. А. Грамши, рассуждая об истоках цезаризма, высказал однажды интересную мысль о том, что, когда противоборствующие силы истощают друг друга, может вторгнуться третья сила, которая подчинит себе соперничающие стороны. Но, думается, речь здесь должна идти не только и не столько о конкретных группировках людей, а прежде всего об основных социальных силах страны. Они, эти силы, представлялись рабочим классом, крестьянством и партией, а точнее, как говорил Ленин, «громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией». Строить социализм можно было лишь на основе мудрого компромисса, предложенного Лениным,— нэпа и постепенной кооперации деревни. Любой другой путь вел к столкновению с крестьянством, утверждению тоталитарных методов правления, а тоталитарности всегда нужны цезари. Сталин, как и некоторые другие лидеры из окружения Ленина, не смог понять ленинских слов, что «наша партия, маленькая группа людей по сравнению со всем населением страны.., а поэтому нэп становится главным условием движения к социализму».

Большевики — это продукт городского пролетариата. Союз с крестьянством, если и не мог тогда быть еще равноправным, должен был исходить из возможности крестьянина владеть землей и вести свободную торговлю. Приблизить крестьянина к социализму, как провидчески узрел Ленин, могла только добровольная кооперация, а сцементировать союз двух сил можно было с помощью нэпа. Даже в «тончайшем слое» партии не все поняли глубину замыслов вождя и величину тех опасностей, которые могли ждать народ на любом ином пути. Другой путь не мог обойтись без насилия, прямого движения к авторитаризму и цезаризму.

Ленин, будучи очень больным, спешил. Судьба могла и не дать ему времени для размышлений о грядущем. Ленин настаивал, просил. Утром 24 декабря Сталин, Каменев и Бухарин обсудили ситуацию: они не имеют права заставить мол-

чать вождя. Но нужны осторожность, предусмотрительность, максимальный покой. Принимается решение:

«1. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5—10 минут, но это не должно носить характера переписки и на эти записки Владимир Ильич не должен ждать ответа. Свидания запрещаются.

2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений».

Во время болезни у Ленина находились дежурные секретари. Он диктовал записки в Политбюро, просил передать что-либо по телефону товарищам, запрашивал различные данные, материалы, документы. Обычно по очереди у него бывали Н. С. Аллилуева (жена Сталина), М. А. Володичева, М. И. Гляссер, Ш. М. Манучарьянц, Л. А. Фотиева, С. А. Флаксерман. 23 декабря, когда Ленин начал диктовать «Письмо к съезду», дежурила М. А. Володичева. Ее запись в дневнике лаконична:

«В продолжение 4-х минут диктовал. Чувствовал себя плохо. Были врачи. Перед тем, как начать диктовать, сказал: «Я хочу Вам продиктовать письмо к съезду. Запишите!». Продиктовал быстро, но болезненное состояние его чувствовалось».

Глядя в окно, за скрытые заснеженными деревьями дали, Ленин произносит:

— Письмо к съезду...

Ведь в апреле следующего года должен состояться очередной, XII съезд партии. Если он не поднимется к его началу, пусть прочтут его письмо делегатам. Фразы отточены, продуманы. Ведь они давно выношены.

«Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе».

Ленин категоричен. При первом чтении «спотыкаешься» — речь идет об изменениях в «политическом строе». Но уже через несколько строк начинаешь понимать, что Ленин ведет разговор о самом насущном: демократии в партии, народовластии в обществе, путях их достижения. Великий мыслитель прозорливо увидел в демократизме важнейший рычаг, средство, наконец, способ существования нового строя.

«Мне хочется поделиться с вами теми соображениями, которые я считаю наиболее важными.

В первую голову я ставлю увеличение числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни. Мне думается, что нашему Центральному Комитету грозили бы большие опасности на случай, если бы течение событий не было бы вполне благоприятно для нас (а на это мы рассчитывать не можем),— если бы мы не предприняли такой реформы.

...Мне думается, что 50—100 членов ЦК наша партия вправе требовать от рабочего класса и может получить от него без чрезмерного напряжения его сил.

...Такая реформа значительно увеличила бы прочность нашей партии и облегчила бы для нее борьбу среди враждебных государств, которая, по моему мнению, может и должна сильно обостриться в ближайшие годы. Мне думается, что устойчивость нашей партии благодаря такой мере выиграла бы тысячу раз».

Ленин.

23.XII.22 г.

Записано М. В.».

Первый шаг на пути подлинной демократизации всех сторон жизни партии и государства, по мысли Ленина,— шире представить в штабе партии главную силу революции — рабочих. Надо увеличить состав ЦК в два-три раза. Шире представительство — полнее обновление, ближе к массам, меньше возможность непомерного влияния конфликтов малых групп на судьбы всей партии. И еще. Ленин предупреждает: международная обстановка в ближайшем обозримом будущем обострится, надо спешить!

К сожалению, часто, слишком часто Ленин не был полностью понят его соратниками, о чем мы уже говорили. Но это, пожалуй, не вина ленинского окружения, а его беда. То, что видел Ленин, не видели соратники. В последний раз

он не будет понят и поддержан и после своей смерти: многие его предостережения будут недооценены. Раньше, даже когда Ленин оставался в меньшинстве, силы его аргументов, страсти и воли было достаточно, чтобы повести за собой верным путем весь революционный караван. Теперь этого не будет, и он никогда не узнает о том, что его последняя воля в отношении Сталина не будет исполнена.

24 декабря 1922 года.

«Я имею в виду устойчивость, как гарантию от раскола на ближайшее время, и намерен разобрать здесь ряд соображений чисто личного свойства.

Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мнению, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50, до 100 человек».

До сих пор некоторые исследователи недооценивают политический вес Троцкого в то время. «Большая половина опасности» — это отношения между Троцким и Сталиным. Ленин видел, что Троцкий был более популярен, чем генсек, но уже убедился, какой хваткой обладает последний. Натянутые отношения этих центральных теперь фигур грозят вылиться в конфликт, который может расколоть партию.

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».

В чем заключалась «необъятная» власть генсека? На его плечи легло решение всех текущих вопросов, часто жизненно важных для партии. Но главное, в чем проявлялась эта власть,— в подборе, выдвижении партийных кадров в центре и на местах. Тысячи работников... Вначале политические возможности, связанные с расстановкой *нужных* партработников, не всеми были замечены. К тому же Сталин в ряде случаев аппарат отождествлял с партией. Ленин разглядел это раньше других.

«С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела...»

Ленин мог вспомнить бойкий доклад Троцкого о Красной Армии на последнем съезде. В конце своего не очень глубокого анализа Троцкий вместо обобщающих выводов о путях совершенствования военного строительства заговорил об «элементарном военно-культурном воспитании солдат». Под общее оживление зала Троцкий провозгласил: «Давайте добьемся, чтобы у солдат не было вшей. Это — огромная важнейшая задача воспитания, ибо тут нужно настойчивостью, неутомимостью, твердостью, примером, повторением освободить массы людей от неопрятности, в которой они выросли и которая в них въелась. А ведь солдат с вошью — не солдат, а полсолдата... А неграмотность? Это — духовная вшивость. Мы должны ее ликвидировать, наверно, к 1-му мая, а затем продолжать эту работу с неослабным напряжением». Ленину понравилось выражение: «неграмотность — это духовная вшивость». Как часто в Троцком публицист брал верх над политиком, самолюбование над здравым смыслом, стремление нравиться окружающим над элементарной скромностью! Нет, со Сталиным они не уживутся. То, что он сказал о Сталине, а затем о Троцком, говорит определенно об их полярности...

«Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он так же мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому.

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей пар-

тии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)».

В дневнике дежурных секретарей М. А. Володичева после ленинской диктовки записала: «На следующий день (24 декабря) в промежутке от 6 до 8-ми Владимир Ильич опять вызывал. Предупредил о том, что продиктованное вчера (23 декабря) и сегодня (24 декабря) является абсолютно секретным. Подчеркнул это не один раз. Потребовал все, что он диктует, хранить в особом месте под особой ответственностью и считать категорически секретным...» К сожалению, Фотиева, работавшая заведующей Секретариатом Совнаркома и также записывавшая диктовки Ленина, проинформировала Сталина (как и некоторых членов Политбюро) о записях в декабре. Поэтому полностью неожиданным «Письмо» Ленина для руководства партии уже не было.

На следующий день В. И. Ленин продолжал диктовать свой уникальный документ, который захватит воображение миллионов, но... спустя многие годы.

«25.XII. Затем Пятаков — человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе...

25.XII.22 г. Ленин.

Записано М. В.»

«26 декабря Ленин продолжал диктовать «Письмо к съезду», развивая идею расширения внутрипартийной демократии. В этом он видел залог улучшения работы и государственного аппарата. А он у нас, писал Ленин, «в сущности, унаследован от старого режима, ибо переделать его в такой короткий срок, особенно при войне, при голоде и т. п., было совершенно невозможно». При этом Ленин делает важное добавление, что расширение ЦК должно осуществиться не только за счет рабочих, но и крестьян. Владимир Ильич считает необходимым их присутствие и на заседаниях Политбюро. Однако, диктуя эти идеи, он по-прежнему возвращается к конкретным лицам.

Дав исчерпывающую в своем лаконизме характеристику ядру ЦК, Ленин продолжал размышлять над вопросом: кто может стать лидером в случае его ухода? Ему во всей ясности предстало, что пост генсека в его отсутствие становится решающим, с «необъятной властью». Он — признанный вождь «де-факто», не в силу должностей, а в результате интеллектуальных и моральных данных. Болезнь властно отстранила его от непосредственного управления Центральным Комитетом, и автоматически на первые позиции выходил один из членов Политбюро. Сталин не только член Политбюро, но и генсек, ведающий всей работой Секретариата, текущей работой. Становилось ясно, что в случае непоправимого (а Ленин это вполне допускал, иначе не стал бы готовить «Завещание») Сталин попытается закрепить свое положение потенциального лидера. Но этого же может добиваться и Троцкий. Будет борьба, возможен раскол. Нужен еще более конкретный совет-предостережение. И спустя несколько дней, уже в январе 1923 года, В. И. Ленин диктует судьбоносной важности добавление к письму от 24 декабря 1922 года:

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение.

4 января 1923 г.

Ленин».

Знаменитое добавление. Полная определенность в главном: Сталина нужно переместить с поста генсека на другое место. К нему, Сталину, нет крупных политических претензий. Он, пожалуй, верен большой идее. Правда, понимает, похоже, ее не так, как надо бы. В то же время Сталин не «виляет», как Троцкий, его политическое реноме пока не запятнано. Но с политикой всегда рука об руку идет мораль. Если здесь нет гармонии, то родится либо политиканство, либо диктаторство. История Парижской коммуны дает богатую пищу для размышлений. В ленинском добавлении — глубокая озабоченность будущим, но нет личной неприязни. Ленин умел подниматься выше ее. «В отношении его к противникам,— писал А. Луначарский,— не чувствовалось никакого озлобления, но тем не менее он был жестоким политическим противником... В политической борьбе пускал в ход всякое оружие, кроме грязного».

У Сталина Ленин заметил зловещие моральные аномалии, но опасен и Троцкий. И главное не только в том, что это чрезмерно самоуверенный человек. К нему нет полного доверия в политическом плане — долгий «небольшевизм» Троцкого не мог пройти бесследно. Амбициозность последнего известна всей партии, политическая неразборчивость уже не раз приводила Троцкого к противопоставлению всему ЦК. Бонапартистские амбиции Троцкого так сильны, что он счел обидным и неприемлемым для себя принять предложение, сделанное ему в сентябре 1922 года, занять пост заместителя председателя Совнаркома, заместителя Ленина. Троцкий рассчитывал на особое положение. Как писал биограф Троцкого И. Дейчер, «реализация ленинского завещания о перемещении Сталина с неизбежностью привела бы Троцкого на пост руководителя партии. Он, Троцкий, был в этом уверен».

Обжигающие в своей откровенности и прямоте оценки Ленина «двух выдающихся вождей» — непреходящий пример партийной принципиальности. К слову сказать, товарищеская прямота всегда была характернейшим качеством настоящих коммунистов, ее не смогли полностью ликвидировать и годы культа личности. Вот лишь пример из 42-го года, далеко отстоящего от событий, которые мы на этих страницах рассматриваем.

Полковой комиссар ПУРККА Верхорубов, выезжая в объединения на фронты, по существовавшей тогда практике, после завершения работы писал краткие характеристики на политработников, чью работу он проверял. Вот что содержит его отзыв о начальнике политотдела дивизионном комиссаре Л. И. Брежневе, сохранившийся в личном деле политработника, будущего генсека. В первой части характеристики говорится о преданности комиссара идеям партии Ленина — Сталина, о готовности выполнить свой долг. А далее следуют несколько фраз такого содержания: «Черновой работы чурается. Военные знания т. Брежнева — весьма слабые. Многие вопросы решает как хозяйственник, а не как политработник. К людям относится не одинаково ровно, склонен иметь любимчиков». Всего несколько фраз, но читатель сам имеет возможность судить об объективности или субъективности вывода полкового комиссара.

Возвращаясь после этого отступления, заметим, что Ленин, предлагая переместить Сталина с поста генсека, не отвечает на вопрос: кого назначить вместо него? И в этом, на наш взгляд,— большая мудрость вождя. Указание конкретной фамилии «принца» походило бы на буквальное «наследование». Владимир Ильич верит в мудрость партии, ее ЦК, способных в своем составе, а не только в ядре, о котором упоминал Сталин на XII съезде, найти достойного преемника. Думаю, после состоявшейся партии бессмысленны перестановки на шахматной доске истории возможных альтернативных фигур. Уверен, что Ленин, охарактеризовав наиболее известных политических деятелей в своем «Письме», дал понять, что ни один из них не подходит на роль лидера партии. Ни один! Это ясно из текста его завещания, как ясно и то, что он не предлагает искать этого лидера и среди других руководителей. Вероятно, Ленин предполагал, что тончайший слой «старой гвардии» должен, обязан, способен выступить коллективным вождем. Этот коллективный «вождь», создав, сформулировав правовые, политические и нравственные гарантии, предохраняющие возможность

отторжения власти в пользу одного лица, мог избрать на первую роль любого из одного-двух десятков известных политических деятелей. Тогда не имело бы решающего значения, очень талантлив или менее талантлив выдвинутый руководитель. «Работала» бы прежде всего демократическая система, которая поддерживала бы в соответствии с конституционными и партийными нормами только то, что соответствует интересам народа, государства, партии. Только в этом случае можно обеспечить интересы общества, а не аппарата.

Сталин же смог с помощью именно «старой гвардии» создать не демократическую, а бюрократическую систему. До сих пор никто не может дать удовлетворительного ответа, почему это произошло, почему Сталин «неожиданно» для всех оказался на вершине пирамиды власти. Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить историю России с ее самодержавными традициями, надо представить тот низкий уровень политической культуры народа и партии, отсутствие демократических традиций в новом обществе, однопартийность, которая предъявляет особо высокие требования к социальной зрелости масс, отсутствие правовых гарантий от злоупотреблений властью, особенность классовой структуры в СССР.

В ряду этих причин есть еще одна тайна «неуязвимости» Сталина, которая оказалась в личностном плане решающей: он узурпировал право представлять, толковать, комментировать идеи Ленина. В конце концов его систематическая «защита» ленинизма создала устойчивое представление у миллионов людей, что рядом с вождем всегда был Сталин, его соратник, ученик, продолжатель. Феномен Сталина — это феномен социальный, исторический, духовный, нравственный, психологический. Ленин, готовя «Завещание», как бы чувствовал возможность с помощью «необъятной власти» генсека так трансформировать нарождающуюся систему, что она станет олицетворением тоталитарной бюрократии.

Ленин, обдумывая «Письмо к съезду», конечно же, знал о послании Маркса Кугельману, в котором Маркс отмечал, что революционное развитие в сильной степени зависит от многих случайностей, «среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения». Те, кто не отвечает требованиям исторического момента, должны уступить дорогу другим. Ведь Энгельс в своих неопубликованных письмах, изданных в 1922 году как его «Политическое завещание», отмечал: «Пролетариат в своем движении неизбежно проходит через различные ступени развития, оставляя на каждой ступени часть людей, которые дальше не идут». Ленину было ясно, что Сталин дальше идти в руководящем ядре партии не должен. Значимость ленинского предостережения в полной мере может быть понята лишь на фоне грядущих «триумфов» вождя и трагедии народа.

За два месяца до XII съезда состоялся Пленум ЦК. На нем были рассмотрены тезисы о реорганизации и улучшении центральных учреждений партии, составленные на основе ленинской статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин» (идеи этой статьи были продолжены и развиты Лениным в другой статье - «Лучше меньше, да лучше»). Исходя из пожеланий Владимира Ильича, было решено организационный вопрос рассмотреть особым пунктом повестки дня съезда. В тезисах указывалось, что целесообразно увеличить состав ЦК с 27 до 40 членов, ввести регулярную подотчетность Политбюро Пленумам ЦК. Предполагалось, чтобы три постоянных представителя ЦКК присутствовали на заседаниях Политбюро. Эта группа представителей, писал в своей статье Владимир Ильич, должна будет следить, невзирая на лица, «за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека (разрядка моя.— **Д. В.**), ни кого-либо из других членов ЦК, не мог помешать им сделать запрос, проверить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и строжайшей правильности дел».

Ленин считал, что, кроме контроля съезда над выборным руководящим органом, надо, чтобы в промежутках между форумами коммунистов специальная комиссия контролировала работу ЦК, Политбюро. Пленум в основном согласился с ленинскими выводами и признал необходимым расширить состав Центральной Контрольной Комиссии, установить самую тесную связь между органами государственного и партийного контроля. Кто мог тогда знать, что в скором времени роль ЦКК будет низведена до малозначащих регистраций партийных дел наверху, а затем и вообще упразднена?

Хотя Сталин был генсеком уже около года, его положение внешне ничем не выделялось. Когда участники Пленума ЦК стали рассматривать представленные Сталиным тезисы доклада «Национальные моменты в партийном и государственном строительстве», они подвергли их серьезной критике. Пленум, правда, принял тезисы за основу, но в постановлении высказал длинный ряд принципиальных замечаний. Было решено после доработки показать тезисы Ленину. Текст их, подготовленный самим Сталиным, подтвердил, что и в вопросе, где генсек считался «специалистом», у него много пробелов. Для окончательной доработки тезисов Пленум создал комиссию в составе Сталина, Раковского, Рудзутака.

На Пленуме непримиримую позицию занял Троцкий. По его словам, расширение состава ЦК лишит его «необходимой оформленности и устойчивости» и в конечном счете «грозит нанести чрезвычайный ущерб точности и правильности работ ЦК». Он выдвинул идею создать «Совет партии» из двух-трех десятков выборных лиц. Этот орган, по мысли Троцкого, давал бы директивы ЦК и контролировал его работу. Фактически Троцкий, этот демон революции, предлагал «двоевластие», «двоецентрие» в партии. Пленум ЦК без долгих дискуссий отверг эти предложения. Сегодня мы знаем, что XII съезд поддержал предложение Ленина и создал объединенный орган ЦКК — РКИ. Так, документы ленинского «Завещания» начали работать уже при его жизни, правда, далеко не все.

Известно, что «Письмо к съезду» было перепечатано в пяти экземплярах, они были положены в запечатанные конверты: один — для секретариата Ленина, три экземпляра — для Надежды Константиновны и пятый — для Владимира Ильича. Ленин сказал, чтобы стенографистка М. А. Володичева написала на конвертах: «Вскрыть может только Ленин, а после его смерти — Крупская». Слова «после его смерти» Володичева не решилась отпечатать. Лишь первая часть письма (об увеличении состава ЦК) была передана Сталину. Предложение об увеличении численности Центрального Комитета было доложено съезду как одно из положений доклада Сталина «По организационному отчету ЦК», однако авторство Ленина не упоминалось. Ленин был жив, и конверты с его «Завещанием» не вскрывались. Делегаты съезда единогласно (только его одного!) избрали Ленина в состав нового ЦК и послали теплое приветствие вождю. Председательствующий на заседании съезда Л. Б. Каменев зачитал его под бурные аплодисменты:

«От глубины сердца партии, пролетариата, всех трудящихся съезд посылает своему вождю, гению пролетарской мысли и революционного действия, привет и слова горячей любви Ильичу, который и в эти дни тяжелой болезни и длительного отсутствия не менее, чем всегда, сплачивает съезд и всю партию своей личностью.

Более чем когда-либо партия сознает свою ответственность перед пролетариатом и историей. Более чем когда-либо она хочет быть и будет достойной своего знамени и своего вождя. Она твердо верит, что недалек день, когда кормчий вернется к кормилу.

Съезд посылает свое товарищеское и братское сочувствие Надежде Константиновне, жене-соратнице, и Марии Ильиничне, сестре-другу Ильича, и просит их помнить, что все тяжкие тревоги переживаются вместе с ними изо дня в день той великой семьей, которая называется РКП».

Хотелось только добавить, что в будущем будут приниматься тысячи, а может, и миллионы приветственных писем Сталину, Хрущеву, Брежневу, другим руководителям, писем, безликих в своей бюрократической штампованности. Письмо Ленину и его близким волнует искренностью, человечностью, идущими от самого сердца.

В марте 1923 года новый страшный удар потряс Ленина. Его возможности влиять на положение в партии отныне могли быть реализованы лишь его именем,

идеями и авторитетом. Непосредственно вмешаться в реализацию своего «Завещания» Владимир Ильич уже не мог. Вопрос о будущем лидере партии встал во весь рост.

Сталин или Троцкий?

Среди историков недостаточно четко выяснен вопрос: к какому съезду готовил Ленин свое «Завещание»? Мы помним, что оно начинается словами: «Я советовал бы очень предпринять на э т о м (разрядка моя.— **Д. В.**) съезде ряд перемен...» Можно предположить, что к XII съезду, хотя прямо на это нигде не указано. С другой стороны, есть свидетельства, что Ленин завещал вскрыть конверты с «Письмом к съезду» лишь после его смерти. Возможно, оно адресовалось и XII, и XIII съездам. Поскольку на XII съезде партии вопрос о генсеке не поднимался, он с новой силой встал перед ЦК после мартовского приступа болезни Ленина, в результате которого он потерял фактически возможность активно общаться.

С этого времени Сталин, продолжая исполнять обязанности генсека, предпринял целый ряд мер по упрочению своего положения. Авторитет его в определенной мере укрепился после XII съезда партии, на котором он выступил с организационным отчетом ЦК и по вопросу «О национальных моментах в партийном и государственном строительстве», а также с заключениями по этим докладам. Пожалуй, он больше всех был на виду у делегатов съезда. В доклады ЦК Сталин привнес немало личных моментов и прежде всего ярко выраженный схематизм. Он всегда любил все раскладывать «по полочкам», а это обычно производит впечатление, поскольку усиливает ясность, четкость, определенность идеи. Так, именно он ввел в оборот идею об «аппаратах» и «приводных ремнях», соединяющих партию с классом. «Первым, основным приводным ремнем» он назвал профсоюзы, где теперь, по его словам, «у нас сильных противников нет». Второй «ремень» — кооперативы: потребительские, сельскохозяйственные. Но здесь, признал Сталин, «мы все еще не в силах высвободить первичные кооперативы из под влияния враждебных нам сил», имея в виду кулака. Третьим «приводным ремнем», по мнению докладчика, являются союзы молодежи. Атаки противника в этой области особенно настойчивы. Сталин все перечисляет эти «ремни»: женское движение, школа, армия, печать. При этом старается давать им всем по-своему крылатые выражения: печать — «язык партии», армия — «сборный пункт рабочих и крестьян» и т. д. Очень характерно, что генсек в своем докладе очень мало говорит собственно о с о д е р ж а н и и работы этих «приводных ремней», но зато особо много — о том, какие враждебные силы здесь нам противостоят. Классовая борьба еще продолжалась, но теперь уже больше в скрытых, неявных формах, однако Сталин жил борьбой, схватками, противоборством с явными и мнимыми противниками...

Еще несколько лет назад, в бурные дни Октября, годы войны он не мог и предположить, что обстоятельства могут сложиться таким образом, что он сможет реально претендовать на самые высшие посты в партии и государстве. Судьба причудлива. Человек, у которого не было ни образования, ни профессии, ни морального обаяния или вулканической энергии революционера, неожиданно для всех оказался у самых вершин пирамиды власти. Вот здесь-то он и показал потенциальным соперникам, что тонкий расчет, помноженный на умелое манипулирование аппаратом, значит немало.

Скажем к слову, что нынешние оппоненты Сталина часто атакуют его за сокрытие истинного положения дел в стране. До начала тридцатых годов этого не было — ленинская традиция гласности умерла не сразу, в этом можно убедиться, взяв в руки общедоступные партийные документы, газеты тех лет. Так, в докладе на XII съезде партии Сталин с горечью говорил о голоде 1922 года, его последствиях, «ужасающей депрессии промышленности», распылении рабочего класса и других горьких вещах. Что было, то было.

После мартовского приступа болезни у В. И. Ленина Сталин стал проявлять повышенную активность, все больше ограничивая свои советы с Зиновьевым, Каменевым, реже говорил с Бухариным и крайне мало с Троцким. Постепенно политический авторитет Сталина в партии стал медленно, но неуклонно расти, что прежде всего выразилось в усилении влияния генсека в Политбюро. Этого он добился путем усиления изоляции Троцкого, чего, в свою очередь, нельзя было осуществить без поддержки Зиновьева и Каменева.

Как рассказывал мне Алексей Павлович Балашов, старый большевик, работник секретариата Сталина, возник так называемый «обруч». «Однажды на Политбюро вспыхнула перепалка между Зиновьевым и Троцким. Поддержали все точку зрения Зиновьева, который бросил Троцкому: «Разве вы не видите, что вы в обруче? Ваши фокусы не пройдут, вы в меньшинстве, единственном числе». Троцкий был взбешен, но Бухарин постарался все сгладить. «Часто бывало,— продолжал А. П. Балашов,— когда до заседания Политбюро или какого-то совещания у Сталина предварительно встречались Каменев и Зиновьев, видимо, согласуя свою позицию. Мы в секретариате между собой эти встречи «троицы» у Сталина так и называли — «обруч». В двадцатые годы у Сталина было всегда по два-три помощника. В разные годы это были Назаретян, Каннер, Двинский, Мехлис, Бажанов... Все они знали резко отрицательное отношение Сталина к Троцкому и действовали в аппарате соответственно». Постепенно оттеснить Троцкого, популярность которого после гражданской войны стала падать, от реальной власти активно помогали Зиновьев и Каменев, вынашивавшие сами весьма честолюбивые планы, особенно первый.

Сталину привлечь «дуэт» на свою сторону удалось без особого труда, ибо и тот и другой больше опасались Троцкого, чем Сталина. Поэтому, когда 8 октября 1923 года Троцкий направил письмо членам ЦК, содержавшее резкую критику партийного руководства, Сталин не преминул этим воспользоваться, тем более что объективно он во многом был прав, выступая против домогательств своего политического оппонента.

Троцкого поддержала группа большевиков, подписавших так называемую «платформу 46-ти». Среди них находились и такие известные в партии люди, как Преображенский, Пятаков, Косиор, Осинский, Сапронов, Рафаил и другие. В качестве главного упрека ЦК Троцкий выдвигал тезис: «Партия не имеет плана дальнейшего движения вперед». Вновь повторяет свои идеи «о жесткой концентрации промышленности», предусматривавшей закрытие ряда крупных заводов, «ужесточении политики в отношении крестьянства», вновь настаивает на политике «милитаризации труда». На этом стоит остановиться подробнее.

Еще на IX съезде РКП(б) в своей речи Троцкий провозгласил, что «когда мы подходим к вопросу о строительстве общественного хозяйства на основах коммунизма, то мы сразу упираемся в вопрос о милитаризации. Милитаризация теперь является тем более необходимой, что мы перешли к широкой мобилизации крестьянских масс, формируя из нее части, которые по своему типу приближаются к воинским частям. То же относится и к любым трудящимся массам. Рабочая масса при едином трудовом хозяйстве должна быть перебрасываема, назначаема, командируема точно так же, как солдаты. Это и есть основа милитаризации труда, и без этого ни о какой промышленности на новых основах в условиях разрухи и голода мы серьезно говорить не можем». Спустя три года Троцкий считает, что идея применения военных методов в промышленности и сельском хозяйстве не утратила своего значения. Будучи певцом «казарменного коммунизма», Троцкий часто противоречил себе: с одной стороны, любил говорить об отсутствии демократии в партии, с другой — настаивал на использовании методов милитаризации как универсальных в переходный период. Так или иначе затеянная Троцким осенью 1923 года дискуссия по экономическим вопросам в условиях, когда Ленин был тяжело болен, имела целью скомпрометировать не только политику ЦК по этим вопросам, но и прежде всего Сталина на посту генсека.

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК РКП(б) осудил действия оппозиции Троцкого. За него проголосовало лишь два человека из 114-ти, участвовавших в заседании. Фактически еще до начала борьбы за место лидера в партии Троцкий оказался в одиночестве, его поражение было полное. Тогда он пытается опереться на

армию, где еще имел немалый авторитет. С помощью начальника ПУРа Антонова-Овсеенко, своего давнего сторонника, он намеревался использовать вооруженные силы для выражения несогласия с линией ЦК. Однако коммунисты армии и флота не поддержали Троцкого, за небольшим исключением. Итоги дискуссии подвела XIII партконференция, не только осудившая инакодумцев, но и принявшая ряд важных решений в области экономической политики. Впоследствии Троцкий фактически признавал, что атаки на ЦК, дискуссии, затеваемые им, имели для него цель стать лидером РКП(б). Однако бросается в глаза, что каждую свою дискуссию Троцкий начинал в крайне невыгодный для себя момент, фактически заранее зная, что его ждет поражение.

Очень символично, что именно в тот момент, когда Троцкий разжег в октябре 1923 года междоусобный костер борьбы в партии, Ленин последний раз посетил Москву. Как будто чувствуя, что его наихудшие опасения в отношении раскола в руководстве партии могут стать реальностью, вождь вопреки воле врачей 18 октября приезжает на автомобиле в столицу. Глядя на здание ЦК, Совнаркома, Ленин, вероятно, думал, что октябрьский выпад Троцкого — это новый этап борьбы за лидерство в партии. Почему у людей бывают такими сильными личные амбиции? Что питает их властолюбие? Почему здесь, в Москве, они не поймут, что революции надо выжить? А выжить можно, лишь уняв цезаристские мотивы. На следующий день его внимательный взор последний раз окинет площадь и соборы Кремля, улицы Москвы, павильоны Сельхозвыставки. Вернувшись в Кремль, Ленин отберет для себя книги из библиотеки и поедет назад в Горки. Встреч с соратниками не было. Его безмолвное и полутайное посещение Москвы, Кремля было как бы прощанием со всем тем, что связывало Ленина с этим беспокойным и смятенным миром...

Каково политическое лицо Троцкого, человека, претендовавшего после смерти Ленина на самую первую роль? Известно, что со II съезда партии он примкнул к меньшевикам. После февраля 1917 года Троцкий в составе так называемых «межрайонцев» на VI съезде партии был принят в ее ряды и сразу же избран в состав ЦК. В период Октября, будучи председателем Петроградского Совета, Троцкий проделал большую работу. Это отмечал и Сталин. В своей речи «Троцкизм или ленинизм?» он говорил: «Я далек от того, чтобы отрицать несомненно важную роль тов. Троцкого в восстании... Да, это верно, Троцкий хорошо дрался в Октябре. Но в период Октября хорошо дрался не только тов. Троцкий...»

Действительно, Троцкий в революции, гражданской войне быстро завоевал себе большую популярность благодаря незаурядным ораторским качествам, мастерству публициста. Известна высокая оценка Троцкого и Лениным в сентябре 1917 года. Говоря о выдвижении кандидатов партии в Учредительное собрание, Ленин сказал, что «никто не оспорил бы такой, например, кандидатуры, как Троцкого, ибо, во-первых, Троцкий сразу по приезде занял позицию интернационалиста; во-вторых, боролся среди межрайонцев за слияние; в-третьих, в тяжелые июльские дни оказался на высоте задачи и преданным сторонником партии революционного пролетариата».

Видимо, будет исторической правдой сказать, что на каком-то определенном этапе после Октябрьского вооруженного восстания, в ходе гражданской войны и сразу после нее, Троцкий по популярности уступал только Ленину. При перечислениях фамилий тогда не пользовались «алфавитным» принципом, и Троцкий всегда (или почти всегда) шел вторым после Ленина. Просматривая протоколы заседаний Пленумов ЦК за 1918—1921 годы, где обозначены присутствующие на них члены руководящего партийного органа, видишь, что, как правило, перечисление было таким: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Рудзутак, Томский, Рыков, Преображенский, Бухарин, Калинин, Крестинский, Дзержинский, Радек, Андреев. Так перечислены, например, члены ЦК на заседании Пленума ЦК РКП от 20—21 ноября 1920 года. Но популярность Троцкого не выражалась в большом количестве его сторонников. Складывалась парадоксальная картина: Сталин, не будучи лично популярным, олицетворял «линию» партии. Троцкий, заметно более популярный деятель, рано приобрел печать «фракционера», что не могло

серьезно прибавить ему единомышленников. К тому же, как писал И. Дейчер, «Троцкий был настолько уверен в своем положении в партии и в стране, в своем превосходстве над противником, что долго не хотел ввязываться в открытую борьбу за преемственность». Он и так считал, что после Ленина партия обязательно остановит выбор на нем.

Однако при внимательном анализе работ Троцкого видно, что многие основополагающие идеи Ленина он полностью не разделял. Известно, например, что в своей борьбе со Сталиным, вспыхнувшей после смерти Ленина, он пытался взять на вооружение идеи социалистической демократии, хотя ему они были чужды. Он ближе стоял к бонапартизму, цезаризму, военному диктаторству, чем к идее подлинного народовластия. Они были ровесниками со Сталиным (оба родились в 1879 году с интервалом в два месяца), но интеллект Троцкого был более утонченным, более богатым. Ему были свойственны, как свидетельствуют люди, знавшие его, и многочисленные биографы Троцкого, живость мысли, солидная европейская культура, неукротимая энергия, широкая эрудиция, блестящая манера выступать. Но от переоценки значимости своей персоны Троцкий со всеми, за исключением Ленина, был высокомерен, авторитарен, нетерпим к другим мнениям. Отсутствие прочных кристаллов марксистских убеждений сделало его «героем момента», наивным пророком, несостоявшимся диктатором.

Сталин постепенно нащупал все слабые качества натуры Троцкого и с максимальной последовательностью использовал их в своей борьбе с ним. Троцкий не очень заботился о «причесанности» и взвешенности своих выступлений, замечаний, высказываний, думая больше об их афористичности, парадоксальности и образности. Однажды в разговоре с Лениным он сказал «крылатую фразу», которая стала известна Сталину: «Кукушка скоро прокукует смерть Советской Республике». Отныне у Сталина появился «железный» аргумент для обвинений Троцкого в неверии и капитулянтстве. И чем больше оправдывался Троцкий, тем больше он о б в и н я л себя. Сталин уже тогда проявил себя исключительно цепким и изощренным бойцом, устоять против которого политическому или идеологическому противнику было очень непросто.

Если практическая деятельность Троцкого в годы революции и гражданской войны заслуживает серьезной оценки, правда, с рядом существенных оговорок, то в политическом, теоретическом отношении это был человек, преследующий свои узкоэгоистические, карьеристские интересы. Это был сторонник жестких методов, репрессий и смертной казни. В своих мемуарах в этом отношении он так излагает свое кредо: «Нельзя армию строить без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади»,— так цинично рассуждал несостоявшийся премьер.

В. И. Ленин, как и многие другие руководители партии, отмечая ораторские, литературные способности крайне честолюбивого человека, видел его глубокую политическую близорукость, заключавшуюся в неприятии многих важнейших идей марксизма. С особой силой это выразилось в известной работе Троцкого «Перманентная революция».

А. М. Горький вспоминает, что он был удивлен высокой оценкой, которую дал Ленин организаторским способностям Троцкого. «Заметив мое удивление, Владимир Ильич добавил:

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных специалистов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассаля».

Действительно, Троцкий с редкой настойчивостью провел в жизнь ленинскую идею об использовании старых специалистов в интересах революции. Именно по его инициативе на заседании ЦК 25 октября 1918 года было принято решение освободить из-под ареста всех офицеров, взятых в качестве заложников. Было за-

писано в постановлении ЦК, что те из них, в отношении которых не будет обнаружена принадлежность к контрреволюционному движению, могут быть приняты в Красную Армию. Правда, здесь же было оговорено, что они «должны предоставить список своих семейств и им указывается, что семьи будут арестованы в случае их перехода к белогвардейцам». Сталин запомнил это заседание ЦК. Предложения Троцкого о бывших царских офицерах тогда поддержали, а проект Сталина о привлечении к суду военного трибунала командующего и члена Военного совета Южного фронта отклонили. Записали: «Никого к судебной ответственности не привлекать и поручить т. Аванесову произвести расследование и результаты сообщить в ЦК». Сталин оба этих решения расценил как «интеллигентский либерализм», особенно в отношении бывших офицеров.

Карл Радек в первом издании своих «Портретов и памфлетов» в статье «Лев Троцкий» пишет, что тому «благодаря своей энергии удалось подчинить бывшее кадровое офицерство... Он сумел завоевать себе доверие лучших элементов специалистов и превратить их из врагов Советской России в ее убежденных сторонников. Я помню ночь, когда пришел ко мне в комнату покойный адмирал Альтфатер, один из первых офицеров старой армии, который начал не за страх, а за совесть помогать Советской России, и сказал мне просто:

— Я приехал сюда потому, что был принужден. Я вам не верил, теперь буду помогать вам и делать свое дело, как никогда я этого не делал, в глубоком убеждении, что служу родине».

Троцкий, пишет Радек, был беспощадным человеком. Когда возникла смертельная опасность красной России, Троцкий не останавливался ни перед какими экономическими, материальными жертвами. Он, вспоминает Радек, сказал парадоксальную фразу: «Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых». В своем очерке К. Радек идеализирует Троцкого, приписывает ему много из того, что принадлежит не только ему. Но можно предположить, что Ленин, видя ум и большие организаторские и пропагандистские способности Троцкого, долго пытался «довернуть» его в нужную сторону. Однако исключительно высокая амбициозность и ущербность мировоззренческих устоев одного из «вождей революции» очень сильно мешали этому. Хотя, как знать, не эволюционировал ли бы Троцкий, будь жив Ленин. Сделать ему это было трудно: почти по всем основным пунктам он в разное время расходился и с Лениным, и с партией. Как пишет С. Коэн, Троцкий, например, «в нэпе увидел первый признак вырождения большевизма и утраты радикального характера русской революцией». Его предложения о «диктатуре промышленности», развертывании «трудовых армий», необходимости «крови и нервов» при достижении цели при внешнем левачестве были крайне опасны. Троцкий,продолжает С. Коэн, «почувствовал, что, когда гражданская война закончилась,— завершилась и кульминационная точка его судьбы».

Задним числом, уже в эмиграции, Троцкий будет усиленно распространять версию, что Ленин привлек его в «блок» против Сталина и хотел осуществить вместе с ним, Троцким, акцию смещения генсека на XII съезде партии. В книге «Моя жизнь» Троцкий утверждает, что «Ленин систематически и настойчиво ведет дело к тому, чтобы нанести на XII съезде, в лице Сталина, жесточайший удар бюрократизму, круговой поруке чиновников, самоуправству, произволу и грубости. Ленин успел в сущности,— пишет далее Троцкий,— объявить войну Сталину и его союзникам, причем и об этом узнали лишь непосредственно заинтересованные, но не партия». Зачем понадобились эти откровения? А затем, чтобы без обиняков заявить: Ленин готовил его, Троцкого, своим преемником. С этой целью он по-своему комментирует ленинское «Письмо к съезду» и делает вывод: «Бесспорная цель завещания — о б л е г ч и т ь м н е р у к о в о д я щ у ю р а б о т у (разрядка моя.— **Д. В.**). Ленин хочет достигнуть этого, разумеется, с наименьшими личными трениями». Вот в этих словах весь потаенный (да и потаенный ли?) смысл долгой борьбы Троцкого. Он уже видел себя лидером, диктатором, вождем.

О несостоятельности версии Троцкого говорят ленинские строки. Ленину совсем ни к чему был «блок» с Троцким для смещения Сталина. Авторитет Ленина был непререкаемым. Другое дело, что иногда в силу разных «высот» интеллектов его не понимали. Когда Владимир Ильич заболел, это непонимание кое-кто пробовал объяснить следствием болезни, трудностью общения, оторванностью вождя от реалий бытия. Однако не вызывает сомнений: если бы Владимир Ильич был здоров, одно его предложение о замене генсека на заседании Политбюро, подкрепленное, как всегда, глубокими аргументами, сыграло бы свою роль. Ленин счел неудачной фигуру Сталина на посту генсека, но не менее неудачной, а политически тоже опасной была и кандидатура Троцкого.

До смерти В. И. Ленина отношения Сталина с Троцким были сложными. Сталин вначале даже восхищался «трибуном», но впоследствии довольно быстро понял, что «кажимость» Троцкого еще не отражает всей его сути. Сталин раньше других, не считая, разумеется, Ленина, почувствовал, что Троцкий замахнулся на роль преемника вождя. Постепенно внутренняя неприязнь Сталина к Троцкому вылилась в тщательно скрываемую до поры до времени ненависть. Про себя Сталин своего врага мысленно называл «авантюристом», «жуликом», перефразируя ленинские слова о «жульничании» бывшего меньшевика Троцкого. Обладая отличной памятью, он нанизывал многочисленные ошибки, зигзаги, повороты, авантюры Троцкого на нить своих будущих аргументов, разоблачений, критики, осуждения...

Он не забыл «революционной» фразы Троцкого во время Бреста, смахивавшей на предательство; помнил, как Троцкий отдал приказ расстрелять большую группу политработников Восточного фронта за измену нескольких военспецов (трагедию удалось предотвратить лишь благодаря вмешательству Ленина); держал в уме нелепое предложение Троцкого о посылке корпуса кавалерии в Индию для инициирования революции, памятовал о «кукушке» Троцкого, которая была готова прокуковать конец Советской власти...

Многим не нравилось, что вскоре после революции Троцкий окружил себя целым штатом помощников и секретарей. Глазман, Бутов, Сермукс, Познанский, другие «оруженосцы» помогали Троцкому вести большой архив, переписку, готовить тезисы и материалы к бесчисленным статьям и выступлениям, давали нередко и творческие импульсы. Троцкий в этом отношении предвосхитил роль интеллектуального окружения политических деятелей конца XX века, которые нередко просто беспомощны без такого аппарата.

Генсек был убежден, что Троцкий в революции, гражданской войне, в первые годы перехода на мирные рельсы страны смотрел на все многочисленные проблемы России лишь через призму своих властолюбивых интересов. Вскоре их отношения характеризовались уже глубокой взаимной неприязнью. К месту будет сказано, что у Троцкого были плохие отношения не только со Сталиным. Так как он не скрывал своего «превосходства» над другими, то фактически никогда не имел в руководстве близких сторонников. Даже кратковременный союз с Зиновьевым и Каменевым, который возникнет позже лишь на антисталинской основе, будет вынужденным. Но надо сказать прямо, Троцкий сильно недооценил Сталина, эту «выдающуюся посредственность в партии», как он стал говорить открыто после его вывода в 1926 году из состава Политбюро.

С мартовского приступа болезни у Владимира Ильича Сталин внутренне считал себя обязанным не допустить Троцкого к руководству партией. Поражение последнего в развязанной троцкистами дискуссии заметно уменьшило его шансы независимо от того, какое решение принял бы съезд по ленинскому письму. Сталин был убежден, о чем он впоследствии не раз говорил в узком кругу, что, приди к руководству партией Троцкий, революционным завоеваниям угрожала бы смертельная опасность. Троцкий не только недооценил волю и изощренный ум Сталина, но и своими бесконечными выпадами, дискуссиями, скандальными статьями невольно поднял авторитет Сталина, который в этих условиях уже выступал как защитник ленинского наследия, хранитель единства партии. Чем больше «наскакивал» Троцкий на Сталина, тем сильнее падала его популярность. И дело здесь не в Сталине, а в представлении, создавшемся в общественном мнении о том, что Троцкий атакует линию партии. По существу, Троцкий сам помог Сталину укрепить его политические позиции. Сталин в глазах членов партии ни разу не «качнулся» вправо или влево (а в действительности стал в

оппозицию Ленину), опираясь в борьбе с Троцким на своих будущих противников Зиновьева и Каменева.

Кому нужно в полуразрушенной стране вечно спорящее руководство? Именно об этом напомнила XIII партконференция, которая состоялась в течение трех дней в середине января 1924 года. Она обсудила очередные задачи экономической политики и вынесла свой вердикт троцкистской оппозиции. В резолюции конференции «Об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии» была дана политическая оценка оппозиции. 19 и 20 января Н. К. Крупская постепенно, «дозами» читала Ленину материалы партконференции. «Когда в субботу,— вспоминала позднее Надежда Константиновна,—во время моего чтения Владимир Ильич стал волноваться, я сказала ему, что резолюции приняты единогласно». Обсуждение вопроса об оппозиции шло остро. Зиновьев и Каменев, будущие союзники Троцкого, требовали на конференции его вывода из состава Политбюро и ЦК. Нетрудно представить, как было тяжело Ленину на протяжении многих месяцев, будучи в полной ясности сознания, не принимать активного участия в партийных делах! Все видеть, слышать, понимать, много думать и быть бессильным... Могучая мысль была в немом заточении. Можно только догадываться о глубине духовной трагедии гения. Ленин понимал, что его предположения о возможности обострения фракционной борьбы в партийном руководстве — реальность.

Днем 21-го произошло резкое ухудшение в состоянии здоровья В. И. Ленина. Евдокия Смирнова, работница швейной фабрики, которая со дня мартовского приступа Ленина помогала Надежде Константиновне ухаживать за больным Ильичем, вспоминала:

— Утром, как всегда, подала я ему кофе, а он поклонился приветливо и прошел мимо стола, а пить не стал, ушел к себе в комнату и лег. Я ждала его до четырех часов с горячим кофе, все думала, проснется, выпьет. А уж ему плохо стало. Спросили у меня горячие бутылки... Пока их наливали да принесли, они уж не нужны ему были...

Вечером, в 18.50, Ленина не стало. Диагноз врачей лишь подтвердил причины смерти титана — основой болезни явился резко выраженный склероз сосудов мозга от чрезмерной напряженной умственной деятельности. Непосредственная причина — кровоизлияние в мозг. Троцкий, находившийся на южном курорте, по каким-то неясным причинам не прибыл на похороны, хотя в его распоряжении было достаточно времени. Однако он с Тифлисского вокзала 22 января передал по телеграфу в «Правду» коротенькую статью. В ней есть такие строки:

«И вот нет Ильича. Партия осиротела. Осиротел рабочий класс. Именно это чувство порождается прежде всего вестью о смерти учителя, вождя. Как пойдем вперед, найдем ли дорогу, не собьемся ли?

Наши сердца потому поражены сейчас такой безмерной скорбью, что мы все, великой милостью истории, родились современниками Ленина, работали рядом с ним, учились у него.

Как пойдем вперед? — С фонарем ленинизма в руках...»

Было бы кощунственно ставить под сомнение искренность скорбных слов Троцкого — перед Лениным не мог не преклоняться и он. Но акцент на «сиротстве» не случаен, ведь есть же «современники» Ленина, которые «работали рядом с ним».

Ночью 22-го состоялся экстренный Пленум ЦК, а 27-го января гроб с телом Ильича был установлен в Мавзолее на Красной площади. На II Всесоюзном съезде Советов, открывшемся 26 января, были приняты важные решения по увековечению памяти В. И. Ленина.

Траурное заседание II съезда Советов проходило в затянутом в креп Большом театре.

В 6 часов 20 минут вечера первый Председатель ЦИК СССР М. И. Калинин обратился с предложением к членам Президиума ЦИК СССР и членам ЦК РКП занять места за столом президиума. В нашей печати до недавнего времени дело изображалось так, что выступал один Сталин со своей «клятвой». Но все было иначе. Председатель ЦИК СССР Петровский предоставил слово М. И. Калинину, затем Н. К. Крупской, Г. Е. Зиновьеву. Председатель Исполкома Коминтерна Зиновьев прямо спросил присутствующих: «Сумеем ли мы провести нашу страну дальше в тот край обетованный, который предносился духовному взору Владимира Ильича? Сумеем ли мы, хотя бы с грехом пополам, напрягая все силы коллективного разума и коллективной организованности, выполнить то, чему учил нас Владимир Ильич?» Выступали Бухарин, Клара Цеткин, Томский, Бухтарасулин, Краюшкин, Сергеев, Нариманов, Зверева, Каменев. В выступлении последнего прозвучала интересная мысль: «Он никогда не боялся остаться один, и мы знаем великие поворотные моменты в истории человечества, когда этот вождь, призванный руководить человеческими массами, был одинок, когда вокруг него не было не только армий, но и группы единомышленников... Единственно, что не оставляло его никогда,— это вера в творчество подлинных народных масс». Держали речи на заседании Ольденбург, Ворошилов, Смородин, Рыков. Сталин выступал четвертым, после Зиновьева.

Речь была произнесена Сталиным (как всегда, текст готовил он сам, с последующим ознакомлением с ней членов Политбюро) в необычной для него патетической манере клятвы. «Катехизисное» мышление и здесь дало о себе знать. Все разложено по «полочкам». Призвал создать «царство труда на земле, а не на небе». Но в его речи было и нечто такое, что всегда, до последних дней его жизни будет присуще ему: гимн силе, готовности к жертвам — «мы не пощадим сил», «отражая бесчисленные удары», «сила нашей страны», «в этом наша сила», «не пощадим своей жизни». Сталин от имени партии клялся хранить звание члена партии, ее единство, укреплять диктатуру пролетариата, крепить союз рабочих и крестьян, укреплять союз братских республик, верность интернационализму. В речи не было упомянуто ни народовластие, ни социалистическая демократия. Возможно, они подразумевались в русле упрочения диктатуры пролетариата? Ведь она имеет не только насильственную сторону. Однако скорее всего Сталин просто в этих «тонкостях» не нуждался.

Начиналась новая глава истории. Преемником Ленина на должности Председателя Совнаркома стал А. И. Рыков, а на пост Председателя Совета Труда и Обороны был выдвинут Л. Б. Каменев. Сталин, оставаясь на посту генсека, стал ждать решения XIII съезда партии, где, согласно воле умершего В. И. Ленина, должны были зачитать его письмо к съезду. Но знал ли он доподлинно об этом письме? На этот счет есть разноречивые данные.

Дальние истоки трагедии

Есть события, которые до поры до времени остаются в тени истории, хотя они заслуживают неизмеримо большего. Это касается, в частности, судьбы ленинского «Письма к съезду». Мы уже говорили, что оно могло быть адресовано делегатам и XII, и XIII съездов партии, но не стало «пленарным» предметом их внимания. Мысли Ленина, изложенные в письме, для конкретного исторического момента не смогли в силу противодействия сыграть ту роль, на которую были рассчитаны, но для будущего их роль неоценима. В истории политической мысли они останутся как предупреждение-пророчество, гласящее: самые высокие и благородные цели требуют для своей реализации моральной чистоты.

Письмо В. И. Ленина от 24—25 декабря 1922 года и добавление от 4 января 1923 года, перепечатанные и уложенные в конверты, Н. К. Крупская в соответствии с волей Владимира Ильича передала в ЦК партии 18 мая 1924 года, за пять дней до открытия очередного, XIII съезда РКП(б). В специальном протоколе, фиксирующем передачу этих бесценных документов, рукой Н. К. Крупской записано: «Мною переданы записи, которые Владимир Ильич диктовал во время болезни с 23 декабря по 23 января — 13 отдельных записей. В это число не входит еще запись по национальному вопросу (в данную минуту находящаяся у Марии Ильиничны).

Некоторые из этих записей уже опубликованы (о Рабкрине, о Суханове). Среди неопубликованных записей имеются записи от 24—25 декабря 1922 года и от 4 января 1923 года, которые заключают в себе личные характеристики не-

которых членов Центрального Комитета. Владимир Ильич выражал твердое желание, чтобы эта его запись после его смерти была доведена до сведения очередного партийного съезда. Н. *Крупская*».

Пленум, состоявшийся накануне съезда, по докладу комиссии, принимавшей ленинские бумаги, принял постановление такого содержания: «Перенести оглашение зачитанных документов, согласно воле Владимира Ильича, на съезд, произведя оглашение по делегациям и установив, что документы эти воспроизведению не подлежат и оглашение по делегациям производится членами комиссии по приему бумаг Ильича».

Это был первый съезд без Ленина. Политический доклад делал Зиновьев. Начал чтение доклада необычно взволнованно: «В сегодняшней «Правде» один из наших родных рабочих-поэтов прекрасно изобразил настроение партии, относящееся как раз к данному моменту съезда:

Видно, у мыслей
Дрогнули колени,
В омуте глаз
Заблудилась тоска.
— Политотчет Цека...
Читает... читает...
Не Ленин...

Без Ленина, без светильника, без самой гениальной головы на земле приходится нам разрешать теперь те громадной важности вопросы, от которых зависят судьбы нашей партии».

В пространном докладе Зиновьева рассматривался широкий круг вопросов: итоги года, о факторе времени в социалистических преобразованиях, о работе ЦК и Политбюро, об итогах дискуссии, о национальном вопросе, международном положении, работе РКП(б) в Коминтерне, о результатах нэпа, о ленинском плане кооперации. В докладе есть специальный раздел о том, чтобы РКП(б) «не была только партией города», о «культурных ножницах» и т. д. Однако ни в докладе Зиновьева, ни в орготчете Сталина вопросы, поднятые В. И. Лениным в его последних письмах, фактически не были затронуты. Ленин ведь не просто изложил «план построения социализма», как потом долго у нас говорили, в области индустриализации, коллективизации и культуры. Здесь тоже сказался схематизм мышления Сталина, привыкшего все расчленять и упрощать до неузнаваемости. Ленинское «Завещание» — это его концепция социализма, в центре которой находятся вопросы, обосновывающие народовластие, рассматривающие гарантии демократии. По сути, Ленин искал пути: как не допустить отчуждение рабочего человека, труженика от *его* власти? как победить нарождающуюся бюрократию? как сделать демократичным, гибким аппарат, как поднять роль общественного контроля? Все эти вопросы и составляли *суть* ленинского намерения о «ряде перемен в нашем политическом строе».

К великому сожалению, Политбюро, его ядро — Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий, Бухарин — не захотели, а может быть, не смогли в полной мере понять гениальных замыслов Ленина. XIII съезд партии, рассматривая многие важные вопросы текущей жизни, решал задачи сегодняшнего дня, а не завтрашнего. Центральная идея ленинского «Завещания» о развитии народовластия не стала главной в работе съезда.

Вопросы расширения демократической стороны диктатуры пролетариата, обновления руководящих органов, широкое привлечение масс к решению государственных вопросов фактически не поднимались. Сталин лишь коснулся вопроса *расширения* ЦК. Однако, мы помним, Ленин говорил о расширении ЦК за счет рабочих и крестьян, в то же время и на XII, и на XIII съезде в состав ЦК вошли, пусть и достойные люди, но в подавляющем большинстве это были профессиональные революционеры. Новых членов ЦК из числа рабочих и крестьян было очень мало, а это, согласитесь, не одно и то же.

В политическом докладе Зиновьева вопросы социалистической демократии, о которых так заботился Ленин, были освещены своеобразно. Докладчик привел высказывание одного инженера завода, специалиста, заявившего, что мало дать людям предметы первой необходимости, им нужно дать «*права человека*».

Пока не имеем этих прав, заявил инженер, мы будем инертны. Пока не будет признано, что «человек — высшая ценность в государстве», у людей будет низкая общественная и трудовая активность. Правда, наряду с этим глубоким высказыванием специалист допустил немало и неверных суждений. Зиновьев на подобное настроение интеллигенции реагировал следующим образом: «Нам надо улучшить материальное положение специалистов, но политических прав, какие они просят, они не получат как своих ушей без зеркала». Так думал не только Зиновьев, но и многие в ЦК, не имевшие возможности постичь глубоко гуманистическую концепцию социализма. В этом неведении также кроются истоки будущих бед. Слов нет, после революции прошло лишь шесть с половиной лет. Без диктатуры пролетариата Союз республик просто бы не устоял под напором внутренних и внешних врагов, но забвение демократических начал, народовластия, о чем так заботился Ленин, не могло рано или поздно не сказаться.

Ленинское письмо на съезде не заняло того места, какое оно должно было занять. Отдельные делегации были ознакомлены с письмом специально выделенными людьми. Особенно активничал Каменев. Никаких обсуждений не было. В завершение такого информирования товарищем из комиссии по приему ленинских документов вносилось заранее подготовленное предложение: рекомендовать Сталину в своей практической работе учесть критические замечания Ленина. На этом работа вокруг письма заканчивалась. По существу, благодаря такой форме доведения ленинского письма, оно фактически недооценивалось. Важнейший документ исторического значения не стал основой для утверждения демократических норм в партийной жизни, основой организационных изменений в руководящем эшелоне партии и выдвижении нового лица на пост Генерального секретаря.

Нужно учесть при этом, что с момента написания «Письма» прошло почти полтора года. За это время Сталину пришлось возглавить борьбу с Троцким, который еще незадолго до смерти Ленина повел, используя разные предлоги, яростные атаки на генсека. Сталин выступил решительно против этих нападок, и его поддержало большинство партии. Все это не могло не сказаться на отношении делегатов к Сталину. Многие могли рассуждать: убрать Сталина — это значит признать правоту Троцкого...

Политическая культура многих делегатов (и это не их вина, а отражение общей ситуации в стране) была невысокой. Многие слабо разбирались в хитросплетениях реальной политики, часто кажимость принимали за сущность. Ведь не случайно Троцкий благодаря своим демагогическим речам долго сохранял популярность у людей с невысокой политической сознательностью. В делегациях при чтении письма не возникали сомнения, почему этот важнейший документ не обсуждают непосредственно на съезде. Зачем эта келейность? Почему не обнародовать ленинские предложения? Все это является не только результатом определенной «обработки» и давления, но и прежде всего невысокой политической культуры многих делегатов.

Одна из причин будущих бед — в неразвитости на определенном этапе политической культуры не только большей части населения, но и членов партии. Едва ли многие из них догадывались, что именно сейчас, отказавшись после революции от бога на небе, они сделали шаг к тому, чтобы создать его на земле. Не знали они и того, что бог на небе был символом и требовал чаще символических жертв, а «бог» на земле не удовлетворится этим, и жертвы для него будут страшными. Увы, такие провидцы, как Ленин, — уникальная историческая редкость.

Но ведь не у всех же была невысокой политическая культура! Разве Зиновьев, Каменев, Рыков, Томский, Дзержинский, Калинин, Рудзутак, Сокольников, Фрунзе, Андреев, многие другие большевики не понимали, что нужно самым внимательным образом проанализировать «Завещание» вождя? Думаю, что понимали, но лозунг «единства», часто понимаемый формально, глушил голос интеллектуальной совести. Можно даже сказать, что ее, *совести шанс*, не был использован. Так будет еще не раз: возвышение нового вождя будет происходить не только в условиях непрерывного сжимания, урезания, кастрирования реальной демократии, превращения партии в машину власти, но и глушения зова

совести многих из тех, кто должен был публично, открыто протестовать против узурпации власти одним человеком. Все знают, чем бы это кончилось для конкретного человека, но в том-то и дело, что использовать этот шанс совести можно лишь в союзе с мужеством мысли. Внутреннее же рабство, как правило, оказывалось сильнее.

Когда Сталину стало известно о ленинском письме, он заявил о своей отставке. Это был правильный шаг — только так должен был бы поступить любой большевик на его месте. Если бы она была принята, возможно, многое пошло бы по-другому. К слову сказать, в двадцатые годы Сталин не раз заявлял о своей отставке. После XV съезда, например, в довольно категорической форме. Троцкистско-зиновьевская оппозиция потерпела тогда поражение, съезд организационно это оформил. На первом Пленуме после съезда Сталин обратился к членам ЦК с просьбой:

«Я думаю, что до последнего времени были условия, ставящие партию в необходимость иметь меня на этом посту как человека более или менее крутого, представлявшего известное противоядие оппозиции. Сейчас оппозиция не только разбита, но и исключена из партии. А между тем у нас имеется указание Ленина, которое, по-моему, нужно провести в жизнь. Поэтому прошу Пленум освободить меня от поста генерального секретаря. Уверяю вас, товарищи, что партия от этого только выиграет». Но к этому времени авторитет Сталина возрос, и он олицетворял собой в партии человека, борющегося за единство, непримиримо выступающего против различных фракционеров. Отставка вновь была отклонена. Но, похоже, Сталин в этом был уже уверен, и просьба об отставке имела цель укрепить свое положение.

Каменев и Зиновьев на XIII съезде предприняли все меры, чтобы ленинская настоятельная рекомендация осталась без удовлетворения. Сталина уговорили взять свое устное заявление обратно и выработали сообща линию, согласно которой Сталину предложено учесть пожелания и критические замечания умершего вождя. Зиновьев и Каменев лично проводили эту работу в крупных делегациях, фактически дезавуируя идеи Ленина. Они немало сделали, чтобы обелить своего будущего могильщика!

Этим политикам, не лишенным способностей и заслуг перед революционным движением, на том этапе казалось главным не допустить Троцкого на первые роли. Не судьбы революции, судьбы ленинского «Завещания» и будущее страны их интересовали в первую очередь. Старый, как сам мир, императив вышел на первый план: личные интересы, амбиции, тщеславие. Сталина они оба, как и Троцкий, явно недооценивали. Известно, например, что Зиновьев в начале двадцатых годов в узком кругу говорил: «Сталин — хороший исполнитель, но им всегда нужно и можно управлять. У самого Сталина этих способностей к самоуправлению нет». Видимо, Зиновьев, а с ним и Каменев в своих планах рассчитывали, что Сталин останется в роли генсека лишь как руководитель секретариата, а в Политбюро роль первой скрипки будет играть другой человек. Конечно, Зиновьев! Сталин видел эти расчеты и до поры до времени делал вид, что такой «расклад» его устраивает. Ведь не случайно же он добился, чтобы докладчиком по основному, политическому вопросу на XIII съезде выступил Зиновьев! Зиновьев и Каменев опасались Троцкого и не считали опасным Сталина. Троцкий же на съезде был пассивным, похоже, он просто ждал, когда его позовут... Такова была обстановка в руководящем ядре ЦК.

Сегодня, спустя десятки лет, можно сказать, что главные лица, ставшие на пути реализации воли Ленина, были Зиновьев и Каменев (разумеется, и сам Сталин, но один он ничего бы не смог сделать). Именно эти два политика, руководствуясь сиюминутными личными интересами, пошли наперекор последней воле вождя. Они выступили против него в 1917 году, выступили против него и тогда, когда его не стало. А ведь Зиновьев любил публично с гордостью говорить, что до революции на протяжении целых десяти лет (с 1907 по 1917 г.) он был ближайшим учеником Ленина! Что, мол, никто так не поддерживал Ленина в Циммервальде и Кинтале, как он, Зиновьев. Каменев был лично близок семье Ульяновых и не скрывал этого. Как бы то ни было, эти два политических близнеца уверовали в свою особую роль после Ленина. Именно они совместно со Сталиным приняли решение не предавать гласности ленинское «Письмо к съезду». И хотя на XV съезде партии этот документ, по предложению Орджоникидзе, был опубликован в текущем бюллетене, до широких слоев партии он не дошел.

Авторитарность, антидемократичность, проявленные в истории с письмом, были хорошо усвоены Сталиным, и он в последующем еще не раз воспользуется уроком, «школой» Зиновьева и Каменева. Они хотели прошлое оставить прошлому, но это не всегда можно сделать. Сами не ведая, эти люди посеяли конфликт прошлого с будущим. В кровавой жатве падут со временем и их головы. Сталин сразу же, как только одолеет с их помощью Троцкого, потеряет в них всяческую нужду, а через десяток с небольшим лет хладнокровно санкционирует их физическое уничтожение. Нетрудно представить, сколько раз мысль Зиновьева и Каменева с отчаянием возвращалась ко времени, когда они, презрев ленинское письмо, сами подтолкнули наверх диктатора, своего будущего палача!

Правда, когда между Сталиным, с одной стороны, и Зиновьевым и Каменевым, с другой, произошел разрыв, тут они стали прозревать. Поскольку речь зашла о личном положении, политические близнецы, забыв о недавней защите Сталина, выступили против него. На XIV съезде партии в декабре 1925 года Каменев, как мы знаем, обратится к делегатам: «Я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба». Делегаты съезда это заявление оценят как очередной выпад фракционеров. То, что сделали эти недальновидные политики раньше, сохранив Сталина вопреки ленинскому пожеланию на посту генсека, изменить им уже не удастся. Как, впрочем, и никому.

В этих условиях Троцкий, потерпевший безоговорочное поражение в прошедшей дискуссии, попытался «сохранить лицо», временно заняв гуттаперчевую позицию. Его выступление на XIII съезде Зиновьев охарактеризовал не «съездовской» речью, а «парламентской». По его мнению, Троцкий адресовался не к делегатам, а к партии и пытался «говорить совсем не то, что думает». Действительно, выступление Троцкого было необычным. Его основное содержание было направлено против бюрократизации партийного аппарата. Для убедительности он ссылался на Ленина, Бухарина, атакуя руководство ЦК с позиций новатора, борца за сохранение революционных традиций в партии. «Масса мыслит медленнее, чем мыслит партия»,— утверждал Троцкий. Чтобы сохранить способность партии «мыслить быстро и верно», надо освободиться от недомоганий в виде бюрократии партийного аппарата. Могло показаться, что он знаком с идеями последних (пока еще неизвестных!) писем Ленина. Но, оказывается, Троцкий свои стрелы против бюрократизма пускал с иной целью: по его мнению, бюрократия плодит ф р а к ц и о н н о с т ь. Бюрократия, полагал он, оправдывала идеологические и политические атаки штаба партии. Другими словами, его вызов партии для дискуссии был, оказывается, ответом на бюрократию в ЦК, губкомах, всех эшелонах партийной иерархии. Троцкий остался самим собой: тога борца за демократию ему понадобилась как камуфляж, словесная косметика для оправдания своих нападок на курс ЦК. Хотя в партии не забыли, что именно он был одним из инициаторов методов «казарменного коммунизма», с неизбежностью рождающего бюрократические извращения.

Можно сказать, что уже XIII съезд не пошел вперед в деле развития ленинских идей демократизации. Здесь находится источник многих будущих трагедий. Владимиру Ильичу хватило девяти месяцев, чтобы со всех сторон рассмотреть Сталина в роли генсека и увидеть в нем нечто такое, что его серьезно насторожило, но делегаты съезда не выполнили последней воли Ленина.

Справедливости ради следует сказать, что, возможно, многие члены ЦК понимали: если сместить Сталина, то невольно создается впечатление правоты Троцкого. И кто знает, не скомпрометируй Троцкий себя октябрьским (1923 года) вызовом, его шансы были бы довольно высокими. Альтернатива Троцкого не устраивала большинство соратников Ленина, так что с известной долей допущения можно сказать, что Сталин сохранил свой пост генсека и благодаря «помощи» Троцкого.

Демократические основы государственного и партийного строительства были Лениным лишь заложены, но он не успел их развить. Возьмем лишь одну грань демократии: ротация руководящих работников. Ведь если бы даже Сталин был оставлен на посту генсека, но его пребывание было ограничено установленным уставным сроком, культового уродства в будущем можно было бы не допустить. Вполне понятно, когда королева Виктория, императрица Екатерина II или шах Ирана Реза Пехлеви находились на троне десятилетиями, они монархи! Но пребывание Сталина три десятилетия на посту, фактически ничем и никем не ограниченное, не могло не привести к деформациям. Не могло! В ленинском предложении XII съезду партии «Как нам реорганизовать Рабкрин» просматривается мысль об обязательном обновлении руководящих партийных органов, о разграничении функций ЦК и совввласти. Первые ростки демократии не были ухожены, постепенно их полностью заглушили более мощные побеги догматизма, бюрократии, механического администрирования. Будущий культ «великого вождя» не был случайностью.

На первых порах не было никаких внешних признаков узурпации партийной власти, наоборот, Сталин вел борьбу с Троцким под лозунгом коллективной борьбы с его бонапартистскими, диктаторскими замашками, претензиями на единоличное лидерство и непомерные амбиции. Троцкий продолжал эксплуатировать политический капитал, нажитый им в годы гражданской войны, не замечая, что он, этот «капитал», стремительно таял. Сталин, критикуя претензии Троцкого на особую роль в руководстве, предлагал другую, более прогрессивную и демократическую альтернативу — «коллективное руководство». Правда, это руководство постепенно трансформировалось в сторону, выгодную самому генсеку. Сталин уже наметил для себя план постепенного изменения руководящего ядра партии. Первый, кого он должен устранить из руководства, конечно же, Троцкий, но пока не надо форсировать события. Так, Политбюро после XIII съезда фактически осталось прежним, даже Троцкий сохранил в нем свое место. Новым членом оказался лишь быстро завоевывающий авторитет в партии Бухарин. Ленинская характеристика Бухарина как «любимца партии» ускорила его вхождение в высший партийный орган. Кандидатами в члены Политбюро были избраны Дзержинский, Сокольников, Фрунзе. Секретариат же предстал в новом виде: генсек — Сталин, второй секретарь — Молотов, секретарь — Каганович. Новый состав ядра ЦК стал более прочным, с точки зрения поддержки Сталина. Пожалуй, самые трудные часы партийной карьеры Сталиным были пережиты: он оказался не только не смещенным с поста генсека, на чем настаивал Ленин, но и упрочил свое положение в партийном руководстве.

После XV съезда партии ленинское «Письмо к съезду» на целые десятилетия исчезло из поля зрения партии, оно не было опубликовано в «Ленинском сборнике», хотя Сталин сам обещал добиться этого. Правда, в середине двадцатых годов «Письмо» несколько раз всплывало в связи с внутрипартийной борьбой. Оно даже было опубликовано в бюллетене № 30 XV партийного съезда (тираж более 10 тысяч экземпляров) с грифом: «Только для членов ВКП(б)», разослано в губкомы партии, коммунистические фракции ЦИК и ВЦСПС; часть письма была опубликована в «Правде» 2 ноября 1927 года. Поэтому нельзя говорить, что партия совсем не знала об этом документе. Но, не исполнив волю Ленина сразу, позже это было сделать труднее и прежде всего потому, что на первых порах Сталин пытался хотя бы внешне изменить свое поведение. Со временем письмо стало «тайной». До поры до времени о нем знали лишь делегаты XIII съезда партии, члены ЦК, но постепенно круг их редел,— генсек будет отдавать предпочтение людям без прошлого. Правда, по ряду свидетельств, в 1926 году были предприняты последние попытки сохранить письмо для легальной партийной истории. Рыков и Петровский предлагали приложить его к стенограмме съезда, готовившейся к публикации, либо опубликовать в «Ленинских сборниках». Однако, как мы знаем, партия о ленинском завещании узнала лишь после XX съезда КПСС. Такие «тайны» опасны, они, как коррозия, уничтожают демократические основы, невольно создавая ложные представления у людей, что истина может быть в заточении. Кстати, К. Радек в своей брошюре «Итоги XII съезда РКП», вышедшей в 1923 году, пишет, что некоторые лица хотели «нажить капитал» на последних письмах Ленина, говоря, «что тут есть какая-то тайна», не дающая возможности их опубликовать.

Чем больше прячется от света истина, тем больше, как об этом свидетельствует опыт истории, возможностей для злоупотреблений. История «Письма» еще раз напоминает, что ложь всегда делают, фабрикуют, создают, а истину «фабриковать» не надо — ее просто нужно открыть, высветить, защитить. Для истины нужен свет, много света; ложь всегда ищет темноту, закрытость и «секретность». А Сталин страшно любил «секреты». Множество грифов скоро появятся на «делах», папках, элементарных документах. Конечно, государственные и партийные секреты всегда существовали и, видимо, будут существовать. Но превращение в некую тайну простой переписки, отчетов, телеграмм, элементарных сведений создавало как бы особый пласт жизни для некоторых. Никто не задумывался, что чрезмерная засекреченность государственной и общественной жизни — почва для продажности. В центре всех «тайн» стоял сам Сталин, находивший время для личного реагирования на непрерывный поток сообщений.

Не без участия Троцкого текст ленинского «Письма к съезду» на Западе неоднократно публиковался. Вначале в США М. Истмэн опубликовал текст документа с пространными антисоветскими комментариями. Затем в 30-х годах во Франции Б. Суварин, французский гражданин русского происхождения, работник «Юманите», вернулся к этому документу. Постоянные усилия по привлечению внимания к «Письму» прилагал Троцкий, вырывая из него отдельные фрагменты и изменяя их до неузнаваемости. В конце своей жизни, повторяем, он фактически толковал этот ленинский документ однозначно: Ленин предложил сместить Сталина с поста генсека и рекомендовал делегатам выдвинуть в качестве лидера партии его, Троцкого, как самого способного и умного. Он так часто повторял в своих книгах, статьях этот тезис, что, видимо, стал в него верить и сам.

Ленинские идеи, содержащиеся в «Завещании», предусматривали широкий спектр демократических шагов в первом в мире социалистическом государстве. Предполагалось усиление притока свежих сил в руководстве партии и государства, повышение роли профсоюзов, Советов, общественных организаций, народных и контрольных органов, подотчетности руководителей трудящимся. Пусть еще не стояли конкретно вопросы о плебисцитах, референдумах, опросах, обязательной отчетности руководителей, о строгой ротации партийных кадров, других аспектах «технологии» демократии. Важно, что суть социализма Ленину виделась в синтезе демократии, гуманизма и справедливости.

Постепенный отход от ленинских изначальных позиций широкого демократизма не мог не сказаться во всех сферах жизни Советского государства. Именно здесь находятся глубинные истоки всех будущих деформаций, культовых уродств, злоупотреблений властью. Но идейный заряд Октября был столь неодолим, что его не смогли полностью погасить и заглушить все фильтры и изоляторы догматизма и бюрократии.

Создававшаяся политическая система общества огромное значение придавала воспитанию населения, подрастающих поколений на идеалах революции, социализма и коммунизма. В ходу был образ идеального «нового человека», некая модель личности грядущего. Уже в двадцатые годы, несмотря на начало усиления бюрократических тенденций, идеологической стороне переустройства общества придавалось первостепенное значение. Простота, скромность в быту, непритязательность в повседневном общежитии, готовность откликнуться на любой призыв общества, глубокая неприязнь к мещанству, накопительству, высокая одухотворенность людей, чуждых меркантильным расчетам,— все эти черты человека двадцатых, тридцатых, сороковых и более поздних годов свидетельствовали: бюрократизм не убил лучшее в человеке первой земли социализма. Люди были сильны верой в идею.

Дальние истоки трагедии среди тех, что мы назвали, видятся и в том, что создававшаяся строго централизованная система уже в потенции несла опасность. Человек, сосредоточивший в своих руках «необъятную власть», функционер идеи,

уже тогда поставил перед собой цель — взять в руки единоличное управление этой системой, и ему в этом не помешали. Предостережение Ленина не было оценено, «старая гвардия», занятая междоусобной борьбой, не взяла на себя историческую роль коллективного лидера. Завоеванная свобода затуманила видение грядущего. Как писал Николай Бердяев в своем опыте философской автобиографии: «Опыт русской революции подтверждал мою давнюю уже мысль о том, что свобода не демократична, а аристократична. Свобода не интересна и не нужна восставшим массам; они не смогут вынести бремени свободы». Спорная мысль, однако, интересна в такой плоскости: распорядиться завоеванной свободой так, как учил Ленин, ни массы, ни «старая гвардия» не смогли и не сумели. Грядущее, как всегда, было в дымке...

Рукотворность будущего не менее загадочна, чем необратимость и тайны ушедшего.

Истина есть дочь времени,
а не авторитета.
Ф. Бэкон.

Глава третья. ЕГО БОРЬБА

После XIII съезда партии к Сталину начала возвращаться утраченная было им уверенность. До смерти Ленина его едва ли посещали серьезные честолюбивые намерения, но после... вряд ли с полной уверенностью можно утверждать, что уже тогда он поверил в возможность реализации, казалось бы, невозможного шанса.

В библиотеке Сталина, которая стала потихоньку создаваться уже с 1920 года в его маленькой кремлевской квартире, большая часть литературы была дореволюционного происхождения: сборники трудов Маркса, Энгельса, Плеханова, Лафарга, Люксембург, Ленина, утопистов, книги Толстого, Гаршина, Чехова, Горького, Успенского, малоизвестные теперь работы Г. Бинштока, Р. Зонтера, Гобсона, Кенворти, Танхилевича. Многие из книг, как десятилетия спустя будет случаться у наших современников, не являлись лишь антуражем скромного обиталища. Во многих книгах есть карандашные пометки, подчеркивания, сделанные, возможно, Сталиным.

В «Мыслях» Наполеона жирно отчеркнута на полях фраза из воспоминаний императора: «Именно вечером у Лоди[1] я уверовал в себя как в необыкновенного человека и проникся честолюбием для свершения великих дел, которые до тех пор представлялись мне фантазией». Не был ли для Сталина его Лоди момент сохранения за ним, вопреки воле Ленина, поста генсека? Пожалуй, для политической карьеры Сталина это был кульминационный момент: сорокапятилетний секретарь почувствовал, что после смерти Ленина он отнюдь не слабее своих сотоварищей по Политбюро и ЦК.

Об этом Сталин все чаще задумывался в редкие минуты отдыха, приезжая на свою загородную дачу в Зубалово. В начале двадцатых годов в Подмосковье оказались сотни заброшенных особняков, дач, загородных домов, покинутых «бывшими». Многие из них бежали за границу, иные пали в кровавой рубке гражданской войны, у третьих эти атрибуты «буржуазной роскоши» просто экспроприировали. Большинство этих домов отдали под больницы, приюты для беспризорников, дома отдыха и склады многочисленных госучреждений, что начали быстро плодиться. Недалеко от станции Усово стояло с десяток дач. Одну из них, принадлежавшую раньше нефтепромышленнику Зубалову, выделили Сталину. Рядом поселились Ворошилов, Шапошников, Микоян, немного позже — Гамарник, другие партийные, государственные и военные руководители страны.

В семье у Сталина в 1921 году родился сын Василий, через несколько лет появится Светлана. Позже сюда приедет жить и сын от первой жены Яков. Надежда Сергеевна, жена Сталина, с самоотверженностью и рвением молодой хозяйки возьмется за устройство бесхитростного быта. Жили скромно на зарплату Сталина, пока жена не пошла работать в редакцию, секретариат Совнаркома, а затем стала учиться в Промакадемии. Как-то за столом Сталин неожиданно сказал жене: «Я никогда не любил денег, потому что у меня их обычно не бывало». Знакомясь с документами сталинского архива, интересно было читать расписки Сталина, переданные им Стасовой в подтверждение получения в партийной кассе аванса по 25, 60, 75 и т. д. рублей «в счет жалованья» за следующий месяц. Этот человек о безденежье знал не понаслышке.

[1] Во время итальянской кампании 1796—1797 годов молодой Бонапарт одну из своих блистательных побед одержал у городка Лоди.

Потом в доме появятся няня и экономка. Не было тогда ни многочисленной охраны, ни комендантов, ни курьеров, десятков других должностей, которые возникнут позже, и сами руководители партии и государства будут называть этих людей «обслугой», чтобы не повторять буржуазного: «прислуга».

Первые годы после революции Сталин, как и все руководители партии, жил просто и скромно в соответствии с семейным бюджетом и партийными установками. Еще в октябре 1923 года ЦК и ЦКК РКП(б) подготовили и разослали во все партийные комитеты специальный документ, в котором излагались меры, выработанные еще на IX партконференции РКП(б). В нем говорилось о недопустимости использования государственных средств на благоустройство частных жилищ, оборудование дач, выдачу премий и натуральных вознаграждений ответственным работникам. Предписывалось самым строжайшим образом следить за моральным обликом партийцев, не допускать большого разрыва в заработной плате между «спецами» и ответработниками, с одной стороны, и основной массой трудящихся — с другой. Игнорирование «этого положения,— говорилось в циркуляре,— нарушает демократизм и может явиться источником разложения партии и понижения авторитета коммунистов». Подтверждалось ленинское положение, что «ответственные работники-коммунисты не имеют права получать персональные ставки, а равно премии и сверхурочную оплату». При Ленине существовала даже неписаная традиция передачи членами ЦК своего литературного гонорара в партийную кассу.

У руководителей партии не было ценных вещей, и даже разговоры о чем-либо подобном были признаком дурного, мещанского, даже антипартийного тона. Скажем сразу, что Сталин смог на всю жизнь сохранить аскетизм как черту своего характера. После смерти у него фактически не оказалось личных вещей, кроме подшитых валенок и залатанного крестьянского тулупа. В своей житейской простоте и непритязательности он не изменял своим взглядам до конца, хотя уже в тридцатые годы сформировался большой штат «обслуги». Такими же были и большинство его товарищей по ЦК.

Иногда по воскресеньям, если позволяла обстановка, собирались вместе, чаще у Сталина. К нему приезжали Бухарин с женой, бывали здесь Орджоникидзе, Енукидзе, Микоян, Молотов, Ворошилов, Буденный, часто с женами и детьми. Под аккомпанемент гармоники Буденного пели русские и украинские песни, даже плясали... Но к Сталину на дачу никогда не приезжал Троцкий.

Сидя за столом, вели долгие разговоры о положении в стране, партии, текущих внутренних и международных делах. Бывал здесь и старый большевик С. Я. Аллилуев, отец жены Сталина, которого весьма уважал его зять. Обычно Аллилуев вставлял лишь реплики о «старине» (он был членом партии с момента ее основания, чем очень гордился). Часто спорили, порой резко. Все обращались на «ты». Сталин был одним среди равных. Даже признаков какого-то чинопочитания, тем более славословия или заискивания не было. Это встречались люди, которые еще менее десяти лет назад были париями общества, а теперь волею исторических обстоятельств оказались во главе гигантского государства, едва-едва оправлявшегося от бесчисленных ран, нанесенных ему мечами войны, междоусобиц, мятежей. Многие вопросы, обсуждаемые здесь, нередко затем выносили на Политбюро. Так, например, Молотов однажды за столом привел любопытную справку: сколько в России зерна уходит на самогон, сколько денег недосчитывается казна от этого. Через несколько дней, 27 ноября 1923 года, на заседании Политбюро после сообщения В. М. Молотова постановили: «Поручить секретари-

ату создать постоянно действующую Комиссию для борьбы с самогоном, кокаином, пивными и азартными играми (в частности — лото) в составе председатель — т. Смидович, заместитель — т. Шверник, члены — тт. Белобородов, Данилов, Догадов, Владимиров. Секретарь ЦК Сталин».

Как видим, ничто не ново под луной... Правда, с «лото» мы сейчас как будто не боремся, но появилось и нечто более опасное в лице наркомании.

Так же обсуждая в узком кругу причины болезни и смерти Ленина, решили предпринять некоторые меры по повышению заботы и контроля за здоровьем руководства партии. На заседании Пленума ЦК 31 января 1924 года Ворошилов выступил с вопросом «Об охране здоровья партверхушки». Обговорив, постановили:

«Просить Президиум ЦК обсудить необходимые меры по охране здоровья партверхушки, причем предрешить необходимость выделить специального товарища для наблюдения за здоровьем и условиями работы партверхушки».

Думаю, при Ленине вопрос был бы поставлен иначе, шире, через призму заботы о здоровье всего народа, в том числе и руководящего состава.

Часто спорили, как «внедрять социализм». Пунктирная линия движения в будущее, намеченная Лениным, словно траектория, терялась где-то в дымке за горизонтом. Вектор движения, его направление были ясны. Но как идти, какими должны быть темпы, методы, способы борьбы за будущее,— все это выглядело смутно.

Как строить социализм?

Идеально, когда между силой и мудростью существует гармония. Так бывает очень редко, чаще будущее принадлежит сильным, не обязательно, к сожалению, мудрым. Обычно одно из начал берет верх на каком-то отрезке исторического пути. Осознаем мы или не осознаем этот феномен, но он наряду с другими существует. Однажды Сократ высказал мысль, актуальную не только для его времени: «Философы должны быть правителями, а правители — философами». Силе всегда нужна мудрость. Сталин обладал силой, но не обладал мудростью, хотя мы все долго его хитрость, изощренность, коварство ума принимали за мудрость. В момент выбора средств, путей реализации великих идей это сыграло трагическую роль.

Энергия масс первого в мире государства рабочих и крестьян была освобождена. Как ее верно направить к цели, к идеалу, к вершинам, которые даже Ленину казались близкими? Как материализовать социализм? Партийная печать полна статей «старых» и новых теоретиков, дающих советы, указания, как идти дальше, как строить социализм. Все было внове. Часто казалось: достаточно верного лозунга — и дело пойдет.

Троцкий в конце 1924 года написал в Кисловодске свои скандальные «Уроки Октября». В них он вновь попытался принизить роль других лидеров революции, невольно и Ленина, с тем чтобы «теоретически» обосновать свои претензии на лидерство. Троцкий, как отмечалось в статье «Большевика» (№ 14 за 1924 год), с позиций «летописца» перешел в этих «уроках» на позицию пристрастного прокурора. Он доказывает в очередном томе своих сочинений, где опубликованы «Уроки Октября», что в революции «ЦК был прав тогда, когда он был согласен с Троцким, а Ленин неправ тогда, когда несогласен с Троцким». Троцкий писал, что в делах революции бывает течение, которое следует принимать за «паводок», и если упустить его, то паводок может не вернуться целые десятилетия. Революция «состоялась», потому что вопреки большинству «старого большевизма» во главе ее стали Ленин и Троцкий. Такова была версия нового пророка.

Троцкий вновь ставит вопрос о том, что судьбы революции в России в решающей мере будут зависеть от того, «в какой последовательности будет происходить революция в разных странах Европы...». В своей работе «Перманентная революция» он говорит еще более определенно: «Завершение социалистической революции в национальных рамках немыслимо. Сохранение пролетарской революции в национальных рамках может быть лишь временным режимом, хотя бы и длительным, как показывает опыт Советского Союза». Вот только после этого можно всерьез говорить о путях и средствах строительства нового мира. На вопрос, как строить социализм, Троцкий, по существу, отвечал: с «ожидания мировой революции», подталкивания ее.

Поэтому теория социализма в отдельной стране, считал Троцкий, поднявшаяся на дрожжах реакции, несовместима с теорией перманентной революции. Только сверхиндустриализация за счет крестьянского сектора, писал Преображенский, поддерживая Троцкого, может дать государству промышленную основу, шансы на социализм.

Сталин очень примитивно, поверхностно знал экономику, однако он видел, в каком тяжелом положении находится страна. Полоса дискуссий и споров, захватившая почти на десятилетие партию, была периодом борьбы не только за определение уровня и характера демократического общества, но и за поиски путей хозяйственного развития. Если бы у Сталина была экономическая проницательность, то он смог бы увидеть в последних статьях Ленина контуры концепции социализма, связанные с необходимостью индустриализации и кооперации страны, крупного подъема культуры широких масс, совершенствования социальных отношений, непреложного развития демократических начал в обществе. Ленинские слова о том, что именно политика нэпа дает уверенность, что из России нэповской будет Россия социалистическая, Сталиным никогда не были поняты до конца.

Первые годы его интересовали экономические воззрения таких людей, как Бухарин, Преображенский, Струмилин, Леонтьев, Брудный, но Сталин с трудом понимал суть хитросплетений экономических терминов, законов, тенденций. И этот человек, который никогда не был на производстве, не вдыхал запаха весенней пашни, не одолел даже азов экономической политграмоты, в конце концов согласился с неизбежностью «товарного голода» при социализме, который сопровождает нас до сих пор. Правда, Сталин все же пытался что-то понять в экономике. В его библиотеке лежит брошюра О. Ерманского «Научная организация труда и система Тейлора». Известно, например, что Ленин похвалил автора за то, что он смог дать изложение «системы Тейлора, притом, что особенно важно, и ее положительной и ее отрицательной стороны». Может быть, поэтому Сталин и читал брошюру?

Однако, основываясь на его работах, записках, высказываниях, а главное, практических действиях, убеждаешься, что экономическое кредо Сталина было простым: страна должна быть сильной, нет, не просто сильной, а могучей. Самое главное — всемерная индустриализация. Затем — максимально приобщить крестьянство к социализму. Путь, метод, средство — широчайшая опора на диктатуру пролетариата, в которой Сталин признавал только одну «силовую» сторону. Как-то во время совещания в ЦК он высказал при этом такую формулу: «Чем крупнее будут стоять перед нами задачи, тем больше будут трудности». В «Большевике» (№ 9—10 за 1926 год) эту идею отразили так: «Мы ставим перед собой все более серьезные и крупные задачи, разрешение которых обеспечивает все более успешные шаги по направлению к социализму, но укрупнение задач сопровождается и ростом трудностей». Как это все перекликается с будущей зловещей формулой об «обострении классовой борьбы по мере ускорения продвижения к социализму»! В середине двадцатых годов Сталин очень туманно представлял себе пути социалистического строительства, но метод у него, несомненно, уже был: сила, команда, директива, указание. Разве это противоречит диктатуре?

Сталин, читая многочисленные выступления видных деятелей партии, чувствовал, что широкий спектр взглядов на судьбы социализма в СССР обусловлен не только дифференциацией идейных и теоретических позиций их авторов, но и тем, что действительность оказалась намного сложнее, чем предполагали большевики. Вот правильно ведь пишет Николай Иванович Бухарин в «Большевике»: «Раньше мы представляли себе дело так: мы завоевываем власть, почти все захватываем в свои руки, сразу заводим плановое хозяйство; какие-то там пустячки,

которые топорщатся, мы частью берем на цугундер, частью преодолеваем, и на этом дело кончается. Теперь мы совершенно ясно видим, что дело пойдет совсем не так». Да, дело идет «совсем не так».

Перелистывая статьи, читая доклады, справки, донесения, Сталин чувствовал, что наиболее опасен в этой полосе неопределенности Троцкий. Даже при мысленном упоминании этого имени Сталина охватывало состояние глубокой неприязни, переходящее в озлобление. На днях ему сказали: выступая в кругу своих приверженцев, Троцкий заявил, что некоторые новые «вельможи» в партии не могут простить ему исторической роли, которую он сыграл в Октябре. Конечно, «вельможа» в его устах — это Сталин. До генсека доходили и более нелестные эпитеты Троцкого и его сторонников в свой адрес.

Хотя у Сталина продолжали оставаться внешне неплохие отношения с Зиновьевым и Каменевым, он чувствовал, что его прямолинейность и постепенное усиление влияния не по душе «дуэту». Особенно остро он это понял после XIII съезда партии. В своем докладе на курсах секретарей укомов Сталин подверг критике высказывание Каменева о существовании «диктатуры партии». Но ведь у нас, товарищи, заключил Сталин под одобрительный гул слушателей, есть диктатура пролетариата, а не партии. Ради истины следует сказать, что и Бухарин в то время разделял идею «диктатуры партии». На одном из Пленумов ЦК он заявил следующее: «Наша задача — видеть две опасности: во-первых, опасность, которая исходит от централизации нашего аппарата. Во-вторых, опасность политической демократии, которая может получиться, если демократия пойдет через край. А оппозиция видит одну опасность — в бюрократии. За бюрократической опасностью она не видит политической демократической опасности. Но это меньшевизм. Чтобы поддержать диктатуру пролетариата, надо поддержать диктатуру партии». Радек тут же добавил: «Мы диктаторская партия в мелкобуржуазной стране».

Но Сталин стал критиковать лишь Каменева. Ему совсем ни к чему было «воевать» со многими. Главное — постепенность, поочередность, всему свое время. Тут же политический тандем среагировал. На заседании Политбюро критика Сталина в адрес Каменева была осуждена как «нетоварищеская» и неточно выражающая «суть позиции критикуемого». Сталин тут же заявил о своей отставке, вторично в своей истории генсека и не в последний раз. Отставка и на сей раз была отклонена... самим же Каменевым при поддержке Зиновьева. Сталин почувствовал в этом акте растущую неуверенность своих оппонентов — они по-прежнему боялись Троцкого. А генсек еще раз убедился во «флюгерности» мышления как Каменева, так и Зиновьева. Чего только стоит книга последнего «Ленинизм»! Фактически Зиновьев еще раз пытается закамуфлировать, оправдать свое с Каменевым капитулянтство в период Октября, свои разногласия с Лениным. Сталин обязательно использует потом эти факты. Когда он нанесет разящий удар по Троцкому, настанет очередь Зиновьева и Каменева, если они не станут ручными. А факты эти надо пока приберечь, выписать, сохранить. Вот они, эти факты, зафиксированные в документах:

«Нашу позицию по отношению к Временному правительству и войне надо оберегать как от разлагающего влияния «революционного оборончества», так и от критики т. Ленина»;

«Что касается общей схемы т. Ленина, то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую»;

«Тезисы (Апрельские) Ленина ничего не говорят о мире. Ибо совет Ленина — «разъяснять широким слоям неразрывную связь капитала с империалистической войной» — решительно ничего не разъясняет».

Сталин уже тогда принял решение: как только будет покончено с Троцким как потенциальным соперником, он уберет этих «беспринципных говорунов». Даже его, превратившего свою грубость в достоинство, иногда коробила безапелляционность Зиновьева. Выступая на вечернем заседании Пленума ЦК 14 января 1924 года по поводу «Дискуссионного листка», Зиновьев давал вольные характеристики многим членам ЦК, большевикам, участникам дискуссии, словно он оценивал, будучи командиром эскадрона, своих подчиненных. «Пятаков,— самоуверенно говорил Зиновьев,— большевик. Но его большевизм еще незрелый. Зелено, незрело». Еще несколькими часами раньше, говоря о поправках Пятакова к резолюции по экономическим вопросам, Зиновьев категорично заявлял: «Это не поправки, а платформа, которая отличается от хорошей платформы тем, что она плоха. Больше ничего». Говоря о Сапронове, назвал его «почвенным человеком. Он стоит обеими ногами на земле и представляет что угодно, но только не ленинизм». Осинский — «представитель уклона более интеллигентского, который ничего с большевизмом не имеет». Даже не преминул лягнуть Троцкого, что Сталину явно понравилось, хотя без какой-либо видимой связи: «Когда мы приехали в свое время на конгресс в Копенгаген, нам дали номер газеты «Форвертс» с анонимной статьей, где говорится, что Ленин и вся его группа — уголовники, экспроприаторы. Автором этой статьи был Троцкий».

Сталин слушал и думал: уже считает себя «вождем», лидером. Выскочка, пустозвон! Конечно, на том Пленуме никакой реакции Сталина на выступление Зиновьева не было, но через два года он от позиции Зиновьева не оставит в дискуссии камня на камне. В мае 1926 года, например, разбирая одно из очередных заявлений Зиновьева, Сталин направил записку членам бюро делегации ВКП(б) в Коминтерне на имя Мануильского, Пятницкого, Лозовского, Бухарина, Ломинадзе и самого Зиновьева, в которой пишет, что «натолкнулся на целых восемь сплетен и одно смехотворное заявление т. Зиновьева». По каждому пункту: о Бордиге, ликвидаторском заявлении Рафеса, о Профинтерне, об ультралевом уклоне в Коминтерне и т. д.,— Сталин дает свои категорические оценки, а о самом Зиновьеве резюмирует следующим убийственным образом: «Тов. Зиновьев с бахвальством заявляет, что не тт. Сталину и Мануильскому учить его необходимости борьбы против ультралевого уклона, ссылаясь на свою 17-летнюю литературную деятельность. Что т. Зиновьев считает себя великим человеком, это, конечно, не требует доказательств. Но чтобы партия также считала т. Зиновьева великим человеком, в этом позволительно усомниться.

За период с 1898 года вплоть до Февральской революции 1917 года мы, старые нелегалы, успели побывать и поработать во всех районах России, но не встречали т. Зиновьева ни в подполье, ни в тюрьмах, ни в ссылках, если не считать нескольких месяцев в Ленинграде. Наши старые нелегалы не могут не знать, что в партии имеется целая плеяда старых работников, вступивших в партию много раньше т. Зиновьева и строивших партию без шума, без бахвальства. Что такое так называемая литературная деятельность т. Зиновьева в сравнении с тем трудом, который несли наши старые нелегалы в период подполья в продолжение двадцати лет?»

Уже в середине двадцатых годов основные оппоненты Сталина поймут, что «выдающаяся посредственность» — незаурядный политик: жесткий, хитрый, коварный, волевой. Скоро это поймут все его противники, а через годы — многие руководители партий и государств, которые будут иметь с ним дело.

У читателя может сложиться впечатление, что автор слишком много уделяет внимания л и ч н о й борьбе в процессе выбора. К сожалению, все так и было. Для понимания сути этого выбора важно, по моему мнению, понять ряд вещей.

Развернувшаяся после Ленина дискуссия о путях и методах социалистического строительства сильно осложнилась личным соперничеством, борьбой за персональное лидерство. В эту борьбу включились прежде всего Сталин, Троцкий, Зиновьев. За ней, конечно, стояли конкретные вопросы политики, строительства, отношения к крестьянству, путей индустриализации, теории и практики международного коммунистического движения. Иногда различия во взглядах на эти проблемы носили второстепенный характер, они могли быть достаточно легко приведены к «общему знаменателю». Но личные амбиции, соперничество, воинственная непримиримость, особенно Сталина и Троцкого, придали драматический характер этой борьбе, способствовали тому, что любые отличные, допустим, от

взглядов Сталина идеи, взгляды, позиции рассматривались только как «классово-враждебные», «капитулянтские», «ревизионистские», «предательские» и т. д.

То обстоятельство, что Сталин все время «защищал» Ленина, совсем не значит, что он был прав. Ленина «защищали» и оппозиционеры, те, кто выступал против Сталина,— все дело в том, как интерпретировались ленинские идеи, ленинские установки. В нашей исторической науке долго господствовало представление, что Сталин «не отступал» от ленинских взглядов, по крайней мере в двадцатые годы. Это не так. Достаточно сказать об ошибочных установках Сталина в национальном вопросе, в отношении к нэпу, путям социалистических преобразований в деревне, о насаждении бюрократического стиля управления в партии и государстве и т. д. Отход Сталина от ленинизма во многих вопросах наметился еще тогда, в двадцатые годы. Если не сказать это с полной определенностью, то получится, что все, что делал Сталин, соответствовало ленинской концепции социализма. А это, разумеется, далеко не так. А во многих случаях и совсем не так.

Неверно смотреть на события и таким образом, что ошибались только оппозиционеры, а партия, Сталин всегда были правы. Многие ошибочные решения Сталина освящены, закреплены партийными документами. Ведь если бы партия не ошибалась и всегда принимала верные решения, то не было бы культа личности, кровавого террора, волюнтаризма и субъективизма в руководстве, не было бы лет застоя и сегодня мы бы не провозглашали жизненную необходимость обновления: «Больше социализма и больше демократии!».

Наконец, еще одно соображение. Сталин не сразу остановился на какой-то определенной концепции строительства нового общества. Он не всегда понимал, а возможно, и не разделял взгляды Ленина, особенно изложенные в его последних письмах и статьях. Сталин мысленно часто возвращался к идеям «военного коммунизма», но был вынужден какое-то время «терпеть» нэп, понимая, что без тесного, органичного союза рабочего класса и крестьянства решить многочисленные проблемы СССР не сможет. Сталин не был глубоким теоретиком, его выводы опирались чаще на цитаты, помноженные на волевые импульсы. Ему внутренне были близки «силовые» методы Троцкого, по сути, он в этом отношении был к нему ближе, чем к кому-либо другому из большевистских лидеров. Но это внутреннее сходство, окрашенное личной непримиримостью, поддерживало постоянное «отталкивание», напряжение между двумя полюсами амбиций.

Сталин, перебирая в мыслях перлы Зиновьева и Каменева, усмехался: «И эти люди пишут о ленинизме!» О ленинизме напишет он, и напишет так, чтобы все почувствовали коренную противоположность понимания ленинизма Сталиным и его временными попутчиками. А пока нужно ударить по Троцкому. Сталин особенно тщательно готовится к своему плановому выступлению на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 года. После доклада Каменева он выступит, поставив в качестве заголовка своей речи: «Троцкизм или ленинизм?».

Генсек все свое большое выступление посвятил беспощадной критике Троцкого, взяв, правда, мимоходом под защиту (пока!) Каменева и Зиновьева. Октябрьский эпизод у этих деятелей Сталин охарактеризовал как случайный: мол, «разногласия длились всего несколько дней, потому и только потому, что мы имели в лице Каменева и Зиновьева ленинцев, большевиков». Здесь он покривил душой — он не считал их ни ленинцами, ни большевиками. Просто пока они были нужны ему для борьбы с Троцким и упрочения собственного положения. Сталин бросает в зал вопросы:

— Для чего понадобились новые литературные выступления Троцкого против партии? В чем смысл, задача, цель этих выступлений теперь, когда партия не хочет дискутировать, когда партия завалена неотложными задачами, когда партия нуждается в сплоченной работе по восстановлению хозяйства, а не в новой борьбе по старым вопросам? Для чего понадобилось Троцкому тащить партию назад, к новым дискуссиям?

После этой длинной тирады он обводит глазами зал и глухим, ровным голосом жестко отвечает:

— А «умысел» этот состоит, по всем данным, в том, что Троцкий в своих литературных выступлениях делает еще одну (еще одну!) попытку подготовить условия для подмены ленинизма троцкизмом. Троцкому «до зарезу» нужно развенчать партию, ее кадры, проведшие восстание, для того, чтобы от развенчивания партии перейти к развенчиванию ленинизма.

Здесь Сталин прав: Троцкий, награждая Ленина, ленинизм лестными эпитетами, в которых они, кстати, не нуждаются, исподволь, многократно ставит под сомнение важнейшие взгляды Ленина на построение социализма. По Троцкому, без поддержки других стран социализм в России невозможен; индустриализация только за счет крестьянства; нэп — начало капитуляции; кооперативный план преждевременен; Октябрь — это просто продолжение Февральской революции; без воспитания населения в «трудармиях» оно не поймет «преимуществ социализма» и т. д.

Учитывая, что уже и Зиновьев и Каменев побежали навстречу Троцкому, сколачивая так называемую «новую оппозицию» с целью «осадить» Сталина, выступление последнего сначала против Троцкого, а позже и против его «новых» союзников можно квалифицировать на этом этапе защитой ленинизма. Сталин боролся пока еще дозволенными методами, но «защищал» чаще цитаты без их творческого осмысления. Все его речи этого периода — сплошное цитирование. Завершая выступление перед членами ЦК профсоюзов, Сталин однозначно сказал: «Говорят о репрессиях против оппозиции и о возможности раскола. Это пустяки, товарищи. Наша партия крепка и могуча. Она не допустит никаких расколов. Что касается репрессий, то я решительно против них».

Сталин пока «пощадил», не подверг критике Зиновьева и Каменева, даже взял их под свою защиту от нападок Троцкого. Однако основатели «новой оппозиции» не приняли этот жест генсека. На одном из заседаний Политбюро в начале 1925 года Каменев, поддержанный своим единомышленником, заявил, что техническая, экономическая отсталость СССР в сочетании с капиталистическим окружением становятся непреодолимым препятствием для построения социализма. По существу, в главном вопросе Зиновьев и Каменев сблокировались с Троцким, которого они еще несколько месяцев назад именно за то, что они провозгласили сейчас, подвергали уничтожающей критике.

Выступление против политики РКП(б) требовало отпора, выработки общепартийной директивы о дальнейших действиях в области социалистического строительства. В этом смысле важное место занимает XIV партконференция РКП(б), состоявшаяся в конце апреля 1925 года. Сталин не выступал на ней ни с докладом, ни в прениях. Стержневыми на конференции были вопросы о кооперации (докладчик Рыков), металлопромышленности (Дзержинский), о сельхозналоге (Цюрупа), о партийном строительстве (Молотов), о революционной законности (Сольц), о задачах Коминтерна и РКП в связи с расширенным пленумом ИККИ (Зиновьев). Каменев по традиции (или по инерции?) вел конференцию. Так же, как обычно, он вел заседания Совнаркома, заседания Политбюро. Больше ему с Зиновьевым не председательствовать на таких форумах... Пожалуй, главное, что определила конференция, это утверждение, вопреки первоначальным тезисам Зиновьева, о возможности победы социализма в СССР даже в условиях замедления темпов развития мировой пролетарской революции. Однако окончательной победа социализма может считаться лишь тогда, сделала вывод конференция, когда будут международные гарантии от реставрации капитализма.

Важным было обсуждение вопроса о революционной законности. Докладчик Сольц, отбывавший когда-то вместе со Сталиным ссылку в Туруханском крае, отметил, что после победы революции мы «более остро чувствовали потребность в улучшении нашего хозяйства, чем в установлении революционной законности». Теперь же, проницательно говорил Сольц, «надо членам партии, надо тем, кто осуществляет Советскую власть, понять, что наши законы во всех своих проявлениях также утверждают и укрепляют то строительство, которое мы хотим осуществить и укрепить, и нарушение наших законов разрушает это строительство». Жаль только, что где-то через десятилетие эти верные мысли, закрепленные в постановлении конференции, будут забыты.

Через несколько дней после XIV партконференции Сталин выступил с докладом на партактиве Московской организации РКП(б). В своем большом и довольно скучном докладе генсек выделил в качестве специального раздел «О судьбах социализма в Советском Союзе». Он еще раз подверг ядовитой критике Троцкого, упомянув многие его работы, высмеяв — в который раз! — теорию «перманентной революции» в редакции этого деятеля. С большим пафосом и убежденностью Сталин разъяснял партактиву суть полной и окончательной победы социализма в СССР, но при этом уже стали появляться первые признаки своей особой роли и особого места в партии. Так, например, он счел возможным, отбросив скромность, пространно цитировать самого себя. Излагая известные положения, Сталин постепенно готовил партию к тому, что он обладает особыми правами на постулирование истины.

Генсек пытался опробировать собственное понимание путей перехода к социализму не только в своих выступлениях в ЦК, печати, но и в очень редких случаях при встречах с рабочими. Помощник Сталина Товстуха записал одну такую речь, с которой генсек выступил в Сталинских мастерских Октябрьской железной дороги.

Оглядывая сотни глаз рабочих, с любопытством рассматривающих малоизвестного человека, Сталин неспешно, размахивая рукой в такт своей речи, рассуждал:

«Мы совершаем переход из крестьянской страны в промышленную, индустриальную, обходясь без помощи извне. Как проходили этот путь другие страны? Англия создавала свою промышленность путем грабежа колоний в течение целых 200 лет. Не может быть и речи, что мы могли бы стать на этот путь. Германия взяла с побежденной Франции 5 миллиардов. Но и этот путь — путь грабежа посредством победоносных войн нам не подходит. Наше дело — политика мира.

Есть еще третий путь, которым следовало царское правительство России. Это путь внешних займов и кабальных сделок за счет рабочих и крестьян. Мы на этот путь стать не можем.

У нас есть свой путь — путь собственных накоплений. Без ошибок здесь нам не обойтись, недочеты у нас будут. Но здание, которое мы строим, столь грандиозно, что эти ошибки, эти недочеты большого значения в конечном счете не имеют».

На другой день корреспондент Светланов давал отчет в «Рабочей Москве»: «Ведет собрание Угланыч. Пулеметная дробь аплодисментов. Человек в солдатских хаки, с трубкой в руке, в стоптанных сапогах остановился у кулис. «Да здравствует Сталин! Да здравствует ЦК ВКП(б)». Записки Сталину. Покручивая черный ус, прилежно изучает записки. Смолкает прибой зала, и Сталин, генеральный секретарь партии большевиков, именем которого названы мастерские, начинает свой разговор с рабочими». Это чрезвычайно редкий случай: Сталин, повторим, больше любил выступать на совещаниях в Кремле, на Пленумах ЦК. Свои «явления» народу он сделал в последующем еще более редкими — загадочный, таинственный вождь всегда дает больше пищи для легенды.

В условиях достижения первых успехов в хозяйственном и культурном строительстве проходила подготовка к XIV съезду партии. В 1925 году удалось достичь, а по ряду показателей превзойти довоенный уровень в области сельского хозяйства. Так, валовой объем сельхозпродукции превысил 112 процентов от довоенного уровня. Промышленное производство, находившееся более пяти лет в полном развале, превысило три четверти довоенного. Появились первые новые стройки, это, естественно, электростанции — ленинский завет об электрификации памятовался прежде всего. А ведь крупнейшие зарубежные экономисты предрекали достижение довоенного уровня не ранее чем через 15—20 лет! Значительные успехи были достигнуты в борьбе с неграмотностью. Росла сеть школ, особенно в национальных республиках, были сделаны крупные шаги по созданию системы высшего образования в стране. ЦК, Политбюро приняли ряд важных постановлений по форсированию культурно-просветительной и образовательной работы в государстве. Российская академия наук была преобразована

во Всесоюзную. Уже в это время появились работы мирового уровня таких советских ученых, как В. И. Вернадский, Н. И. Вавилов, В. Р. Вильямс, Н. Д. Зелинский, И. М. Губкин, М. Н. Покровский, А. Ф. Иоффе, А. Е. Ферсман и многих других. С одновременным осуществлением военной реформы Красная Армия успешно переводилась на мирное положение. Особенно быстро эта работа пошла после освобождения на январском 1925 года Пленуме ЦК с поста Наркомвоенмора и Председателя РВСР Троцкого и назначения Комиссаром по военным и морским делам Председателя РВС СССР М. В. Фрунзе.

Стоит, видимо, напомнить один эпизод, происшедший на Пленуме, когда Зиновьев и Каменев сделали неожиданный ход. Каменев предложил вместо Троцкого на пост Наркомвоенмора и Председателя Реввоенсовета республики... Сталина. Это можно расценивать по-разному. Не исключено, что Зиновьев и Каменев, чувствуя неконтролируемый рост влияния генсека, решили перевести его на почетное, ответственное место, которое бы позволило им на предстоящем съезде переместить Сталина с нынешнего поста, вновь «подняв» ленинское «Письмо к съезду». Возможно, политический тандем этим шагом хотел убить сразу двух зайцев: окончательно устранить Троцкого и резко понизить шансы Сталина. Но, увы, если Троцкий и выполнил роль одного из партийных «зайцев», то Сталин уже никак не мог на нее согласиться. Генсек публично не скрыл своего удивления и неудовольствия предложением, что заметили на заседании многие члены ЦК. Большинством голосов предложение Каменева было отклонено.

Вопрос решался без Троцкого — он сказался больным. В самые решающие моменты борьбы этот политик делал крайне неудачные ходы, облегчая задачу Сталину «бить врагов по частям». В целом этот Пленум для Сталина значил многое. Позиции Троцкого еще более ослабли. Пленум, по сути, отказал также в поддержке Зиновьеву и Каменеву. В «игре комбинаций» генсек смог сделать то, что не смогли его оппоненты: убил двух зайцев, то бишь ослабил Троцкого и старый дуэт. По существу, влиятельная тройка в лице Сталина, Зиновьева, Каменева распалась — генсек в ней больше не нуждался.

Страна шла к съезду партии, который станет важной вехой в выборе путей индустриализации, механизации, технизации народного хозяйства. Но к декабрю 1925 года, когда состоялся съезд, с трудом верилось, что то, о чем писали газеты, сбудется. Днепр пока спокойно катил свои воды, не будучи обуздан плотиной; там, где протянется Турксиб, песчаные бури гнали тучи песка; на месте будущего знаменитого Сталинградского тракторного завода лежал пустырь; никто не мог и думать, что у вековой горы через пятилетку взметнутся ввысь домны Магнитки; кто мог предположить, что пионеры ракетостроения приближали эру космических полетов,— в начале тридцатых произойдет запуск первой советской ракеты «ГИРД-Х»...

Новая экономическая политика давала дополнительные шансы большевикам. Нэп помог поднять сельское хозяйство, промышленность приблизилась к довоенному уровню. Проницательные люди видели в плане ГОЭЛРО не просто путь электрификации страны, а и способ поднять социалистическую экономику до высот нового политического уклада. Но это было только начало.

Промышленные тресты, начав действовать на основах коммерции, сами устанавливали цены. Появились перекосы: например, за кусок мыла, аршин ситца, ведро керосина крестьянин должен был продать зерна в 3—4 раза больше, чем в 1913 году. Усиливалось недовольство, это было тревожным симптомом. Промышленность не может расти за счет ослабления сельского хозяйства. Надежды на развитие концессий не оправдались, ожидаемые займы от капиталистических государств получить не удалось, а объем внешней торговли не достиг и половины довоенного уровня. У бирж труда толкалось полтора миллиона безработных. Каждый второй взрослый человек в стране еще не умел читать и писать. Не на что было покупать станки и машины, почти не было новых крупных строек. Но люди, следившие за газетами, чувствовали: страна накануне огромных перемен. У молодого государства, возможно, не было иного выбора, чтобы выжить в этом сложном, опасном мире, надо было сделать мощный рывок.

На таком фоне состоялся XIV съезд партии. Самой заметной фигурой на нем уже был Сталин и прежде всего потому, что политический доклад, который был сделан генсеком, занимал основное место в работе делегатов. Съезд подтвердил решение XIV партконференции о возможности полного построения социалистического общества. В резолюции съезда отмечалось экономическое наступление пролетариата на базе новой экономической политики и продвижение экономики СССР в сторону социализма. Съезд провозгласил переход к индустриализации как ключевой задаче социалистического переустройства общества. Делегаты отдавали себе отчет в том, что этот курс потребует сверхнапряжения и жертв. Встал вопрос о темпах. Полной ясности у многих, в том числе и руководителей, в этом вопросе не было.

Наряду с рассмотрением главного вопроса экономического характера в центре работы съезда оказались и вопросы борьбы с «новой оппозицией». Известно, что основные силы оппозиции представляла ленинградская делегация, возглавляемая Зиновьевым. Именно он выступил с содокладом от оппозиции, но его речь на съезде прозвучала весьма бледно. Аргументы Зиновьева и его единомышленников были слабыми и неубедительными. Зиновьев, Каменев, Сокольников вместе с тем не без оснований предупреждали об опасности бюрократизации партии. Однако их выступления носили слишком личный характер, чтобы произвести должное впечатление на умонастроение делегатов. Каменев на съезде впервые прямо сказал, что он «пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роль объединителя большевистского штаба». Когда Каменев произнес эти слова, большинство делегатов съезда стали скандировать: «Сталина! Сталина!» и фактически устроили овацию генсеку. Сталин почувствовал, что его линия «на защиту ленинизма», о чем он не уставал повторять, получает все большую поддержку партии. Авторитет Сталина исподволь достиг общепартийного уровня. Думается, что здесь сыграло решающую роль и то обстоятельство, что все прошедшее после смерти В. И. Ленина время Сталин выступал от имени «коллективного руководства», боролся за реализацию наиболее понятных массам заветов Ленина: экономического восстановления страны, развития кооперации, оживления торговли, распространения грамотности.

Сталин как будто ни разу не «качнулся» к какой-то оппозиции. Но такое впечатление складывается потому, что любой свой шаг, решение, критику, предложение он выдает только за ленинские! В то же время анализ практической деятельности Сталина убеждает, что он допускал немало самых различных ошибок, часто поддерживал то одну, то другую группировку, но умел быстрее других «корректировать» свои позиции. Сталин, как никто другой, научился на словах отождествлять свою линию, свою политику с ленинской. Здесь кроется одна из «тайн» поддержки партией Сталина. Конечно, по многим (но не по всем!) вопросам Сталин действительно выступал в защиту ленинских идей, но чем дальше, тем становилось очевиднее, что его, Сталина, ви́дение этих идей все больше приобретало автократический характер. Для подавляющего числа большевиков курс партии, работа ЦК во многом олицетворялись в конкретном лице. И поскольку в отсутствие Ленина не было явного лидера, «объединитель большевистского штаба» Сталин выступил личностным выразителем первых успехов в народном хозяйстве, курса на единство партии, с его именем связывалось оживление сельского хозяйства, происшедшее благодаря введению закона о продналоге. Большинству делегатов было ясно, что Зиновьев, Каменев и остававшийся на этом съезде в тени Троцкий все свои атаки на ЦК, его курс вели, исходя прежде всего из своего стремления занять лидирующее положение. Но поражение оппозиции было безоговорочным.

Очередной этап борьбы в партии нашел и организационное выражение. ЦК ВКП(б) — (так стала именоваться теперь партия) — отозвал Зиновьева с поста председателя Исполкома Коминтерна, а вскоре по инициативе советской делегации этот пост был упразднен. Руководителем Ленинградской партийной организации стал С. М. Киров. Каменева освободили от должности заместителя Председателя Совнаркома и сняли с поста Председателя Совета Труда и Обороны. Правда, еще некоторое время Зиновьев и Каменев сохранили свое членство в Политбюро. Впервые в его состав вошли Ворошилов и Молотов, чем были резко усилены позиции Сталина. В своем более чем часовом заключительном слове по Политическому отчету Центрального Комитета Сталин подверг еще раз уничтожающей критике Зиновьева, Каменева, Сокольникова, Лашевича, других их сторонников.

Несомненно, основная линия заключительного слова направлена на утверждение курса партии на строительство социализма, единства ее рядов. Но вместе с тем от внимания наблюдательных людей не могло ускользнуть, в частности, то обстоятельство, что Сталин делает нормой постоянное цитирование собственных статей, записок, обращений и делает это без какой-либо тени смущения. Люди, обладающие высокой политической культурой, которых, к сожалению, тогда было не так много, не могли не заметить и бесцеремонности Сталина, которую он проявил во время своего критического анализа. Так, в оскорбительном тоне Сталин отозвался о выступлении Крупской, назвав ее взгляды «сущей чепухой». Потом он еще раз вернется к Крупской: «А чем, собственно, отличается тов. Крупская от всякого другого ответственного товарища?». И продолжил не без доли демагогии и кощунства: «Не думаете ли вы, что интересы отдельных товарищей должны быть поставлены выше интересов партии и ее единства?». Для нас, большевиков,— патетически под аплодисменты закончил тираду Сталин,— «формальный демократизм — пустышка, а реальные интересы партии — все». Лашевича он назвал «комбинатором», Сокольникова — склонным без предела «куролесить» в своих речах, Каменева — «путаником», Зиновьева — «истериком» и т. д. Похоже, что Сталин уже начал сползать к позиции, когда и неформальная демократия для него будет «пустышкой». А непростительную грубость в адрес Крупской следует объяснить не просто политической бестактностью по отношению к ней и памяти Ильича, но и подспудной местью за те памятные письма, звонки, разговоры, к которым она имела отношение при жизни Ленина.

Сталин, видимо, чувствуя, что где-то в своем заключительном слове он «перехлестнул», «перебрал» в оценках, прибегнул к приему, который потом использует еще не раз. Поясняя разносный характер своего критического отзыва на слабую статью Зиновьева «Философия эпохи», Сталин говорил, что его грубость проявляется лишь к враждебному, чуждому, но это от его прямоты. Генсек постепенно свою отталкивающую черту характера превращал в общепартийную добродетель, чуть ли не революционное качество. Но уже тогда, на XIV съезде, в 1925 году не нашлось, к сожалению, коммуниста, делегата, члена ЦК, способного спокойно, но по достоинству оценить это сползание к разносной критике, которая, придет время, будет звучать как приговор тому или иному человеку.

Сталин, подвергнув бесцеремонной критике многих оппозиционеров, естественно, не обошел вниманием и Троцкого. Почувствовав поддержку большинства съезда, он отмел предложение Каменева о превращении секретариата в простой технический аппарат, заявив вместе с тем, что он против «отсечения» отдельных членов руководства от ЦК. «Метод отсечения, метод пускания крови,— заявил под аплодисменты Сталин,— опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего,— что же у нас останется в партии?». Бравируя поддержкой большинства, счел уместным вновь заявить, что если товарищи будут настаивать, он «готов очистить место без шума». Сталин вел свою речь, как опытный политик, добиваясь снова и снова поддержки делегатов, показывая как бы личное бескорыстие и заботу об общепартийных нуждах. Высмеивая, критикуя фракционеров, Сталин смог тонко показать свое «великодушие», обрамляя речь словечками типа «что ж, бог с ним». Хотя Сталин уже решил, что с Зиновьевым и Каменевым «пора кончать», он тем не менее счел нужным продемонстрировать миролюбие: «Мы за единство, мы против отсечения. Политика отсечения противна нам. Партия хочет единства, и она добьется его вместе с тт. Каменевым и Зиновьевым, если они этого захотят, без них — если они этого не захотят».

В последних фразах заключительного слова Сталин сформулировал ряд положений, которые, если бы они выполнялись, могли бы предотвратить самый тяжелый период в истории нашей партии. Под аплодисменты и явное одобрение

делегатов Сталин заявил, что «Пленум решает у нас все, и он призывает к порядку своих лидеров, когда они начинают терять равновесие... Если кто-либо из нас будет зарываться, нас будут призывать к порядку,— это необходимо, это нужно. Руководить партией вне коллегии нельзя. Глупо мечтать об этом после Ильича, глупо об этом говорить. Коллегиальная работа, коллегиальное руководство, единство в партии, единство в органах ЦК при условии подчинения меньшинства большинству,— вот что нам нужно теперь».

Конечно, все это правильные слова. Но если бы эти идеи о коллективности были подкреплены реальными нормами, демократическими параметрами, то были бы исключены возможности для будущих злоупотреблений властью. Но все дело в том, что верные принципы не нашли своего закрепления в уставных положениях о ротации руководства, сроках пребывания генсека и других лидеров на партийных должностях, подотчетности руководителей и т. д. А именно к этому вели ленинские идеи о совершенствовании партийного аппарата, упрочении демократических начал в РКП(б) и обществе. XIV съезд был, пожалуй, последним при Сталине, когда критика и самокритика были еще неотъемлемыми элементами атмосферы форума. На последующих съездах ее было все меньше и меньше. В дальнейшем критиковать мог только Сталин или кто-то, но по его указанию. Демократические начала в партии не получили своего развития, и великое едва ли ведало, что рядом с ним рождается его отрицание. Не все знали тогда, что за авторитарное могущество придется платить личной свободой,— это не парадокс, а закон единовластия.

Популяризатор ленинизма

Слова «теория», «теоретик» в молодости у Джугашвили вызывали внутренний трепет. «Верная теория,— говорил Мартов,— всегда дружит с истиной». Теперь Сталину эта фраза была понятна — он приобщился и к теории, и к теоретикам. В 1907 году в Лондоне в церкви Братства, где проходил V съезд РСДРП, разглядывая непривычные по сравнению с православным храмом готические очертания, Сталин вспомнил одну из притч Соломона: «Милость и истина да не оставят тебя; обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». Он был в юности прилежным семинаристом, и годы скитаний не выветрили из сознания библейских колляриев. «Милость» была ему ни к чему: сентиментальности он никогда не любил, а вот истину...

Ему казалось, что на съезде он не очень обогатился ею. Долгие споры об отношении к буржуазным партиям, о классовой солидарности, о роли пролетариата в буржуазной революции казались ему отвлеченными, плохо связанными с русской действительностью. А она напомнила о себе, эта действительность, в середине работы съезда весьма властно: прервав заседание, председательствующий вдруг объявил, что на завершение работы, оплату помещения, проживание в гостинице и обратный путь делегатам в партийной кассе не хватает денег. Объявили, что один либерал согласился дать вексель в три тысячи фунтов стерлингов при условии возвращения под крупные проценты, и если под векселем подпишутся все делегаты... После паузы все громко заговорили, соглашаясь. Более десяти лет пришлось ждать неожиданному меценату возвращения своих фунтов. Он рисковал: далеко не все революции в истории свершались как «по заказу».

Накануне, в перерыве заседания, Джугашвили оказался рядом с Лениным, Розой Люксембург и Троцким, спорившими о перманентной революции. Раздался звонок, приглашавший на заседание, и Ленин шуткой закончил спор:

— Наверное, Роза знает русский язык немного хуже, чем марксистский, поэтому у нас с ней и есть кое-какие разногласия... Но это дело поправимо!

Джугашвили смутно понимал суть перманентной революции и не включился в тот мимолетный спор. А ведь здесь тоже должна быть истина. Сколько таких истин нужно революционеру? Они ему теперь, пожалуй, особо нужны, хотя он и не собирался писать их на скрижалях своего сердца. К этому времени делегат съезда с совещательным голосом Джугашвили уже был автором двух-трех десятков простеньких статей и первой своей, как он считал, крупной теоретической работы «Анархизм или социализм?». Сталин в душе гордился ею, хотя еще никто из «литераторов» в Лондоне с этой работой не был знаком.

Мог ли Сталин знать, что через тридцать с небольшим лет он будет единогласно избран почетным академиком Академии наук могущественной страны? Мог ли он даже подумать, что крупнейшие светила мировой науки из этой Академии преподнесут ему в день семидесятилетия толстенный фолиант-панегирик почти в восемьсот страниц, где слова «гениальный ученый», «гениальный теоретик», «величайший мыслитель» будут повторены бесконечное число раз?! Академики М. Б. Митин, А. Я. Вышинский, Б. Д. Греков, А. В. Топчиев, А. Ф. Иоффе, Т. Д. Лысенко, А. И. Опарин, В. А. Обручев, А. В. Винтер и другие скажут в этой величественной книге, сколь огромен оказался вклад И. В. Сталина в развитие теории научного коммунизма, философии, политической экономии, как и методологическое значение его идей для науки вообще. «Величайший мыслитель и корифей науки», как было записано в протоколе № 9 общего собрания Академии наук от 22 декабря 1949 года, между тем был и останется на долгие годы догматическим популяризатором марксизма, примитивным, но напористым толкователем ленинских идей.

В 1949 году академик П. Н. Поспелов напишет статью: «И. В. Сталин — великий корифей марксистско-ленинской науки», а спустя несколько лет он же по поручению ЦК подготовит ошеломляющие разоблачительные выводы, которые лягут в основу знаменитого доклада Н. С. Хрущева на XX съезде партии. Такова злая ирония судьбы...

Но вернемся в двадцатые годы. Оказавшись во главе ядра ЦК, Сталин быстро почувствовал, что, кроме организаторских качеств, которыми он обладал, «твердой руки», которую уже почувствовали многие в аппарате, ему нужно проявить себя и как теоретику. С одной стороны, переход к новым стадиям борьбы за созидание нового общества требовал теоретического осмысления широкого круга вопросов. С другой стороны, Сталин понимал, что лидер партии, а он хотел им стать не только формально, но и фактически, должен иметь устойчивую репутацию теоретика-марксиста. Он понимал, что подавляющее большинство его текущих статей не оставили какого-либо следа в общественном сознании партии, рабочего класса. Большинство их было посвящено какому-нибудь эпизоду, моменту многоцветной действительности. В этой пестрой мозаике лозунгов, идей, призывов, которые выплеснула революция на сознание людей, сталинские скучноватые статьи просто терялись. Правда, ко времени, когда Сталин начал постепенно утверждаться в руководстве партии, им было опубликовано и несколько теоретических работ. Одну мы уже называли: «Анархизм или социализм?». О том, каков ее теоретический, философский уровень, можно судить хотя бы по такому фрагменту: «Буржуазия постепенно теряет почву под ногами,— пишет Сталин,— и с каждым днем идет вспять, но как бы сильна и многочисленна ни была она сегодня, в конце концов она все же потерпит поражение. Почему? Да потому, что она как класс разлагается, слабеет, стареет и становится лишним грузом в жизни. Отсюда и возникло известное диалектическое положение: все то, что действительно существует, т. е. все то, что изо дня в день растет,— разумно, а все то, что изо дня в день разлагается,— неразумно и, стало быть, не избегнет поражения». Удручающий примитивизм и наивность этих умозаключений очевидны, что, правда, не помешало академику М. Б. Митину назвать этот фрагмент «классической характеристикой нового».

Малозаметными трудами остались и такие его теоретические работы, как «Марксизм и национальный вопрос» (1913), «Октябрьский переворот и национальный вопрос» (1918), «К вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов» (1923) и некоторые другие. Сталин довольно скоро почувствовал, что он принципиально не в состоянии внести свое в теорию марксизма, что могло бы стать подлинно новым словом в великом учении. Он все больше убеждался, что гений Ленина предвосхитил чрезвычайно многое. К какой бы сфере деятельности ни приходилось Сталину прилагать свои усилия в сутолоке будней, он видел в ней следы ушедшей далеко вперед тени вождя.

Ожесточенная междоусобица, которая не прекращала потрясать партию, объективно потребовала от Сталина максимально широко прибегнуть к пропаганде ленинского наследия. Так к нему пришла идея прочесть небольшой курс лекций «Об основах ленинизма» в Свердловском университете. Вскоре после смерти В. И. Ленина эти лекции и были прочитаны, затем они в апреле и мае 1924 года были опубликованы в «Правде». Пожалуй, именно лекции принесли Сталину определенное признание как «теоретика».

Образованность не только основной массы населения — крестьянства,— но и рабочего класса, партийцев была невысокой, и часто просто требовалось изучение элементарной азбуки ленинизма. Только предельная популярность, доходчивость, ясность, простота могли обеспечить понимание основных идей ленинизма. Сталин к решению этой задачи оказался готов. Ему не пришлось перестраиваться: все его и ранние и более поздние работы примитивны, просты и непритязательны. «Катехизисное» мышление Сталина пригодилось тут как нельзя лучше. Телеграфно короткие фразы, никаких мудреных терминов, отсутствие глубины, но ясность, ясность, ясность... Лекции после публикации были хорошо приняты, их широко использовали агитпропы для ликвидации политического невежества больших масс людей. В последующем «Вопросы ленинизма», «Об основах ленинизма» были канонизированы и превращены усердными сталинскими пропагандистами в догматический цитатник. Работы и впрямь походили на мозаику из цитат: пожалуй, если бы их убрать из сборников, то в некоторых работах остались бы лишь знаки препинания. Одно издание следовало за другим...

Сталин оказался способным популяризатором: сложные идеи и положения он смог сделать доступными для полуграмотных людей. Но если быть точным, то это было не популяризаторство. Сталин не стремился специально писать в общедоступной форме; он не умел иначе. Его мышление было теоретически упрощенным само по себе. Белое — черное, союзник — враг, победа — поражение... В рамки этих антиномий он втискивал все многообразие действительности. Но это не популяризаторство, а выражение примитивизма теоретического мышления. Но при этом генсек, трактуя ленинские выводы, существенно перекроил многие из них. Так, раскрывая сущность диктатуры пролетариата, он фактически сделал акценты лишь на ее насильственной стороне, начисто «освободив» ее от демократического содержания. Сегодня, например, нельзя без содрогания читать страницы сталинской теории «ликвидации кулачества как класса», зная, что стояло за этим.

Сборник за сборником выходили в Государственном издательстве политической литературы. Редакторы не смели без Сталина что-либо менять, уточнять, поправлять. Поэтому, читая, например, сборник сталинских статей и выступлений «Вопросы ленинизма», выпущенный одиннадцатым изданием в 1945 году, сталкиваешься с местами, от которых берет оторопь. Сталин полемизирует, адресуется, ругает, критикует, шельмует... Зиновьева, Троцкого, Каменева, Сорина, Слуцкого, Бухарина, Рыкова, многих, многих других, как будто они все еще живы: «Давайте послушаем Радека», «Троцкий говорит уже два года», «Каменев имеет в виду», «А как говорит Зиновьев?», «Эти факты известны Зиновьеву», «Бухарин опять говорит...». Конечно, мы знаем, что эти работы Сталина, стоящие на конвейере издательства, написаны были тогда, когда все эти люди, как тысячи и миллионы других, были живы. Но с тех пор прошли годы, а Сталин продолжает полемизировать со своими оппонентами, которых он распорядился убить, уничтожить. Аргументы, которые выдвигает Сталин, борясь теперь уже с тенями ушедших людей, предстают не просто научно несостоятельными, но и в высшей степени кощунственными. В книге то и дело жирным шрифтом набрано: «Аплодисменты переходят в овацию», «Гром аплодисментов», «Все встают и приветствуют любимого вождя», «Громовое ура!» — и все это было,— не покидает ощущение, что сама книга из кошмарного сна. Уничтожить своих теоретических оппонентов и продолжать измываться над мертвыми мог лишь человек, полностью преступивший общечеловеческие нормы морали. Поэтому даже верные суждения, которые встречаются в примитивном популяризаторстве Сталина, не могут не восприниматься как кощунство.

Когда Сталин готовил лекции для чтения, а затем и для печати, он еще не был полностью в плену идеологических предрассудков, которые затем сам усиленно культивировал. Так, например, невозможно представить, чтобы Сталин мог позволить в конце своей жизни то, что он написал о ленинском стиле руководства в 1924 году. В середине двадцатых годов он мог справедливо утверждать, что стиль ленинизма состоит в соединении русского революционного размаха и американской деловитости. «Американская деловитость — это та неукротимая сила,— писал он,— которая не знает и не признает преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие препятствия, которая не может не довести до конца раз начатое дело». Думаю, что если бы кто-нибудь публично сказал в более поздние годы такие сталинские слова, как: «Соединение русского революционного размаха с американской деловитостью — в этом суть ленинизма в партийной и государственной работе», то ему бы пришлось об этом горько пожалеть. В двадцатые годы мысль Сталина, пусть и без полета и озарения, все же еще не была полностью стянута обручем воинствующего догматизма.

Можно утверждать, особенно по «знаменитой» четвертой главе «Краткого курса истории ВКП(б)», что Сталин так и не разобрался до конца в соотношении теории и метода, взаимосвязи объективного и субъективного, сути законов общественного развития. Его утверждения, что все в природе и обществе запрограммировано железной необходимостью, явно смахивают на фатализм: «Социалистический строй последует за капиталистическим, как день за ночью». Марксистская теория — это компас на корабле, который обязательно доплывет до другого берега, но с «компасом» быстрее. Сталин высмеивает тех, кто прислушивается к «требованиям разума», «всеобщей морали», и воспевает вульгарный материализм, замешенный на насилии. Конечно же, он утверждает, что «примером полного соответствия производственных отношений характеру производительных сил является социалистическое народное хозяйство в СССР». Его аргументация всегда звучит либо как утверждение, либо как приговор. Вся история, изложенная в «Кратком курсе»,— это цепь победы одних и поражения других: шпионов, двурушников, врагов, преступников. Сталин все уложил в прокрустово ложе схемы: в жизни должно быть так, как в теории, той, которую он излагает. Это как раз тот случай, о котором говорили Маркс и Энгельс,— подобный подход может свести идеологию к «ложному сознанию». Все, что происходит, по логике Сталина,— это закономерность: рост коммунистических партий — да; разгром правого уклона — несомненно; «предательство» социал-демократических партий — естественно и т. д. Творчеству, воле, игре воображения, дерзости сознания в главе абсолютно не оставлено места.

Сталинский интеллект — в плену схемы. Судите сами: три основные черты диалектики, четыре этапа развития оппозиционного блока, три основные черты материализма, три особенности Красной Армии, три основных корня оппортунизма и т. д. Вся теория разложена «по полочкам» и нишам. Да, в учебных целях это, пожалуй, и допустимо: студенты любят схемы знаний. Но «инвентаризировать» всю теорию и сводить ее к нескольким чертам, особенностям, этапам, периодам — все это обедняет обществоведение, делает мировоззрение догматическим.

В сталинских работах с определенного времени начали просматриваться и ритуальные элементы. В его мышлении трудно выделить оттенки, переходы, оговорки, оригинальные идеи, парадоксы. Интеллект вождя однозначен: все, что выходит из-под его пера,— это развитие марксистско-ленинской теории. Каждое его изречение — программа. Все, что не согласуется с его установками,— подозрительно, а скорее всего враждебно. Вульгаризация, упрощенчество, схематизм, прямолинейность, безапелляционность придали интеллекту Сталина примитивно-ортодоксальный, в известном смысле даже манихейский характер. Есть полные основания утверждать, что у Сталина не возникало сомнений в «гениальности» того, что он говорил. Одно из доказательств подобного вывода — любовь к собственному цитированию.

При всем при этом интеллекту Сталина была, пожалуй, присуща и сильная черта: его практический характер. Каждое теоретическое положение (часто весь-

ма механически) генсек пытался увязать с конкретными запросами и потребностями социальной практики. Скажем сразу: не всем работам других марксистов присуща эта конкретно-практическая направленность. Но у Сталина она, подчеркнем еще раз, не носила диалектического характера. Механицизм, автоматизм действия, часто смахивающий на фатализм, нередко придавали карикатурный характер сталинским трудам.

Выступая на первом Всесоюзном совещании стахановцев, Сталин говорил: «Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свободой (Одобрительные возгласы, аплодисменты). Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы дополнялись благами материальными. Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас весело, и вот на какой почве выросло стахановское движение». Добавить какой-либо комментарий к такой «аргументации» источников стахановского движения нет нужды. Вульгарность и примитивизм долго насаждался в общественное сознание народа, и мы еще порой не отдаем отчета в том, сколь тяжелые и дальние последствия влекло за собой такое «засорение» сознания людей.

Выбор методов борьбы за социалистическое переустройство общества сопровождался в двадцатые годы активизацией теоретической работы руководителей партии. В «Правде», «Большевике» — теоретическом органе, который начал выходить в 1924 году, регулярно появлялись статьи Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталина, Бухарина, Калинина, Ярославского, других деятелей партии. Некоторые из них весьма преуспели в публикации своих трудов. Так, в журнале «Большевик» было помещено несколько рецензий на сочинения Л. Д. Троцкого, который за десять лет после революции успел издать двадцать один том. «Правда» 4 октября 1924 года сообщала о начале издания ленинградским отделением Государственного издательства сочинений Г. Е. Зиновьева в двадцати двух томах. Комиссия по изданию сочинений оценила их как своего рода «рабочую энциклопедию». Здесь же, в «Правде», помещена информация о выходе сборника «Октябрь. Избранные статьи В. И. Ленина, Н. И. Бухарина и И. В. Сталина». Особенно много появлялось в это время материалов, подготовленных Бухариным,— «Противоречия современного капитализма», «О новой экономической политике и наших задачах» и другие статьи.

Сталин стремился «не отставать». Однако бо́льшая часть его статей в двадцатые годы была посвящена не столько популяризации ленинизма, сколько полемике с руководителями различных группировок, оппозиций, фракций. Здесь Сталин чувствовал себя, как рыба в воде. Пожалуй, благодаря борьбе с оппозициями, напористой, громкой критике своих вчерашних сотоварищей, он и стал «теоретиком». Выступления с докладами на партийных съездах и конференциях, пленумах, заседаниях Политбюро были жесткими, решительными, по большей части непримиримыми, хотя, правда, порой Сталин, исходя из тактических соображений, и позволял себе либеральные «послабления». Так, 11 октября 1926 года Сталин выступил на заседании Политбюро с вопросом «О мерах смягчения внутрипартийной борьбы». Эти «смягчающие меры» свелись к формулированию пяти ультимативных пунктов, которые должны принять лидеры оппозиции, если они хотят остаться в ЦК.

В полемике с идейными оппонентами Сталин преображался — появлялась хлесткость выражений, порой, правда, носящих личный оскорбительный характер. Генсек даже гордился репутацией грубого, но непримиримого борца за единство партии, против фракционности, за чистоту ленинизма. Выступая с заключительным словом по политическому отчету ЦК на XIV съезде партии, Сталин, словно бы присваивая себе право на грубость как атрибут генсека, под одобрительный смех делегатов подчеркнул: «Да, товарищи, человек я прямой и грубый, это верно, я этого не отрицаю».

В ответе С. Покровскому, пытавшемуся выяснить позицию Сталина по теории пролетарской революции, генсек в самом начале письма называет своего корреспондента «самовлюбленным нахалом». На такой же ноте он и заканчивает ответ: «Вы ни черта,— ровно ни черта,— не поняли в вопросе о перерастании буржуазной революции в революцию пролетарскую? Вывод: надо обладать нахальством невежды и самодовольством ограниченного эквилибристика, чтобы так бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами...» Таким был стиль и язык критики Сталина своих оппонентов, которым он без тени особого смущения зачастую бросал в лицо: «болтун», «клеветник», «путаник», «невежда», «пустозвон», «подпевала»... Серьезные аргументы, которые использовал Сталин в борьбе против оппозиции, часто обрамлялись эпитетами на грани брани. Генсек с полной уверенностью судил: здесь истина, а здесь заблуждение.

Мы уже говорили, что Сталин по мере утверждения своего авторитета и повышения политической значимости поста генсека все чаще прибегал к использованию в качестве аргументов высказывания из собственных статей и речей. В этом случае они уже представали как истина в высшей инстанции. Так, дав определение ленинизма в своих лекциях в Свердловском университете, Сталин в работе «К вопросам ленинизма» фактически превозносит эту дефиницию как совершенную и универсальную. Далее он многократно прибегает к собственному обильному цитированию, сопровождаемому неизменными оценками,— «все это правильно, т. к. целиком вытекает из ленинизма» и т. д. Порой поражаешься, сколь высоко ставит и ценит собственные выводы генсек. В последующем это станет правилом: отсылать читателей к своим статьям и книгам.

В ответе товарищу Покоеву «О возможности построения социализма в нашей стране» Сталин не только полностью умалчивает, что эта идея целиком принадлежит В. И. Ленину, но и утверждает, что именно он, Сталин, является автором этой концепции. Не утруждая себя особыми аргументами, генсек в post skriptum к статье без обиняков говорит: «Взяли бы «Большевик» (московский) № 3 и прочли бы там мою статью. Это облегчило бы Вам дело». Что касается собственно ответа Покоеву, то наряду с верными положениями Сталин педалирует на одну идею: «рабочий класс в союзе с трудовым крестьянством может д о б и т ь (здесь и далее разрядка моя.— Д. В.) капиталистов нашей страны», «оппозиция же говорила, что д о б и т ь своих капиталистов и построить социалистическое общество мы не сможем»; «если мы не рассчитывали д о б и т ь наших капиталистов... то мы зря брали власть» и т. д. Акцент на «добивание» в 1926 году остатков эксплуататорских классов слишком очевиден. «Битье» и «добивание» скоро станут едва ли не главным занятием Сталина.

Но, пожалуй, самое негативное в теоретическом «творчестве» Сталина заключается в том, что он постепенно «обосновал», если так можно выразиться, «жертвенный социализм». Фактически гуманистическая сущность социализма была им отброшена. Цена сталинской модели социализма безмерна, но именно это и соответствовало его теоретическим «взглядам». Эти мировоззренческие установки генсека со временем позволят ему с легким сердцем пойти на неслыханные массовые репрессии, широкое применение насилия как главного социального метода строительства нового общества. По сути, сопоставление теоретических взглядов Сталина (и особенно их материализации) говорит нам, что генсек постепенно отошел от ленинизма. Звучит парадоксально, но это факт: Сталин, формально оставаясь большевиком, в конце концов не станет ленинцем! Из многих разновидностей социализма — утопического, мелкобуржуазного, казарменного, научного — Сталин создал нечто свое, социализм бюрократический, несущий в себе черты и догматического, и казарменного. Одним словом, «сталинский». Конечно, он не смог, не сумел, не успел все деформировать в живой ткани социализма, который строили миллионы. Но сегодня мы знаем, что говорить о государстве, где высока степень обобществления, где коллективное «выше» личного, где лишь все планируется, как о государстве социалистическом еще рано. Подлинный социализм, каким его видел Ленин,— тот, когда в его центре стоит ч е л о в е к. Ленинская концепция социализма — это демократия, гуманизм, социальная справедливость. Подобный подход никогда не может подразумевать насилие, отчуждение власти от народа, существование вождя-полубога.

При всей популяризаторской, часто примитивной сути теоретических изысканий Сталина нельзя не сказать, что над своими статьями, речами, репликами,

ответами генсек обычно трудился сам. Свидетельства его помощников, в разное время работавших с ним,— Товстухи, Мехлиса, Каннера, Стасовой, Бажанова, Поскребышева, других ответственных лиц из аппарата Генерального секретаря, дают основания сделать вывод: при огромной загруженности Сталин весьма много работал над собой. Ему ежедневно по его специальным заказам делали подборку литературы, давали вырезки из статей, сводки о партийной печати губерний, обзоры зарубежной печати.

Однажды он долго сидел над письмом из Берлина с обратным адресом: Целлендорф, Вальдемарштрассе, 11, «Вилла Нина», В. П. Крымову. Это было довольно необычное письмо. Его автор — писатель, бежавший из России в 1917 году, но пристально, до боли в глазах следивший за тем, что там происходило после революции. Читая письмо, Сталин отчеркивал строки: «Я пишу Вам, как одному из самых крупных государственных деятелей в современной России. Я пацифист и интернационалист, но все-таки я люблю Россию больше всякой другой страны. Мне отсюда м. б. видно кое-что, что Вам не так ясно, при всей Вашей осведомленности изнутри. (Здесь красный карандаш проделал двойной путь.)

...Нужно во что бы то ни стало сохранить власть в ваших руках, вожаков пролетариата, ничего не щадя. Помните: «Кто не способен на злодейство, тот не может быть государственным человеком». Прежде всего армия. Она не должна воевать, но она должна быть. Все должны знать о ней преувеличенное. Чем больше всяких военных демонстраций, тем лучше... Никаких средств не надо щадить в заботах об увеличении населения России и полном его воспитании. Это самое страшное оружие против капиталистического мира. Сегодня ясно, что современная Россия может дать новый закон истории: размаха маятника в другую сторону может и не быть; он может навсегда остаться слева... Не нужно лжи, но нужны две правды, и о большей умолчать на время и тем заставить верить в меньшую; а когда понадобится, малая отступит перед большой... Не надо притеснять религию, это укрепит ее. Привлекайте частный капитал. Пока государственная власть у вас — это не представляет никакой опасности... Проявление современного русского творчества нужно поддержать, не жалея затрат. Скажем, литературу, м. б. балет. Нужно бросить в остальной мир яркие кристаллики современной России: этим можно иногда сделать больше, чем самой широкой пропагандой... Революция сделала уже колоссально много. Но эксперимент затягивается, нужны какие-нибудь р е а л ь н ы е результаты. Нужны какие-то выполнения обещанного благополучия пролетариата. А пока у вас волокиты больше, чем в царском строе. Есть случаи, когда тянуть выгодно, но сплошь эта система гибельна».

Сталин долго сидел над письмом, перестав подчеркивать, ибо почти каждая строка была, как ему казалось, умной, взвешенной, выстраданной. Взглянул еще раз на размашистую подпись: «Вл. Крымов, опубликование моего письма нежелательно». Сталин отложил письмо в папку, где лежали бумаги, к которым он еще возвращался.

В 1924—1928 годах Сталин неоднократно приглашал к себе профессоров из Промышленной и Коммунистической академий для получения консультаций в области обществознания. Особенно он чувствовал свою слабость в философии: историю пока знал весьма посредственно; к углублению своих экономических знаний особого рвения не проявлял. Вместе с тем длительный опыт работы на посту, где ему приходилось заниматься самыми разнообразными проблемами, сформировал тонкое чутье, весьма практичный ум, способный быстро оценить ситуацию и ориентироваться как в калейдоскопе проблем, так и выделять в них главные звенья. Природная наблюдательность, отличная память на лица, фамилии, факты, богатый опыт общения с целой когортой образованнейших людей из ленинского окружения не могли не выработать у Сталина и нечто свое, в своем роде неповторимое. Например, не будучи крупным теоретиком, он превосходил многих своих сотоварищей по прагматическому подходу к теории, умению максимально полно «состыковать» ее с практическими задачами.

...Готовясь к выступлению на торжественном заседании в Военной академии, он вспомнил о многочисленных письмах инвалидов гражданской войны. Пока государство ничего (или почти ничего) не могло им дать. Подумалось, что проект постановления Совнаркома, обсуждаемый в Секретариате и Оргбюро, нужно быстрее принимать. В нем предусматривалось, что инвалиды Красной Армии будут получать пенсию от шести до 15 рублей в месяц. А поскольку государство не располагает этими средствами, установить для реализации такого решения следующее:

— четырехпроцентный сбор с пассажирских билетов;
— двадцатипятипроцентный сбор с билетов в театрах и кинематографе;
— десятипроцентный сбор с наследственных и судебных пошлин...

Сталин редко оглядывался назад, но инвалиды войны — это не просто рана прошлого. Пока власть не смогла дать многого из того, что было обещано, что казалось таким естественным при наличии народовластия... Однако Сталин всегда останавливал себя в этих размышлениях — не расслабляться, революция продолжается, будут еще жертвы, никаких сентиментальностей!

Сталин был большим мастером у п р о щ е н и я теории марксизма-ленинизма, часто до примитивизма. Именно ему принадлежит заслуга насаждения схематизма в теории, истории партии. Вскоре, к концу двадцатых годов, можно было только комментировать, «разбирать», славословить сталинские работы. На целые десятилетия теоретическая мысль в обществоведении впала в состояние глубокой стагнации, застоя. Именно Сталин положил начало подгонке тех или иных выводов теории к реалиям жизни, общественному бытию. Сведение марксизма-ленинизма к элементарным схемам, даже определенное его препарирование резко затормозили развитие общественной мысли. Догматизм можно сравнить с судном, сидящим на мели. Волны бегут, а корабль стоит, но видимость, кажимость движения сохраняется. Сталин к идеологии подходил сугубо прагматически, полагая, что настоящая идеология внутри страны должна функционировать подобно цементу, а вне ее — как взрывчатка...

Многие из его «теоретических» выводов стали со временем источником больших социальных бед. Иногда мне думается, что интересный, оригинальный вывод имеет как бы «окраску»: оранжевую, фиолетовую, пурпурную, изумрудно-лазурную... Это все равно, как если бы луч пронизал туман, мрак, сумерки, очерчивая контуры желанной Истины. Пожалуй, мир мысли не только многострунен, но и многоцветен, но эти краски надо уметь видеть. У Сталина мысль была серой и со временем на практике проявляла себя в самых мрачных тонах. Судите сами.

14—15 января 1924 года состоялся Пленум ЦК, рассмотревший целый ряд вопросов. О международном положении доклад сделал Зиновьев. Докладчик и выступающие подвергли критическому анализу неудачи в Германии, где, по мнению многих, не была использована революционная ситуация. В своем выступлении Сталин остановился на роли Радека в этих событиях, бывшего в то время в Германии. «Я против того, чтобы применять к Радеку репрессии за его ошибки в германском вопросе. Он допустил их целый ряд, из которых я выделяю здесь семь штук». Любимое занятие Сталина — нанизывать ошибки других на длинную бечеву; мы не будем воспроизводить их все, назовем лишь ту ошибку, которую Сталин пронумеровал, как в инвентарной описи, «четвертой». Радек считает, продолжал генсек свою речь, «главным врагом в Германии фашизм и полагает необходимой коалицию с социал-демократами. А наш вывод: нужен смертельный бой с социал-демократией». Это не просто теоретическая ошибка в анализе. Политическая близорукость Сталина в оценке фашизма и социал-демократии дорого обойдется коммунистам, демократическим силам в будущем. Его «серое» освещение острейшей проблемы свидетельствует о явном неумении анализировать многозначные связи.

Или еще пример его теоретической «недалекости». Во время октябрьского (1924 года) Пленума ЦК РКП(б) обсуждался среди других вопрос о работе в деревне. Докладчиком был Молотов. С длинной речью выступил Зиновьев, плохо ориентировавшийся, как, впрочем, и Молотов и Сталин, в аграрных вопросах.

Но и он довольно верно оценил общую обстановку: «Мы обсуждаем сейчас не только вопрос о работе в деревне, но и об отношении к крестьянству вообще, т. е. гораздо более общий вопрос, который, вероятно, не сойдет с очереди в течение ряда лет, т. к. он целиком упирается в проблему о проведении диктатуры в данной обстановке». Сталин своим выступлением попытался дать ряд политических и теоретических рекомендаций, в которых можно рассмотреть зародыши будущих крупных ошибок. Он опять начал заниматься «инвентаризацией». Первое, что нам надо делать,— «это завоевать крестьянство заново»; во-вторых, видеть, что «изменилось поле борьбы»; в-третьих, «надо создать в деревне кадры». Идет 1924 год, а речь Сталина звучит как будто уже из 1929-го... Удивительная «проницательность» и последовательность в утверждении тяжких ошибок. Таким был Сталин как «интерпретатор» ленинизма, и мы еще не раз коснемся его теоретических воззрений.

Интеллектуальное смятение

Последователь Вл. Соловьева философ Е. Трубецкой в статье «Два зверя» развивал идею о том, что России угрожают две крайности — «черный зверь реакции и красный зверь революции». Для многих деятелей культуры, литературы эти «звери» оказались реальными. Идейные колебания шли по самой большой амплитуде: от прямого, откровенного неприятия самой идеи революции (З. Гиппиус, Д. Мережковский, И. Бунин) до ее восторженного прославления (Д. Бедный, А. Жаров, И. Уткин, М. Светлов). Однако далеко не все быстро определили свои идейные позиции.

Сила старого была сломлена, но было бы неестественным ждать, что все художники начнут приветствовать наступающий рассвет. И на главной улице большой литературы, и на ее задворках шло глухое, а иногда и бурное брожение. Главные вопросы, терзавшие художественную интеллигенцию, были: каково место культуры в «новом храме», проблема творческой свободы, отношение к духовным ценностям прошлого. Кое-кто из писателей всерьез считал, что у русской литературы одно будущее — ее прошлое. Многих мастеров слова революционный шквал напугал, в нем они увидели угрозу не только себе, но и всей культуре.

Большинство интеллигенции не приняло социалистическую революцию. Это не обязательно, что все непринявшие стали ее врагами, нет. Пожалуй, большую часть интеллигентов устроили бы результаты Февральской буржуазно-демократической революции, с каким-нибудь парламентом и другими атрибутами либерального многовластия. Растерянность, интеллектуальное смятение продолжались несколько лет, затем стали вырисовываться диаметрально противоположные тенденции: полное принятие идей Октября и их полное отрицание, долгие колебания и постепенные повороты. Весьма характерен в этом смысле небольшой сборник «Смена вех», вышедший в июле 1921 года в Праге. Выступившие в нем авторы, в основном кадетской организации, активные деятели лагеря белых, призвали «пойти в Каноссу». Ключников, Потехин, Бобрищев-Пушкин, Устрялов заявляли, что по воле «роковой иронии истории» большевики сделались «хранителями русского национального дела». Кстати, в своих выступлениях в двадцатые годы Сталин неоднократно упоминал Устрялова и само «сменовеховство» как символ разложения вражеского лагеря. Авторы «Смены вех» не скрывали, что считают большевизм утопией, но понимали, что с ними, беглецами России, «расправится и уже расправляется история». Ностальгические мотивы, окрашенные в славянофильские тона, знаменовали нечто более важное: поворот части интеллигенции к поддержке социалистической России. Эта смутная тяга к Родине глушила классовые инстинкты, мирила, хотя и с болью, с новыми реальностями в России.

Но многие интеллигенты совсем не приняли большевизма. Журнал «Политработник» в 1922 году в статье «Беглая Россия» писал о них так: «Великая Октябрьская революция имеет свой «Кобленц»... Известны «патриотические» подвиги и образ жизни этой беглой России. Она не имеет даже и налета той печальной красоты глубокой осени, отпечаток которой можно уловить на представителях погибающего феодального общества в Кобленце Великой Французской революции. Здесь господствуют гниль, мерзость запустения, склока, мелкое и крупное интриганство и подхалимство, громко именуемое «деланием политики».

Выразителем крайнего неприятия Октября стала З. Н. Гиппиус, которая в своих «Серой книжке» и «Черном блокноте» выразила полное отрицание идей революции, по ее мнению, похоронившей культуру России:

Напрасно все: душа ослепла,
Мы червю преданы и тле;
И не осталось даже пепла
От русской правды на земле.

Гиппиус сравнивала революцию с «пустоглазой рыжей девкой, поливающей стылые камни». Характеризуя свою и мужа (Д. С. Мережковского) политическую позицию, она с гордостью говорила: «Пожалуй, лишь мы храним белизну эмигрантских риз». В своей родине они увидели «царство Антихриста». Даже Троцкий, довольно терпимо относившийся ко всем этим метаниям и считавший неизбежным интеллектуальное смятение интеллигенции, бросил злую реплику по поводу «нытья» Гиппиус. Ее искусство, в котором преобладала проповедь мистического и эротического христианства, писал Троцкий, сразу же трансформировалось, стоило «подкованному сапогу красноармейца наступить на ее тонкий носок. Она немедленно стала завывать криком, в котором можно было узнать голос ведьмы, одержимой идеей о святости собственности». Спектр эстетических интересов Сталина был неизмеримо уже эрудиции Троцкого, и декадентские, иконоборческие традиции и тенденции его мало волновали. Едва ли Сталин что-нибудь серьезное знал о Гиппиус, Бальмонте, Бердяеве, Белом, Воронском, Лосском, Осоргине, Шмелеве и многих других интеллектуалах, так или иначе оставивших след в истории отечественной культуры. С его умом, эмпирическим и лишенным эмоционального богатства, он на весь храм культуры смотрел вначале сугубо с прагматических позиций: «помогает», «не помогает», «мешает», «вредит». Художественные критерии, если они у него и были, не имели, по его мнению, решающего значения.

Справедливости ради нужно сказать, что хотя волна эмиграции за рубеж была весьма большой, возможно, более двух — двух с половиной миллионов человек, в основном это были представители состоятельных слоев, интеллигенции, в том числе художественной (М. Алданов, К. Д. Бальмонт, П. Д. Боборыкин, И. А. Бунин, Д. Бурлюк, З. Н. Гиппиус, А. И. Куприн, Д. С. Мережковский, И. Северянин, А. Н. Толстой, Саша Черный, В. Иванов, Г. Иванов, В. Ф. Ходасевич, И. С. Шмелев, М. Цветаева и многие другие),— не все они были враждебно настроены против Советской России. Различна и их судьба. Немало таких, кто нашел свою смерть в трущобах Шанхая, ночлежках Парижа или вернулся в края родные. Одних ждала возможность возрождения литературного и иного творчества, другие не смогли адаптироваться в новой социальной среде и навсегда замолчали, третьи попали под жернова беззакония.

Художественная интеллигенция, оставшаяся в России, вела себя тоже по-разному. Стали быстро возникать художественные союзы, творческие объединения: «Союз крестьянских писателей», «Серапионовы братья», «Перевал», «Российская ассоциация пролетарских писателей», «Ассоциация художников революционной России», «Кузница», ЛЕФ, другие творческие альянсы. В стенах холодных клубов и дворцов шли жаркие дискуссии о пролетарской культуре, литературе и политике, возможностях использования ценностей буржуазной культуры. В процессе этого литературного брожения, а порой и интеллектуального смятения рождались свои концепции, возник уникальный шанс в создании и утверждении творческого плюрализма в художественном сознании. В то время еще не были в ходу командные методы, которые для искусства, литературы равнозначны творческой атрофии.

Сталин, мало интересовавшийся поначалу этими вопросами, не видел какой-то опасности в мозаике литературных школ, направлений, тем более что большинство (на свой лад) говорило о революции, новом мире, новом человеке, «зовущих далях». Даже авангардистские, часто сектантские увлечения «ради-

кальными методами» творчества казались только наивными, забавными — не более. В ЦК еще не было идей и доктрин ждановского толка, все это придет позже. Этот творческий плюрализм, естественный, как само искусство, за короткий срок смог дать в кино, литературе, живописи произведения, навсегда вошедшие в сокровищницу нашей духовной культуры.

В целом двадцатые годы характеризуются раскрепощенностью мысли, творческими поисками, смелым новаторством. Художники, мастера слова, сцены, кинематографа много говорили о свободе творчества. У писателей было рожденное революцией стремление постичь тайны великого, вечного, непреходящего. Много говорили о гениях, гениальности, часто «перехлестывая» в своих суждениях через край. А, впрочем, самая высокая вершина пирамиды творчества — всегда гениальность, и почему бы мастеру слова не стремиться к ней? Может быть, и прав был крупный русский писатель и философ Н. Бердяев, когда говорил, что «культ святости должен быть заменен культом гениальности»?

Революция форсировала творческое созревание многих, и, видимо, было естественным и плодотворным состояние частых дискуссий, споров, соревнований различных художественных школ. Как жаль, что через несколько лет эта атмосфера искательства в значительной мере испарится в каменоломнях бюрократического слога, однодумства, как духовной униформы, родит множество книг с «грибной жизнью», о большей части которых сейчас никто и не вспомнит.

В нескольких номерах журнала «Большевик» (1926 год) была опубликована статья П. Ионова о пролетарской культуре и «напостовской путанице», дававшая критический анализ воззрений столпов «напостовства» Вардина и Авербаха, которые выражали свои взгляды в журнале «На посту» (отсюда «напостовцы»). «Большевик» доказывал невозможность существования «чистого искусства», не подверженного влиянию социальных бурь, экономических потрясений, классовых схваток. Через некоторое время «Большевик» поместил ответ П. Ионову Леопольда Авербаха, сводящийся к тому, что культурная революция будет сопровождаться обострением классовой борьбы: «Кто кого переработает — массы ли старую культуру сумеют разбить на кирпичи и нужное им взять, или здание целостной старой культуры окажется сильнее пролетарского культурничества».

Вскоре будет провозглашен тезис о необходимости административного управления процессами культуры. Весьма характерна в этом отношении, например, передовая статья в том же журнале «Большевик», озаглавленная «Командные кадры и культурная революция». В ней постулируется, что проблема «воспитания культурных командных кадров строителей социализма» — проблема политическая. Ну, а как только подвоспитались «командные культурные кадры», стали рушиться церкви, исчезать самобытные творческие объединения, замолкать неповторимые индивидуальности. А искусство, отчужденное от духовной сути человека, уже становится суррогатом культуры.

Конечно, не только сомнительно методы идейного руководства подменять директивным стилем. У политики есть много областей, где она диктовала и будет диктовать, но есть и такие сферы, где она может лишь взаимодействовать, где «политический скальпель» противопоказан, иначе он в процессе своего применения добивается противоположного, чем ждали, результата.

Сталин внимательно наблюдал за процессами брожения в литературе. Он чувствовал, что культурная революция, начавшая огромные смещения в общественном сознании, с неизбежностью вызовет повышенный интерес к художественной литературе, культурным ценностям вообще. К середине двадцатых годов грамотность населения страны заметно повысилась. Особенно поразительными были перемены в национальных республиках. К 1925 году по сравнению с 1922 годом число трудящихся, овладевших грамотой, возросло в Грузии в 15 раз, в Казахстане в пять раз, в Киргизии в четыре раза. Аналогичной была картина и в других местах. Подлинными очагами культуры, грамотности становились рабочие клубы в городах, избы-читальни в деревне. В три раза по сравнению с 1913 годом возрос объем тиражей периодических изданий, увеличился выпуск книг, начался массовый процесс создания библиотек. Открываются киностудии в Одессе, Ереване, Ташкенте, Баку.

Политбюро неоднократно рассматривало вопрос о создании лучших условий приобщения масс к художественной культуре, усилении на нее идейного, большевистского влияния. В июне 1925 года Политбюро одобрило резолюцию «О политике партии в области художественной литературы». В постановлении отмечалась необходимость бережного отношения к старым мастерам культуры, принявшим революцию, а также, по предложению Сталина, важность продолжения борьбы с тенденциями сменовеховского характера. В документе подчеркивалось, что «партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела». К сожалению, в тридцатые годы эти верные выводы будут преданы забвению. А в то время ЦК партии еще следовал ленинскому завету о том, что для подлинного социализма нужна «именно культура. Тут ничего нельзя поделать нахрапом или натиском, бойкостью или энергией, или каким бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще».

Помощники Сталина регулярно «докладывали» генсеку о новых книгах, статьях пролетарских писателей. Все, естественно, он читать не мог, но в библиотеке Сталина сохранились тома, книжки тех лет в дешевых переплетах с его пометками красным карандашом. К слову сказать, большинство своих замечаний на полях книг он делал цветными карандашами и особенно любил красный. Многие из его соратников вольно или невольно подражали ему, в частности, К. Е. Ворошилов. Судя по пометкам, есть основания полагать, что Сталин ознакомился с «Чапаевым» и «Мятежом» Фурманова, «Железным потоком» Серафимовича, повестями Вс. Иванова, «Цементом» Гладкова, книгами Горького, которого генсек любил, стихами поэтов Безыменского, Бедного, Есенина, других известных мастеров слова. Сталин заметил Платонова с его «Чевенгуром», «Впрок», «Котлованом». Но, судя по всему, талантливый писатель, проникший в глубокие пласты человеческого духа, остался им непонятым. Бессонный сатаноид поисков писателя вызывал раздражение генсека, о чем он, в частности, поведал однажды Фадееву.

Сталин любил театр и кинематограф. В последующем, особенно в 30-е и 40-е годы, он был частым посетителем Большого театра, регулярно смотрел по ночам в Кремле или на даче новые фильмы. Живопись любил меньше и не скрывал, что не обладает должным вкусом. Вопросы художественной культуры нередко обсуждал не только в кругу членов Политбюро, где большинство были невысокими ценителями искусства, но и с писателями: Горьким, Демьяном Бедным, Фадеевым и, конечно, с Луначарским.

В его речах художественные образы присутствуют неизмеримо реже, чем у Ленина, Бухарина, Троцкого, некоторых других деятелей партии. Они были ему нужны, как правило, для усиления критического запала выступлений. Одним из редких примеров такого использования можно назвать выступление Сталина на объединенном заседании Президиума ИККИ и ИКК в сентябре 1927 года. Отвечая Вуйовичу, Сталин бросает:

— Критика Вуйовича не заслуживает ответа.— И дальше говорит: — Мне вспомнилась маленькая история с немецким поэтом Гейне. Однажды он был вынужден ответить своему назойливому критику Ауфенбергу следующим образом: «П и с а т е л я Ауфенберга я не знаю; полагаю, что он вроде Дарленкура, которого тоже не знаю».— И, продолжая, Сталин добавил:

— Перефразируя слова Гейне, русские большевики могли бы сказать насчет критических упражнений Вуйовича: «б о л ь ш е в и к а Вуйовича мы не знаем, полагаем, что он вроде Али-баба, которого тоже не знаем».

Но, повторяю, его обращение к классике было редким, что отражало и весьма ограниченное знакомство генсека с шедеврами мировой и отечественной литературы.

В ряде публичных выступлений Сталин не уходил от возможности выразить свое отношение к тем или иным писателям и их произведениям. Суждения генсека, как всегда, были категоричны и безапелляционны. Например, в своем письме к Билль-Белоцерковскому Сталин однозначно осудил дирижера Большого театра Голованова за то, что тот выступал против механического обновления репертуара

за счет классики. Генсек тут же охарактеризовал «головановщину» как «явление антисоветского порядка». В тридцатые годы такая оценка могла стоить головы. Здесь же Сталин оценил и «Бег» Булгакова как антисоветское явление, добавив, правда, смягчающую тираду такого содержания: «Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа».

Продолжая «разбор» творчества Булгакова, Сталин вопрошает:

«Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» — рыба.— И далее дает пьесе такую оценку: — Пьеса эта не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным,— значит большевики непобедимы»...

Эти фразы Сталина еще раз высвечивают старую истину о том, что окончательную оценку тому или иному произведению дает время. Вельможный вердикт может спустя годы оказаться смешным и наивным, несправедливым и жестоким, даже учитывая конкретность исторического момента. А ведь как часто в нашей истории пытались давать «окончательные» оценки! Именно так, например, поступал генсек, и в подсбной категоричности весь Сталин: не сомневающийся, уверенный в себе, презирающий интеллектуальные раздумья художника.

Генсек мог быть жестким даже к тем, к кому обычно относился с уважением. Демьян Бедный, большевик с 1912 года, быстро стал после революции признанным пролетарским поэтом. Множество его басен, частушек, песен, стихотворных фельетонов, повестей, притч пользовались неизменным успехом у широких масс, злободневность каждой строки народного поэта постоянно поддерживала его популярность. Но вот в ряде своих произведений («Перерва», «Слезай с печки», «Без пощады») Бедный подвергает критике косность и другие чуждые нам традиции, которые, словно шлейф, тянутся за нами из прошлого. В отделе пропаганды ЦК это было расценено как антипатриотизм. Д. Бедный пожаловался на окрик в своем письме Сталину. Ответ был быстрым и безжалостным:

— Вы вдруг зафыркали и стали кричать о петле...
— Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки?
— Может быть, решения ЦК не обязательны для Вас?
— Может быть, Ваши стихотворения выше всякой критики?
— Не находите ли, что Вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой «зазнайством»?

После этих уничтожающих вопросов Сталин резюмирует, что критика в произведениях Д. Бедного является клеветой на русский пролетариат, на советский народ, на СССР. «В этом суть, а не в пустых ламентациях перетрусившего интеллигента, с перепугу болтающего о том, что Демьяна хотят якобы «изолировать», что Демьяна «не будут больше печатать» и т. п.

Вот так. Жестко и одиозначно. Всего несколькими годами раньше, в июне 1925 года, Сталин сам редактировал постановление ЦК о политике в области художественной литературы, где говорилось, что нужно изгонять «тон литературной команды», «всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство». В конце двадцатых годов эти верные положения были Сталиным уже забыты.

Ведь всего за три-четыре года до этого Сталин просил передать благодарность Д. Бедному за «верные, партийные» стихи о Л. Троцком. Они были помещены 7 октября 1926 года в «Правде» под заголовком «Всему бывает конец». Пожалуй, стоит привести хотя бы часть стихотворения, чтобы полнее почувствовать атмосферу, политический колорит того сложного времени:

Троцкий — скорей помещайте портрет в «Огоньке»!
Усладите всех его лицезрением! —
Троцкий гарцует на старом коньке,
Блистая измятым оперением,
Скачет этаким краснопёрым Мюратом
Со всем своим «аппаратом»,
С оппозиционными генералами
И тезисо-моралями,—
Штаб такой, хоть покоряй всю планету!
А войска-то и нету!
Ни одной пролетарской роты!
Нет у рабочих охоты —
Идти за таким штабом на убой,
Жертвуя партией и собой.
Довольно партии нашей служить
Мишенью политиканству отпетому!
Пора, наконец, предел положить
Безобразию этому!

Генсек с удовольствием прочитал стихи, позвонил Молотову, еще кому-то. Все с одобрением оценили политическую сатиру Бедного. Сталин заметил: «Наши речи против Троцкого прочитает меньшее количество людей, чем эти стихи». В этом он, пожалуй, был прав. Но стоило поэту чуть «сбиться с тона», проявить «обиду», Сталин стал совсем другим: холодным, злым, повелевающим, указующим.

Зная, как сильно зависит от его оценки судьба произведения, мастера художественного слова обращались к Сталину с просьбой высказать свое мнение. Чаще его резюме было снисходительным, с обязательным указанием «слабостей» работы. Иногда же он поднимался до похвалы. Так, в письме Безыменскому Сталин начертал: «Читал и «Выстрел» и «День нашей жизни». Ничего ни «мелкобуржуазного», ни «антипартийного» в этих произведениях нет. И то, и другое, особенно «Выстрел», можно считать образцами революционного пролетарского искусства для настоящего времени».

Свидетельства лиц, близко знавших Сталина, подтверждают: генсек очень внимательно следил за политической физиономией наиболее крупных писателей, поэтов, ученых, деятелей культуры. Он чувствовал, что в среде художественной интеллигенции не все приняли революцию, и примеры тому — не только многочисленная эмиграция. Его насторожило письмо В. Короленко Луначарскому, опубликованное уже после смерти крупного русского писателя в Париже, в котором он выражал тревогу, что насилие в послереволюционной России затормозит рост социалистического сознания. Сталин посчитал письмо фальшивкой. Его возмутила и статья Е. Замятина «Я боюсь», опубликованная в одном из небольших петроградских журналов «Дом искусств». Писатель, который в начале тридцатых годов станет невозвращенцем, запальчиво, но по существу верно писал: «Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь,— продолжал Замятин,— что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не менее старого опасается всякого еретического слова». О мировоззренческих настроениях некоторых писателей свидетельствовала книга А. Богданова, который утверждает, что настоящее творчество возможно лишь в случае, если будет устранено принуждение между людьми, если в общественной системе не допустят веры в фетиши, мифы и штампы. Богданов явно намекал на недопустимость диктатуры по отношению к художественному творчеству. Это было уже слишком.

Сталин стал обдумывать способы, чтобы художественную мысль полнее канализировать, направить с ее помощью народ, массы на решение тех бесчисленных проблем, которые стояли перед страной. Но формы воздействия на людей творчества в понимании Сталина были в основном административные: постановления, высылка неугодных, создание цензуры. Кстати, здесь он согласен с Троцким, хотя обнародовать это единодушие не собирался. Троцкий в своей работе (о чем только этот плодовитый беллетрист не писал!) «Литература и революция» безапелляционно утверждал, что в стране победившего пролетариата должна быть «жесткая цензура». Этот совет Сталин учтет — он поможет художникам

сделать правильный выбор! Как? Подумает, но политическая цензура в этом деле займет не последнее место.

Пока Ленин болел, по инициативе ГПУ и при поддержке Сталина была предпринята необычная акция: 160 человек, представлявших ядро русской культуры (писатели, профессура, философы, поэты, историки), были высланы за границу. «Правда» 31 августа 1922 года опубликовала статью с многозначительным заголовком: «Первое предостережение», в которой обосновывалась необходимость более решительной борьбы с контрреволюционными элементами в области культуры. Рождение и утверждение принципа социалистического реализма сопровождалось борьбой, непониманием, духовным смятением многих творческих работников. Делая акцент на прагматических гранях этого принципа, работники «идеологического фронта» превращали его в директиву, вместо того чтобы помочь осознать сердцем и умом каждому художнику его место в революционной перестройке Отечества.

Безусловно, высылка была сигналом. Вместо широкого демократического вовлечения деятелей науки, литературы и искусства в процесс социалистического строительства, терпеливой работы с ними Сталин дал понять, что диктатура и в области культуры — это прежде всего власть, сила. Недостатка решимости применить ее у Сталина никогда не было. Пожалуй, только с А. М. Горьким он не мог себе позволить снисходительного, порой грубого тона, каким говорил нередко с другими писателями. Почти в то же время, когда разносил Д. Бедного за критику-«клевету», генсек совсем по-иному писал Горькому. Тот в письме Сталину из-за рубежа выражал сомнение в целесообразности излишней критики и самокритики наших недостатков. Сталин убежденно отвечал писателю:

«Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма...— И дальше продолжает: — Конечно, самокритика дает материал врагам. В этом Вы совершенно правы. Но она же дает материал (и толчок) для нашего продвижения вперед».

Как видим, Сталин был способен выражать зрелые суждения по вопросам демократизации общественной жизни, в том числе и в области литературы. Но все дело в том, что постепенно правильные выводы и оценки все больше расходились с социальной и литературной практикой.

Вождю помощники иногда докладывали и о литературе русских эмигрантов. Когда ему показали многотомный роман белогвардейского генерала П. Н. Краснова «От двуглавого орла к красному знамени», вышедший в Берлине в 1922 году, Сталин не стал даже брать его в руки, заметив:

— И когда успел, сволочь?

Не без его участия было разрешено возвращение в СССР в разное время А. Куприну, А. Толстому, некоторым другим менее известным поэтам и писателям. Когда Сталину сказали, что И. А. Бунин стал первым русским, который удостоен Нобелевской премии, генсек заметил:

— Ну, теперь он и вовсе не захочет вернуться... О чем же он сказал там, в своей речи?

Прочитав коротенькое сообщение-«выжимку» о традиционной речи нового лауреата Бунина в Стокгольме, в котором приводились сказанные им на банкете слова: «Для художника главное — свобода мысли и совести», Сталин промолчал и задумался. Для него это было непостижимо: разве Бунину бы здесь не дали возможности думать, мыслить в соответствии с тем, какова его интеллектуальная совесть?! Разве он, Сталин, против свободы мысли, если она служит диктатуре пролетариата? Сталин, правда, не мог вспомнить, что принадлежит перу Бунина, но смутно и, пожалуй, не очень ошибаясь дал «свою» оценку его творчеству: «Что-то о тайне смерти и божьем мире вещал этот дворянский писатель». Больше Бунин его не занимал.

Поэзией Сталин вообще мало интересовался, хотя в юношестве, как мы уже упомянули, написал десятка три наивных стихотворений. Он никогда не понимал, что самые сильные стихи те, в которых поэт как бы «захлебывается». Бесконечная борьба, ставшая в прошлые годы для Сталина сутью его жизни, не дала ему дара для постижения этого человеческого волшебства. Стихи читать ему почти не приходилось. Правда, однажды, еще в Царицыне в качестве основы для шифра взяли какое-то пушкинское стихотворение. С его помощью сообщали в Москву количество отправленных эшелонов с хлебом, их литеры...

Еще об одном эмигранте — поэте В. Ходасевиче — докладывали Сталину, говорили, что очень талантлив, «может быть, даже более, чем Д. Бедный». Прочли даже его какие-то строки об «усыхании творческого источника на чужбине». Но этот безысходный тупик Ходасевича, как и В. Иванова, И. Шмелева, А. Ремизова, М. Осоргина, П. Муратова и других беглецов, был Сталину неинтересен.

30 декабря 1925 года в «Правде» был опубликован некролог в связи со смертью С. Есенина, этого «народника революции». Вот эта газета:

«Вряд ли кого-нибудь из поэтов наших дней так читали и любили, как Есенина».

«В лице Есенина русская литература, может быть, потеряла своего единственного подлинного лирика».

«Город не мог Есенин принять и понять до конца... Он остался романтиком соломенной России. И есть что-то символическое в его гибели: Лель, повесившийся на трубе от центрального отопления. И оно ведь — достижение культуры».

Самоубийцы были непонятны Сталину; это что-то вроде добровольной сдачи в плен... Да и вообще он где-то читал, что «Пегас должен быть в узде».

Его больше интересовало отношение писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, находившихся здесь, в Москве, Ленинграде, других городах Отечества, к тому, что происходит в стране. Противоречивые чувства он испытал от «Голого года» Б. Пильняка, «Конармии» И. Бабеля, произведений А. Платонова, В. Кина, А. Веселого, Ю. Тынянова, В. Хлебникова, Б. Клюева... Ему сразу пришлись по душе ясные работы Д. Фурманова, А. Федина, А. Толстого, Л. Леонова... Сталину понравились фильмы Д. Вертова, Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Ф. Эрмлера. Он слышал, хорошо идут пьесы А. Луначарского «Оливер Кромвель», К. Тренева «Любовь Яровая», Вс. Иванова «Бронепоезд 14—69», Л. Сейфуллиной «Виринея». Его жена Н. Аллилуева смотрела эти спектакли вместе с сотрудниками Наркомпаца. Хорошо, что такие большие режиссеры, как Вл. Немирович-Данченко и К. Станиславский, обратились к советским пьесам — революция на сцене укрепляет революцию в жизни.

Что происходило в живописи, музыке, Сталин знал хуже. С пренебрежением смотрел на все изыски «индустриальной живописи», авангардистов, конструнтивистов, футуристов, кубистов. Люди, стоявшие за этими мало понятными ему (а он был уверен, что и другим) «вывертами», не были, по его мнению, «приставлены» к настоящему делу.

Среди художников не прекращались жаркие споры. Спорили часто не о том, поддерживать революцию или нет,— дискуссии шли о формах искусства, свободе выражения, «точках отсчета» нового творчества... Как пестрая мозаика, мелькали с газетных страниц названия все новых и новых творческих союзов и объединений; «ПРОУН» (Проект утверждения нового), «НОЖ» (Новое общество живописцев), Театральная студия пролеткульта и многие другие. Сталин считал, что в этом калейдоскопе нужно навести порядок, правда, руки до этого у него не доходили; шла борьба то с одной, то с другой оппозицией. Луначарский же, по его мнению, допускал слишком много «вольностей».

В партии нужно единство, нужен согласованный, принятый большинством курс в будущее. Последний съезд многое сделал в этом направлении. Сталину все более становилось ясно, что без индустриализации и кооперирования крестьянства не обойтись. Пока был ненавистный царь, помещики, буржуазия, тяготы борьбы были оправданы, но ведь скоро десятилетие со дня Октябрьского революционного восстания! Да, мы покончили с эксплуатацией, дали крестьянину землю, рабочие получили доступ к управлению заводами, но почему так много недовольных? Почему дело идет медленнее, чем бы хотелось? Может быть, права в чем-то оппозиция?

Все говорят о бюрократии. Вот и сегодня в «Правде» опубликован доклад тов. Лебедя «Меры к улучшению госаппарата и по борьбе с бюрократизмом». Вон

как хлестко пишет: «Какие недостатки имеются в нашем госаппарате? Основные из них: раздутые штаты и низкая квалификация работников, причем последнее... надо отнести к низовому советскому аппарату. Громоздкость структуры, параллелизм в работе, бюрократизм и волокита, подбор специалистов не всегда правильный, основанный на слабом учете квалификации этих специалистов, наконец, плохой, а иногда и совершенно отсутствующий контроль исполнения заданий высших органов и контроль за работой самих учреждений». Об этом и Маяковский пишет...

У Сталина зреет мысль (правда, пока он не знает, как ее осуществить) ускорить разгром всех этих, изрядно всем надоевших оппозиций на платформе ускорения социалистических преобразований. Здесь-то и можно будет активнее «нажать» на интеллигенцию, полнее «впрячь» ее в общее дело индустриализации, перестройки сельского хозяйства, тогда и брожений умов у этих художников будет меньше. В классовом обществе нет и не может быть нейтрального, свободного искусства. Нужно, думает Сталин, привлекая известных старых мастеров, воспитывать своих, рабоче-крестьянских писателей. Антипролетарским элементам в культуре делать нечего...

Интеллектуальное смятение художников представлялось Сталину просто контрреволюционной ересью, правда, менее опасной, чем та, которую проповедовал Троцкий, непримиримый враг генсека.

Прежде чем перейти к анализу очередного этапа борьбы с Троцким, сделаем еще одно замечание. Мы говорили о культуре, интеллигенции и отношении к ним Сталина, наиболее характерной чертой которого со временем стало полное неуважение свободы творчества, свободы выражения художественных идей, свободы постижения тайн искусства. Это не случайно; Сталин признавал лишь свободу власти. Он считал естественным отказ от свободы духа во имя силы, во имя могущества, не задумываясь, он мог пожертвовать и личной свободой миллионов. В тридцатые годы проблема свободы для него уже не существовала — свободой обладал только он (хотя и был пленником своей Системы). Даже формальный глава государства не имел «отношения» к свободе.

В начале двадцатых годов Н. Бердяев был на приеме у М. И. Калинина с прошением об освобождении из тюрьмы писателя М. Осоргина, арестованного по «делу комитета помощи голодающим и больным». Выслушав знаменитого русского философа-идеалиста, М. И. Калинин заявил:

— Рекомендация Луначарского об освобождении не имеет никакого значения; все равно, как если бы я дал рекомендацию своей подписью,— тоже не имело бы никакого значения. Другое дело, если бы товарищ Сталин рекомендовал.

Уже тогда Калинин говорил, что он, глава государства, по сравнению со Сталиным не «имеет никакого значения». А все это означает торжество несвободы.

Н. Бердяев в своей книге «Царство духа и царство кесаря» проницательно пишет, что «кесарь имеет непреодолимую тенденцию требовать для себя не только кесарева, но... и подчинения всего человека. Это есть главная трагедия истории, трагедия свободы и необходимости... Государство, склонное служить кесарю, не интересуется человеком; человек существует для него лишь как статистическая единица». Интеллектуальное смятение интеллигенции, часто протест, исход, творческое молчание были результатом покушения на свободу. Кесарь и свобода несовместимы. То, что составляло ленинское видение социализма, исключало идолопоклонство, а единовластие, наоборот, предполагает и требует его.

Сталин никогда не обращался к философской категории свободы. Он мыслил утилитарно, прагматически, но с «его времени» мы привыкли надежды и чаяния людей связывать главным образом с будущим. Да, человек должен видеть перспективы, свои и общества, но без конца говорить о прогрессе, судьбах людей только в контексте «блаженства грядущих поколений» — это и есть иллюзорная свобода. Гармония, совершенство, изобилие, процветание, перенесенные только в будущее, немного стоят. Нужно найти оптимальное соотношение нынешнего, реального с грядущим, которое имеет смысл только в связи с ныне живущими. Об этом как раз говорили и писали многие из тех художников, которых не мог или не хотел понять Сталин. Пройдут годы, и искусство, литература будут главным образом заниматься тем, чтобы славить его, вождя. Останется тень свободы, а ее возвращение будет долгим и трудным.

Поражение «демона революции»

Троцкий любил путешествовать, любил хорошо отдыхать, много заботился о своем здоровье, за которым следили несколько врачей. Весной 1926 года он с женой решил осуществить вояж в Берлин для консультаций с врачами. В Политбюро отговаривали Троцкого от поездки, но он настоял. С женой и бывшим начальником своего фронтового поезда Сермуксом Троцкий, попрощавшись на вокзале с Зиновьевым и Каменевым, отбыл в Германию. Документы ему были оформлены на имя члена Украинской коллегии Комиссариата народного просвещения Кузьменко.

Мы уже говорили, что Троцкий был посредственным политиком в борьбе за власть, и прежде всего из-за переоценки своего влияния на ход дел, своей личной популярности. Борясь со Сталиным, Троцкий, как порой складывается впечатление, часто принимал самые худшие для себя решения: не приехал на похороны Ленина, не явился на ряд заседаний Пленума ЦК, Политбюро. И каждый раз его «отрывали» от этих важных политических дел поездки на отдых, путешествия, охотничьи вылазки. Его отсутствие Сталин максимально полно использовал для усиления собственных позиций.

Потом у Троцкого будет много времени описать эти годы. В одной из своих работ он скажет, что, будучи в Берлине, пришел к выводу, что компромисса со Сталиным быть не может, один из них должен уступить дорогу, но он продолжал верить, что на обочине окажется Сталин. К нему, вспоминал Троцкий, стали «льнуть» Зиновьев с Каменевым, и они решили, что вместе могут вырвать инициативу из рук генсека. «Я думал, что мы еще сможем не дать произойти термидорианскому перерождению,— высокопарно писал Троцкий.— Сталина нужно было заставить выполнить ленинскую волю».

Кроме публичных выступлений против Троцкого, Сталин исподволь вел работу по ограничению его влияния. Как свидетельствует работник секретариата Сталина А. П. Балашев, нередко до заседания Политбюро у генсека собирались его сторонники, где оговаривалась позиция по ослаблению влияния Троцкого. На эти предварительные совещания не приглашались лишь Троцкий, Пятаков и Сокольников. «Мы уже знали,— говорил мне Алексей Павлович,— что Сталин готовит очередное антитроцкистское блюдо».

Сталин однажды обнаружил, что в программе политучебы для красноармейцев Троцкий по-прежнему называется «вождем РККА». Реакция была немедленной. Сохранилась записка Сталина Фрунзе от 10 декабря 1924 года с предложением как можно быстрее пересмотреть эти программы. Через несколько дней они были уточнены. В записке Фрунзе с приложенным рапортом начальника агитпропа ПУ РВСР Алексинского говорится, что «Троцкий в политучебе больше не фигурирует как вождь Красной Армии». Сталин «приложил руку» и к тому, что со второй половины 1924 года имя Троцкого больше не присваивалось населенным пунктам и предприятиям, меньше фигурировало в печати в апологетическом стиле. Известны и другие шаги Сталина по постепенному ограничению популярности и влияния бывшего «вождя РККА».

Сталин, а его поддерживало большинство ЦК, последовательно, настойчиво в течение периода между XIV и XV съездами партии инициировал проведение ряда объединенных Пленумов ЦК и ЦКК, Пленумов Центрального Комитета, заседаний Политбюро, на которых обсуждались действия оппозиции, выносились соответствующие решения. По отношению к Троцкому и его союзникам применялись самые различные меры воздействия: предупреждения, вынесение партийных взысканий, вывод из состава партийных органов. Линия оппозиционеров, однако, была неизменна: одновременно с борьбой за «правильный» курс партии шла борьба за лидерство. Но в стане оппозиции скоро появились крупные бреши. По инициативе Сталина, поддержанной другими партийными руководителями, Зи-

новьев был выведен из состава Политбюро в июле, а Троцкий в октябре 1926 года. Каменев был освобожден от обязанностей кандидата в члены Политбюро, тогда же, как помним, Пленум ЦК признал невозможной дальнейшую работу Зиновьева в Коминтерне. Были освобождены от партийных и государственных постов и ряд других несогласных.

Во время XV партконференции, состоявшейся в октябре — ноябре 1926 года, Сталин сделал доклад «Об оппозиции и внутрипартийном положении», в котором оппозиционная троица и ее соратники подверглись жесткой критике. Эти же идеи Сталин изложил и в своем докладе на VII расширенном Пленуме ИККИ в декабре того же года. По черновикам докладов видно, как тщательно Сталин готовился к изобличению строптивцев. На специальных листочках были выписаны все слабые пункты оппозиции, ее «грехи»:

1) Троцкий, Зиновьев, Каменев: нет фактов, а есть лишь измышления и сплетни.

2) Пусть Троцкий объяснит, к кому он примыкал до Октября: левым меньшевикам или правым меньшевикам?

3) Почему Троцкий не состоял в рядах левой Циммервальда?

4) Разве преследует Сталин полуменьшевика Мдивани? Сплетня.

5) Каменев говорил на IV съезде партии, что допущена ошибка в том, что «открыт огонь налево». Это Каменев левый?

6) Троцкий утверждает, что «предвосхитил» апрельские тезисы Ленина... Сравнил муху с каланчой!

7) Телеграмма Каменева Михаилу Романову.

8) Зиновьев настаивал на принятии кабальных условий концессии Уркарта.

9) Зиновьев: «диктатура партии» и т. д.

Сталин пунктуально, дотошно собрал все известные ему крупные и мелкие прегрешения оппозиционеров (а у Сталина их разве не было?) и на протяжении своих долгих докладов неутомимо подбрасывал все новые и новые изобличающие факты в костер борьбы. На Пленуме ИККИ его доклад «Еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии» вместе с заключением продолжался около пяти часов! Сталин основной бой оппозиции дал по пункту «Ленинизм или троцкизм?». Собрав в кучу все прошлые ошибки, вихляния, многочисленные «платформы», генсек поставил оппозиционеров в безысходное положение глухой обороны. Сталин не критиковал, а «бил» словами. При этом он не замечал, что, громя своих противников, все чаще сам оказывается в оппозиции ленинизму. Наряду с верной критикой в его выступлениях было много мелкого, второстепенного. Ортодоксальность генсека душила саму идею борьбы мнений. Сталин уже тогда считал, что любое, даже честное, инакомыслие недопустимо.

Руководители оппозиции имели возможность защищать свои взгляды. Зиновьев, Каменев, Троцкий говорили неубедительно, но подолгу, уговаривая делегатов вначале дать им по часу для выступления, затем еще по полчаса, потом просили добавить еще по десять — пятнадцать минут... Знакомство со стенограммой конференции беспристрастно свидетельствует, что, кроме бесчисленного количества цитат основоположников марксизма-ленинизма, своих собственных; они немногое смогли противопоставить обвинениям в фракционности. Даже Троцкий, славящийся своим красноречием, не мог найти удовлетворительных аргументов, оправдывающих его бесчисленные атаки на ЦК, партию. В конце чрезвычайно пространного, невнятного заявления он лишь подтвердил: «Мы не принимаем навязываемых нам взглядов». Выступивший следом за ним делегат Ларин метко заметил, что все они присутствуют при моменте, когда «революция перерастает часть своих вождей». Ларин верно сказал, что в долгих докладах лидеров оппозиции был лишь «литературный спор о цитатах и различных толкованиях различных мест различных сочинений». Троцкий, Зиновьев и Каменев «вели себя не как политические вожди, а как безответственные литераторы». Выступавшие отмечали, что индустриализацию эти лидеры хотели бы осуществить лишь за счет крестьянства, не думая о социальных последствиях.

Бои с Троцким шли не только в ЦК и ЦКК, в печати, но и в Коминтерне, членом Исполкома которого он был. Когда в мае 1927 года на X Пленуме

ЦККА обсуждался вопрос о китайской революции, Сталин решил нанести Троцкому удар и здесь. Приведем фрагмент этого малоизвестного широкому читателю выступления генсека:

«Я постараюсь, по возможности,— говорил Сталин,— отмести личный элемент в полемике. Личные нападки тт. Троцкого и Зиновьева на отдельных членов Политбюро ЦК ВКП и Президиума ИККИ не стоят того, чтобы останавливаться на них. Видимо, т. Троцкий хотел бы изобразить из себя некоего героя на заседаниях Исполкома с тем, чтобы превратить работу Исполкома по вопросам военной опасности, китайской революции и т. д. в работу по вопросу о Троцком. Я думаю,— продолжал Сталин,— что т. Троцкий не заслуживает такого большого внимания (голос с места: «Правильно!»), тем более что он напоминает больше актера, чем героя, а смешивать актера с героем нельзя ни в коем случае. Я уже не говорю, что нет ничего оскорбительного для Бухарина или Сталина в том, что такие люди, как тт. Троцкий и Зиновьев, уличенные VII расширенным Пленумом Исполкома в социал-демократическом уклоне, поругивают почем зря большевиков. Наоборот, было бы для меня глубочайшим оскорблением, если бы полуменьшевики типа тт. Троцкого и Зиновьева хвалили, а не ругали меня».

Неглубокое по существу выступление Сталина было тем не менее напористым, злым, приклеивало ярлыки оппозиционерам, унижало их как деятелей. Исполком готовился к исключению Троцкого из своих рядов, которое и произошло 27 сентября того же года. Троцкий остался в одиночестве, но настойчиво продолжал бесперспективную борьбу. Вскоре голос Троцкого после его высылки из СССР окажется, пожалуй, единственным, который до 1940 года будет изобличать Сталина. Как бы мы ни относились к Троцкому, допустившему много ошибок, нельзя не признать, однако, что он один из немногих, кто не согнулся перед Сталиным, кто заметил надвигающуюся угрозу единовластия. Но чем дольше и яростней будет раздаваться этот одинокий голос, тем будет очевидней: Троцкий борется не за революцию и ее идеалы, а лишь за себя. Он никогда до последнего дня не сможет примириться со своим фиаско, когда его, почти «гения», вытолкнет за кордон, как он скажет, «коварный осетин». Скоро для Троцкого марксизм, социалистические ценности будут иметь значение постольку поскольку: главное — как их использовать для развенчания Сталина. А для генсека Троцкий до самой его смерти в Мексике будет символом зла, перерождения, самым глубоким личным ненавистником. Пожалуй, в своей жизни он испытает чувство ненависти такого же накала только к Гитлеру, «обманувшему», «обхитрившему» его в 1939—1941 годы. А пока борьба продолжалась.

Оппозиционеры не сложили оружия: весной они направили в ЦК новую платформу, которую подписали 83 сторонника Троцкого. После нескольких заседаний ЦК и ЦКК Троцкий и Зиновьев в октябре 1927 года, в десятую годовщину Октября, были исключены из ЦК ВКП(б), а в следующем месяце их вместе с Каменевым исключили и из членов партии. Правда, Зиновьев и Каменев, в очередной раз покаявшись, вновь будут восстановлены в партии и даже выступят с покаянными речами на XVII съезде.

Ореол Троцкого как «героя революции» постепенно «полинял» и померк. В глазах партии и международного пролетариата он все больше представал как фразер, политикан, несостоявшийся диктатор. Навязывая партии дискуссию за дискуссией, Троцкий помимо своего желания, как никто другой, больше всех укреплял авторитет Сталина как нового лидера партии. Это выглядит парадоксом, но это факт. Характерно, что когда слово для доклада (как и заключительного слова на XV партконференции) было предоставлено Сталину, только ему одному делегаты устроили овацию. Здесь еще нельзя обвинять его в «организации» подготовленного им «спектакля»: в глазах большей части делегатов генсек начинал постепенно олицетворять реального вождя партии. Это впечатление заметно усиливалось на фоне неубедительных выступлений представителей оппозиции, которой вдобавок уже не хватало и мужества. Каменев, защищаясь одними цитатами, старался в то же время заигрывать со Сталиным, называя его доклад «обстоятельным», с «правильным цитированием», «верными выводами» и

т. д. «Единственной заботой Зиновьева и его друзей стало теперь,— зло вспоминал Троцкий,— своевременно капитулировать... Они надеялись если не заслужить благоволение, то купить прощение демонстративным разрывом со мной».

Всем стало ясно, что объединение Троцкого со своими бывшими противниками (что очень умело использовал Сталин) произошло на платформе борьбы против генсека. Сталин, в ком честолюбивые мотивы и вера в свое особое предназначение все более крепли, не упустил этого исключительно благоприятного шанса. Начав с борьбы идейной, он решил завершить разгром Троцкого политически. Об этом, в частности, свидетельствует его речь на заседании объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 года, обсуждавшего вопросы повестки дня предстоящего XV съезда партии. Было решено на очередном съезде поставить и вопрос о троцкистской оппозиции. Во время Пленума было несколько выкриков из зала, как, впрочем, и записок, что ЦК скрыл завещание Ленина и не выполнил его волю. Сталину больше нельзя было молчать по этому поводу.

Его часовая речь была полна гнева и неприкрытой ненависти к Троцкому. Сталин заученно вновь вспомнил и огласил все грехи отверженного лидера начиная с 1904 года. Видя, что Троцкий свою стратегическую линию борьбы против него ведет, опираясь на ленинские слова о негативных качествах генсека, Сталин наносит удар Троцкому именно на этом «направлении».

«Оппозиция думает «объяснить» свое поражение личным моментом, грубостью Сталина, неуступчивостью Бухарина и Рыкова и т. д. Слишком дешевое объяснение! Это знахарство, а не объяснение... За период с 1904 года до Февральской революции 1917 года Троцкий вертелся все время вокруг да около меньшевиков, ведя отчаянную борьбу против партии Ленина. За этот период Троцкий потерпел целый ряд поражений от партии Ленина. Почему? Может быть, виновата тут грубость Сталина? Но Сталин не был еще тогда секретарем ЦК, он обретался тогда вдали от заграницы, ведя борьбу в подполье, против царизма, а борьба между Троцким и Лениным разыгрывалась за границей,— при чем же тут грубость Сталина?»

Генсек ведет атаку под флагом защиты Ленина, которого Троцкий в начале века называл «Максимилиан Ленин», намекая на диктаторские замашки Робеспьера. Генсек буквально добил Троцкого упоминанием о том, что ранняя брошюра оппозиционера «Наши политические задачи» посвящена меньшевику П. Аксельроду. Сталин прочитал посвящение под гул зала: «Дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду».

«Ну, что же,— закончил речь Сталин,— скатертью дорога к «дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду!». Скатертью дорога! Только поторопитесь, достопочтенный Троцкий, так как «Павел Борисович», ввиду его дряхлости, может в скором времени помереть, а вы можете не поспеть к «учителю».

Сталин, вернувшись в своем выступлении к прошлому Пленуму ЦК и ЦККА в августе этого года, пожалел, что тогда он отговорил товарищей от немедленного исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. «Возможно, что я тогда п е р е д о б р и л (разрядка наша.— **Д. В.**) и допустил ошибку». Да, это просто редчайший случай, когда Сталин «передобрил» и вообще использовал слово «добро»! Тогдашняя кратковременная слабость была эпизодом. Теперь же он призовет к поддержке «тех товарищей, которые требуют исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК». А что касается ленинского «Письма к съезду», то Сталин дал ему свою трактовку.

В выступлении на Пленуме генсек пошел на искажение исторической правды, заявив: «Было доказано и передоказано, что никто ничего не скрывает, что «завещание» Ленина было адресовано на имя XIII съезда партии, что оно, это «завещание», было оглашено на съезде, что съезд решил е д и н о г л а с н о не опубликовывать его, между прочим, потому, что Ленин сам этого не хотел и не требовал», «Завещание», как мы помним, на съезде н е б ы л о оглашено, а лишь по делегациям; съезд не принимал решения, тем более е д и н о г л а с н о г о, о неопубликовании письма; в отношении того, что «Ленин сам этого не хотел», утверждение полностью лежит на совести Сталина.

Генсек, почувствовав свою крепнущую силу, решил дать бой по самому уязвимому для себя пункту, не останавливаясь перед явной фальсификацией, тем более что во время речи из зала раздавались голоса в его поддержку. В данном случае он использовал факт публикации в «Большевике» по настоянию Политбюро и прежде всего его, Сталина, в сентябре 1925 года специального заявления Троцкого о том, что никакого «завещания» Владимир Ильич не оставлял и само его отношение к партии, как и характер самой партии, исключали возможность такого «завещания». Троцкий, поддавшись нажиму Сталина, написал тогда, что «Владимир Ильич со времени своей болезни не раз обращался к руководящим учреждениям партии и ее съезду с предложениями, письмами и пр. Все эти письма и предложения, само собою разумеется, всегда доставлялись по назначению, доводились до сведения делегатов XII и XIII съездов партии и всегда, разумеется, оказывали надлежащее влияние на решения партии... Всякие разговоры о скрытом или нарушенном «завещании» представляют собой злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича».

Мог ли знать тогда Троцкий, что, пытаясь отмежеваться от циркулирующих на Западе слухов, будто «секретные документы Ленина попали на Запад через руки Троцкого», он окончательно загонит себя в угол, борясь со Сталиным? Истмен, автор книги «После смерти Ленина», где были опубликованы рассуждения о ленинском «завещании», был весьма близок к Троцкому, неоднократно с ним встречался в Москве, что и дало основания для слухов.

Приведя цитату Троцкого из «Большевика», Сталин пошел напролом: «Это пишет Троцкий, а не кто-либо другой. На каком же основании теперь Троцкий, Зиновьев и Каменев блудят языком, утверждая, что партия и ее ЦК «скрывают» «завещание» Ленина?..

Говорят (?! — **Д. В.**), что в этом «завещании» тов. Ленин предлагал съезду ввиду «грубости» Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается. Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос... Все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, обязали Сталина остаться на своем посту. Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моем характере, ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством... Через год после этого я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту.

Что же я мог еще сделать?.. Характерно, что ни одного слова, ни одного намека нет в «завещании» насчет ошибок Сталина. Говорится там только о грубости Сталина. Но грубость не есть и не может быть недостатком политической линии или позиции Сталина».

Эта уничтожающая и торжествующая тирада Сталина означала для Троцкого политический конец. После речи генсека, как напишет Троцкий позже в Мексике, он физически почувствовал над головой нож гильотины. Он не отказал себе тогда в мрачном удовольствии вспомнить 9 термидора и последние слова Робеспьера в Конвенте: «Республика погибла! Настало царство разбойников!» Разумеется, под Робеспьером Троцкий мог понимать только себя, разница была лишь в том, что Троцкий не мог рассчитывать, как Робеспьер, на санкюлотов Парижа, плебейство столицы. Он оказался «фельдмаршалом» без войск. Партия была к нему настроена враждебно — она устала от его интриг. Все было кончено.

Внутренний диалог поверженного кандидата в диктаторы был, наверное, самоуничижительным; как мог он, Троцкий, кумир митинговой толпы, недооценить этого «усатого осетина»? Ему вспомнились строки Блока, которые процитировал в своей речи этот недоносок, вечно хитрящий Зиновьев, с которым он поневоле спутался:

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых наших лапах?

Но при чем тут Блок? Какое отношение ко всему этому имеет Зиновьев, когда добивают его, Троцкого?! Свой шанс он упустил, роились мрачные мысли в мозгу поверженного «фельдмаршала Троцкого», как с иронией называл его в годы гражданской войны Красин.

Уже за рубежом Троцкий прочтет книжку эмигранта Ассад Бея, в которой так будет изображено противостояние «двух выдающихся» вождей. «Сталин и Троцкий — два противоположных полюса в коммунистической партии. Ни в области личной, ни политической у них не было никаких точек соприкосновения. Троцкий — блестящий европеец, искушенный, тщеславный журналист, и Сталин — типичный азиат, человек без всякой суетности, без личных потребностей, с холодным, мрачным умом восточного заговорщика — эти два человека должны были возненавидеть друг друга. Сталин не переносил Троцкого уже чисто физически, точно так же, как Троцкому внушал глубокое отвращение один вид Сталина и его изрытое оспой лицо». Эмигранту, и теперь до конца жизни, добавить было нечего.

На том октябрьском (1927 года) Пленуме состоялось последнее выступление Троцкого как политического деятеля партии (на нем он будет выведен из состава ЦК). Выступление было сумбурным, неубедительным. Позже Троцкий писал, что он хотел, но не смог в полной мере предупредить «слепцов», что «триумф Сталина долго не продлится и крушение его режима придет неожиданно. Победители на час чрезмерно полагаются на насилие. Вы исключите нас, но вы не предотвратите нашей победы». Всю свою речь Троцкий, нагнувшись за трибуной, быстро читал по бумаге, а ведь Сталина и других руководителей партии в своем кругу он часто пренебрежительно называл «шпаргальщиками», стараясь перекричать шум в зале. Его плохо слушали, перебивая возгласами: «клевета», «ложь», «болтун»... Троцкий спешил выпалить все, что он написал: об ослаблении революционного начала в партии, засилье аппарата, создании «правящей фракции», которая ведет страну и партию к термидорианскому перерождению... В речи не было убедительных аргументов, ясных тезисов о социализме, хотя и не все в ней следовало признавать ошибочным. Видна ненависть к руководству ЦК, злоба к Сталину, но это не находит отклика ни у членов Пленума, ни у коммунистов, которые имели возможность ознакомиться с этой речью Троцкого из дискуссионного листка к XV съезду партии.

Попытка провести в десятую годовщину Октября демонстрацию сторонников Троцкого была вызовом, поставившим его вне партии. Окружение Троцкого решило, что они должны пойти на демонстрацию. Лозунги были такие, что их оппозиционный смысл мог понять только посвященный: «Долой кулака, нэпмана и бюрократа!», «Долой оппортунизм!», «Выполнить завещание Ленина!», «Хранить большевистское единство!». Пытались нести портреты Троцкого и Зиновьева. Сталин заранее принял «надлежащие» меры, и милиция рассеяла крохотные группки троцкистов. Зиновьев, специально выехавший в Ленинград, и Троцкий, объехавший на автомобиле улицы и площади Москвы в центре, убедились окончательно в том, что за ними идут единицы. Троцкий мог бы позволить себе вспомнить, как десять лет назад под овацию зала бросил вслед уходящему из Советов Мартову со своими сторонниками: «Ваше место в мусорной яме истории!» Теперь такие же слова раздались, обращенные к нему; когда Троцкий пытался на площади Революции обратиться к колонне демонстрантов, идущих на Красную площадь, в него полетели камни. 14 ноября Троцкий был исключен из ВКП(б).

Еще раз Троцкий пытался публично обратиться к массе в связи со смертью своего единомышленника А. А. Иоффе, покончившего жизнь самоубийством. В прошлом меньшевик, вступивший в партию вместе с Троцким в 1917 году, он был кандидатом в члены ЦК, членом ВЦИК, с 1918 года находился на дипломатической работе. Убежденный сторонник Троцкого, Иоффе написал предсмертное обращение к нему. Формально речь в письме идет об обиде за то, что на этот раз ЦК партии отказал ему в денежных средствах для лечения за границей, но политическая суть письма иная. Иоффе пишет, что «цензура Политбюро не дает возможности сказать правду в литературе о квазивождях, ныне «возведенных в сан». Я не сомневаюсь, писал Иоффе, что моя смерть «является протестом борца», убежденного в правильности пути, который избрали Вы, Лев Давидович. «Политически Вы всегда были правы, а теперь более правы, чем когда-либо». Иоффе в письме утверждал, что «собственными ушами слышал, как Ленин признавал, что и в 1905 году не он, а Вы были правы. Перед смертью не лгут, и я еще раз повторяю Вам это теперь... Залог победы Вашей правоты — именно в максимальной неуступчивости, в строжайшей прямолинейности, в полном отсутствии всяких компромиссов...» Письмо стало ходить по рукам, давая повод для кривотолков. По решению ЦК оно было опубликовано в журнале «Большевик» (№ 23—24 за 1927 год) с сопроводительной статьей Ем. Ярославского «Философия упадничества», в которой, в частности, дается справка, что Иоффе регулярно и многократно ездил для лечения за границу за счет государства. Соль письма содержится в утверждении Иоффе, что исключение Зиновьева и Троцкого может стать именно тем толчком, который пробудит партию и остановит ее на пути к термидору.

На похоронах Иоффе было много троцкистов, молодежи, перед которыми выступили Троцкий, Каменев, другие их единомышленники. Это было последнее публичное выступление Троцкого в СССР и последняя публичная демонстрация несогласных. Но широкого резонанса, на который рассчитывали разгромленные оппозиционеры, их речи уже не получили. Покрывало немоты опустится на долгие годы.

Троцкий был повержен, но не сломлен. Сталин искал пути и способы изоляции своего самого ненавистного соперника. Он торжествовал победу, но чувствовал, что борьба не окончена. На аппаратных совещаниях Сталин давал указания «следить за троцкистами», «ослабить еще больше их влияние», «добить политически». Начались аресты и ссылки.

Свою горькую чашу испили до конца и члены обеих семей Троцкого. Его первая жена, Александра Соколовская, и две ее дочери, Зина и Нина, как и их мужья, были горячими поклонниками троцкизма. Троцкий оставил первую семью еще в 1902 году, когда младшей дочери шел лишь четвертый месяц. Первое время он писал Александре Львовне из-за границы, но затем время и новая семья отодвинули Соколовскую с дочерьми, по его словам, в «область невозвратного». Правда, Троцкий всегда заботился о том, что останется о нем в истории. Упредив историков, он напишет в 1929 году в своих воспоминаниях о первой жене: «Жизнь развела нас, сохранив непорушимо идейную связь и дружбу». Обе дочери после революции оказались в лучах славы отца, затем, через несколько лет, в положении глубокого остракизма. Судьба первой семьи Троцкого в последующем печальна. Сталин не только за политическое инакомыслие, но и за принадлежность к «роду врагов» (в тридцатые годы писалось: «социально опасные элементы по происхождению») отмерял всем одной страшной платой.

Вторая жена Троцкого, Наталья Седова, тоже начинала «революционеркой». Одно время они жили в Петербурге под фамилией Викентьевых. Седова в дальнейшем постоянно была с мужем, разделив с ним и триумф его взлета в годы революции и гражданской войны, и бесконечные метания на чужбине. Попутно отметим, что до 1917 года Троцкий, будучи сыном очень состоятельных родителей, не нуждался так, как другие русские эмигранты.

От второго брака у Троцкого было два сына. Старший сын, Лев, был всегда рядом с отцом, стал активным троцкистом и умер при загадочных обстоятельствах в Париже уже после изгнания отца еще весьма молодым. Младший, Сергей, ушел из дома, когда Троцкие жили еще в Кремле, заявив, что ему «противна политика»; не стал вступать в комсомол, погрузился в науку. Отказавшись уехать с отцом в изгнание, Сергей, естественно, в последующем как сын Троцкого, был обречен. В январе 1937 года в «Правде» появилась статья, где сообщалось: «Сын Троцкого Сергей Седов пытался отравить рабочих». Сосланный к этому времени в Красноярск, он был объявлен «врагом народа». На митинге в кузнечном цехе машиностроительного завода мастер Лебедев говорил: «У нас в качестве инженера подвизался сын Троцкого — Сергей Седов. Этот достойный отпрыск продавшегося фашизму своего отца пытался отравить генераторным газом большую группу рабочих завода». Говорили на митинге и о племяннике Зиновьева Заксе,

их «покровителе» директоре завода Субботине... Судьба всех меченных этими «обвинениями» была предрешена.

Трагедия семьи Троцкого, в которой погибли все дети в результате кровавого водоворота борьбы Сталина с их отцом, придала ореол мученичества изгнаннику. Наталья Седова пережила Троцкого и умерла в один год со Сталиным, «неразлучным врагом» ее мужа.

Генсек вначале даже публично распоряжался, чтобы «не трогали родственников Троцкого», однако судьба всех их горька, лишь кое-кто из его дальних родственников уцелел. Они живут сейчас в Москве, и мне довелось с ними встречаться. Носят они, естественно, другие фамилии.

В своих многочисленных книгах — а в изгнании Троцкий напишет их еще около полутора десятков — он часто, особенно накануне гибели, будет обращаться к личной судьбе. «История русской революции» в трех томах, «Что дальше?», «Скрытое завещание Ленина», «Их мораль и наша», «Дневник в изгнании», «Моя жизнь», «Третий Интернационал после Ленина» и другие книги несут на себе печать трагического эгоцентризма. Троцкий уже не сможет жить без того, чтобы о нем не говорили, писали, спорили. Известность, популярность, слава станут для него важнее хлеба. Это почувствуют не только в Москве, но и те, кто живет изгнанником на задворках европейских столиц. Его бывшие единомышленники, меньшевики, будут частенько «щипать» поверженного «вождя». Некий Д. Долин в «Социалистическом вестнике» уже после выдворения бывшего наркомвоенмора напишет:

«Изо всех сил старается Троцкий, чтобы его — упаси боже — не стали забывать. Он пишет и день, и ночь толстые книги и маленькие статейки, выпускает семейные бюллетени и варьирует на всех языках все те же мотивы о вероломстве Сталина, о предательстве китайской революции и о нежной любви Ленина к Троцкому. Но человечество неблагодарно — и о Троцком чем дальше, тем меньше вспоминают и говорят».

Эти слова Троцкий прочтет уже на Принцевых островах...

В Политбюро несколько раз обсуждался вопрос, как поступить с Троцким, продолжавшим выражать не просто антипартийные настроения, но, как полагал Сталин, теперь уже и антисоветские. В конце концов в Политбюро пришли к выводу о необходимости высылки Троцкого из Москвы. Вначале лидера оппозиции попросили из Кремля, где после революции жили некоторые руководители. Были отселены также Зиновьев, Каменев, Радек, другие бывшие «вожди». «Исход» из Кремля был недолгим: Зиновьев и Каменев тут же решили обратиться к очередному съезду с покаянием. «Лев Давидович,— твердили они Троцкому,— пришло время, когда мы должны иметь мужество сдаться». Партия была проиграна окончательно, но они пытались зацепиться за подножку поезда истории.

Вскоре было принято решение об отправке Троцкого в Алма-Ату. Руководить высылкой, по некоторым данным, было поручено Н. И. Бухарину. Во время отъезда сторонники опального вождя пытались осуществить акцию политического протеста. Троцкий отказался выйти и сесть в автомобиль сам, и его вынесли на руках. Так же на руках его занесли в вагон. Старший сын все время громко кричал: «Товарищи, смотрите, как несут Троцкого!». Вот как в мемуарах Троцкого описывается этот эпизод, зафиксированный его женой, с явным налетом мелодрамы, преувеличения и картинности. «На вокзале была огромная демонстрация. Ждали. Кричали: «Да здравствует Троцкий!». Но Троцкого не видно. Где он? У вагона, назначенного для нас, бурная толпа. Молодые друзья выставили на крыше вагона большой портрет Льва Давидовича. Его встретили восторженным «ура». Поезд дрогнул. Один, другой толчок... подался вперед и внезапно остановился. Демонстранты забегали вперед паровоза, цеплялись за вагоны и остановили поезд, требуя Троцкого. В толпе прошел слух, будто агенты ГПУ провели Льва Давидовича в вагон незаметно и препятствуют ему показаться провожающим. Волнение на вокзале было неописуемое. Пошли столкновения с милицией и агентами ГПУ, были пострадавшие с той и другой стороны, произведены были аресты».

Сталин, находясь в Кремле, напряженно следил за процедурой высылки Троцкого. Ему часто звонили по телефону, генсек молча выслушивал, в конце лишь зло бросал: «Не миндальничать! Никаких уступок! Помощников Троцкого отсечь! Быстро и без волынки!» Кончив говорить, нервно расхаживал по кабинету, что-то напряженно обдумывая. Через несколько лет, сидя за столом на даче со своими соратниками, после обсуждения поступившей информации о последнем выступлении Троцкого он бросит:

— Тогда совершили две ошибки. Нужно было оставить до поры в Алма-Ате... Но за границу ни в коем случае нельзя было выпускать... И еще: как ему мы разрешили вывезти столько бумаг?

Находясь в Алма-Ате, Троцкий продолжал политическую деятельность. Из ссылки по разным адресам, по его же данным, он ежемесячно направлял сотни писем, телеграмм, обмениваясь информацией и поддерживая затухающий огонь антисталинской борьбы. В мемуарах Троцкий признает, что была налажена и секретная переписка с его сторонниками. Старший сын в своих заметках раскрывает объем переписки. «За апрель — октябрь 1928 г. нами было послано из Алма-Аты 800 политических писем; отправлено около 550 телеграмм. Получено свыше 1000 политических писем, больших и малых, и около 700 телеграмм... Кроме того, шла почта и конспиративная, с нарочными». Троцкий пытался активизировать оппозиционные силы, и роль опального вождя давала ему, как обычно, некоторые моральные преимущества. Ссылка лидера оппозиции не изменила ни образ его мыслей, ни желание вызвать брожение в партии. Ненависть к Сталину окончательно утвердилась в центре всех его политических интересов. Через год, в январе 1929-го, по решению Политбюро, после долгих обсуждений различных вариантов Троцкий с женой и сыном Львом был выслан через Одессу в Константинополь. Подплывая стылым утром в феврале 1929 года на пароходе «Ильич» к Константинополю, Троцкий решил быстрее привлечь к себе внимание мирового общественного мнения. В его заявлении президенту Турции Кемаль-паше говорилось:

«Милостивый государь!

У ворот Константинополя я имею честь известить Вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору и что перейти эту границу я могу, лишь подчиняясь насилию.

Л. Троцкий. 12 февраля 1929 г.»

Вскоре несостоявшийся «фельдмаршал» мировой революции начал свое «путешествие» по ряду стран, последней остановкой которого стала Мексика. Для Троцкого наступило десятилетие самой активной борьбы, и теперь уже не только против Сталина, но часто и против социалистического государства, которое на первых порах он помогал активно строить и защищать.

Одна из причин драмы Троцкого заключается в том, что он в конечном счете на первый план ставил личные амбиции. «Небольшевизм» Троцкого, о котором говорил Ленин, в конце концов проявился в полной мере. Развязка была ускорена междоусобной схваткой «двух выдающихся вождей». Личная ненависть, даже злоба к Сталину порой подавляли у Троцкого элементарную порядочность по отношению к тем идеалам и ценностям, которые он сам еще недавно превозносил, и постепенно привели его в глубокий идейный тупик. Едва прибыв в Константинополь, Троцкий передал буржуазной прессе сборник из шести своих статей под названием «Что и как произошло?». Центральное место в одной статье занимало утверждение, которое Троцкий всего лишь год-полтора назад пытался сильно маскировать: «Теория о возможности построения социализма в одной стране есть реакционный вымысел, главный и наиболее преступный подкоп под революционный интернационализм. Эта «теория» имеет административное, а не научное обоснование». Сталин, прочитав через две недели эти строки из утренней почты, которую ему подаст один из его помощников, скажет: «Наконец подлец перестал притворяться».

Оказавшись за рубежом, Троцкий всячески старался заботиться о «реноме революционера», постепенно опускаясь, однако, все ниже и ниже в болото анти-

советской эмиграции. Он продолжил издание своих сочинений в зарубежье, не останавливаясь иногда перед фальсификациями, натяжками, измышлениями с единственной целью: больнее уколоть Сталина и представить себя в историческом зеркале «вторым гением», человеком, которому Ленин хотел передать власть; однако Сталин, нарушив волю вождя, вероломно помешал этому. Часто Троцкий походя считал возможным оскорбить и весь народ: в двадцатом томе своих сочинений он позволил себе издевательские пассажи в адрес русского народа. В его представлении «ни один государственный деятель России никогда не поднимался выше третьеразрядных имитаций герцога Альбы, Меттерниха или Бисмарка», а что касается науки, философии и социологии, «Россия дала миру круглый ноль». Думается, что эти славянофобские высказывания углубляют понимание политического облика человека, априори решившего, что он призван играть в истории лишь первые роли.

Справедливости ради следует сказать, что до конца своих дней Троцкий с глубоким уважением относился к гению Ленина, мучительно искал тот «бугорок», за который «запнулась русская революция». Сталин и сталинизм он справедливо считал «исторической ненормальностью».

Троцкий назвал себя за границей человеком, для которого стала доступна вся планета без визы. Ему принадлежат слова: «Ленина везли в революцию в пломбированном вагоне через Германию. Меня помимо воли привезли на пароходе «Ильич» в Константинополь. Поэтому свою высылку я не считаю последним словом истории». Он не учел, что истории угодно самой распоряжаться в своем храме, что свое «последнее слово» она иногда произносит десятилетия спустя.

«Личная жизнь» генсека

А может ли она быть, эта «личная жизнь», у человека, находящегося на виду миллионов своих соплеменников, сограждан, сотоварищей? Но Сталин не был «на виду». До конца двадцатых годов газеты о нем упоминали редко, правда, губкомы ежемесячно получали не одну директиву за лаконичной подписью: «И. Сталин». Ему еще тогда могли возражать, публично критиковать. Так, в журнале «Большевик», № 11—12 за 1925 год, появилась статья М. Семича, выражавшего несогласие с тем, как Сталин трактует его позицию по национальному вопросу. В апреле 1926 года там же была напечатана реплика Вл. Сорина, где он писал о неверной оценке генсеком его взглядов на взаимоотношения партии и класса. Сталин в ответе, опубликованном в том же номере журнала, фактически приносит извинения Сорину.

Сталин казался всем, кто его знал и кто не знал, о б ы ч н ы м человеком. У такого обычного индивидуума должна быть и своя личная жизнь, под которой подразумевают все то, что «остается» человеку вне службы, вне работы. Для политического портрета Сталина эти грани не являются главными, определяющими, но и они позволяют лучше понять его.

Мне довелось беседовать со многими людьми, знавшими Сталина, если так можно выразиться, в «домашней обстановке»: врачами, охранниками, работниками его секретариата, писателями, военачальниками, другими людьми, так или иначе общавшимися с ним. Распорядок дня у него мало менялся, был ли это понедельник или воскресенье. Другое дело, что в конце своей жизни, когда годы, работа и нечеловеческая слава стали пригибать генсека к земле, он не всегда ездил в Москву, а продолжал работать на даче. Здесь он принимал руководителей, здесь проходили редкие заседания Политбюро, встречи с иностранными гостями, здесь он изредка выходил в парк, чтобы почувствовать свежесть ночи.

Привычка работать без выходных была рождена необходимостью трудных лет революции, а затем функционированием той бюрократической системы управления, которую он сам создавал. Перед нами записка В. И. Ленину от товарищей Ровно и Гюллинга с просьбой принять их по карельскому вопросу. Из Совнаркома ее передают Сталину, как наркому по делам национальностей. Резолюция на записке лаконична: «Могу принять в воскресенье в 3½ часа в Наркомнаце. Сталин. 4 февраля 1922 года». В фонде документов генсека множество других подобных свидетельств. Правда, иногда по воскресеньям Сталин с членами Политбюро и другими приглашенными людьми за полночь засиживался за обеденным столом. Но за ним шло то же, хотя внешне и «вольное», обсуждение насущных проблем, стоящих перед партией и страной.

Сталин, получивший небольшую квартиру по распоряжению Ленина, первое время жил в ней. Сохранилось письмо А. В. Луначарского от 18 ноября 1921 года с пожеланием найти И. В. Сталину более удобную квартиру. В. И. Ленин, ознакомившись с ним, направляет записку начальнику охраны А. Я. Беленькому:

«Тов. Беленький. Для меня это новость. Нельзя ничего иного найти? Ленин. Вернуть».

Кроме этой записки имеется короткое письмо В. И. Ленина секретарю ВЦИК А. С. Енукидзе с просьбой ускорить предоставление квартиры наркому по делам национальностей И. В. Сталину и сообщить по телефону об исполнении. Вскоре квартира Сталину в Кремле была подобрана, в старое время это было помещение для слуг. Жильца здесь видели редко, он появлялся поздно вечером или глубокой ночью и рано утром уходил на работу. Бесхитростный быт: остатки старой мебели, затертый пол, маленькие окна. В начале двадцатых годов, как мы уже говорили, Сталин переселился на дачу в Зубалово, а позже, в тридцатых, в Кунцево. Дачу по его приказанию все время перестраивали. В последние годы рядом с большим домом срубили небольшой деревянный, куда он и перебрался.

А. Н. Шелепин, в прошлом известный партийный и государственный деятель, рассказывал мне: «После смерти Сталина, когда переписывали имущество генсека, выяснилось, что работа эта короткая и простая. Не оказалось никаких ценных вещей, кроме казенного пианино. Даже ни одной хорошей, «настоящей» картины не было. На стенах висели бумажные репродукции в деревянных простеньких рамочках. В зале, на центральном месте, висела увеличенная фотография, где запечатлены В. И. Ленин и И. В. Сталин, сделанная в сентябре 1922 года в Горках М. И. Ульяновой. (Та самая, которую вдруг ныне стали дружно объявлять фальшивой, смонтированной. Такое происходит, когда поиск истины делают выборочно. Все, что вписывается в концепцию, берут; остальное — нет, не отбрасывают, а тоже, деформируя, укладывают в ложе задуманной схемы. Надо ли говорить, что подобная «последовательность» ничего общего с истиной не имеет.— **Д. В.**) На полу два ковра. Спал генсек под солдатским одеялом. Кроме маршальского мундира, из носильных вещей оказалась пара простых костюмов (один парусиновый), подшитые валенки и крестьянский тулуп».

У большого письменного стола — вертящееся кресло. Прислуга рассказывала, что Сталин, устав работать, поворачивался в кресле к окну и подолгу молча смотрел в парк. Генсек не любил густого леса и по весне сам указывал деревья, которые надо было спилить. Сохранилась фотография: ссутулившийся Сталин держит за руку дочку, а человек из «обслуги» по указанию «хозяина» метит топором деревья для вырубки.

Генсек не любил ничего импортного — свою неприязнь к иностранному перенес и на быт. Аскетический образ жизни, пожалуй, не был позой, а следствием сохранившегося с дореволюционных лет искреннего неприятия роскоши. Однако вся жизнь Сталина свидетельствует: нет прямой зависимости между политическими, нравственными параметрами человека и его отношением к быту, ценностям, вещам; все значительно сложнее. Просто Сталин умел «выделять» главное, а самым главным в его жизни была в л а с т ь как цель, средство, непреходящая ценность. Бытовая «оправа» этой власти не имела для Сталина большого значения, хотя квартиру с 1938 года «подобрали» Сталину в Кремле другую, в великолепном здании, построенном Казаковым в XVIII веке и предназначенном для сената. Квартира находилась на втором этаже и занимала почти этаж. Комнаты для гостей, для охраны, для приемов. Этажом выше — служебные помещения. Великолепные окна, высокие потолки, крутые лестницы. Но

в этой квартире Сталин почти не жил, предпочитая ей «ближнюю» дачу. Была и «дальняя», где он тоже не жил.

К семидесятилетию вождя Берия в качестве подарка построил великолепную дачу на берегу водохранилища и уговорил Сталина посмотреть. Стареющий вождь сдался, приехал. Не раздеваясь, походил по комнатам, обошел дом вокруг, посмотрел на сопровождающих, сел молча в машину и уехал. Больше он там никогда не появлялся.

Обслуживало вождя большое количество людей, и эту антиленинскую традицию «руководящие» люди потом усвоят быстро и прочно, и не просто усвоят, но и будут обогащать долго, настойчиво, с выдумкой...

Образ жизни генсек вел нездоровый, уже в двадцатые годы у него выработалась привычка ночной работы. Сталин очень много курил. В упоминавшемся интервью Э. Людвиг спросил генсека:

— Вы курите папиросу. Где ваша легендарная трубка, господин Сталин? Вы сказали когда-то, что слова и легенды проходят, дела остаются. Но поверьте, что миллионы за границей, не знающие о некоторых ваших словах и делах, знают о вашей легендарной трубке.

Сталин:

— Я забыл трубку дома.

Почти за год до смерти Сталин бросил курить и очень этим гордился — трубка стала ему совсем не нужна.

Обычно перед обедом он выпивал немного сухого грузинского вина, мало гулял, у Сталина не было, как он говорил, «аристократической привычки» проводить долгие часы на охоте или рыбалке.

Люди, окружавшие Сталина, вспоминают, что в редкие минуты, когда он появлялся в парке, они видели, как его ссутулившаяся фигура описывала один-два круга по асфальтовой дорожке, затем застывала где-нибудь у клумбы или куста сирени. Сталин как бы любовался вечным чудом природы, а в действительности думал о своем. У многих людей мысли о бытии рождаются, когда они смотрят в бездну неба и облаков, колдовские глаза лесного костра или когда они слушают дыхание моря. Сталин, бывая в Сочи, любил стоять на берегу и слушать шум прибоя... Да, эта сирень. Усмехнувшись, глядя на буйство зелени, он в очередной раз соотнес вечный порядок в Великой Природе со своими делами: «Суета сует».

...Вот только что просмотрел папку дел от Ворошилова. Чем только не приходилось заниматься: испрашивалось разрешение об освобождении от военных сборов трактористов и комбайнеров, предлагалось построить новый дом для РККА, сообщалось о выступлении Пилсудского, докладывалось о письме командира 26-го кавполка о недоразумении с уполномоченным Гостинцевым, тут же письмо т. Ильина о необходимости развертывания дирижаблестроения, материалы о строящихся новых оборонных объектах.

Подумалось: завтра главное не это. Надо будет отправить телеграмму Среднеазиатскому бюро РКП — Ходжаеву, Люби мову, Рыскулову, Светлову, члену Военного совета Туркестанского фронта Печерскому с указанием не арестовывать басмачей, переходящих на сторону Советской власти со сдачей оружия... Не забыть ответить и секретарю Полтавского губкома Магидову, который ставит вопрос о плохой информации местных работников... А сколько он продиктовал сегодня телеграмм! Последнюю помнит дословно:

«Рязань, секретарю Сасовского района, село Просянные Поляны.

От учительницы Ширинской получена телеграмма. Защитить учительницу татарской школы от ненужных грубых бесчинств уполномоченного Кадомского РИКа Иванова, врывающегося в квартиру под видом ликвидации имущества отца, требующего выдать никому не нужный шкаф...

Прошу немедля вмешаться, оградить Ширинскую от каких бы то ни было насилий и сообщить ЦЕКА о результатах.

Секретарь ЦК И. Сталин».

А сколько еще таких дел подбросит завтра Товстуха?

Со временем всю эту работу возьмут на себя помощники, секретари, аппарат, но Сталин до конца дней любил зачастую решать сам мелкие вопросы, судьбы отдельных людей, особенно связанные с назначениями, «своевольством», инакомыслием или чьей-то строптивостью.

Чем больше повышался вес Сталина в партийных и государственных делах, тем ретивее стремились многие положиться при решении множества вопросов на личное указание генсека. Что, о трактористах, их призыве не может решить сам нарком? А строительство нового дома в столице? Разве судьбой учительницы Ширинской не может заняться один из секретарей? Но где-то подспудно у Сталина крепла торжествующая мысль: не могут без меня, а я все могу. Может быть, такова доля всех высших руководителей?!

Сталин интуитивно чувствовал, что рост централизации, обрамляемой сложнейшими бюрократическими ритуалами, делает его пленником такой системы управления, может быть, тормозит и даже губит дело. А зачем же наркоматы, где их гибкость; что решают многочисленные всесоюзные ведомства, «конторы»? Он, думаю, понимал это, но не хотел другого: единовластие, если его «разделить», уже не единовластие.

Мы уже говорили о любви Сталина к театру и кино; ни один фильм, о котором начинали говорить в народе, не минул небольшого кинозала в Кремле, а позже и его дачной установки. При встрече с руководителями агитпропа он как-то бросил: «Кино — не что иное, как иллюзион, но жизни диктует свои законы». Сталин всегда признавал в кинематографе лишь одну, воспитательную функцию, как, впрочем, и в искусстве вообще.

С двадцатых годов его начала приобщать к театру жена Надежда Сергеевна. После ее смерти театр, а если конкретно, то Большой театр Союза ССР, прочно вошел в его жизнь. Думаю, что большинство его постановок он видел по многу раз. Как рассказывал мне А. Т. Рыбин, один из его телохранителей и комендант ГАБТа, в начале пятидесятых годов, накануне инсульта, Сталин смотрел «Лебединое озеро», возможно, это был двадцатый или тридцатый спектакль, который он видел... Обычно он бывал в театре один, занимал место, когда в зале гасили свет. Садился в углу ложи, в глубине. После премьеры передавал свои благодарности, даже бывал на генеральных репетициях. Видимо, духовное образование воспитало у Сталина и потребность в общении с музыкой.

Конечно, личная жизнь — это всегда семья. Надежда Сергеевна Аллилуева, как мы уже отмечали, сразу из гимназисток стала женой одного из руководителей партии. Документы, человеческие свидетельства, в том числе и дочери Сталина Светланы Аллилуевой, говорят о том, что его жена, несмотря на молодость, была цельной натурой. Со временем она стала членом партии, работала в Наркомате по делам национальностей, училась. Приходилось ей бывать в качестве дежурного секретаря и в Горках, у Ленина. Когда встал вопрос о перенесении столицы из Петрограда в Москву, Сталин забрал с собой и родителей жены. В его записке Пестковскому, управляющему делами, говорится:

«Прошу Вас, т-щ Пест-ский, занести в эвакуационный лист нашего комиссариата в рубрику — «Сталин, члены его семьи», следующих лиц: Сергей Аллилуев, Ольга Аллилуева (жена его). Их адрес: ул. Рождественская, дом 17а, кв. 9. Телефон в подъезде 167-86.

Сталин. 10 марта 1918 года».

В небольшой кремлевской квартире старики долго жили с ними. Надежда Сергеевна быстро привыкла к той атмосфере бесконечных совещаний, митингов, борьбы, поездок, в которой жил ее муж. Знакомство с документами сталинского архива показывает, что многие письма, распоряжения, указания, телеграммы написаны не только рукой помощников и членов секретариата Сталина Назаретяна, Товстухи, Каннера, Мехлиса, Двинского, но и Надеждой Сергеевной. Она видела, что муж принадлежит д е л у, и только ему, и не понимала вначале, как мало отведено ей места в его жизни. Нередко на упреки: «Тебя не интересуют семья, дети» — он грубо обрывал Надежду Сергеевну, иногда с бранью. В ка-

кой-то степени дефицит общения Аллилуевой восполняли работа, учеба, частые встречи с женами соратников мужа — Полиной Семеновной Жемчужиной (женой Молотова), Дорой Моисеевной Хазан (женой Андреева), Марией Марковной Каганович, Эсфирью Гурвич (женой Бухарина).

В двадцатые годы у них появилось двое детей: сначала Василий, а потом Светлана. Затем приехал и стал жить у них и сын Якова от первой жены Сталина — Екатерины Сванидзе. Он был лишь на семь лет моложе своей мачехи, которая, однако, любила этого не избалованного отцовской лаской пасынка. Поскольку Аллилуева работала, с детьми занималась няня.

В кремлевской квартире или на даче в Зубалове всегда было много народу, родственников. Кроме родителей жены, здесь часто бывали братья Н. С. Аллилуевой Федор и Павел, сестра Анна со своими близкими. Находили себе место и родственники Сталина по линии первой жены. В тридцатые годы, после смерти жены, этот шумный хоровод родственников, который он видел нечасто, заметно поредел и распался: только родители Аллилуевой умрут своей смертью, а многие из близких Сталину людей положат свои головы как «враги народа». Павел, брат Надежды Сергеевны, несколько раз попытается завести с генсеком разговор об ошибочности многих арестов, репрессий, в том числе и близких людей, но все будет безрезультатно. Вождь слепо верил карающей деснице своей машины безопасности.

Сам Сталин, будучи большим руководителем, не смог да, видимо, и не хотел по-настоящему заниматься воспитанием своих детей.

Он их и видел-то крайне редко: в отдельные воскресенья, когда их привозили на дачу или на юг, где генсек до войны неоднократно отдыхал — в Сочи, Ливадии или Мухалатке. Это, к сожалению, не столь уж редкий случай, когда у крупных исторических фигур вырастают дети, ущербные уже в силу того, что их родители — знаменитости. Дети мало что знали об отце. Василий, по свидетельству Светланы, однажды ей выдал «тайну»: «Знаешь, наш отец в молодости был грузином», по-детски непосредственно выразив мысль о сильном обрусении отца.

Наиболее трагически сложилась судьба старшего сына Сталина, Якова. У него были тяжелые отношения с отцом, который считал его слабым человеком и, как оказалось впоследствии, ошибался. Сталин был недоволен выбором Якова первой да и второй жены, Юлии Исааковны Мельцер. От этих браков у него осталось двое детей. Светлана Аллилуева вспоминает, что Яков, доведенный до отчаяния холодным отношением отца, даже стрелялся, но пуля, к счастью, прошла навылет и он остался жив, хотя долго болел. Сталин, увидев после этого случая сына, лишь издевательски бросил ему:

— Ха, не попал!

Все, особенно Надежда Сергеевна, были потрясены ледяной безжалостностью Сталина. Будучи политическим деспотом, он таким же оставался и дома. Другое дело, что Сталин, общаясь с руководителями, принимая делегации, выступая на совещаниях, беседуя с деятелями культуры, мог умело перевоплощаться. Назвав уже однажды Сталина за эту способность Великим Артистом, я подумал: не обижаю ли невольно представителей этой древней и великолепной профессии? Может быть, эта способность быстрого, с умыслом перевоплощения дает основание назвать Сталина Великим Лицемером?

Яков с согласия отца окончил Транспортный институт в Москве, работал на электростанции Завода имени Сталина (что чувствует человек, работая на предприятии, носящем имя живого отца?), затем пожелал стать военным. По распоряжению помощников Сталина Яков Джугашвили был зачислен на вечернее отделение Артакадемии РККА, а затем сразу переведен на четвертый курс первого факультета того же военно-учебного заведения.

При знакомстве с личным делом старшего лейтенанта Я. И. Джугашвили мне невольно (в который раз!) бросились в глаза вопросы, на которые должен ответить каждый офицер, составляя автобиографию. Их несколько десятков, но, чтобы полнее почувствовать «колорит» того времени, приведу три-четыре вопроса из типового бланка автобиографии:

— Состоял ли в троцкистской, правой, национал-шовинистских и прочих контрреволюционных организациях, в каком году и где?

— Были ли отклонения от генеральной линии партии, колебания? Если колебался, то по каким вопросам и как долго продолжались эти колебания?

— Участвовал ли в антипартийной белорусско-толмачевской группировке?

— Служил ли в белой армии и армии интервентов, в антисоветских националистических отрядах (учредиловцы, петлюровцы, мусаватисты, дашнаки, меньшевики Грузии, банды Махно, Антонова и другие), где, когда, в качестве кого, как попал туда, когда, в какой части служил, сколько времени?..

Вот такая была эпоха, выворачивающая все наизнанку,— могли придраться к чему угодно. Но к Якову Джугашвили не придирались, хотя и в то время было немало людей, не торговавших своей совестью. Например, офицеры академии Иванов, Кобря, Тимофеев, Шереметов, Новиков (инициалов в деле нет) в аттестациях и характеристиках на сына Сталина писали, по-видимому, то, что он заслуживал: «Политическое развитие удовлетворительное. Дисциплинирован, но недостаточно овладел знанием воинских положений о взаимоотношениях с начальниками. Практических занятий не проходил. Со стрелково-тактической подготовкой знаком мало. Имеет большую академическую задолженность. Государственные экзамены сданы на удовлетворительно и хорошо». Это писали сыну всесильного вождя! И хотя непосредственные начальники Я. Джугашвили рекомендовали назначить его на должность командира дивизиона и присвоить сразу звание капитана, начальник факультета Шереметов советовал не спешить: «С аттестацией согласен, но считаю, что присвоение звания «капитан» возможно лишь после годичного командования батареей».

В одном единодушие полное: Яков был порядочный, честный и застенчивый человек, как бы «обожженный» неприязнью отца. Он по-своему переживал, что, «перепрыгнув» через несколько курсов, учился слабо и чувствовал себя неуверенно в роли командира. Может, это тоже в решающий момент сыграло роковую роль в его судьбе на фронте?

С первых же дней войны Яков оказался на фронте. По имеющимся документальным свидетельствам, он храбро сражался, до конца выполнял свой долг, пока его часть не попала в окружение и он оказался в плену. Есть редкая фотография из немецких архивов, где группа гитлеровских офицеров, окружив капитана Я. Джугашвили, с нескрываемым любопытством разглядывает его. Самое интересное в этом снимке — выражение лица, сама поза Якова: со сжатыми кулаками, с ненавистью смотрит он на своих пленителей. Фашисты пытались использовать своего узника в пропагандистских целях, разбрасывали листовки с фотографией Якова, но советские люди относились к ним как к фальшивкам.

Сталин переживал не столько за жизнь сына, сколько боялся, что в концлагере могут сломить волю Якова и заставят сотрудничать с немцами. В воспоминаниях Долорес Ибаррури, вышедших отдельной книгой в Барселоне в 1985 году, приводится малоизвестный факт, не получивший затем ни подтверждения, ни опровержения. Она пишет, что в сорок втором году за линию фронта была заброшена специальная группа с задачей вызволить из плена Якова Джугашвили, находившегося к тому времени в Заксенхаузене. В составе спецгруппы был и испанец Хосе Парро Мойсо с документами на имя офицера франкистской «Голубой дивизии». Но операция закончилась неудачей и гибелью группы.

Яков также боялся, что путем пыток, специальной обработки, использования особых препаратов он может быть сломлен и в глазах отца и народа станет предателем. Сама эта мысль была ему ненавистна, это казалось страшнее смерти. 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили бросился на колючую проволоку лагерного ограждения, и часовой застрелил его.

Сталин ошибся в сыне, как и во многих других людях. Он никогда не был непогрешимым, как скоро его станут изображать. По словам С. Аллилуевой, ее отец уже после победы под Сталинградом как бы невзначай сказал ей:

— Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих... Стану я с ними торговаться! Нет, на войне как на войне.

Горестна судьба и другого сына вождя, Василия, которого отец не смог воспитать сильным, твердым, умным человеком. После смерти матери наставником мальчика фактически стал Власик, начальник охраны Сталина. Однако обстановка лести, вседозволенности сформировала капризного, слабохарактерного человека. Он воевал, но не настолько хорошо, чтобы, начав войну капитаном, в 1947 году уже стать генерал-лейтенантом. Личное дело Василия Иосифовича Сталина весьма красноречиво свидетельствует о кадровом произволе, который творило сталинское окружение с молчаливого согласия всемогущего отца. Приведу просто несколько выдержек и фактов из тощей папки личного дела:

В двадцать лет В. И. Сталину сразу, минуя несколько ступеней, присваивается звание «полковник» (приказ НКО № 01192 от 19 февраля 1942 года).

В двадцать четыре года В. И. Сталин — генерал-майор авиации (постановление СНК СССР от 2 марта 1946 года), через год он генерал-лейтенант.

Будучи совсем «зеленым», посредственным летчиком, в 1941 году назначается начальником Инспекции ВВС РККА.

В январе 1943 года назначается командиром 32-го гвардейского истребительного авиаполка; через год — командиром 3-й, а затем 286-й истребительной авиации. В 1946 году В. И. Сталин — командир корпуса, затем заместитель, а потом и командующий ВВС МВО.

Феерический взлет, не основанный, однако, на деловых и моральных качествах. За время войны, как указывают его начальники в деле, Василий совершил лишь двадцать семь боевых вылетов и сбил один самолет противника типа ФВ-190; награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Суворова II степени.

А вот что писали в аттестации на В. И. Сталина генерал-лейтенант авиации Белецкий и генерал-полковник авиации Папивин:

«По характеру горяч и вспыльчив, допускает невыдержанность: имели место случаи рукоприкладства к подчиненным... В личной жизни допускает поступки, несовместимые с занимаемой должностью командира дивизии, имелись случаи нетактичного поведения на вечерах летного состава, грубость по отношению к отдельным офицерам, имелся случай легкомысленного поведения — выезд на тракторе в г. Шяуляй с конфликтом и дракой с контрольным постом НКВД. Состояние здоровья слабое, особенно нервной системы, крайне раздражителен; это оказало влияние и на то, что за последнее время в летной работе личной тренировкой занимался мало, что приводит к слабой отработке отдельных вопросов. Все эти недостатки в значительной мере снижают его авторитет как командира и несовместимы с занимаемой должностью командира дивизии».

Последующие аттестации аналогичны, однако везде их венчает вывод: «Желательно послать на учебу в академию». Прославленные генералы Руденко, Савицкий (в последующем маршалы) не видели в то время иного способа избавить подчиненные им соединения от «беспутного принца».

К слову сказать, «династическое», «наследное», родственное выдвижение своих чад, близких не изжито и по сей день. Конечно, человек не «виноват» в известности, славе, положении своих родителей, но это не должно давать никакого «гандикапа», социальных преимуществ и незаслуженных благ детям. Принадлежность к «фамилии» должна лишь обязывать человека к повышенной ответственности, долгу, скромности, порядочности.

Доброхоты, преследуя свои цели, осыпали благами и чинами сына Сталина, который незаметно для всех стал хроническим алкоголиком. Можно представить, сколько горя принес своим многочисленным женам (не менее четырех) этот опустившийся человек. Он, видимо, не интересен сам по себе, но на примере этой разгульной и несчастной судьбы можно еще раз убедиться: злоупотребление властью калечит все вокруг, в том числе и собственных детей. Так уже не раз бывало в истории: цезари, достигая высот владычества, часто оставляли после себя детей, хилых духом и плотью, морально убитых атмосферой торжествующей безнравственности, окружавшей диктаторов.

Еще при жизни отца В. И. Сталин лишился высокого поста командующего авиацией столичного округа и покатился вниз. Не случайно, что уже через двадцать один день после смерти «вождя» Приказом Министра обороны № 0726 генерал-лейтенант В. И. Сталин был уволен из армии в возрасте тридцати двух лет без права ношения военной формы.

Вскоре Василий на несколько лет попадает в тюрьму. Его вина не очень ясна. Дочь уверяет, что суда над ним не было. Но, видимо, то, что прощалось ранее, вспомнилось теперь. А главное — хотели спрятать подальше человека, который немало знал. Ведь соратники Сталина все остались на своих местах...

О судьбе Василия мне рассказывал А. Н. Шелепин. Хрущев попросил его съездить в Бутырку, куда Василия привезли из 2-й Владимирской тюрьмы. В тюрьме он содержался под фамилией Васильев (его отец, Верховный Главнокомандующий в годы войны, нередко в шифровках подписывался — «Васильев»).

«Привели его ко мне, хромающего, с палкой в руках,— говорил Александр Николаевич,— он бросился на колени и заплакал: «Простите, простите, не подведу больше». Рассказал о встрече Хрущеву. Тот промолчал и говорит: «Привезите его ко мне».

Назавтра Василия доставили Хрущеву, и тот опять бросился в ноги: молил, плакал, клялся. Хрущев, обняв Василия, тоже плакал, долго говорили об отце. После встречи решили Василия досрочно освободить. Подготовили решение, выпустили. В тот же день к Василию нагрянули многочисленные друзья. Все началось, как прежде... Через несколько дней он вновь сел за руль машины, и вновь авария. Хрущев долго ругался матом, спрашивал:

— Что будем делать? Посадить — погибнет. Не посадить — тоже.

Решили выслать. Подобрали место — Казань. Уехал Василий с медсестрой, своей очередной женой. От долгого пьянства высох, стал как подросток. Цирроз печени безжалостен: в марте 1962 года он умер, оставив четверых детей у разных жен и трех усыновленных. Памятник на могиле с надписью: «Джугашвили Василий Иосифович (1920—1962). Единственному от Джугашвили». Не В. Сталин, как в жизни, не В. Васильев, как хотели власти, а Джугашвили...

Диктатор, одного слова которого было достаточно, чтобы за предельно короткое время прорыть огромный канал, построить дворец, переселить миллионы людей с «воли» за колючую проволоку, оказался полностью бессильным в отцовстве. Его мудрости, воли, «прозорливости», «тепла», о которых так много писали, совсем не оказалось, чтобы вырастить сына полезным Отечеству. Тот же упрек, видимо, ему бросят летописцы, коснувшись судьбы и его дочери Светланы. Будучи до предела ортодоксальным, догматическим марксистом, Сталин не смог воспитать дочь патриоткой своей Родины. Эволюция ее судьбы известна советским людям, с самого начала она вызывала лишь горечь и недоумение. Коротая, с небольшим перерывом, свои годы на чужбине, она вряд ли думала о том, что ее жестокий, безжалостный отец с «железной» фамилией, в самые тяжкие годы своих бесчисленных арестов тем не менее никогда не помышлял об эмиграции.

Когда 1 ноября 1984 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР С. И. Аллилуевой и о приеме в гражданство СССР ее дочери Питерс О. В., казалось, что «блудная дочь» поняла свои заблуждения, тем более что на пресс-конференции она заявила: «Попав в этот самый так называемый «свободный мир», я сама не была в нем свободна ни единого дня. Там я попала в руки бизнесменов, адвокатов, политических дельцов и издателей, которые превратили имя моего отца, мое имя и мою жизнь в сенсационный товар». Но дочь «железного» отца еще раз подтвердила истину: характер не наследуется, как и убеждения. Они вырабатываются. Зарубежье в конце концов оказалось ей дороже родины.

Возможно, дети Сталина и выросли бы другими, будь жива Надежда Сергеевна Аллилуева. Свидетельства, которыми мы располагаем, говорят о том, что и здесь поведение вождя стало (а впрочем, косвенной ли?) причиной смерти его

жены. В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Аллилуева-Сталина покончила жизнь самоубийством. Поводом для этого рокового шага, думается, послужила едва заметная для окружающих ссора, которая произошла на небольшом праздничном вечере в пятнадцатую годовщину Октября, где были Молотов, Ворошилов с женами, некоторые другие лица из окружения генсека. Очередной грубой выходки Сталина хрупкая натура Надежды Сергеевны не перенесла, она ушла к себе в комнату и застрелилась.

Каролина Васильевна Тиль, экономка семьи, придя утром будить Аллилуеву, застала ее мертвой. «Вальтер» лежал на полу. Позвали Сталина, Молотова, Ворошилова. Очевидно, покойная оставила посмертное письмо, но это мы можем только предполагать: на свете всегда есть и останутся большие и маленькие тайны, которые никогда не будут разгаданы.

Сталин был потрясен, когда узнал о случившемся, но и здесь он остался верен своему безнравственному кредо: поступок Аллилуевой расценил не как свою вину, а как ее предательство по отношению к себе. У него не возникла, видимо, даже мысль, что его черствость, отсутствие тепла и внимания так жестоко ранили жену, что в минуту глубокого душевного волнения и депрессии она решилась на крайний шаг. Попрощавшись на гражданской панихиде с женой, на кладбище Сталин не поехал. Люди из его окружения вскоре попытались устроить еще один брак Сталина с одной из родственниц близкого к вождю человека. Казалось, все решено, но по причинам, известным только вдовцу, брак не состоялся. До конца дней Сталин прожил один, передоверив домашнюю заботу о себе экономке из многочисленной «обслуги». Когда Сталин умер, его экономка В. В. Истомина в присутствии членов Политбюро упала покойному вождю на грудь и закричала в голос. Ей он, видимо, был гораздо ближе, чем соратникам.

В самом конце пути Сталин, подводя какие-то итоги своей жизни, вдруг вспомнил свою жену: в столовой и его кабинете на даче, как, впрочем, и в квартире в Кремле, появились фотографии Аллилуевой.

Нет никаких сомнений в том, что Н. С. Аллилуева любила Сталина и старалась всячески помогать ему на многотрудном посту. Ее родственники свидетельствовали, что в последние годы жизни Аллилуева переживала глубокий внутренний надлом. Возможно, Сталин по-своему ее тоже любил, но одержимость делом, планами, работой, властью не оставила в его сердце места ни жене, ни детям, ни родственникам, на месте чувств — стальные струны. Сталин мог неделями не замечать никого из родных, никогда не интересовался самочувствием, здоровьем близких. Многих своих внуков, а их было восемь, он никогда не видел и не стремился к этому. Когда был арестован Александр Семенович Сванидзе, брат его первой жены, с которым он был очень близок, у Сталина даже не возникла мысль: как человек, которого он знал всю жизнь, с детства, мог оказаться «врагом»? В самой структуре морального облика вождя были целые бреши, провалы. Его поступки, поведение, отношение к окружающим и близким свидетельствовали, что Сталину были неведомы благодеяния, сострадание, великодушие, сочувствие, терпимость, человечность, раскаяние, искупление...

Конечно, эти страницы политической биографии генсека, характеризующие его, так сказать, «нравственные» черты, возможно, не главные. Но весьма символично, что и сам Сталин пренебрежительно относился к морали и «морализаторству»: для него политика всегда была фаворитом в соотношении с нравственностью. И для исследователя столь сложной личности, какой был Сталин, именно здесь приоткрывается одна из «тайн» его характера. Его душевная скупость, переросшая в исключительную черствость, а затем и безжалостность, не только стоила жизни жене и исковерканным судьбам детей. Самое страшное, что и в политике Сталин не находил достойного места для моральных ценностей. Для него было верхом благородства, когда Павлик Морозов доносил на своего отца, «врага народа».

Когда Берия арестовал жену его ближайшего помощника А. Н. Поскребышева, Брониславу Соломоновну, то никакие просьбы мужа уже не могли спасти ее. У Сталина, рассказывает дочь Поскребышева, Галина Александровна, был один ответ: «Это от меня не зависит. Я ничего сделать не могу. В НКВД разберутся». Смехотворное обвинение в шпионаже было стандартным. Продержав в тюрьме три года, ее расстреляли. А ведь ее муж по четырнадцать — шестнадцать часов в сутки продолжал быть около Сталина, подавать документы, готовить справки, вызывать людей, отдавать распоряжения вождя... «Даже Берия, по приказу которого был осуществлен арест, продолжал бывать в то время в нашей семье,— рассказывала Галина Александровна.— Впрочем, у нас бывали и многие другие известные люди: Шапошников, Рокоссовский, Н. Г. Кузнецов, Хрулев, Мерецков. Сталин был лично знаком с моей матерью и, конечно, понимал, что обвинение в шпионаже (брат жены Поскребышева ездил за медицинским оборудованием за границу — главный аргумент обвинения; потом он тоже, конечно, был расстрелян.— **Д. В.**) не имеет под собой никаких оснований».

Когда я знакомился с подобными фактами, мне однажды пришла на первый взгляд парадоксальная мысль: арестовывая близких, родственников, жен людей из своего окружения, Сталин... испытывал их лояльность, проверял их верноподданические чувства. Калинин, Молотов, Каганович, Поскребышев, многие другие не подавали и виду, что в их доме произошла катастрофа. Сталин наблюдал за их поведением и, видимо, испытывал удовлетворение от их безропотности. Чудовищные по своей безнравственности и жестокости испытания, посланные им людям,— это и есть строки предельно аморальной биографии Сталина, его портрета. Ничего святого, благородного, порядочного не скрывалось за личиной Великого Артиста, который мастерски играл множество ролей в жизни, больше всего походившей на фильмы ужасов. Ведь Поскребышев-то верил, когда Сталин говорил ему смиренно, что это не зависит от него, что он ничего сделать не может. А что говорил Берия, ведь он продолжал бывать дома у Поскребышева? Говорил то же самое... Эти люди жили во Лжи, Цинизме, Жестокости. И у такого человека была «личная жизнь»?! Самое печальное (и это опять из области морали!), что Сталину фактически никто не возражал. А ведь ш а н с ы с о в е с т и в с е г д а существуют! Даже в условиях невероятно сложных...

Мы как-то привыкли считать, что гуманизм, мораль, общечеловеческие нормы нравственности — это, мол, все из области нравоучительства. Но ведь мораль возникла раньше политического, правового, даже религиозного сознания. Когда у людей появилась первая потребность в осознанном общении, возникла нравственность, без нее человек никогда не стал бы человеком. Метко заметил однажды Бертольт Брехт: «Чтобы человек почувствовал себя человеком, его кто-то должен окликнуть». И в этом смысле конкретная «личная жизнь» позволяет увидеть в человеке его подлинную суть. Кто знает, может быть, именно в «частной жизни» Сталина кроется один из глубинных истоков тех деформаций и преступлений, которые будут в тридцатые годы освящены его именем?

Сталин был «сильной личностью» того типа, который с неизбежностью стремится только к величию, неограниченной власти, а такое величие, как справедливо писал Н. Бердяев, «слишком связано с ложью, со злобой, жестокостью, насилием и кровью». Сталин постепенно, исподволь обоготворил насилие, не заботясь о нравственном обосновании своей политики. Культ силы вне моральных ценностей — драгоценность фальшивая. Ленин видел смысл революции в максимальном достижении вершин свободы человеком в рамках социальной необходимости, но которая гуманистична по своей сути. Для Сталина нравственные параметры революции, строительства нового мира были не более чем «буржуазным морализаторством».

Страшно то, что Сталин не сомневался и в своей нравственной правоте. В одном из томиков М. А. Бакунина генсек однажды подчеркнул фразу: «Не теряйте времени на сомнения в себе, потому что это пустейшее занятие из всех выдуманных человеком». Что можно сказать по этому поводу? Бакунин-то мог позволить себе не сомневаться — он не был генеральным секретарем партии.

О злая лесть — на сладостной облаве:
Твоих сетей всегда обилен лов.

Еврипид.

Глава четвертая. ДИКТАТУРА ИЛИ ДИКТАТОР?

Боги не знают возраста. Кто сегодня скажет, сколько лет Зевсу, Афродите, Артемиде, Палладе, Фемиде? Видимо, никто. Но именно в представлении людей боги вечны. А это все равно, что допустить невозможное — «застылость» времени. Но, может быть, они потому и боги, что стоят над абсолютно невозможным — над временем? Человек для своего удобства расчленил его на века, десятилетия, годы, месяцы, сутки, часы, минуты, секунды... А оно, время, течет, не замечая этих эфемерных рубежей. В повседневье, правда, иногда возникает иллюзия власти судьбы над временем. Чаще всего люди допускают эту ошибку в мгновения памятных дат и юбилеев...

21 декабря 1929 года Сталину исполнилось пятьдесят лет. Нет, еще не было бесконечного славословия, припадания к алтарю вождя множества подхалимов, приписывания буквально всех заслуг только ему одному. Сотни тысяч коллективов еще не будут посылать приветственные письма в его адрес, все передовицы газет и журналов еще не начинаются и не заканчиваются его именем.

Однако уже сейчас половина площади газеты «Правда» посвящена юбилею. Здесь статьи Л. Кагановича «Сталин и партия», Г. Орджоникидзе «Твердокаменный большевик», В. Куйбышева «Сталин и индустриализация страны», К. Ворошилова «Сталин и Красная Армия», М. Калинина «Рулевой большевизма», А. Микояна «Стальной солдат большевистской партии», других деятелей. Начало славословию положено. В приветствии ЦК и ЦКК ВКП(б), в частности, говорится, что они приветствуют лучшего ленинца (разрядка моя.— Д. В.). В огромной шапке газеты Сталин называется «верным продолжателем дела Маркса и Ленина», «организатором и руководителем социалистической индустриализации и коллективизации», «вождем партии пролетариата» и т. д. Юбилей для судьбы Сталина пришелся как нельзя кстати: он вызвал повышенное внимание к человеку, который уверенно разделался с очередной оппозицией, или, как теперь уже говорили, «уклоном». Проницательные люди уже тогда заметили, что к своему пятидесятилетию Сталин обрел повышенную уверенность, властность, безапелляционность.

Сегодня, в день пятидесятилетия, принимая поздравления от членов Политбюро, народных комиссаров, руководителей многочисленных советских и общественных организаций, Сталин осязаемо почувствовал, что за эти двенадцать лет после революции он научился или, как он говорил, «наловчился» управлять временем. Нет, конечно, не в том смысле, как об этом пишет Герберт Уэллс, а в том, что он стал чувствовать и понимать, в какой момент надо форсировать события, когда нанести разящий удар по фракционерам, как использовать фактор времени в гонке индустриализации и начавшейся коллективизации.

Молотов и Каганович предлагали более торжественно отметить пятидесятилетие признанного уже почти всеми вождя. Но Сталина удержала не скромность, просто у него очень свежа была в памяти такая же годовщина Ленина. Он не раз ловил себя на мысли, что ленинские слова о нем, Сталине, обычно приходили ему в голову, когда нужно было делать принципиальный выбор. Подлинный выбор предполагает способность субъекта ставить себя на место тех, кто зависит от него. Ленин умел мысленно принять роль другого, умели это и многие его соратники, но только не Сталин. Даже трудно вообразить, чтобы Сталин мог себя поставить, допустим, на место своей жертвы — его прямолинейное мышление не допускало таких коллизий. Но сдерживать себя Сталин умел, особенно в начале своего восхождения. Поэтому и теперь, в канун своего юбилея, Ленин пока сдержал его.

Пятидесятилетие Владимира Ильича отмечалось в Московском Комитете партии, правда, не было... самого юбиляра. Вечер открыл Мясников. С пространной, но маловыразительной речью выступил Каменев, подчеркнув, что Владимир Ильич в «словах хвалы не нуждается, и пролетариат не привык словами, торжественными одами чтить своих вождей, своих лучших товарищей». Он долго говорил о войне, которая «вздернула на дыбы массы», что Ленина по праву можно назвать главнокомандующим армии пролетариата, который придет к победе и к сокрушению старого мира. Говорил Горький, почему-то повторяя слова Троцкого о том, что русская история бедна выдающимися людьми. Как всегда оригинально, с пафосом выступал Луначарский, показывая руками, как вокруг Ленина всегда «веет ветер, ветер вершин». Читал стихи пролетарский поэт Александровский, говорил о высоком демократизме Ленина Ольминский. Сталину тогда показались совершенно неактуальными его слова: «Одна из самых характерных черт Ильича — его демократизм. Ленин — демократ по самой своей природе». Сталин помнит, что его покоробило от этих слов Ольминского: война еще не кончилась, а тут о демократии. Разве для революционера это главное?! И здесь он услышал, как Мясников предоставил слово ему, Сталину.

Он готовился к речи, искал что-то необычное и неожиданно решил в день юбилея Ленина сказать... об умении вождя признавать свои ошибки. Сталин говорил о том, что Ленин был сторонником участия в выборах Виттевской думы, а затем публично сказал всем, что ошибался. Так и в семнадцатом году, негромко читал свой текст Сталин, Ленин ошибался в отношении к «предпарламенту», но затем публично признал свою ошибку. «Иногда т. Ленин в вопросах огромной важности признавался в своих недостатках. Эта простота особенно нас пленяла,— завершал речь Сталин.— Это, товарищи, все, о чем я с вами хотел поговорить». Слушатели жидко поаплодировали пятиминутному выступлению Сталина, немного недоумевая от неюбилейных слов наркомнаца, как вдруг в зал вошел Ленин.

Речь его была короткой, динамичной, запоминающейся. «Я прежде всего, естественно, должен поблагодарить вас за две вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а, во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей». Затем Ленин сказал, что юбилеи надо отмечать по-другому, и заговорил о положении в большевистской партии. Успехи революции, одержанные победы временно отодвинули от нас задачи, которые мы должны решать сегодня в самых различных областях. «Нам предстоит громаднейшая работа и потребуется приложить труда много больше, чем требовалось до сих пор. Позвольте мне закончить пожеланием,— сказал В. И. Ленин,— чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение зазнавшейся партии».

Почему тогда, во время чествования вождя, он решил отметить его «ошибки», Сталин сейчас не мог ответить. Показать, что наркомнац не «ручной»? Выделиться? Или знал, что Ленин не боялся никакой правды? Обо всем этом можно только догадываться. Во всяком случае, упоминание об этом выступлении первое время вызывало у самого Сталина неловкость. Когда В. Адоратский обратился к Сталину с просьбой разрешить включить в сборник статей «О Ленине» его выступление на юбилейном вечере, тот отказался. Резолюция на письме была красноречивой:

«Тов. Адоратский.

Речь записана по существу правильно, хотя и нуждается в редакции. Но я бы не хотел ее печатать: неприятно говорить об ошибках Ильича. И. Ст.»

Позже, однако, его «отредактированное» выступление попадет в собрание сочинений. Неловкость, «ложная скромность», чувство совестливости покинут его довольно скоро. Уже в начале 1925 года он согласится с предложением Молотова о первом крупном увековечении своего имени. Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин и Секретарь ЦИК А. Енукидзе подписали постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета, в котором говорилось: «Переименовать гор. Царицын — в гор. Сталинград; Царицынскую губернию — в Сталинградскую; Царицынский уезд — в Сталинградский; Царицынскую волость — в Сталинградскую и ж. д. станцию Царицын — в Сталинград».

На дворе было 10 апреля 1925 года, после смерти Ленина прошло немногим более года. То был один из первых залпов Сталина по совести. Впрочем, никакого смущения от «скромного» согласия на массовые переименования Сталин не испытывал, поскольку уже через пять дней в своем приветствии первой Всесоюзной конференции пролетарского студенчества он призывал будущих молодых специалистов выполнять свою роль «не за страх, а за совесть». Гегель, которого он невзлюбит за свои бесплодные попытки овладеть хотя бы «оглавлением» его философии, писал, что совесть — это «процесс внутреннего определения добра». У Сталина то, что люди называют совестью, находилось во внутреннем заточении.

Таким был человек, ставший волею обстоятельств во главе партии в огромной крестьянской стране.

Судьбы крестьянства

Герберт Уэллс, изобразивший в своем художественно-публицистическом репортаже Россию «во мгле», не преувеличивал — она произвела на него «впечатление величайшего и непоправимого краха». На необозримых, гигантских пространствах, на бескрайней плоской равнине лежали сотни тысяч деревень, с наступлением ночи погружавшихся, как сто, двести, триста лет назад, в вековую мглу. Все эти деревни были когда-то «окняжены», «обоярены», пережили мрак крепостничества и надежду освобождения.

В манифесте, который подписал 19 февраля 1861 года Александр II, были слова: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божье благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного». Но крестьянская община, решавшая свои дела на сельском сходе, по-прежнему была задавлена налогами: подушная подать, общественный сбор, земский сбор, выкупные платежи, акцизы питейные, соляные... И хотя потом некоторые из этих крестьянских денежных и натуральных налогов были отменены, положение русского крестьянства было всегда тяжелым. Малоземелье, высокие повинности, тяготы всех войн, которые вело государство, почти поголовная неграмотность сохранились до самой Октябрьской революции. В первой трети XX века заметно усилилось и социальное расслоение крестьянства.

Почти все мы имеем глубинные корни в крестьянстве. Когда в памяти возникают солнечные пятна детства, то чувствуешь, осязаешь как наяву запах талого снега, видишь потемневший лед на речке, слышишь скрип санных полозьев на деревенской улице. И лица давно ушедших людей...

Иногда хочется хотя бы мысленно усадить всех своих ближайших предков за один длинный фамильный стол. Потемневшие иконы увидели бы сидящих на лавках крестьян. Бородатые мужики в холщовых рубахах с заскорузлыми ладонями вечных трудяг, добрые и покорные глаза их жен, становящихся старухами в сорок лет, светлоголовых ребятишек. Обязательно за столом сидели бы один два старика с «Георгием», прошедшие турецкую, японскую, германскую войны. Общинная мораль, превыше всего чтящая православие, труд, семью, отечество, руководила этими неграмотными людьми. Может быть, за столом и нашелся бы один грамотей, выписывавший «Ниву».

Мужики, бабы, крестьяне... От них осталось сегодня лишь то, что мы сохранили в своей памяти, и, пожалуй, то, что осталось в некоторых из нас крестьянского,— истовость в работе, бережливость, доверчивость, готовность прийти на «помочь» всем обществом. В этом крестьянском мире еще в начале тридцатых годов жило подавляющее большинство наших соотечественников, именно здесь скоро развернется настоящая революция, похожая на побоище, санкционированное сверху.

Правда, первые жестокие схватки на селе прошли в ходе национализации помещичьих, удельных, монастырских земель. Созданные в середине 1918 года комитеты бедноты повели наступление на кулака. Более половины принадлежавших им земель было отобрано, конфискованные машины, скот распределили между середняками и беднотой. В итоге кулацкая прослойка резко уменьшилась, деревня стала более середняцкой. Нэп принес в деревню возможность торговли после выполнения «твердого налога». Еще при жизни Ленина, в конце 1923 года, Советская Россия продала другим странам около 130 миллионов пудов пшеницы. Тогда выглядела дикой, кощунственной сама мысль покупать хлеб...

В восстановительный период удалось несколько поднять зерновое хозяйство страны, хотя оно еще далеко не достигло довоенного уровня. Если в целом и вырос объем производства хлеба, то товарного зерна государству явно не хватало — это объяснялось и низкими заготовительными ценами, и отсутствием товаров для села, производственная кооперация делала лишь первые шаги. Поддержка бедняцких и середняцких хозяйств обеспечивалась политикой нэпа на селе, хотя, естественно, в этот период оживились и кулацкие хозяйства. Но они, эти зажиточные хозяйства, не были опасными для государства при наличии политической власти в форме диктатуры пролетариата. Ведь социалистические идеалы нельзя понимать как призывы к бедности. Марксизм выступает лишь против богатства, созданного эксплуатацией чужого труда. Большинство кулаков свои зажиточные хозяйства создали собственным трудом.

Ленин предвидел, что социалистические преобразования будут идти наиболее трудно на селе, но он верил в пропаганду электричеством, тракторами, книжками! Он полагал: для того чтобы обеспечить через нэп широкое участие крестьянства в кооперации, «требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия». В одной из последних своих работ В. И. Ленин формулирует исключительной важности положение: «Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас тождественен... с ростом социализма...» «При условии полного кооперирования,— диктовал В. И. Ленин,— мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве». Разумеется, ленинские идеи кооперирования сельского хозяйства не были развиты до конца, не были раскрыты многие детали реализации его установок, не определены этапы, да это было и невозможно сделать в 1923 году.

Снижение налогового обложения дало возможность середнякам и кулакам увеличить излишки сельхозпродуктов, и прежде всего хлеба, в стране одновременно усилился товарный голод, и поэтому крестьяне не спешили продавать хлеб — им были нужны не бумажные деньги, а машины и другие промышленные товары. Возникли трудности со снабжением городов. На горизонте 1927 года замаячил хлебный кризис. Кулаки да и середняки придерживали хлеб, ждали более выгодных цен, товаров.

Оппозиция пыталась использовать в своих целях растущие трудности. Так, Каменев, выступая на XV съезде партии, обвинил руководство в недооценке капиталистических элементов в деревне и, по существу, призвал ужесточить курс против кулака. Представители оппозиции еще ранее предлагали провести насильственное изъятие у кулака и середняка недостающих для нормального снабжения 150—200 миллионов пудов хлеба. У Политбюро, обсуждавшего готовящийся доклад Сталина на съезде, хватило мудрости отклонить этот путь. В политическом отчете съезду Сталин, разделявший тогда взгляды Бухарина, однозначно сказал: «Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать — и точка. Это средство — легкое, но далеко не действенное. Кулака надо взять мерами экономического порядка. И на основе советской законности. А советская законность не есть пустая фраза». Кто не согласится с такими выводами? Разве это не верные слова? И их говорил Сталин!

Но все дело в том, что ему были присущи не только частые разрывы между словом и делом, но и плохое знание крестьянского вопроса. За всю свою жизнь он фактически только один раз посещал сельские районы: это было в 1928 году, во время его поездки в Сибирь в связи с хлебозаготовками. С тех пор до конца своей жизни Сталин на селе не появлялся. Кабинетное знание сельского хозяйства с особой силой выразилось позже в принятии целого ряда единоличных грубых ошибочных решений, имевших далекие последствия.

На XV съезде, взявшем курс на коллективизацию сельского хозяйства, вносились дельные предложения по устранению хлебных трудностей в стране. В выступлении А. И. Микояна, в частности, говорилось, что товарная масса застревает в городах, не попадая в деревню, где спрос на нее огромен. «Чтобы добиться серьезного перелома в ходе хлебозаготовок, нужен решительный поворот. Этот перелом должен заключаться в переброске товаров из городов в деревню даже за счет временного (на несколько месяцев) оголения городских рынков с тем, чтобы добиться хлеба у крестьянства. Если мы этого поворота не произведем, мы будем иметь чрезвычайные трудности, которые отзовутся на всем хозяйстве».

Казалось, ставка в укреплении союза рабочего класса и крестьянства, решении проблем деревни делается теперь не только на политические, но и экономические средства. Так считал и Ленин: именно строй «цивилизованных кооператоров» позволит максимально возможно соединить личный и общественный интерес. Ведь это самое трудное в социалистических преобразованиях! Главное — не делать ставку лишь на командные, бюрократические, директивные методы этого сочетания, надо обязательно учитывать экономические законы, использовать экономические рычаги в решении важнейшей, исторической по значимости программы кооперирования крестьянства.

В специальном большом докладе о работе партии в деревне, который сделал В. М. Молотов на съезде, делались верные в основном выводы. В частности, был сделан акцент на то, что «развитие индивидуального хозяйства по пути к социализму — есть путь медленный, есть путь длительный. Требуется немало лет для того, чтобы перейти от индивидуального к общественному (коллективному) хозяйству». Отмечалось, что в этом процессе недопустимо насилие. «Тот,— продолжал Молотов,— кто предлагает нам политику принудительного изъятия 150—200 млн. пудов хлеба хотя бы у десяти процентов крестьянских хозяйств, т. е. не только у кулацкого, но и у части середняцкого строя деревни, то, каким бы добрым желанием ни было это предложение проникнуто,— тот враг рабочих и крестьян, враг союза рабочих и крестьян». В этом месте доклада Сталин громко произнес:

— Правильно!

Он еще несколько раз в ходе доклада подбадривал Молотова подобными возгласами.

Казалось, съездом выработана линия на широкое использование экономических методов в кооперировании, на соблюдение добровольности, последовательности. В резолюции по докладу Молотова прямо говорилось, что опыт подтверждает «целиком и полностью правильность кооперативного плана Ленина, по которому именно через кооперацию социалистическая индустрия будет вести мелкокрестьянское хозяйство по пути к социализму». На съезде были решительно осуждены попытки навязать методы командования в крестьянском вопросе.

Тем более странным выглядело решение Сталина, Молотова, бывшего тогда секретарем ЦК ВКП(б) по работе в деревне, форсировать процесс не просто кооперирования, а прежде всего коллективизации. Вскоре после съезда Сталин все чаще стал высказывать мнение о необходимости «взвинчивания темпов» и в деле индустриализации и коллективизации. Ему очень понравилась статья будущего академика С. Г. Струмилина, в которой тот сформулировал кредо «директивной» экономики: наша задача не в том, чтобы изучать экономику, а в том, чтобы переделывать ее... никакие законы нас не связывают... нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять... вопрос о темпах решают люди. Сталин неоднократно цитировал, заимствовал, заклинал слушателей и читателей полюбившимися фразами. Они как нельзя лучше отражали его собственные намерения.

За подписью Сталина в конце декабря 1927 года, сразу же после съезда, пошли в губернии грозные директивы, требующие усилить нажим на кулака, начать непосредственную работу по коллективизации. Возможно, такое решение подсказывалось и хлебными трудностями, но попытка решить продовольственную проблему путем искусственного форсирования процесса обобществления была первым крупным отступлением от ленинского кооперативного плана.

Думается, что грандиозность социальной революции на селе, которую генсек решил форсировать сверху, не могла не привлечь к нему симпатий большинства в партии. Радикальные, левацкие настроения после революции продолжали устойчиво жить в массе коммунистов — многим хотелось одним «ударом» решить те вековые проблемы, которые требовали взвешенного и спокойного подхода. Сталин после долгих раздумий пошел на политику сплошной коллективизации миллионов крестьянских хозяйств, зная, что большинство полуграмотных мужиков еще не было к этому готово. Утопическо-догматический взгляд Сталина на решение крестьянского вопроса выражался, по существу, в намерении превратить сельского производителя в бездумный «винтик» аграрной машины. Для этого надо было осуществить отчуждение крестьянина от средств производства и распределения продукта. По сути, Сталин решил изменить социальный статус крестьянина как свободного производителя, превратив его в бесправного работника. На смену экономическим законам приходят командно-экономические, постепенно убившие нэп, материальную заинтересованность крестьян, их предприимчивость и истовость в работе.

Некоторые из опальных левых, близкие в прошлом к троцкизму, одобрительно отнеслись к «решительным мерам» в деревне и поддержали Сталина. Пятаков, Крестинский, Антонов-Овсеенко, Радек, Преображенский и некоторые другие подали покаянные заявления и были восстановлены в партии. Пятаков стал председателем Госбанка, затем заместителем наркома тяжелой промышленности. Однако и он, и его «сотоварищи» в тридцать седьмом испили горькую чашу до дна — прошлого «вольнодумства» Сталин никому не простил.

Вторым крупным отступлением от ленинских идей явилось использование насилия как инструмента экономического переустройства. Первым пятилетним планом предусматривалось за пять лет охватить кооперированием до 85 процентов крестьянских хозяйств, в том числе до 20 процентов в форме колхозов. Однако под нажимом сверху на Украине, Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге принимаются решения сократить эти сроки до одного года! Курс на широкое применение насилия по отношению к кулаку и в целом в вопросе коллективизации фактически означал конец нэпа. Вот как это осуществлял сам Сталин.

Приехав в январе 1928 года в Сибирь, Сталин в своих выступлениях на совещаниях партийного и хозяйственного актива делал особый акцент на усиление давления на кулака. Поездка походила на объезд командующим своих гарнизонов. По приезде в очередной пункт к Сталину вызывали местных партийных и советских работников, кратко заслушивали их с неизменным выводом Сталина:

— Работаете плохо! Бездельничаете и потакаете кулаку. Посмотрите, нет ли и среди вас кулацких агентов... Так долго терпеть этого безобразия мы не можем.

После раздраженного разноса следовали конкретные рекомендации:

— Посмотрите на кулацкие хозяйства, там амбары и сараи полны хлеба, хлеб лежит под навесами ввиду недостатка мест хранения, в кулацких хозяйствах имеются хлебные излишки по пятьдесят — шестьдесят пудов на каждое хозяйство...

Сталин все свои выступления заканчивал одинаково, предлагая:

а) потребовать от кулаков немедленной сдачи всех излишков хлеба по государственным ценам;

б) в случае отказа кулаков подчиниться закону привлечь их к судебной ответственности по 107-й статье Уголовного кодекса РСФСР,.. а 25 процентов конфискованного хлеба распределять среди бедняков и маломощных середняков;

в) нужно неуклонно объединять индивидуальные крестьянские хозяйства, являющиеся наименее товарными хозяйствами, в коллективные хозяйства, в колхозы.

Такой нажимный стиль широко распространялся и поощрялся. Теоретическое и политическое обоснование лозунга, брошенного некоторыми ретивыми администраторами — «За бешеные темпы коллективизации!»,— содержалось в ста-

тье Сталина «Год великого перелома». Некоторые перемены в настроениях, общественном сознании людей в пользу кооперации (не обязательно колхозов! это лишь одна из ее форм) были восприняты генсеком как повсеместная готовность середняка пойти в колхозы. Последовали новые решительные директивы и указания...

Через неделю после своего пятидесятилетия Сталин выступал на конференции аграрников-марксистов. Его речь была знаменательна тем, что он еще до принятия постановления ЦК объявил: «От политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса». Это было чрезвычайно страшное решение, затронувшее самым трагическим образом судьбы миллионов людей. Тридцать седьмой год в общественном сознании считается апогеем насилия и беззакония в нашей стране. Он коснулся в значительной мере интеллектуального слоя общества, и неудивительно, что об этом так много пишут, превратив именно тот год в кульминацию исторического внимания. В конце двадцатых — начале тридцатых годов «железная пята» захватила бо́льшее число людей, среди которых, возможно, было немало и настоящих противников коллективизации, но неизмеримо больше невинных: середняков, причисленных к кулакам, просто «строптивых» крестьян с их семьями.

Историкам еще предстоит разобраться в деталях всего этого процесса. Обобществление, кооперирование мелких хозяйств, возможно, было исторической необходимостью. Однако было ли неизбежным массовое насилие в этом экономическом перевороте? Без боязни впасть в ошибку можно сказать: нет, такой необходимости не было. Процесс обобществления должен быть добровольным!

По настоянию Сталина для облегчения раскулачивания был составлен документ, «очерчивающий» параметры кулака: доход в год на едока, превышающий 300 рублей (но не менее полутора тысяч на семью), занятие торговлей, сдача внаем инвентаря, машин, помещений, наличие мельницы, маслобойни и т. д. Наличие хотя бы одного из этих признаков делало крестьянина кулаком. Как видим, применялся не социальный критерий, а имущественный, что является недостаточным для определения «класса». По существу, создавалась широкая возможность подвести под раскулачивание самые различные социальные элементы. Насилие справило пышный пир, а крестьянство пережило самое тяжелое потрясение в XX веке, а может быть, и за его пределами. Пострадали наиболее старательные, умелые, предприимчивые работники. Конечно, среди них было и немало таких, которые весьма настороженно относились к новой власти, но всех их Сталин и его помощники давно отнесли к врагам социализма, которые должны быть ликвидированы.

Специальная комиссия к январю 1930 года подготовила проект постановления ЦК «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». Сталиным (собственноручно!) сроки были сокращены в два раза. Без всякого научного обоснования, учета всех позитивных и негативных факторов генсек настойчиво требовал: быстрее, быстрее, быстрее! Сводки, доклады, летучки в губкомах, волостях. Масса уполномоченных. Одни обещают трактора, керосин, соль, спички, мыло: «Все будет, чем быстрее запишетесь в колхоз!» Другие действуют более решительно: «Кто не хочет в колхоз, тот враг Советской власти!» Страсти, конфликты, обрезы, убийства партработников, колхозных активистов, многочисленные письма в Москву с жалобами, ходоки за правдой... Таков был внешний антураж того вначале драматического, а затем и трагического поворота, который переживало крестьянство. Объективная потребность в кооперировании, начавшая постепенно материализовываться в различных добровольных формах, была затем «подкреплена» целой системой жестких, беспощадных мер административного, политического, правового характера.

По некоторым нашим подсчетам, к моменту начала массовой коллективизации кулаков в стране насчитывалось в общей массе крестьянских хозяйств не более трех процентов. Тогда в русский язык вошло слово «раскулачивание», под которое попали около трех миллионов крестьянских хозяйств, и не только кулацких. Многие сотни тысяч семей в полном составе после изъятия у них всех

средств производства, ценностей, недвижимости выселялись в отдаленные места. Едва ли когда-нибудь удастся назвать точную цифру людей, захваченных этим штормом беззакония.

По одним данным, в 1929 году в Сибирь, на Север было выслано более 150 тысяч семей кулаков, в 1930-м — 240 тысяч, в 1931-м — более 285 тысяч. Но ведь раскулачивание велось и в 1928 году, и после 1931 года... По нашим подсчетам, восемь с половиной — девять миллионов мужчин, женщин, стариков, детей подпали под раскулачивание, бо́льшая часть которых была сорвана с насиженных мест, где остались могилы предков, родной угол, весь бесхитростный крестьянский скарб... Многие были расстреляны за оказание сопротивления, немало погибло на дорогах Сибири и Севера. В ряде мест, захваченных инерцией социального насилия, а иногда и материальной заинтересованности, подвергли раскулачиванию и середняка. Всего, по нашим подсчетам, около шести—восьми процентов крестьянских хозяйств оказалось захваченными штормом раскулачивания.

Конечно, те кулацкие хозяйства, которые имелись в сельском хозяйстве к началу коллективизации, представляли определенную опасность этому процессу. Мы знаем, что во времена продразверстки, хлебной монополии именно кулачество организовывало сопротивление властям. Продотряды, комбеды, создание частей особого назначения — это было вызвано необходимостью защиты бедноты от кулачества. Нужно было, видимо, применять продуманные административные меры против тех групп кулаков, которые вели прямую антисоветскую борьбу. Но ведь основная часть кулацких хозяйств могла быть вовлечена в процесс обобществления, кооперации путем дифференцированного обложения, производственных заданий и обязательств. Этого не делалось. Отказ кулаку в самой возможности участия в общем процессе ставил его по ту сторону барьера, где ему оставался трагический выбор: бороться или ждать участи — раскулачивания и ссылки.

Интересно, пожалуй, привести в связи с вопросом о кулаке выдержку из беседы Сталина с Черчиллем 14 августа 1942 года. Закончились переговоры. Сталин пригласил английского премьер-министра поужинать к себе на кремлевскую квартиру.

В мемуарах Черчилля это выглядит так. Премьер спросил Сталина:

— На вас лично так же тяжело сказываются тяготы нынешней войны, как и проведенная вами политика коллективизации?

«Эта тема,— пишет Черчилль,— сейчас же оживила вождя».

— Политика коллективизации была страшной борьбой,— сказал Сталин.

— Я так и думал, что для вас она была тяжелой. Ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей...

— С десятью миллионами,— сказал Сталин, подняв руки.— Это было что-то страшное, это длилось четыре года. Чтобы избавиться от периодических голодовок, России было необходимо пахать землю тракторами. Мы были вынуждены пойти на это. Многие крестьяне согласились пойти с нами. Некоторым из тех, кто упорствовал, мы дали землю на Севере для индивидуальной обработки. Но основная их часть была весьма непопулярна и была уничтожена самими батраками...

Известно, что с легкой руки Черчилля цифра десять миллионов пошла гулять по страницам печати. Наши данные несколько меньше, хотя это, разумеется, отнюдь не уменьшает размах человеческой трагедии. То был первый массовый кровавый террор, развязанный Сталиным в собственной стране. После XIII партсъезда это была вторая полоса в жизни Сталина, где он шел напролом.

А коллективизация продолжалась. Десятки тысяч писем шли в Москву на имя Сталина с жалобами, болью, недоумением, страхом, ненавистью. Запущенная машина беззакония продолжала перемалывать человеческие судьбы. Лишь в марте 1930 года Сталин, до которого не мог не дойти размах морального протеста и социального сопротивления крестьянства, выступил с небезызвестной статьей «Головокружение от успехов». Как зловещая ода социальному насилию, читается сегодня второй абзац статьи: «Это факт, что на 20 февраля с. г. уже

коллективизировано пятьдесят процентов крестьянских хозяйств по СССР. Это значит, что мы перевыполнили пятилетний план коллективизации к 20 февраля 1930 года более чем вдвое».

Проценты, цифры плана, его двойное «перевыполнение»... Неужели Сталин никогда не задумывался, что за всеми этими (и множеством других!) цифрами стоят человеческие судьбы?! Ведь он не привел другие цифры: сколько сослано, раскулачено, уничтожено, погибло людей...

Иногда говорят, что процесс такого гигантского преобразования не мог пройти безболезненно, гладко, без ошибок. Но кто дал право Сталину исключить свободу выбора простого человека, а все решить за него? Где же внимание к ленинским предостережениям «Не сметь командовать!» да, наконец, к собственным заявлениям и заверениям: «Кулака надо взять мерами экономического порядка и на основе советской законности!»? Для Сталина становилось обычной нормой относиться как к фикции к любым решениям, выводам, положениям, если в тот или иной момент они не соответствовали его планам.

В статье однозначно делается вывод (как будто по этому вопросу прошел в стране референдум!), что ни товарищество по совместной обработке земли, ни коммуна сегодня не устраивают социалистическое преобразование деревни. Только колхозы! Вот эта форма сельхозартели является единственно приемлемой, решил аграрий Сталин, который больше никогда ни в какое село не поедет. В последующем он, как заявил Н. С. Хрущев на XX съезде, «изучал сельское хозяйство только по кинокартинам». Это, конечно, не совсем так, но трудно представить руководителя, который о любой проблеме может верно судить, только сидя в своем кабинете. Самое печальное, что характеризует Сталина в целом,— он никогда не признавал своих ошибок, никогда! Даже в 1945 году, выступая на приеме в честь командующих войсками, он скажет: «У нашего правительства было немало ошибок». И здесь, в статье, он пишет, что виновники «перегибов», «головокружения от успехов», «чиновничьего декретирования», оказывается, находились лишь на местах: в губерниях, волостях, артелях! Сам Сталин, конечно, ни в малейшей степени «не повинен» в многочисленных извращениях, перегибах, беззакониях. А его прямые указания, директивы, контрольные цифры, соревнование по «охвату»?

После «Головокружения от успехов» к Сталину хлынул новый поток писем от крестьян. Он был вынужден еще раз разъяснять позицию партии в вопросе о коллективизации, порой вольно или невольно своими обобщениями дискредитируя саму идею перестройки сельского хозяйства на путях постепенной кооперации. В ответах колхозникам генсек писал:

«Иные думают, что статья «Головокружение от успехов» представляет результат личного почина Сталина. Это, конечно, пустяки. Это была глубокая разведка ЦК (разрядка моя.— **Д. В.**)».

И далее:

«Трудно остановить во время бешеного бега и повернуть на правильный путь людей, несущихся стремглав к пропасти».

На социальные, экономические, культурные, духовные вопросы Сталин предпочитает отвечать военными терминами: «разведка», «фронт», «наступление», «отступление», «перегруппировка сил», «подтягивание тылов», «подвод резервов», «полная ликвидация врага». Речь, разумеется, шла и о «ликвидации кулачества как класса». И при всем при этом — признание в том, что массы людей «неслись стремглав к пропасти». Как бы резюмируя свое понимание сути и методов преобразования села, Сталин на конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 года заявил: для того, чтобы мелкокрестьянская деревня пошла за социалистическим городом, нужно «насаждать (выделено Сталиным.— **Д. В.**) в деревне крупные социалистические хозяйства в виде совхозов и колхозов». К слову сказать, через десять лет в редакционной статье «Большевика» об этой «аграрной» речи Сталина будет говориться следующее:

«Большевистская партия под руководством товарища Сталина дала изумительный образец решения крестьянского вопроса... Триумфом сталинской программы социалистической переделки крестьянского хозяйства является сплошная коллективизация и ликвидация на ее основе кулачества как класса. Эту боевую программу переделки крестьянского хозяйства на социалистической основе товарищ Сталин изложил в документе величайшей теоретической силы, в своей речи на конференции аграрников-марксистов».

На основании работы специальной комиссии о кулаке в январе 1930 года было принято, по настоянию Сталина, постановление ЦК «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Эта партийная директива усилила напряженность в деревне, поскольку в соответствии с постановлением кулакам путь в колхозы был закрыт. Положение этой группы крестьянства стало трагическим и безысходным. Выступления кулачества против Советской власти усилились, принимая порой большой размах.

Методы принуждения, насилия, администрирования, которые в свое время проповедовал Троцкий, были подхвачены Сталиным и использованы в максимальной мере, а это все означало глубокое отступление от ленинской политики по отношению к крестьянству. Промышленность только развертывала производство тракторов. Зерновое хозяйство сразу же «забуксовало», следом и животноводство. А главное, сразу же была «подсечена» предприимчивость крестьянина, производительность труда стала ниже, чем в индивидуальном хозяйстве. Последствия были исключительно тяжелыми. Во многих районах начался массовый забой скота: к 1933 году по сравнению с 1929 годом его количество сократилось в два-три раза. Чтобы помешать засаливать мясо, резко ограничили продажу соли. Сократились площади засеваемых земель...

Однажды, в ту редкую минуту, когда он почти заколебался в верности своего выбора, Сталин вспомнил слова старого бунтаря Бакунина, к которому где-то в глубине души питал уважение: «Воля всемогуща; для нее нет ничего невозможного». Волю в людях Сталин, повторяем, действительно ценил выше всяких интеллигентских «добродетелей». Высокая цель для него всегда оправдывала любые средства ее достижения. Он верил, что крестьяне просто не понимают, что им готовят и предлагают. Генсек не думал, что программа, которую он форсировал, часто представала как «кошмар добра». Люди, выступавшие против нее, казались ему не просто недоумками, а прежде всего политиками, не способными увидеть всех преимуществ форсированного наступления в деревне. То, что «наступать» предстояло на человека в крестьянской домотканой рубахе, часто в лаптях, неграмотного, со своими традициями и заботами, привязанного пуповиной всей жизни к своему наделу,— генсека не волновало. Мужик был лишь средством достижения высоких целей. Как и он сам, и все его соратники.

Все это время, особенно с начала 1928 года (поездка Сталина в Сибирь), в Политбюро велась глухая борьба. Курсу радикализации Сталина вначале осторожно, а затем все более настойчиво противодействовал Бухарин, которого поддержали Рыков и Томский. Это не было группировкой «правых», как ее вскоре нарекут. Просто эти руководители со своими взглядами проповедовали более умеренный, взвешенный подход к проблеме крестьянства. Они спокойнее отнеслись и к так называемому «Шахтинскому делу», на основании которого Сталин ребром поставил вопрос «быстрейшей замены, контроля» за специалистами, доставшимися стране от старого строя. В выступлениях Сталина и Бухарина без упоминания фамилий стала содержаться критика (эзоповским языком) друг друга. Так, 28 мая 1928 года Сталин выступил в Институте красной профессуры, где Бухарин, недавно выдвинутый здесь и ставший единственным академиком из числа высших руководителей, пользовался особо большой популярностью. Он решил поставить под сомнение позицию Бухарина в крестьянском вопросе и решении хлебной проблемы, гипертрофировав ее до «защиты кулачества». В своем большом выступлении, к которому Сталин тщательно готовился, он допустил несколько выпадов, адресата которых поняли все.

— Есть люди,— читал текст Сталин,— которые усматривают выход из положения в возврате к кулацкому хозяйству, в развитии и развертывании кулацкого хозяйства... Эти люди полагают, что Советская власть могла бы опереть-

ся сразу на два противоположных класса — на класс кулаков, хозяйственным принципом которых является эксплуатация рабочего класса, и на класс рабочих...

Далее Сталин продолжал:

— Иногда колхозное движение противопоставляют кооперативному движению, полагая, очевидно, что колхозы — одно, а кооперация — другое. Это, конечно, неправильно. Некоторые доходят даже до того, что колхозы противопоставляют кооперативному плану Ленина. Нечего и говорить, что такое противопоставление не имеет ничего общего с истиной.

Бухарин более чем кто-либо другой понимал, почему Сталин форсирует колхозное строительство,— из коллективного хозяйства легче изъять хлеб! Сталин знал: производство, включенное в командную систему, проще заставить фактически вновь вернуться к практике «военного коммунизма». На смену твердому налогу пришла обязательная «сдача», а не продажа хлеба. Вот некоторые данные. В 1928 году, в начале коллективизации, при валовом сборе зерна четыре с половиной миллиарда пудов крестьяне продали государству всего 680 миллионов пудов. В 1932 году валовой сбор составил четыре и три десятых миллиарда, но государство уже получило один и три десятых миллиарда пудов! При приблизительно одинаковом валовом сборе зерна государство смогло удвоить товарную массу хлеба, полученную от крестьян. Но какой ценой!

С этого момента положение крестьянства стало очень тяжелым. Там, где «выгребли» весь хлеб — Северный Кавказ, Поволжье, Украина, другие регионы,— наступила полоса жестокого голода...

Ликвидировался не только кулак, вытеснялся и единоличник вообще. На совещании в ЦК в 1934 году Сталин заявил однозначно:

— Надо создать такое положение, при котором индивидуалу в смысле усадебного личного хозяйства жилось бы хуже, чтобы он имел меньше возможностей, чем колхозник... Надо усилить налоговый пресс...

И этот пресс все плотнее давил не только «индивидуалов», но и колхозников, делая их не хозяевами на своей земле, а каким-то бесправным сословием. Как раз этого-то и опасался Бухарин больше всего.

До неузнаваемости исказив позицию Бухарина, изобразив его «защитником кулака» и человеком, не понимающим суть ленинских идей кооперации, Сталин впервые вынес разногласия с Бухариным на люди.

В своих публичных выступлениях Бухарин говорил о недопустимости администрирования в экономике. Главный теоретик Политбюро проводил в них такую мысль: без процветающего сельского хозяйства невозможна успешная программа индустриализации, посему нажим, реквизиции, насилие в колхозном строительстве недопустимы. В начале 1928 года исход борьбы был еще неясен. На первых порах однозначно поддерживали Сталина лишь Молотов и Ворошилов, а Бухарина, как уже говорилось, Рыков и Томский. Куйбышев, Калинин и Рудзутак колебались, стремились примирить двух влиятельнейших членов Политбюро. Но, как всегда, Сталин в аппаратных, закулисных делах оказался более искусным и изощренным.

Апрельский, а затем и ноябрьский Пленумы ЦК и ЦКК ВКП(б) заняли жесткую позицию в отношении альтернативы, предлагаемой в крестьянском вопросе Бухариным. По существу, линия Сталина, его единомышленников реанимировала многие методы гражданской войны. Сталин не просто «подталкивал» преобразования, он полностью рушил все старое, а это подразумевало широчайшее насилие. Бухарин же предлагал эволюционный путь преобразования деревни, в ходе которого кооперация, общественный сектор будут постепенно вытеснять индивидуальное хозяйство экономически, силой примера. Не во всем, думается, «любимец партии» был прав, но борьба Бухарина против триумфа злой силы, примененной к миллионам граждан Советского государства, оправдана и по моральным, и по политическим соображениям. Бухарин, бесспорно, глубже разобрался в сути ленинской концепции кооперации.

При терпеливой совместной товарищеской работе, обсуждении острейших проблем в духе партийной принципиальности, безусловно, можно было избежать

террора и трагедий, которые не уступают, а во многом, повторяем, превосходят по своим масштабам и последствиям террор 1937—1938 годов. Конечно, насилие и в том, и другом случае не просто прискорбно, оно глубоко преступно. «Удавшаяся» операция с «ликвидацией кулачества как класса» придала уверенности Сталину в его «правоте», он почувствовал свои диктаторские возможности и не остановился перед тем, чтобы окончательно ликвидировать всех тех, кто когда-либо выступал против партийного курса или м о г выступить против него.

Совершив насильственную революцию сверху, Сталин на долгие десятилетия обрек сельское хозяйство на прозябание, несмотря на множество последующих реформ и постановлений. Свободная торговля быстро зачахла: у колхозов не оказалось товарной массы. А Сталин все продолжал изыскивать методы ужесточения командного управления притихшими селами... На многочисленных совещаниях генсек расписывал победы колхозного строя и принимал решения по «коренному» улучшению положения дел в сельском хозяйстве, а «положение» неизменно ухудшалось. Страх и равнодушие пришли в село. Колхозами командовали все, никто даже не вспоминал об их «кооперативной» природе.

Через десять лет после начала массовой коллективизации, в мае 1939 года, состоялся Пленум ЦК, обсудивший меры по ограждению от «разбазаривания колхозных земель». Молотов ведет Пленум, докладывает Андреев. Сталин без конца бросает реплики. Участники мучительно ищут, что бы еще такое запретить, ограничить, обязать, обложить... Из доклада Андреева явствует, что производительность труда колхозников продолжает постоянно снижаться. Заработков нет. Урожайность падает. Налицо кризис в сельском хозяйстве. Какие же меры предлагает Сталин при поддакивании людей из своего окружения? А вот какие: устанавливается обязательный минимум по выработке трудодней (иначе — применение жестких мер); «обрезание» приусадебных участков (чтобы лишить средств к существованию и заставить активнее работать в колхозе); поиск того, что еще можно обобществить или обложить налогами (добрались до личных садов); усилить концентрацию сельского населения (ликвидация хуторов); запретить колхозникам косить сено для личного скота...

Когда все эти «новые меры» по дальнейшему разваливанию сельского хозяйства выработаны, Сталин засомневался:

— Если эту штуку (постановление.— **Д. В.**) опубликовать, то не возникнет ли какое-либо замешательство в колхозном деле?

Дружные голоса с мест: нет, наоборот, подтянутся... Народ уже давно ждет.

В бездумном раболепии, которого ждет вождь, уже выработана привычка говорить за народ, полностью отчужденный от решения собственной судьбы. А начало этому было положено в конце двадцатых годов, когда первой жертвой сталинского цезаризма стало крестьянство.

Так умер нэп, так оборвалась умеренная линия в руководстве Политбюро. Так было положено начало фактическому отмиранию на долгие годы коллективного руководства, так возобладало откровенное стремление Сталина решать все вопросы единолично. Огромная притягательная сила социализма, родившаяся в мире после Великой Октябрьской социалистической революции, стала ослабевать.

Недруги социализма и по сей день, желая нанести удар побольнее, обращаются в первую очередь к нашим крестьянским делам. Ничего не скажешь: Сталин дал обильную пищу и богатые аргументы для дискредитации когда-то столь привлекательных идей. Вот, например, как заявляет об этом в книге «Урожай горя» Р. Конквист: «В период с 1929 по 1932 год Сталин нанес двойной удар по крестьянству ликвидацией кулака и насильственной коллективизацией».

В разгар Великой французской революции, когда большинство ее вождей не чувствовали приближающейся беды, Сен-Жюст, ощущая подземные токи приближающегося кризиса, бросил: «Революция закоченела». Сталин, решившись на беспрецедентное использование насилия против собственного народа, подрезал жилы огромной социальной группе населения страны, так много получившей от революции, но не сумевшей из-за цезаризма воспользоваться ее плодами.

С конца 1928 года в биографии Сталина начинается новый этап, характеризующийся не только устранением всех непосредственных соперников в руководстве, но и началом всего того, что мы привыкли называть «культом личности». Падение Бухарина было заметной вехой в этом процессе.

Драма Бухарина

Пытаясь нарисовать политический портрет Сталина, понимаю, что без освещения людей из его окружения, соратников, противников, беспрекословных соглашателей и поддакивателей это сделать невозможно. Чтобы показать еще одну грань Сталина, остановимся на драме Бухарина в двадцатые годы — трагедия будет позже.

Долгое время между Сталиным и Бухариным были тесные дружеские отношения. С 1927 года Бухарин по настоянию Сталина жил в Кремле, а после смерти Н. С. Аллилуевой они поменялись квартирами. Сталин объяснил это желанием освободиться от постоянных воспоминаний о роковом дне самоубийства жены. Николай Иванович Бухарин, будучи утонченной натурой, свято охранял чувства дружбы, порядочности, искренности в отношениях со Сталиным. С ним они были всегда на «ты». Сталин обращался к Бухарину просто: Николай, а последний обычно звал генсека Кобой. С 1924 по 1928 год Сталин всегда внимательно прислушивался к Бухарину, неоднократно подчеркивал, что «его теоретический ум высоко ценил Ленин», что партия дорожит этим самородком. Для Николая Ивановича личная дружба была духовно высоким, святым чувством, от нее он не мог отмахнуться просто так, как это довольно неожиданно публично сделал Сталин в апреле 1929 года на Пленуме ЦК и ЦКП ВКП(б).

Сталин начал речь как раз со своих отношений с Бухариным:

— Товарищи! Я не буду касаться личного момента (а ведь уже коснулся! — **Д. В.**), хотя личный момент в речах некоторых товарищей из группы Бухарина играл довольно внушительную роль. Не буду касаться, так как личный момент есть мелочь, а на мелочах не стоит останавливаться. Бухарин говорил о личной переписке со мной. Он прочитал несколько писем, из которых видно, что мы, вчера еще личные друзья, теперь расходимся с ним в политике. Я думаю, что все эти сетования и вопли не стоят ломаного гроша. У нас не семейный кружок, не артель личных друзей, а политическая партия рабочего класса.

Воспользовавшись далее словами К. Маркса по отношению к Дантону, Сталин пытался убедить Политбюро, ЦК в том, что Бухарин, хотя и находился на вершине Горы, был в значительной мере вождем Болота.

Все вроде правильно: интересы дела выше личных отношений. Но сколько все же отталкивающего, просто мерзкого в словах Сталина: напоминания о дружбе не стоят и «ломаного гроша», у нас «не артель личных друзей». Наивный идеалист Бухарин получил от Сталина еще один урок макиавеллизма. Оказывается, его дружба, советы, мнения, отношения для Сталина просто «мелочь».

А ведь так было не всегда. Вот что рассказывал мне Алексей Павлович Балашов, член бюро секретариата Сталина, которому поручалось проводить голосование членов Политбюро опросом. Когда Сталину приносили результаты опроса, он часто, не поднимая головы от бумаг, бросал:

— Как Бухарин, «за»?

Мнение Николая Ивановича, считает один из старейших работников нашей партии, было для Сталина очень важно при определении своего собственного отношения к конкретному вопросу.

Так каким же был Бухарин? Почему из всех соратников Ленина, оставшихся после его смерти на партийных постах, именно о Бухарине у людей сохранились наиболее теплые воспоминания с привкусом непоправимой горечи? Почему Ленин называл его «любимцем партии», а Сталин в конце концов уничтожил этого выдающегося деятеля, столетие со дня рождения которого мы отметили в этом году?

Итак, Н. И. Бухарин родился в Москве в 1888 году в семье школьного учителя, дослужившегося до чиновника седьмого класса (звание надворного советника). Судьба Бухарина подтверждает еще раз, что большинство вождей Октябрьской революции не имели пролетарского происхождения. И этому есть объективное объяснение: трудно быть лидером вне огромного объема усвоенной духовной культуры. Усвоить ее, развить, разработать методологию использования в социальной практике могли в то время преимущественно выходцы из более или менее обеспеченных слоев. В 1906 году Бухарин стал членом партии. О ранних годах будущего теоретика есть любопытные заметки его молодого друга тех лет Ильи Эренбурга. Будучи студентом экономического отделения юридического факультета, Бухарин принимал самое активное участие в пропагандистской деятельности среди рабочих и студентов. Рассказывают, что его небольшую подвижную сухощавую фигуру с редкой бородкой и рыжими волосами над высоким лбом часто можно было видеть в те годы не только на студенческих митингах в Московском университете, но и на предприятиях Замоскворецкого района. После ареста в 1910 году ему удается бежать из Онеги, маленького городка Архангельской губернии, и он вскоре оказывается за рубежом. В Россию Бухарин вернется лишь после революции.

Шесть лет эмиграции были для него чрезвычайно плодотворными. Там он познакомился с Лениным, всегда относившимся к Бухарину не просто с теплыми чувствами, но и большой любовью, что, правда, не мешало Ильичу вести с ним жесткие дискуссии. Начинающий теоретик не вылезал из библиотек, быстро овладел немецким, французским и английским языками. За границей Николай Иванович подготовил рукописи двух крупных теоретических работ: «Политическая экономия рантье» и «Мировое хозяйство и империализм». Характеризуя государство, попавшее в руки тирана, Бухарин использует художественный образ, заимствованный у Джека Лондона. Тогда он пророчески написал, что такой диктатор будет ходить своей «железной пятой» по лицам людей. Это было абстрактное, но пророческое предупреждение против единовластия, милитаристской силы, для которых нет ничего святого.

В Нью-Йорке Бухарин познакомился с Троцким. Здесь и застала его весть о Февральской революции. Путь в Россию был долгим; в Японии Бухарин был арестован, затем за пропаганду среди солдат попал под стражу уже на родине, во Владивостоке, и смог добраться до Москвы лишь в мае 1917 года. Вскоре Бухарин стал редактором «Правды» и находился на этом посту с одним небольшим перерывом почти двенадцать лет. Как редактор главной партийной газеты Бухарин принимал активное участие в выработке партийной политики и ее пропаганде. Он был человеком, который не умел ни хитрить, ни притворяться, ни «разводить дипломатию». Так, в драматические недели борьбы за заключение мирного договора с Германией Бухарин, мы помним, стал фактически лидером оппозиции: в течение двух месяцев он возглавлял различные группы «левых», выступавших против Брестского мира и проповедовавших революционную войну. Левокоммунистические пристрастия Бухарина не были случайными—в годы гражданской войны он был олицетворением самой радикальной «левой», именно Бухарин был одним из идеологов и так называемой политики «военного коммунизма».

В работе «Экономика переходного периода» Бухарин как раз и занялся апологетикой этой теории и практики. Элементы насилия, декретирования в экономике Бухарин называл «издержками революции». Они, эти «издержки», по существу, являются «революционным законом». Когда баррикады строятся в гражданской войне из трамвайных и железнодорожных вагонов, экономика страдает больше всего. Пролетарская революция, по Бухарину, вначале разрушает экономику, но затем создает ее быстрыми темпами. Хотел того потом или не хотел Бухарин, но во время революции, гражданской войны он, повторяем, был одним из певцов «военного коммунизма».

Наибольшее выражение эти его взгляды получили в широко известной работе «Азбука коммунизма», готовить которую ему помогал Е. Преображенский,

тоже способный молодой теоретик. В «Азбуке», как в энциклопедии, были изложены основные положения о революции, классовой борьбе, диктатуре пролетариата, роли рабочего класса, программе коммунистов и т. д. Успех «Азбуки» был большим, она переиздавалась около двадцати раз, распространялась за рубежом. Благодаря этой популярной книжке его имя в партии и стране стало известно не менее, чем имена Троцкого, Зиновьева, Каменева.

На Западе по этой книге о Бухарине долго судили как о «жреце ортодоксального марксизма». И на то были основания. Вот, например, что писал Бухарин в своем сборнике теоретических статей «Атака». Грандиозный мировой переворот, который грядет, включает в себя и «оборонительные и наступательные войны со стороны победоносного пролетариата: оборонительные — чтобы отбиться от наступающих империалистов, наступательные — чтобы добить отступающую буржуазию». Мировая революция будет захватывать одну страну за другой. Этому не помешают «все эти лиги наций и прочая дребедень, которую напевают с их голоса социал-предательские банды». В революции, гражданской войне Бухарин представлял собой тип революционного радикала, готового пойти на самые крайние меры. Стоит ли его за это осуждать? Видимо, нет — время было такое. Тогда любые надгосударственные, общечеловеческие идеи представали просто буржуазными. Многое из того, что мы говорим сегодня, в то время повергло бы просто в ужас не только ортодоксального марксиста, каким казался тогда всем Бухарин.

Тем удивительнее был тот быстрый поворот, который произошел в умонастроениях Бухарина несколько лет спустя. Можно безошибочно сказать, что эволюция во взглядах у него произошла под влиянием Ленина, его последних работ. Во время болезни Ленина Бухарин часто навещал вождя и нередко подолгу наедине с ним обсуждал злободневные вопросы теории и практики социалистического строительства. Обо всем этом, правда, можно только догадываться и строить предположения, однако, как бы там ни было, с 1922—1923 годов Бухарин начинает олицетворять умеренное крыло в большевистском руководстве.

В нашей истории, к сожалению, часто на высоких партийных и государственных постах находились люди (Сталин — ярчайший пример тому), слабо, примитивно, вульгарно знавшие экономику, ее законы и «тайны». Часто умение диктовать директивы, провозглашать лозунги типа «Экономика должна быть экономной», строить сегодня бесконечные планы на завтра, а завтра на послезавтра, не отдавая себе реального отчета в задуманном и содеянном, считалось достаточным, чтобы распоряжаться судьбами многих миллионов людей. Уроки сталинской биографии, деятельности людей из его окружения властно напоминают: для политического руководителя мало одной идейной убежденности в истинности той или иной «платформы» и искреннего желания материализовать ее на практике.

Нужна не просто компетентность, а нечто более высокое: если не гениальность, то обязательно талант. И сегодня при ознакомлении с многочисленными работами Н. И. Бухарина, на которые для советских людей было наложено «табу» на целых пятьдесят лет, мы видим, что он был типом руководителя ленинской формации: убежденным, знающим и талантливым человеком.

Если Троцкий увидел в нэпе первый признак «вырождения большевизма», то Бухарин, наоборот, разглядел в нем великолепный исторический шанс соединить новые возможности, которые дает социализм экономике, обществу, с предпринимательским элементом старых, отвергнутых структур. То, что один из вождей революции считал «троянским конем термидора», другой определил как «дополнительный рычаг в процессе общественного переустройства». На IV конгрессе Коминтерна Бухарин заявил: «Нэп — это не только стратегическое отступление, но и разрешение крупной общественно-организационной проблемы, а именно: проблемы соотношения между отраслями производства, которые мы должны рационализировать, и теми, которые мы рационализировать не в состоянии. Будем говорить откровенно: мы попытались взять на себя организацию всего — даже организацию крестьян и миллионов мелких производителей... С точки зрения экономической рациональности это было безумием».

Однажды, где-то в начале 1925 года, между Сталиным и Бухариным состоялся долгий «экономический разговор». Суть его свелась к высказыванию генсеком сомнений по поводу нэпа и «защите» Бухариным сути этой концепции. Бухарин в своих записках упоминает об этом разговоре так: Сталин все время «нажимал» на то, что долгая ставка на нэп «задушит социалистические элементы и возродит капитализм». Генсек не понимал сути действия экономических законов и более полагался на «пролетарский напор», «директивы партии», «выработанную линию», «ограничение потенциальных эксплуататоров» и т. д. Разговор, повторяем, был долгим, но уже тогда Бухарин почувствовал, что Сталин не понимает и не доверяет нэпу, видит в нем, как и Троцкий, угрозу завоеваниям революции. Бухарин, обескураженный этим диалогом, решил изложить свое понимание нэпа в печати. Вскоре в «Большевике» появилась его глубокая, не потерявшая своей актуальности до наших дней статья «О новой экономической политике и наших задачах», в которой он использовал и выводы своего доклада на собрании актива Московской парторганизации 17 апреля 1925 года. Приведем два фрагмента из статьи:

«Смысл новой экономической политики, которую Ленин еще в брошюре о продналоге назвал правильной экономической политикой, в том, что целый ряд хозяйственных факторов, которые раньше не могли оплодотворять друг друга, потому что они были заперты на ключ «военного коммунизма», оказались теперь в состоянии оплодотворять друг друга и тем самым способствовать хозяйственному росту...

Нэп это: меньше зажима, больше свободы оборота, потому что эта свобода нам менее опасна. Меньше административного воздействия, больше экономической борьбы, большее развитие хозяйственного оборота. Бороться с частным торговцем не тем, что топать на него и закрывать его лавку, а стараться производить самому и продавать дешевле, лучше и доброкачественнее его».

Эти строки Сталин не выделил в статье, хотя она и испещрена его пометками. Генсеку было очень трудно понять: как можно давать свободу частному сектору? Разве это не подрывает диктатуру? Сталин слушал, читал Бухарина, мало пока возражал, но где-то в глубине души все сильнее давало знать раздражение «экономическим капитулянтством» теоретика.

Бухарин не переставал повторять до конца своих дней, что его взгляды основываются на ленинских работах, и прежде всего последних, предсмертных пяти статьях знаменитого «Завещания». Бухарин раньше других своих сотоварищей уловил новые ноты у Ленина в его статье 1921 года «О продовольственном налоге». Именно здесь были изложены первоначальные идеи нэпа, и Бухарин их горячо поддержал. После смерти Ленина Бухарин из кандидатов был переведен в члены Политбюро. Его авторитет определялся прежде всего репутацией нового теоретика марксизма, поразительной человеческой мягкостью, исключительной доступностью для людей — в этом он был полным антиподом Сталина.

Бухарин долго стоял в стороне от борьбы фракций, групп, оппозиций. Не случайно Зиновьев после одной из своих безуспешных попыток заручиться поддержкой Бухарина в борьбе со Сталиным презрительно назвал его «миротворцем». Теоретик партии пытался нащупать основные тенденции социально-экономического развития страны, пути ее глубокой реконструкции, и здесь ему пришлось решительно выступить против так называемого «закона Преображенского», навязываемого партийному руководству. Его суть такова: сверхиндустриализация в такой стране, как Россия, возможна только на основе максимального «выдавливания» средств у крестьянства. Правда, справедливости ради следует сказать, что сам Преображенский отвергал административное насилие в отношении крестьянства, но считал необходимым широко «поставить» неэквивалентный обмен в рыночных отношениях между промышленностью и сельским хозяйством.

Бухарин убежденно считал, что «город не должен грабить деревню», что только политическая смычка, помноженная на смычку экономическую, поможет ускорить развитие промышленности и сельского хозяйства. Другими словами,

теоретик новой экономической политики стоял за более гармоничные отношения между городом и деревней, допуская, правда, определенный перекос на начальном этапе в сторону выкачивания средств из крестьянства. В одной из своих статей он прямо говорил: «Товарищи стоят за перекачку средств сверх меры, за такой усиленный нажим на крестьянство, который экономически нерационален и политически недопустим. Наша позиция состоит вовсе не в том, что мы отказываемся от этой перекачки; но мы гораздо более трезво учитываем то, что подлежит учету, то, что хозяйственно и политически целесообразно». У Сталина эти выводы поначалу возражений не вызывали.

Даже такое положение, сформулированное Бухариным в 1925 году, не зародило подозрений у генсека: «Сеть наших кооперативных крестьянских организаций будет состоять из кооперативных ячеек не кулацкого, а «трудового» типа, ячеек, врастающих в систему наших общегосударственных органов и становящихся таким путем звеньями единой цепи социалистического хозяйства. Кулаку и кулацким организациям все равно некуда будет податься, ибо общие рамки развития в нашей стране заранее даны строем пролетарской диктатуры и уже в значительной степени выросшей мощью хозяйственных организаций этой диктатуры». Бухарин видел на пути кооперирования крестьянства, и это стоит особо подчеркнуть, возможные варианты ограничения влияния кулака, но ограничений не административных, а экономических. По сути, это было конкретизацией ленинских идей кооперирования крестьянства, но без насилия, реквизиций, давления и угроз.

Но уже в 1928-м и особенно в 1929 году и дальше слова «врастание в социализм», «кулацкие кооперативы» будут расцениваться Сталиным не просто как отступление от ленинизма, а как прямые «враждебно-диверсионные планы правого уклона». Все эти идеи будут однозначно расценены генсеком как оппортунистическая ересь «враждебных социализму элементов».

Бухарин пытался доказывать, что в Советской России не осталось крупных организованных враждебных политических сил, которые бы представляли серьезную опасность социалистическому государству. Насилие в отношении крестьянства будет иметь далеко идущие тяжелые последствия, пророчески предупреждал Бухарин. Но в своем подходе Бухарин, возможно, упускал две вещи: с одной стороны, медленные темпы развития, рассчитанные на десятилетия, ставили под угрозу само существование социализма в России, а с другой — без большого притока средств индустриализацию страны осуществить было невозможно. Оптимальное решение, видимо, лежало где-то посередине. Но что касается гуманной стороны доктрины Бухарина, она не может не вызывать уважения к ее автору за высокую этическую одухотворенность, правильное, ленинское понимание созидательной стороны диктатуры пролетариата.

В 1925—1927 годах Бухарин вместе со Сталиным представляли самых влиятельных партийных руководителей. Он помог Сталину показать политическую несостоятельность и опасность оппозиции Троцкого, Зиновьева и Каменева, хотя старался поддерживать с ними лояльные отношения. В результате вывода из состава Политбюро Троцкого, Зиновьева и Каменева вес Сталина и Бухарина в решении текущих и стратегических задач заметно возрос. Совсем еще недавно, когда оппозиционеры, лишенные теперь политического влияния, нападали на Бухарина, Сталин запальчиво отвечал им:

— Крови Бухарина требуете?! Не дадим вам его крови, так и знайте.

Обращает на себя внимание не только сам факт защиты Бухарина, а содержание «кровавой» метафоры. Тогда это многим казалось случайностью...

В Политбюро два ведущих деятеля в известном смысле дополняли друг друга. Сталин решал все организационные, политические вопросы, а Бухарин занимался изложением теоретических принципов деятельности. Без преувеличения можно сказать, что до начала 1928 года Сталин во многом руководствовался бухаринскими взглядами на решение экономических вопросов, как бы «полагался» на него. В этом факте мы еще раз отмечаем характерное заимствование Сталиным чужих взглядов, которые у него потом трансформировались в собственные.

После Троцкого Сталин «обогатил» свое мировоззрение уже за счет идей Бухарина, его понимания аграрных проблем. Но чем же объяснить, что Сталин вдруг начал отворачиваться от Бухарина? Почему генсек, разделявший дотоле его взгляды, вдруг счел их «правым уклоном»? Почему их личная дружба быстро выросла в устойчивую неприязнь?

Думается, что причин здесь несколько. Прежде всего Сталина озадачивала растущая в народе и партии популярность Бухарина — теоретика, политического деятеля, обаятельного руководителя. Авторитет Бухарина в партии в тот момент мало чем уступал авторитету Сталина. Генсека насторожила и одна из статей Бухарина, посвященная Ленину, в которой тот писал: «Потому что у нас нет Ленина, нет и единого авторитета. У нас сейчас может быть только коллективный авторитет. У нас нет человека, который бы сказал: я безгрешен и могу абсолютно на все сто процентов истолковать ленинское учение. Каждый пытается, но тот, кто выскажет претензию на все сто процентов, тот слишком большую роль придает своей собственной персоне». В этих словах Сталину послышался откровенный выпад в собственный адрес: ведь в упомянутых уже лекциях об основах ленинизма, которые генсек прочел в Свердловском университете, он выступил толкователем всего ленинского учения... Разве это не ясно? А потом: как это «нет единого авторитета»? А авторитет Генерального секретаря? Сталина настораживало, что у Бухарина появилось немало способных учеников: Астров, Слепков, Марецкий, Цейтлин, Зайцев, Гольденберг, Петровский и другие,— начавших заявлять о себе в печати, вузах, партийном аппарате. Например, Слепков и Астров стали редакторами влиятельнейшего журнала «Большевик», Марецкий и Цейтлин работали в «Правде», Гольденберг — в «Ленинградской правде», Зайцев — в ЦКК. Сталина беспокоило и усиление политического, теоретического влияния самого Бухарина на идеологические процессы в партии и стране.

Другая причина кроется в волюнтаристски-волевых чертах характера генсека. Коллективизация началась в целом успешно, лучше, чем ожидали, чем то, на что ориентировал Бухарин. Сводки, реляции, доклады с мест, информация аппарата постепенно убеждали Сталина, что при соответствующем «нажиме» наметки, связанные с коллективизацией, могут быть радикально пересмотрены. Сталин все чаще говорил в узком кругу:

— Без решительного перелома в деревне хлеба у нас не будет.

Ему охотно поддакивали Молотов и Каганович. У Сталина исподволь зрела идея сократить сроки переустройства сельского хозяйства. Когда же «нажим» вызвал глухое, но широкое сопротивление крестьянства, особенно кулака, неожиданно пришло «гениальное» решение — ускорить его «ликвидацию как класса».

Бухарин не был против ни индустриализации, ни коллективизации, он был не согласен прежде всего с методами решения этих исторических задач, ведь речь шла о человеческих судьбах. В конечном счете, рассуждал Бухарин, все преобразования должны служить человеку, социализму, а не наоборот! Но интеллектуальная совесть у тех членов Политбюро, от которых зависело принятие оптимального (а не обязательно радикального!) решения, не была столь утонченной, как у Бухарина. Еще один шанс совести был упущен.

Даже Троцкий, наблюдавший теперь со стороны борьбу в Политбюро, сказал своим помощникам: «Правые могут затравить Сталина»,— имея в виду, что в распоряжении сторонников Бухарина пост главы государства, руководство профсоюзами, теоретическое лидерство. Шанс был... Неустойчивый баланс длился недолго, хотя одно время казалось, что умеренная линия Бухарина одержит верх. Сталин уже тогда был непревзойденным мастером аппаратной обработки, славился умением довести свое решение до конца.

Рыков, ставший преемником Ленина на посту Предсовнаркома, и Томский (настоящая фамилия Ефремов), почти бессменный руководитель советских профсоюзов, не видели в Сталине бесспорного лидера, а Бухарина поддерживали не из личных соображений, а по своим убеждениям. Попытки Сталина повлиять на них успеха не имели. Пятаков как-то назвал Рыкова и Томского «убежденными нэ-

пистами». Думается, что это соответствует действительности. Но вся беда в том, что борьба против Сталина шла в стенах кабинетов, в самом узком кругу. Ни Бухарин, ни его сторонники не решились обратиться к общественному мнению, партии: опасность прослыть «фракционером» в то время была очень реальной. Бухарин, будучи глубоко убежденным в гибельности аграрного курса Сталина, не нашел, к сожалению, путей, чтобы получить широкую поддержку среди людей, не приемлющих насилия, диктаторства, «чрезвычайных мер». Он пробовал вернуться к спокойному диалогу со Сталиным, но тот принимал его только на условиях полной капитуляции. Опальный лидер мучительно размышлял: «Иногда я думаю, имею ли я право молчать? Не есть ли это недостаток мужества?» Презирая Сталина, он до конца своих дней так и будет надеяться, что у того проснутся благоразумие, порядочность, терпимость...

Этапом, резко ухудшившим их отношения, стала публикация Бухариным на страницах «Правды» 30 сентября 1928 года знаменитой статьи «Заметки экономиста». В ней упрямый Бухарин (Ленин когда-то называл Бухарина «воском», а тот доказал Сталину, что черепаха потому такая твердая, потому что она мягкая) вновь утверждал необходимость и возможность бескризисного развития и промышленности и сельского хозяйства. Любые другие подходы в решении проблемы Бухарин называл «авантюристическими». «У нас должен быть пущен в ход, сделан мобильным максимум хозяйственных факторов, работающих на социализм,— писал Бухарин.— Это предполагает сложнейшую комбинацию личной, групповой, массовой, общественной и государственной инициативы. Мы слишком все перецентрализовали».

Через неделю Политбюро осудило это выступление Бухарина, и Сталин перешел в решительное наступление. В долгих злых дискуссиях в Политбюро компромисса найти уже не могли. Многие заседания не протоколировались, а записывались лишь решения, которые свидетельствовали о том, что Сталин все больше одерживал верх. Бухарин остался в меньшинстве. По ряду пунктов пошел на уступки Рыков, заколебался Томский. Сталин начал требовать, чтобы Бухарин «прекратил свою линию торможения коллективизации». В острой перепалке Бухарин запальчиво назвал Сталина «мелким восточным деспотом».

Видя, что позиции умеренных слабеют, Бухарин решился на необдуманный шаг, придя неожиданно 11 июля к Каменеву на квартиру, фактически пытаясь установить нелегальные отношения с бывшей оппозицией, которую ранее он сам помог Сталину разгромить. Затем был у Каменева еще дважды. Встречи были наедине. О чем долго беседовали два бывших соратника Ленина, видимо, мы никогда точно не узнаем. Правда, в записях Каменева, как утверждал Троцкий, говорилось, что Бухарин был и взбешен и подавлен. Он без конца повторял, что «революция погублена», что «Сталин — интриган самого худшего пошиба» и что он уже не верит, что можно что-либо изменить. Характерно, что содержание этого разговора троцкисты распространили в подпольной листовке, датированной 20 января 1929 года. За подлинность этих данных, естественно, ручаться нельзя.

Сталину, конечно, сообщили об этих контактах Бухарина, и на апрельском (1929 года) Пленуме они будут одними из самых страшных аргументов против Бухарина. Контакты с Каменевым совершенно ничего не дали умеренным, однако сталинский ярлык «фракционера» Бухарин «заработал». Тогда он еще раз решил обратиться к общественному мнению. В пятую годовщину смерти В. И. Ленина в «Правде» 24 января 1929 года появилась статья теряющего под ногами почву Бухарина «Политическое завещание Ленина», представляющая изложение его доклада на траурном заседании.

В статье говорилось о ленинской концепции построения социализма, о важности нэповской политики, о демократизме решений. Бухарин писал, что в ленинских статьях «развивается курс на индустриализацию страны на основе сбережений, на основе повышения качества работы при кооперировании крестьянства, т. е. наиболее легкого, простого и без всякого насилия (разрядка моя.— **Д. В.**) способа вовлечь крестьянство в социалистическое строительство». Пожалуй, в этой формуле— кредо Бухарина, но самое главное, заголовок статьи напоминал коммунистам (кто знал и кто помнил), что «Завещание» предполагало и перемещение Сталина с поста генсека на другой пост. Бухарин далее с горечью произносит глубоко пророческие слова: «Совесть не отменяется, как некоторые думают, в политике».

Бухарин искал свой шанс совести до конца; это требовало немалого мужества, готовности пожертвовать собой, своим будущим... Совесть — тончайший интеллектуальный и эмоциональный камертон, измеряющий величину нравственности и гражданственности человека. Можно быть молодым или старым, рядовым или руководящим работником, но все равны в одном — для проявления подлинной совести нет последнего Эвереста, нет какой-то границы или ранжира...

Сталин, как всегда, занялся «инвентаризацией» ошибок и промахов своего врага, на этот раз Бухарина, у которого их тоже нашлось немало. Генсек посчитал, что бухаринский лозунг «Обогащайтесь!» выражает суть кулацкого мировоззрения, а его установка на «припаивание» кулачества к социализму просто враждебна. Сталин, порывшись в своей памяти и покопавшись в бумагах, припомнил еще одно прегрешение Бухарина. Николай Иванович на одном из Пленумов ЦК, а точнее 25—27 октября 1924 года, когда обсуждались вопросы работы в деревне, неожиданно для всех выступил с предложением «колонизировать» деревню. Но под «колонизацией» Бухарин предполагал посылку 30 тысяч работников из города в село. И хотя партия прибегнет к этому совету позже, Сталин бросит не один увесистый камень в Бухарина за эту идею. Всем, как и Сталину, было ясно, что «колонизация» — в данном случае просто неудачный термин, выражающий оказание помощи города селу. Однако Сталин умел и пустяк превращать в «политическое дело».

Апрельский и ноябрьский Пленумы ЦК и ЦКК, рассмотревшие в 1929 году вопрос о правом уклоне в ВКП(б), завершили начатый генсеком разгром группы Бухарина. В трехчасовой злой речи на апрельском Пленуме Сталин обрушился на Бухарина за отказ от предложенного ему Политбюро 7 февраля компромисса. А это означает, констатировал Сталин, что в партии теперь «есть линия ЦК, а другая — линия группы Бухарина». Хотя до января 1928 года атмосфера работы Сталина с Бухариным, как мы помним, была в основном дружеской, генсек излагает целых «четыре этапа разногласий» с ним. Сталин сыпал словами: «чепуха», «ерунда», «книжонки Бухарина», «немарксистский подход», «знахарство», «липовый марксист», «разглагольствования», «полуанархическая лужа Бухарина».

Главный удар в своей речи (не докладе!) Сталин нанес Бухарину как теоретику. Поскольку после Ленина Бухарин справедливо считался ведущим теоретиком в партии, Сталин решил его развенчать и заявил: «Теоретик он не вполне марксистский, теоретик, которому надо еще доучиваться для того, чтобы стать марксистским теоретиком». Здесь, конечно, Сталин не преминул привести ленинскую оценку Бухарина, сделав особый акцент на ее второй части: «В нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)». Таким образом, это, по словам Сталина, «теоретик без диалектики. Теоретик-схоластик». И дальше он долго перечислял все разногласия, которые были у Бухарина с Лениным, расценив их как попытки учить вождя революции. Да это ведь и неудивительно, если еще недавно «теоретик-схоластик» состоял в «учениках у Троцкого, который вчера еще искал блока с троцкистами против ленинцев и бегал к ним с заднего крыльца!» В таком же духе выдержано все выступление Сталина, где уничтожающей критике были подвергнуты и Рыков с Томским. К слову сказать, эта речь была опубликована лишь много лет спустя в собрании сочинений Сталина.

Бухарин и Рыков были смещены со своих постов, но пока остались в Политбюро. Поскольку резолюция Пленума была разослана во все местные партийные организации, началась проработка «правых» по всей стране. «Правда», другие органы печати систематически публиковали материалы, предававшие анафеме лидера «правых», а это служило одновременно и фактическим сигналом к форсированию коллективизации. О добровольности этого процесса уже не говорили, но Бухарин по-прежнему продолжал считать, что двадцатипроцентный при-

рост промышленной продукции — предел, после которого сельское хозяйство не выдержит.

В ноябре на Пленуме ЦК была утверждена «генеральная линия» ЦК на всеобщую коллективизацию. Бухарин все равно не хотел каяться, как от него требовали, и тогда 17 ноября 1929 года его вывели из состава Политбюро. Путь Бухарина от радикального левака до умеренного руководителя закончился. Правда, спустя неделю, мучаясь угрызениями совести и стыдясь своего малодушия, Бухарин, Рыков и Томский написали краткую записку в ЦК, где осуждали свою позицию:

«Мы считаем своим долгом заявить, что в этом споре оказались правы партия и ее ЦК. Наши взгляды оказались ошибочными. Признавая эти свои ошибки, мы, со своей стороны, поведем решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против правого уклона». Сталину не понравилось, что в заявлении не было прямо указано о его, генсека, правоте. Ну, да ладно. С Бухариным покончено.

Думаю, тогда еще очень немногие могли предвидеть не только приближающуюся трагедию Бухарина, но и поражение в целом умеренного крыла в руководстве партией. Приходится признать, что иногда недругам Сталина со стороны удавалось довольно пророчески писать о нашей действительности. 25 апреля 1931 года в восьмом номере меньшевистского «Социалистического вестника», основанного за рубежом Л. Мартовым, была опубликована статья, в которой анализировалось десятилетие нэпа. Сталин, подчеркивал антисоветский журнал, делает все для того, чтобы «оборвать мечты о возвращении нэпа, оборвать надежды на эволюцию»; генсек «уже не раз пытался скрутить в бараний рог правых коммунистов,— но по разным внутренним причинам расправа до сих пор не доведена до предела и насильственный конец Рыкова, Бухарина, Томского отсрочен. Процесс их окончательного вытеснения не только из аппарата, но и из партии еще не закончен. Сторонники нэпа, чувствительные к требованиям крестьянства (хотя и бессильные психологически порвать с диктатурой), уже сняты с постов, но еще не объявлены врагами народа. Но диктатор добирается и скоро доберется до них».

Отмечая злорадный тон публикации социал-демократов, изгнанных из Советской России, нельзя отказать им в данном случае в проницательности: когда публиковались эти строки, на дворе был лишь апрель 1931 года... А может быть, это пророчество Сталин расценил как «подсказку»? Подшивки этого тощего журнальчика всегда лежали в книжном шкафу сталинского кабинета.

Сталин расчищал себе место на пьедестале — еще один соратник Ленина оказался на обочине. Генсек почувствовал, что он может, вправе, в состоянии единолично принимать самые крупные решения. А разве, думал он, это противоречит принципам диктатуры пролетариата, роли вождя в революции?!

О диктатуре и демократии

Томики сочинений В. И. Ленина в библиотеке Сталина густо испещрены рукой владельца. Но вот одна деталь: изучая, знакомясь, а может быть, просто выискивая нужную цитату или мысль у Ленина, генсек, судя по пометкам, мало интересовался ленинскими идеями о демократии, зато там, где речь идет о диктатуре пролетариата, им сделано много пометок.

...Шло начало 1917 года. Находясь в то время вдали от России, Ленин с головой ушел в теоретическую работу. Записи в тетради, которые вошли в историю как знаменитая «синяя тетрадь», были озаглавлены «Марксизм о государстве». В тревожные дни июля, когда Временное правительство пыталось разгромить партию большевиков и физически уничтожить вождя революции, Ленин продолжил свою работу над книгой, уже в Разливе. На основе богатых авторских заметок, собранных в «тетрадке», положений, идей, высказанных основоположниками научного социализма, Ленин за несколько недель августа—сентября написал свой выдающийся труд «Государство и революция». Об этой книге написано множество работ, нас же сейчас интересуют ленинские идеи о государстве

переходного периода, которое будет существовать в форме диктатуры пролетариата. Ленин вопрошает:

«Каково же отношение этой диктатуры к демократии?» — и отвечает словами «Коммунистического Манифеста»: «превращение пролетариата в господствующий класс и завоевание демократии». Да, подчеркнем это особо: Ленин видел в диктатуре инструмент для подавления эксплуататоров, угнетателей. Без этого нечего было и браться за социальное переустройство общества, бороться за материализацию идеалов социализма. Но диктатура — явление исторически преходящее. Приведем еще одну выдержку из ленинской работы. Диктатура пролетариата, писал Ленин, непосредственно связана «с полным развитием демократии, т. е. действительно равноправного и действительно всеобщего участия всей массы населения во всех государственных делах».

Сталин никогда не понимал, не хотел понимать сути пролетарской демократии, самого существа народовластия. Знакомство с его архивом свидетельствует: демократия для него была не более чем свободой поддерживать — только поддерживать! — решения партии, вождя. Ну, а поскольку, как полагал Сталин, партию олицетворяет он, вождь, генеральный секретарь, то подлинный демократизм заключается в согласии, одобрении его выводов, решений, намерений. Не сразу заметили, что, разделываясь с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным, Пятаковым, Рыковым и другими, мыслящими иначе чем он, Сталин подчеркивал при этом их разногласия не с ним, а с ... ленинизмом. Это был один из самых коварных, антидемократических приемов Сталина, вот почему никто и не мог тогда оказаться правым в полемике, схватках со Сталиным — для этого, по сути, надо было развенчивать Ленина.

Да, конечно, есть вопросы, по которым Сталин выступал с ленинских позиций (например, о возможности построения социализма в СССР). Но ведь в конце концов Сталин так все представил, что его ошибки в национальном вопросе, отрицательное отношение к «позднему» нэпу, ложная концепция классовой борьбы и дифференцированное понимание сути коллективизации, роль аппарата в политической структуре государства были не чем иным, как истинной интерпретацией подлинного ленинизма! Однажды, схватившись с Бухариным накануне его вывода из состава Политбюро, Сталин гневно бросил:

— Вся ваша компания — не марксисты, а знахари. Никто из вас не понял Ленина!

— Что же, один ты понял?!

— Я повторяю, вы не поняли Ленина! Разве ты забыл, сколько раз тебя бил Ленин за левачество, оппортунизм и путаницу?

В узурпации монополии на толкование ленинских положений находится, повторяем, один из истоков многих трагедий будущих лет. Никто серьезно не смог тогда показать глубокую несостоятельность догматических претензий Сталина на единственного толкователя ленинского наследия.

В диктатуре пролетариата, родившейся в Октябрьские дни 1917 года, насилие занимало ведущее место. Шла борьба за то, чтобы победить, устоять, выжить. Но как-то так сложилось, что не только в буржуазной литературе, но порой и в марксистской, особенно в двадцатые и тридцатые годы, рассматривалась лишь эта грань диктатуры. В то же время Ленин предполагал в диктатуре пролетариата функцию созидательную, демократическую, которая с самого начала имеет тенденцию стать главной и единственной.

Сталин всегда был склонен считать аксиомы, сформулированные основоположниками научного социализма, как бы вечными, застывшими, непреходящими. Нет, на словах он часто соглашался с изменениями в ткани бытия и, естественно, в общественном сознании. Но что касается диктатуры пролетариата как формы власти трудящихся, для него навсегда главным остался насильственный элемент.

Подводя итоги первой пятилетки, Сталин включил в доклад специальный раздел об итогах и задачах борьбы «с остатками враждебных классов». Хотя это и «остатки», Сталин тем не менее призвал вести с ними «непримиримую борь-

бу». И ни слова о перевоспитании, включении многих «бывших», членов их семей, специалистов в новую жизнь, которая быстрее и эффективнее способна менять их умонастроения и «классовые инстинкты». Сталин, рисуя социальную картину общества, говорил: «Остатки умирающих классов: частные промышленники и их челядь, частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы... расползлись по нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и торговым организациям, по предприятиям железнодорожного и водного транспорта и главным образом — по колхозам и совхозам. Расползлись и укрылись они там, накинув маску «рабочих» и «крестьян», причем кое-кто из них пролез даже в партию.

С чем они пришли туда? — продолжал Сталин.— Конечно, с чувством ненависти к Советской власти, с чувством лютой вражды к новым формам хозяйства, быта, культуры... Единственное, что остается им делать,— это пакостить и вредить рабочим, колхозникам, Советской власти, партии. И они пакостят как только могут, действуя тихой сапой. Поджигают склады и ломают машины. Организуют саботаж. Организуют вредительства в колхозах, совхозах, причем некоторые из них, в числе которых имеются и кое-какие профессора, в своем вредительском порыве доходят до того, что прививают скотине в колхозах и совхозах чуму, сибирскую язву, способствуют распространению менингита среди лошадей и т. д.».

После такой мрачной картины, рисующей ситуацию в стране на конец 1933 года, честных людей брала просто оторопь. Кругом враги, вредители, «остатки эксплуататорских классов», которые почему-то так же опасны, как и в первые годы Советской власти. Конечно, людей, не принявших Советскую власть, было немало, и это естественно, но они совсем не представляли той грозной опасности, которую изобразил Сталин. А нарисовал он эту жуткую картину лишь для того, чтобы резюмировать: «Сильная и мощная диктатура пролетариата — вот что нам нужно теперь для того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить их воровские махинации».

Таких выступлений Сталина в конце двадцатых — начале тридцатых годов было много. Настоящее безумие 1937—1938 годов не возникло бы, если бы сознание людей, вся система, ее институты исподволь к этому не готовились, если бы людей не приучали к мысли, что среди них везде — на производстве, в вузе, воинской части, творческом коллективе — есть, «притаились» люди, ждущие своего часа... Призыв, лозунг, директива могли бросить многих граждан на то, чтобы, как говорил Сталин, «добить последние остатки капитализма». Отсюда один шаг до террора, или по крайней мере готовность к нему. Становится понятным, почему Сталин, делая пометки на тексте речи В. И. Ленина на заседании Петроградского Совета 17 ноября 1917 года, оставил без внимания такие строки вождя: «Террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять». Сам он считал иначе. «Репрессии в области социалистического строительства,— заявил Сталин на XVI съезде партии,— являются необходимым элементом наступления».

Забвение демократической грани диктатуры пролетариата грозило рано или поздно «отлучить» массы от социального творчества, превратить людей в простых исполнителей, «винтики» гигантской государственной машины. Может быть, некому было напомнить генсеку, «лучшему ленинцу», что социализм «невозможен,— говорил Ленин,— без демократии в двух смыслах: (1) нельзя пролетариату совершить социалистическую революцию, если он не подготовляется к ней борьбой за демократию; (2) нельзя победившему социализму удержать своей победы». В. И. Ленин на другой день после Октября произнес слова, которые были актуальны в семнадцатом, очень нужны были нам при переходе от двадцатых годов к следующему десятилетию, да и сейчас не стоит их забывать: «Мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам».

Сталин не сомневался — ведь об этом писали классики! — диктатура имеет приоритетное значение перед демократией. А если и посещало его в редкие минуты смятение мыслей, окружающие вряд ли могли заметить это: лицо, не выражающее эмоций, словно было создано для множества мраморных копий, которые скоро появятся в сотнях, тысячах городов, дворцах, на площадях. До чего узко, начетнически трактует диктатуру и демократию компания Бухарина! Например, разве не ясно, что роль рабочего класса надо повышать, поднимать? Каждый крестьянин должен видеть в рабочем своего вождя! В октябре 1930 года Сталин предложил «закрепить твердо» рабочих за своими предприятиями, и тут до него дошли признаки глухого недовольства. А ведь он, практик, продиктовал: «Запретить на ближайшие два года выдвижение квалифицированных рабочих во всякие управлен[illegible]ие аппараты (кроме производственных и профсоюзных)». Но спустя полгода он почувствовал реакцию на это решение и контрреволюционного зарубежья. Некий С. Шварц, один из беглых меньшевиков, в «Социалистическом вестнике» опубликовал статью «Рабочий класс и диктатура». В ней он пишет, что благодаря Сталину появилась «тенденция к оттеснению рабочих от аппарата управления, те[illegible]нция превращения рабочих в трудовое сословие, на обязанности которого [illegible]т максимальное напряжение его трудовой энергии и безоговорочное подчинение социально обособляющейся от него диктатуре». Даже термины изобрели: «податное сословие диктатуры», «трудовое сословие». Могильщики революции! Если бы их не разгромили еще в те далекие дни, не быть бы ему, Сталину, тут, в Кремле, да и вообще все свелось бы к буржуазному выкидышу Февраля.

Он никак не мог понять: почему социал-демократическая печать, как и враждующий с ней Троцкий, столь яростно атакует его партийный аппарат, диктатуру? Разве не ясно, что это важнейший инструмент власти? Генсек вновь и вновь убеждал себя в своей исторической правоте: аппарат — орудие диктатуры, а без диктатуры бессмысленны даже разговоры о социализме, демократии.

Сталин много говорил о равенстве, общественных интересах как исходных посылках социалистической демократии. Беседуя в 1936 году с группой работников ЦК, отвечающих за подготовку учебников, Сталин подчеркнул:

— Наша демократия должна всегда на первое место ставить общие интересы. Личное перед общественным — это почти ничего. Пока есть лодыри, враги, хищения социалистической собственности,— значит, есть люди, чуждые социализму, значит, нужна борьба...

«Личное перед общественным — это почти ничего». Не замечая глубоких изъянов подобной сентенции, мы постепенно воспитали людей в понятии, что все мы хозяева общенародной собственности. А то, что принадлежит всем, как известно, не принадлежит никому — чувство хозяина-то исчезает. Постепенно восторжествовали уравнительные принципы, сформировался тип равнодушного работника, боящегося «переработать», человека, спокойно смотрящего на приписки, откровенное воровство: «Что, государство станет от этого беднее?»

Сталин не «выступал» против демократии только потому, что понимал ее так, как может понимать деспот. Ведь те тоже не прочь создавать послушные парламенты, иметь традиционную атрибутику с выборами, присягами, клятвами. В беседе с Г. Уэллсом Сталин в центр всех своих рассуждений поставил власть «как рычаг преобразований», рычаг новой законности, нового порядка. Но ни разу (!) он не поставил власть в плоскость народовластия! Генсек ничего так не любил на свете, как власть,— полную, неограниченную, освященную «любовью» миллионов. И здесь он преуспел: ни одному человеку в мире не удалось и никогда, видимо, больше не удастся совершить фантастическое — уничтожить миллионы собственных сограждан и получить взамен слепую любовь еще большего количества людей.

Со временем для Сталина жертвенность стала одним из неотъемлемых атрибутов социализма. Когда затевалась новая стройка в Сибири, на Севере, то в «плановом порядке» определялась потребность в покрытии «естественной убыли». С конца двадцатых годов недостатка в дешевой и бесправной (часто обреченной) рабочей силе не было. Все предложения по использованию огромных масс заключенных Сталиным поддерживались. Он или бросал помощнику: «Согласен», или коротко расписывался на документе.

Для реализации своей силы такая диктатура пролетариата невольно требовала создания машины принуждения, крупного карательного аппарата.

Дефицит народовластия стал быстро вести к появлению первых мощных ростков переоценки роли одной личности, наделению Сталина некоей мифической, мессианской ролью.

Интересно отношение самого Сталина к этому.

Приведем еще одну выдержку из беседы генсека с Э. Людвигом.

Людвиг: «За границей, с одной стороны, знают, что СССР — страна, в которой все должно решаться коллегиально, а с другой стороны, знают, что все решается единолично. Кто же решает?»

Сталин: «Единоличные решения всегда или почти всегда — однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться... Никогда, ни при каких условиях наши рабочие не потерпели бы теперь власти одного лица».

Людвиг спросил, как Сталин относится к методам иезуитов.

Сталин ответил, что «основной их метод — это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство,— что может быть в этом положительного?»

Людвиг: «Вы неоднократно подвергались риску и опасности, вас преследовали. Вы участвовали в боях. Ряд ваших близких друзей погибли. Вы остались в живых... Верите ли вы в судьбу?»

Сталин: «Нет, не верю... Предрассудок, ерунда, пережиток мифологии... На моем месте мог быть другой, ибо кто-то должен был здесь сидеть... В мистику я не верю».

Как видим, Сталин умел отвечать вроде бы «правильно». Но это совсем не значило, что эти слова были его убеждениями.

Один из глубинных источников многих человеческих бед, в том числе и культового характера, заключается в дуализме (раздвоенности) личности, как у мольеровского Тартюфа. Для Сталина это стало нормой: осуждать вождизм и укреплять его; критиковать иезуитство и поощрять его на практике; говорить о коллективном руководстве и сводить его к полному единоначалию.

Уже в начале тридцатых годов Сталин резко сократил свои и без того крайне редкие выезды на предприятия, в области, воинские части. С одной стороны, он плохо знал производство и ему не хотелось вникать в «земные» дела, связанные с технологией, производительностью труда, рентабельностью. С другой — у него постоянно существовало предчувствие, что на него готовится покушение. Он знал, что у него есть враги, верил, что Троцкий или кто-нибудь из «бывших» могут организовать покушение. Вот докладывает же опять Ульрих о такой попытке:

«Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. И. В. Сталину.

16 декабря с. г. после двухдневного разбирательства в закрытом заседании Военная коллегия Верховного Суда СССР вынесла приговор по делу группы шпионов и террористов, подготавливавших по заданию германского подданного теракт на Красной площади 7 ноября 1935 года. Приговорены к расстрелу Г. И. Шур, В. Г. Фрейман, С. М. Певзнер, В. О. Левинский...»

Да, охотятся за ним, но он вырвет самые корни этих недобитков, вырвет.

Мало кто знает, что Сталин любил размышлять, стоя у карты, оглядывая, как владыка, гигантскую схему страны. Не обладая богатым воображением, он, однако, представлял, как миллионы людей трудятся в этот момент над воплощением его, вождя, указаний. Иногда он водил пальцем по карте: Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Беломорско-Балтийский канал, Кузбасс, долго задерживался взглядом на колымских краях. Даже чтобы разглядеть их, эти «края», надо было сделать несколько шагов вправо...

Однажды после таких очередных раздумий перед картой он неожиданно позвонил Ворошилову и спросил: изучают ли в Красной Армии географию? Хорошо ли знают красноармейцы карту? Ведь обращение к схеме Родины, подытожил Сталин, воспитывает гордость за нее, преданность нашему делу, идее. Ворошилов не был готов к такому, скажем прямо, нестандартному вопросу и ответил что-то невпопад, обещая разобраться. Назавтра же по его указанию ПУР подготовил записку:

«Тов. Сталину.

На Ваш запрос об изучении географии красноармейцами сообщаю, что география изучается всеми красноармейцами в обязательном порядке по специальным программам. Помимо изучения географии в порядке общеобразовательной подготовки, она проходится также и на политзанятиях. Особое внимание при этом обращено на изучение карты.

В этом году дополнительно к тому, что имели части, ПУРом рассылается 220 тысяч географических карт, 10 тысяч географических атласов, 8 тысяч карт на национальных языках и 10 тысяч глобусов.

28 июня 1935 г.

К. Ворошилов».

Сталин мог с удовлетворением и долго разглядывать карту, находя на ней Сталинград, Сталинск, Сталинабад.

Именно ему мы обязаны утверждением крайне сомнительной вождистской практики присвоения имен партийных, государственных, творческих деятелей городам, районам, предприятиям, вузам, театрам... На карте Отечества появились города Зиновьевск, Ворошилов, Калинин, Куйбышев, Молотов, Горький. Стало обычным, когда газеты сообщали о досрочном выполнении плана ткацкой фабрикой им. Ворошилова (Калинин), первой и третьей бумажными фабриками им. Зиновьева (Ленинград), заводом им. Бухарина (Гусь-Хрустальный). Практически в стране уже к концу двадцатых годов не осталось областей, где бы имя Сталина не было присвоено какому-нибудь производственному, административному или культурному объекту. Славословия в адрес вождя становятся обычными в любом служебном докладе, где попутно превозносился уже и вождь «местного» масштаба.

Вот как выглядит вступительная речь Н. С. Хрущева, секретаря МГК ВКП(б) на пленуме горкома в июне 1932 года: «Правильное большевистское руководство Московского обкома и городского комитета партии, указания, которые мы получаем в повседневной своей работе от т. Кагановича, громадная активность рабочих обеспечат нам выполнение задач, которые стоят перед Московской партийной организацией». Эти молитвенные заклинания стали нормой жизни при Сталине, оказались столь живучи, что потом десятилетия существовали и после его смерти. Этим атрибутом вождизма, помимо всего прочего, оскорбляется весь народ, который, будучи творцом всего сущего на земле, ставится в положение «благодарителя», а не хозяина.

Наиболее активными в создании культа вождя были Молотов, Ворошилов и Каганович. Их голоса звучали громче всех. Но, как это ни странно, в этом же хоре звучали и голоса Зиновьева, Каменева, Бухарина, некоторых других опальных руководителей. Порой просто неудобно читать их речи и статьи, особенно Зиновьева, покаянно секущего себя за прошлые ошибки и прославляющего «прозорливость и мудрость вождя партии товарища Сталина». Даже Н. И. Бухарин не удержался от льстивых слов в адрес человека, которого еще в 1928 году называл «Чингисханом». Кто знает, может быть, они действительно разуверились в том, за что боролись, или просто инстинкт самосохранения давил на разум? Больше всех старался Карл Радек, которого Сталин однажды в узком кругу назвал «мелким троцкистом, к тому же без убеждений».

Радек в 1934 году выпустил брошюру о Сталине «Зодчий социалистического общества», написанную в форме лекции по мифическому курсу истории победы социализма, которая, мечтал автор, будет прочитана в 1967 году, в пятидесятую годовщину Октябрьской революции в школе междупланетарных сообщений. Уже этим (1967 год!) Радек выразил пожелание, чтобы Сталин, находившийся к тому моменту на посту генсека целых двенадцать лет, и через тридцать три года (!) оставался бы у руля партии и государства. Вся брошюра написана примерно в таком же стиле, как и отрывок, который мы приведем: «Политические вожди занимают свое место в партии и в истории не на основе вы-

боров, не на основе назначений, хотя в демократической партии, какой являлась ВКП(б), эти выборы и назначения необходимы для того, чтобы занять место вождя. Вождь пролетариата определяется в борьбе за боевую линию партии, за организацию ее грядущих боев. И Сталин, принадлежавший и при Ленине к первым в руководстве партии, стал ее признанным и любимым вождем».

Брошюра вышла по тем временам колоссальным тиражом — 225 тысяч экземпляров и неоднократно переиздавалась. Рассказывают, что когда Радеку, недавнему троцкисту, кто-то из «непримиримых» ядовито напомнил, давно ли он говорил о Сталине совсем другое и как же это теперь называть, Радек ответил: «Если бы такие, как я, оппозиционеры жили во времена Робеспьера, то каждый из нас был бы уже на голову короче». Да, здесь он просто предвосхитил то, что ждало его и многих других через три года: славословие Сталину не помогло ни ему, ни Зиновьеву, ни Каменеву, никому, кто, признав на словах свое идейное поражение, был готов исполнить любую волю «любимого вождя».

Потихоньку начали выходить сборники статей соратников Сталина о нем, незаметно стали пересматривать и недавнюю историю. В предисловии к Собранию сочинений Ленина В. Адоратский уже утверждал, что ленинские труды надо изучать вкупе со сталинскими, что концентрированное изложение ленинских идей осуществлено в «Основах ленинизма».

Еще задолго до апогея культа делались попытки увековечить и политическую биографию Сталина. В его фонде есть письмо Е. Ярославского генсеку. В нем, в частности, говорится:

«Серго мне сегодня, уезжая, звонил, что говорил с Вами по поводу задуманной мною книги «Сталин».

На письме резолюция карандашом:

«Т. Ярославскому. Я против. Я думаю, что не пришло еще время для биографии.

1.VIII.1931.

И. Сталин».

Весьма красноречиво: «Не пришло еще время». Триумф одной личности только начинался. Главное — постепенность, последовательность, неотвратимость... Важно сохранять на людях приверженность скромной манере держаться. Вот и сегодня он заметил, садясь не в первый, а во второй (!) ряд президиума совещания, как с новой силой вспыхнули аплодисменты, люди встали на цыпочки, чтобы рассмотреть его.

Рождается практика направления верноподданнических писем-рапортов своему вождю. 7 апреля 1931 года коммуна имени Сталина села Цасучей Оловяннинковского района Восточно-Сибирского края послала в Москву свой рапорт, который опубликовала «Правда» и где были такие строки: «Выдвигая встречный план по расширению посевных площадей, коммуна вместо преподанной цифры в 262,5 га засевает 320 га... Мы за генеральную линию партии под руководством большевистского ЦК и лучшего ленинца — тов. Сталина! Мы за полное осуществление пятилетки в 4 года и ликвидацию кулачества на основе сплошной коллективизации! По поручению коммунаров коммуны имени Сталина —

Климов, Токмаков».

Подобные письма вскоре будут приниматься на каждом собрании каждого предприятия, колхоза, совхоза, вуза, воинской части, учреждения. Началась деформация общественного сознания, которое отныне будет питаться не истиной, а все больше и больше культовыми мифами. Пропаганда все больше и больше делает акцент на веру: все, что сказал, выразил, сформулировал Сталин, непреложно, верно, не требует доказательств. Генсек в результате такой пропаганды выглядит человеком-полубогом, который никогда не ошибается, способен на высшее откровение, всевидение и всезнание.

В конце концов мифы, составляя духовную основу культа человека, сводятся к двум простеньким постулатам:

— Вождь партии и народа — в высшей степени мудрый человек. Сила его интеллекта способна ответить на все вопросы прошлого, разобраться в

настоящем, заглянуть в ближнее и дальнее грядущее. «Сталин — это Ленин сегодня».

— Вождь партии и народа — глубокое олицетворение абсолютного добра, заботы о каждом человеке, отрицающий зло, невежество, вероломство, жестокость. Улыбающийся усатый человек, держащий маленькую девочку с красным флажком в руках.

Система мифов, без которых невозможен культ личности, стала закрепляться ритуалами (обязательная ссылка на руководящие указания, принятие встречных планов, отправление благодарственных писем, насаждение внешней символики). Чем выше превозносили Сталина люди, творившие своего бога на земле, тем больше они объективно унижали себя. Прав был Лихтенберг: «Слава знаменитейших людей всегда отчасти объясняется близорукостью тех, кто ими восхищается».

Видел ли сам Сталин аморальность этого курса? Предпринимал ли генсек сознательные шаги по усилению цезаризма? На все вопросы следует ответить однозначно: да, видел, знал, делал. Даже отдельные жесты «скромности», которые иногда позволял себе Сталин, служили, как мы помним, той же цели. Он же не мог не понимать уродливости положения, когда над головами демонстрантов плывут тысячи одинаковых портретов с его изображением, когда в каждом номере «Правды» можно насчитать десятки упоминаний его «стальной» фамилии, а любое положительно решенное дело всегда связывают с его мудростью, заботой, предвидением.

Сталин знал, что, кроме культов вождей, богов, императоров, в истории были попытки создания и иных культов. Еще Робеспьер и другие депутаты Конвента пытались утвердить в сознании народа культ «верховного существа». В декрете Конвента говорилось, что «культом, достойным верховного существа, является исполнение человеком его гражданских обязанностей». Это, по сути, была новая государственная религия республики. Робеспьер, держа в руках цветы и колосья ржи, выступил на грандиозном празднестве в честь «культа верховного существа». Он надеялся, что с его помощью граждане республики станут рыцарями долга и чести. Робеспьер жестоко ошибся. Сталин, читая книгу о Робеспьере, не мог понять, как такой вождь не понял главного: ему нужно было укреплять собственную власть, создать собственный культ, а не рождать эфемерные призраки общечеловеческой нравственности.

Чтобы не было никаких осечек, по указанию Сталина Товстуха, Двинский, Каннер, Мехлис, а затем и Поскребышев были обязаны просматривать и визировать все более или менее крупные материалы о нем и его фотографии, предназначенные для печати, о наиболее же важных докладывать лично ему. Сам Сталин давно понял, что привлекательность образа вождя (как ныне говорят, «имидж» руководителя) больше всего зависит от внешнего спокойствия, невозмутимости, величавой медлительности. Разве в великой сумятице клокочущего мира это не является редким и даже уникальным?

Иногда люди пытаются определить, с какого момента начался культ личности Сталина. Кто первый «позвал» славословить генсека? Думаю, не в этом дело: если бы взахлеб не стал славить Сталина, положим, Ворошилов, это начал бы делать кто-нибудь другой — в тех условиях это было почти неизбежно. Почти полное отсутствие гласности в делах высших руководителей, придание особого веса «секретности», ликвидация всякого контроля трудящихся за деятельностью высших эшелонов власти — все это рождало условия для обожествления вождя.

«Тайны» культа не в личностях, а в том процессе, который стал быстро развиваться после смерти Ленина. Опыт социалистической государственности был очень незначительным: ослабление подлинной выборности на всех уровнях, отсутствие сменяемости и обновления руководства, создание «номенклатурных» работников, усиление роли аппарата, выдвижение в качестве универсального средства решения социальных вопросов насилия — все это и многое другое создали предпосылки серьезных деформаций в сфере общественного и индивидуального сознания.

Конечно, главные причины единовластия, продолжавшего расти, находились в недрах самого государства, его истории, традициях, особенностях создаваемой системы. Основная идейная «заслуга» Сталина здесь заключается в том, что он смог своим изощренным умом добиться, чтобы в конце концов его имя олицетворяло социализм. А дальше логика проста: славословие, защита, укрепление социализма есть одновременно и славословие, защита и укрепление позиций Сталина. И еще: после смерти Ленина, подлинного вождя, партия фактически не сомневалась, что вождь должен быть и после него. Цезаристские настроения в массах, огромное значение аппарата в деле узурпации власти стали понятными генсеку ранее, чем кому-либо другому.

В организационном отношении «заслуга» Сталина еще более очевидна: он смог превратить партию в инструмент, машину личной власти. Советы, заняв уже с конца двадцатых годов подчиненное, а затем вспомогательное, порой просто бутафорское положение, утратили реальную власть. Партия, которая должна была осуществлять политическое, идейное руководство обществом, полностью взяла на себя государственные функции.

Нельзя отрицать и международное влияние на процесс формирования деспотического единовластия в стране. Наличие реальной угрозы империалистического нападения давало в руки партии постоянный, фактически бессрочный аргумент в необходимости централизации, ограничения демократии, превращения страны в «осажденную крепость», полувоенный лагерь, который, естественно, требует политического полководца. Коминтерн, все более терявший свою независимость, освящал авторитетом коммунистических партий вождизм Сталина. Да и редкие буржуазные деятели, решавшие вести дело с СССР, предпочитали иметь дело напрямую со Сталиным, чем с его огосударствленной партией.

Таким образом, все или почти все (кроме с о в е с т и) «работало» тогда в большей или меньшей степени на Сталина. При этом нельзя отбрасывать и такие моменты, как его плебейское происхождение, жажда «мудрого» руководства, традиционное историческое сознание, «освященное» самодержавием и сохранившее свои «анклавы» у значительной части населения. Самое страшное заключалось в том, что подавляющее большинство народа и партии искренне верили, что сталинский курс на единовластие и есть настоящий социализм.

Как видим, в портрете Сталина, еще больше укрепившего свое положение в партии и государстве, начали ярче проступать многие черты, которые мы прямо связываем с будущими бедами. Ленинские слова про мелочи в характере Сталина, которые могут приобрести решающее значение, оказались пророческими.

«Съезд победителей»

Разгром «правых» в партии обещал как будто спокойную обстановку. Бывшие оппозиционеры искали поводы, чтобы подчеркнуть свою лояльность Сталину, свое «прозрение» и «полное согласие с генеральной линией партии». Каменев с Зиновьевым, например, несколько раз пытались установить прежние «добрые» отношения со Сталиным, еще раз приезжали к нему на дачу с «мировой». Многие люди падение с высокого поста расценивают как личную трагедию, не были исключением и эти «политические близнецы». Каменев в свои сорок с небольшим лет как-то сразу сдал, поседел и выглядел «моложавым стариком». В тех нечастых разговорах со Сталиным, которых ему удавалось добиваться по телефону или лично, Каменев неизменно находил повод для осторожных напоминаний об их совместном прозябании в ссылке, об общих разговорах с Лениным, касался и драматических событий при утверждении Сталина на пост генсека на XIII съезде и позже. Зиновьев, и особенно Каменев, не теряли надежды на возврат к старому политическому сотрудничеству и, естественно, на место в верхних эшелонах партийной иерархии.

Сталин прекрасно понимал, в чем дело. Его реакция была снисходительно-покровительственной, иногда он даже давал какую-то надежду опальным политикам. Но в душе генсек понимал, что люди, которым он в значительной мере обязан своим нынешним положением, ему не только не нужны, но могут оказаться и опасными.

Все свое внимание в начале тридцатых годов Сталин сосредоточил на «революции» в сельском хозяйстве, рывке в индустриализации, на консолидации сил своих сторонников. Быстрыми темпами росла промышленность, форсированно завершалась коллективизация. В 1932—1933 годах целый ряд районов страны опять охватил неурожай и, как следствие, голод. Голод этот, заметим, был вызван не только причинами природными, естественными, но и несбалансированностью хозяйства: население городов ежегодно увеличивалось почти на два с половиной миллиона человек — росло число «едоков».

Во многих районах, особенно на Украине, хлеб выбирался полностью. Сталин торопил, настаивал: заключенные контракты на зарубежное оборудование требовали оплаты. Цена индустриализации была горькой, трагической: здесь не только самоотверженность рабочего класса, но и неисчислимые жертвы крестьян, испокон веков на Руси делящих самую тяжкую долю. И в новое, советское время они познали и голод, и бесправие, и долгую беспросветность.

Неразбериха с организацией сельхозпроизводства, низкая производительность труда не дали высоких прибавок в товарном зерне. Во многих колхозах была невысокой трудовая дисциплина, стало процветать хищение хлеба. В августе 1932 года по инициативе Сталина было принято специальное постановление ЦИК и Совнаркома СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». В сталинской редакции им вписана специальная фраза: «Люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы, как враги народа».

Голод охватил области с общей численностью населения в 25—30 миллионов человек. Особенно тяжелые последствия, как известно, были на Украине и в Поволжье. Недород был большим, а поставки государству остались прежними. Серьезной причиной голода была, повторяем, не только засуха, но и разлад крестьянского хозяйства в ходе коллективизации, насильственное изъятие сельхозпродукции. Новые коллективные хозяйства, еще не ставшие на ноги, получали повышенные задания по сдаче хлеба, а невыполнение планов расценивалось как саботаж, «подрыв политики партии в деревне».

Во многих случаях колхозники не получали даже минимума оплаты. Это привело к тому, что люди, вступившие в колхоз как вчерашние мелкие собственники, шли на различные нарушения, чтобы обеспечить себе пропитание. Освещение этих процессов в газетах было примерно таким: «Из районов Северного Кавказа поступают сообщения о рваческих, кулацких тенденциях, проявляемых отдельными колхозами и совхозами в хлебозаготовках. В Хутонском колхозе, несмотря на невыполнение плана в 1000 центнеров, правление распорядилось произвести обмолот хлеба для раздачи колхозникам».

Сталин, выступавший на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников в феврале 1933 года, ничего не сказал о голоде, а лишь глухо упомянул об имеющихся «трудностях и лишениях» в деревне. Главная задача, поставленная генсеком перед колхозниками, была предельно ясной: «От вас требуется только одно — трудиться честно, делить колхозные доходы по труду, беречь колхозное добро, беречь тракторы и машины, установить хороший уход за конем, выполнять задания вашего рабоче-крестьянского государства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов пробравшихся туда кулаков и подкулачников». Государство было не в состоянии оказать действенную помощь бедствующим районам. О голоде в стране не писали ничего — Сталин запретил публиковать какую бы то ни было информацию об этом, тем более что приближался очередной, XVII съезд партии.

Этот съезд, состоявшийся в январе — феврале 1934 года, наша пропаганда назвала «съездом победителей», поскольку Сталин в Отчетном докладе ЦК назвал успехи партии и страны «великими и необычайными». Бесспорно, к 1934 году страна сделала крупный рывок в своем развитии. Когда я смотрел черно-

вик доклада, над которым работал Сталин, то обратил внимание: генсек, тщательно редактировавший каждую его страницу, каждый абзац, стремился более выпукло показать прежде всего достижения. Он считал, что огромные жертвы, принесенные народом, должны дать результат. Пусть народ и партия знают, как его руководство плодотворно, успешно, победоносно наступает по всему социалистическому «фронту».

Докладчик особо сделал ударение на том, что за три с половиной года после XVI съезда партии промышленность в стране удвоила объем выпускаемой продукции. Созданы новые отрасли производства: станкостроение, автомобильная промышленность, тракторная, химическая; появилось моторостроение, самолетостроение, комбайностроение; стали производить синтетический каучук, азот, искусственное волокно. Сталин с гордостью говорил, что пущены в ход тысячи новых промышленных предприятий, в том числе такие гиганты, как Днепрогэс, Магнитогорский комбинат, Кузнецкий, Уралмаш, Челябинский тракторный завод, Краматорский машиностроительный. В докладе Сталина было как никогда много цифр, таблиц, схем. Ему было о чем говорить съезду.

Тридцатые годы мы теперь привыкли измерять только трагическим масштабом, а ведь это были еще и годы невиданного энтузиазма, подвижничества, массового трудового героизма многострадального народа. Нам ведь сейчас порой даже трудно представить себе, как миллионы людей, часто имея минимум необходимого для человеческого бытия, верили, что они подлинные творцы коммунистического грядущего, что именно от их самоотверженности зависят не только их судьбы, но и судьбы мирового пролетариата.

Вот несколько сообщений из «Правды» тех лет. Сталин всегда читал партийную газету полностью, а не выборочно, подчеркивая какие-то материалы. Чувство «единоличного хозяина» переполняло его.

Вот «Коллективный рапорт бакинских нефтяников, обсужденный на 40 митингах 20 тысячами нефтяников, дополненный 53 местными рапортами и 254 письмами рабочих», в котором говорится: «Нефтяная пятилетка усилиями рабочих и специалистов и под испытанным руководством ленинской партии закончена в два с половиной года».

Сообщение из Магнитостроя:

«На строительном участке доменного цеха родился совсем новый тип бригады — сквозная хозрасчетная бригада экскаватора. Переход на хозрасчет экскаваторов дал прекрасные результаты... Хозрасчетные экскаваторы побили мировой рекорд загрузки машин».

Заметка из Татарии:

«Уборка и хлебопоставка проходят под лозунгом подготовки ко второму всетатарскому съезду колхозников и завоевания права включить своего представителя в делегацию, которая поедет с рапортом к товарищу Сталину. Занять первое место на Всесоюзной красной доске — популярнейший лозунг в колхозах Татарии».

Можно говорить с высоты сегодняшнего дня о наивности, прекраснодушии, огромной вере в Сталина простых людей нашего Отечества, которые построили для нас все то, на чем мы сейчас стоим. Но нельзя не восхищаться их неукротимым энтузиазмом, гордостью за свершенное, уверенностью в том, что будущее в их руках. Невиданной силы высокая гражданственность, часто обрамленная культовыми ритуалами,— это и был тот огромный социальный заряд, рожденный Октябрем, верой в справедливость и лучшее будущее. Простые труженики были крайне непритязательны, довольствовались порой таким минимумом благ, который сегодня кажется просто катастрофическим. И мы всегда должны помнить этих людей, творцов, созидателей, которых вождь чаще называл «массой», а реже «винтиками».

В это же время на страницах «Правды» встречаются сообщения, которые сегодня, когда мы многое знаем, вызывают у нас не просто настороженность, а глубокое понимание всей их трагической подоплеки.

В середине июля 1933 года «Правда» сообщала:

«Товарищи Сталин и Ворошилов приехали в Ленинград и вместе с товарищем Кировым в тот же день выехали на Беломорско-Балтийский канал. По ознакомлении с работой канала и с состоянием гидротехнических сооружений выехали через беломорский порт Сорока на Мурманск».

Через две недели после этого публикуется постановление СНК СССР об открытии Беломорско-Балтийского канала имени т. Сталина и постановление ЦИК СССР о награждении отличившихся при его строительстве. Орденами Ленина награждены 8 человек: Ягода Г. Г., заместитель Председателя ОГПУ СССР, Коган Л. И., начальник Беломорстроя, Берман М. Д., начальник Главного Управления трудовыми лагерями ОГПУ, Фирин С. Г., заместитель начальника Управления исправительно-трудовыми лагерями, Рапопорт Я. Д., заместитель начальника Главного Управления исправительно-трудовыми лагерями, Жук С. Я., заместитель главного инженера Беломорстроя и другие лица из ОГПУ СССР.

На XVII съезде С. М. Киров в своей речи скажет:

— Такой канал, в такой короткий срок, в таком месте осуществить — это действительно героическая работа, и надо отдать справедливость нашим чекистам, которые руководили этим делом, которые буквально чудеса сделали.

Точнее было бы сказать, что чудеса сделали сотни тысяч заключенных, недостатка в которых не было. После «раскулачивания», ужесточения борьбы с «остатками эксплуататорских классов» в распоряжении ОГПУ была огромная сила, которая построит не только Беломорско-Балтийский канал. Должности награжденных орденами Ленина красноречиво говорят о том, как строился канал имени Сталина.

Широкое использование труда заключенных (а в тридцатые годы не было большей заботы, чем обеспечить их фронтом работ) не было новой идеей. Троцкий еще в середине двадцатых годов, развивая идею милитаризации труда, говорил, что «враждебные государству элементы должны направляться в массовом порядке на объекты строительства пролетарского государства». Совет апологета насильственных методов, как видим, не остался незамеченным.

О достижениях в сельском хозяйстве Сталину в докладе говорить было труднее. Да, создано свыше 200 тысяч колхозов и пять тысяч совхозов, но развитие этой отрасли хозяйства, признал он, пошло «во много раз медленнее, чем в промышленности». Генсек подтверждал, что и отчетный период был для сельского хозяйства «не столько периодом быстрого подъема и мощного разбега, сколько периодом создания предпосылок для такого подъема и такого разбега в ближайшем будущем», и отметил тяжелое положение в области животноводства.

Обращает на себя внимание тот факт, что Сталин, громя на протяжении десяти лет многочисленные оппозиции, остался в конце концов без такой «работы». Генсек и сказал об этом прямо: если на XVI съезде нам пришлось добивать приверженцев всяческих группировок, то на этом съезде и «бить некого». Хотя тут же, чтобы, не дай бог, не ослабили бдительность, противореча самому себе, сказал, что «остатки их идеологии живут еще в головах отдельных членов партии» и мы должны быть готовы их разбить. Но Сталин редко «бил» по идеологии, больше по ее носителям. Заявив, что страна идет к созданию «бесклассового, социалистического общества», тут же сделал вывод, что бесклассовости можно добиться только «путем усиления органов диктатуры пролетариата, путем развертывания классовой борьбы».

Среди 1225 делегатов съезда оказалось немало лиц, которые в свое время принадлежали к различным группировкам, фракциям, оппозициям, уклонам,— Сталин специально посоветовал Кагановичу обеспечить представительство этой немалой группы лиц, которые бы своими покаянными речами еще более усилили величие вождя, теперь уже одинокого на вершине власти. Все они, будучи «разгромленными», давно в различной форме повинились, искали возможности вновь заслужить расположение Сталина, теперь уже неизмеримо более сильного и авторитетного. Не все они, надо сказать, были беспринципными людьми, приспособленцами. Многие из этих бывших оппозиционеров искренне раскаивались,

часто в малозначащих «грехах», будучи подавленными в своей вине «громадьем» свершенного.

Спустя десятилетия, читая речи этих людей на том съезде, представляешь их унижение: как в религиозном покаянии, они бичевали себя лишь для того, чтобы насытить чувство тщеславия и мести одного человека. Все это, однако, имело далеко идущие последствия для роковых 1937—1938 годов. Приведу несколько выдержек из выступлений бывших оппозиционеров, которые, по выражению Кирова, все эти годы «просидели в обозе». Кирову также принадлежат слова о том, что сейчас эти люди «пытаются... вклиниться в это общее торжество, пробуют в ногу пойти, под одну музыку, поддержать этот наш подъем... Вот возьмите Бухарина, например. По-моему, пел как будто бы по нотам, а голос не тот. Я уже не говорю о товарище Рыкове, о товарище Томском».

Вот что на «съезде победителей» говорил Бухарин, бывший «любимец партии» и ее теоретик: «Сталин был целиком прав, когда разгромил, блестяще применяя марксо-ленинскую диалектику, целый ряд теоретических предпосылок правого уклона, формулированных прежде всего мною... Обязанностью каждого члена партии является... сплочение вокруг товарища Сталина, как персонального воплощения ума и воли партии, ее руководителя, ее теоретического и практического вождя».

И нам трудно поверить в то, что это говорил человек, интеллектуальная совесть которого всегда была столь кристально чистой...

Приведем теперь слова Рыкова, первого человека, заменившего В. И. Ленина на посту Председателя Совнаркома: «Я хотел характеризовать роль товарища Сталина в первое время после смерти Владимира Ильича... О том, что он как организатор побед наших с величайшей силой показал себя в первое же время. Я хотел характеризовать то, чем товарищ Сталин в тот период сразу и немедленно выделился из всего состава тогдашнего руководства».

И это говорил человек, также всегда славившийся своей прямотой, неподкупностью, большим гражданским мужеством...

Томский, руководитель профсоюзов страны, сказал следующее: «Я обязан перед партией заявить, что лишь потому, что товарищ Сталин был самым последовательным, самым ярким из учеников Ленина, лишь потому, что товарищ Сталин был наиболее зорким, наиболее далеко видел, наиболее неуклонно вел партию по правильному, ленинскому пути, потому, что он наиболее тяжелой рукой колотил нас, потому, что он был более теоретически и практически подкованным в борьбе против оппозиций,— этим объясняются нападки на товарища Сталина».

А ведь раньше он так любил говорить о партийной принципиальности и умении до конца отстаивать ее...

Теперь приведем фрагмент выступления вновь принятого в члены партии битого-перебитого Зиновьева, который был первым, кто выстроил в ряд четыре имени — Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. «Мы знаем теперь все,— говорил он на съезде,— что в борьбе, которая велась товарищем Сталиным на исключительно принципиальной высоте, на исключительно высоком теоретическом уровне, что в этой борьбе не было ни малейшего привкуса сколько-нибудь личных моментов». Зиновьев назвал доклад Сталина «докладом-шедевром», долго и заискивающе говорил «о триумфе руководства, триумфе т о г о (разрядка моя.— Д. В.), кто возглавил это руководство». Когда его вернули в первый раз в партию, сказал кающийся Зиновьев, то Сталин сделал ему такое замечание: «Вам в глазах партии вредили и вредят даже не столько принципиальные ошибки, сколько то непрямодушие по отношению к партии, которое создалось у вас в течение ряда лет». В зале стали раздаваться многочисленные возгласы: «Правильно, правильно сказано!» Далее бывший претендент на лидерство в партии заявил: «Мы видим теперь, как лучшие люди передового колхозного крестьянства стремятся в Москву, в Кремль, стремятся повидать товарища Сталина, пощупать его глазами, а может быть, и руками, стремятся получить из его уст прямые указания, которые они хотят понести в массы».

Да, это говорил человек, который много лет лично знал Ленина, учился у него, считал себя его соратником. Страх оказаться окончательно выброшенным на политическую обочину истории заставлял Зиновьева говорить все эти унизительные слова. Так же презрев достоинство и совесть, курили фимиам вождю Каменев, Радек, Преображенский, Ломинадзе, другие деятели партии, поверженные Сталиным в оппозиционной борьбе.

Генсек, сидя, как обычно, во втором ряду, с внешним безразличием, полузакрыв глаза, смотрел на выступающего Каменева. Быть может, ему вспомнилось в тот момент, как Каменев вел раньше съезды, заседания Политбюро, нетерпеливыми репликами стараясь повернуть выступления в нужную сторону. Однажды, когда их отношения уже испортились, Каменев бросил Сталину, перечислявшему ошибки оппозиции:

— Товарищ Сталин! Что вы, как овец, считаете: первое, второе, третье... Ваши аргументы не умнее этих овец...

— Если учесть,— быстро парировал генсек,— что вы одна из этих овец...

Что-то сейчас скажет Каменев?

А тот каялся, торопливо, неприлично, униженно, вымаливающе:

— Та эпоха, в которую мы живем, в которую происходит этот съезд, есть новая эпоха... она войдет в историю — это несомненно — как эпоха Сталина, так же как предшествующая эпоха вошла в историю под именем эпохи Ленина, и что на каждом из нас, особенно на нас, лежит обязанность всеми мерами, всеми силами, всей энергией противодействовать малейшему колебанию этого авторитета... Я хочу сказать с этой трибуны, что я считаю того Каменева, который с 1925 по 1933 г. боролся с партией и с ее руководством, политическим трупом, что я хочу идти вперед, не таща за собою, по библейскому (простите) выражению, эту старую шкуру... Да здравствует наш, н а ш вождь и командир товарищ Сталин!

Думаю, даже Сталин тогда еще не знал, что через три года он сделает Каменева с Зиновьевым и многих других не просто «политическими трупами»: он физически уничтожит их руками своей «опричнины». Но что это — последнее на таком форуме выступление Каменева, Сталин уже знал тогда точно: хватит либеральничать!

Да, слушая все эти панегирики, он мог насладиться всей гаммой чувств триумфатора. Ведь он знал, что Каменев в разговоре с Троцким называл его «свирепым дикарем», а Зиновьев в своем кругу именовал «кровавым осетином»; Бухарин не раз уязвлял Сталина за незнание иностранных языков; Радек, помнится, в первом издании книги «Портреты и памфлеты» не нашел для него, будущего генсека (!), и нескольких слов, а Преображенский, считавшийся крупным теоретиком, в одной из речей в 1922 году назвал генсека «неучем»...

Месть? Нет, это мелко! Пусть вся партия убедится, что во всех спорных вопросах, во всех дискуссиях на всех переломных этапах правым оказывался только он, Сталин. И это говорит не он, а они, его бывшие оппоненты. Пусть все знают впредь, что он обладает не только политической волей, организаторскими способностями — это признается в партии уже давно,— но и то, что ему принадлежит особая мудрость, прозорливость, способность к предвосхищению и т в е р д а я р у к а... Съезд победителей? Может, с ъ е з д П о б е д и т е л я?

Если бы Сталин хорошо знал отечественную историю, то мог бы вспомнить весьма красноречивый эпизод. После разгрома Наполеона сенат решил преподнести Александру I в знак особых заслуг по спасению Отечества титул «Благословенный». Однако царь вежливо, но твердо отказался:

— Когда мы с Богом, то и Бог с нами...

А Сталин все ждал и ждал новых эпитетов, сравнений, новых клубов фимиама. Никто, правда, все же не додумался сказать: идет съезд Победителя, но многое тогда прозвучало впервые. Хрущев, как и Жданов, например, первым назвал Сталина «гениальным вождем», Зиновьев, мы уже отметили это, причислил его к лику классиков научного социализма, Киров определил генсека как «величайшего стратега освобождения трудящихся нашей страны и всего мира»,

Ворошилов сказал, что Сталин, «ученик и друг» Ленина, был еще и его... «оруженосцем».

Возможно, Сталин думал, что диктатура пролетариата должна иметь персональное олицетворение? Для демократии ведь не нужны лица, облеченные особой властью, чтобы ее выражать, а диктатура класса... Все говорит о том, что Сталин считал нормальным для вождя первого в мире социалистического государства обладать неограниченными правами, которыми, как известно, обладают лишь диктаторы.

Устав от обвала восторженных эпитетов, Сталин с особым вниманием слушал выступления военных. После безудержного славословия, которого он ждал уже от каждого оратора, его неприятно поразила скупая на похвалы речь Тухачевского. Тот опять взялся за свое — излагает «прожекты» технической реконструкции армии. Сказано же было ему, что слишком много фантазирует, нет, не унимается. Сталину вспомнилось большое письмо Тухачевского, которое тот направил генсеку в начале тридцатых годов. В нем Тухачевский выражал свое недовольство отношением Сталина и Ворошилова к его предложениям по модернизации технической основы армии.

«На расширенном заседании РВС СССР т. Ворошилов,— писал командующий Ленинградским военным округом,— огласил ваше письмо по вопросу моей записки о реконструкции РККА. Доклад Штаба РККА, при котором вам моя записка была направлена, мне совершенно не был известен... В настоящее время, познакомившись с вышеупомянутым докладом, я вполне понимаю ваше возмущение фантастичностью «моих» расчетов. Однако должен заявить, что моего в докладе Штаба РККА нет абсолютно ничего. Мои предложения представлены даже не в карикатурном виде, а в прямом смысле в форме «записок сумасшедшего».

Сталин уже тогда из письма понял, что Тухачевский, у которого были натянутые отношения с Ворошиловым, полемизирует не с наркомом, а с ним, генсеком. Его удивила и независимость суждений этого военачальника, который, похоже, смотрит много дальше застывшего на уровне опыта гражданской войны наркома.

Когда на трибуну поднялся Ворошилов, то Сталин уже заранее знал, что скажет человек, ставший легендой, декорацией героического былого,— нарком накануне съезда приносил показать ему свою речь. Ворошилов все ухищрялся найти в великом и могучем русском языке новые эпитеты. И, конечно, не обошелся без здравицы в честь генсека: «Имея такого испытанного, мудрого и величайшего вождя, каким является товарищ Сталин», нас не устрашит «никакое свиное или еще более скверное рыло, где бы оно ни появилось». Сталина, наверно, слегка покоробил самочинный вульгаризм наркома: «мудрый», «великий вождь» и рядом какие-то «рыла»...

Сталин хотя и знал, что так будет, но был удовлетворен и выступлениями Долорес Ибаррури, Белявского, Бела Куна, Кнорина и других руководителей международного коммунистического движения, которые величали его теперь не только вождем большевиков, но и «вождем всемирного пролетариата». Если бы все это ему приснилось два десятка лет назад в Курейке, под вой пурги, он, наверно, подумал бы, что сошел с ума. «Вождь всемирного пролетариата»...

Как все хрупко и эфемерно в нашем быстроменяющемся мире, Сталин почувствовал в последний день работы съезда. Казалось бы, предстояла простая формальность: избрать членов ЦК и определить состав двух новых комиссий (вместо ЦК) — партийного и советского контроля. Персональный состав руководящих органов на Политбюро был, конечно, заранее «обговорен», и все вроде бы спокойно шло к завершению триумфальных чествований вождя. Счетная комиссия, избранная съездом, заканчивала свою работу. Но вдруг произошло неожиданное — в комнату к Сталину зашли возбужденные и крайне встревоженные Каганович и председатель счетной комиссии Затонский.

О том, что было дальше, рассказал в своих мемуарах, вышедших после его смерти, А. И. Микоян, член Политбюро с 1926 по 1966 год, делегат всех

съездов партии, проходивших с 1920 по 1966 год. А. И. Микояну, в свою очередь, эту историю поведали многие люди — старые большевики А. Снегов, О. Шатуновская, И. Андреасян, бывший членом счетной комиссии.

Так вот, Каганович с тревогой объявил Сталину неожиданные результаты голосования: из 1225 делегатов, принявших участие в выборах руководящих органов партии, трое подали голоса против Кирова и около трехсот (!), почти четверть голосовавших, против Сталина. Это было невероятно!

Сейчас уже никто не может точно сказать, что ответил Сталин на столь потрясающее сообщение. Но, опять же по утверждению А. И. Микояна, было быстро принято решение: «оставить» такое же число голосов против Сталина, как и против Кирова, то есть три голоса, остальные бюллетени уничтожить. Сложившаяся практика выборов, сохраненная, к сожалению, и пятьдесят (!) лет спустя, подразумевает, что в списках для голосования обычно остается ровно то количество кандидатов, которое необходимо для избрания. В общем, это «выборы» без «выбора». Фикция волеизъявления. Сталин, даже если бы учли те 300 голосов против, все равно вошел бы в состав ЦК и, видимо, в любом случае был бы избран генсеком. Но если бы огласили подлинные результаты голосования, все бы сразу почувствовали, сколь призрачно величие вождя.

В «Истории КПСС», вышедшей в свет в 1962 году, отмечается, что «ненормальная обстановка, складывавшаяся в партии, вызвала тревогу у части коммунистов, особенно у старых ленинских кадров. Многие делегаты съезда, прежде всего те из них, кто был знаком с завещанием В. И. Ленина, считали, что наступило время переместить Сталина с поста генсека на другую работу».

Группа старых большевиков, свидетельствуют авторы различных мемуаров, узнавшая о результатах голосования до их официального объявления, предложила Кирову, чтобы он согласился на выдвижение его генсеком. Киров отказался и вроде бы обо всем рассказал Сталину.

В этой драматической истории есть несколько объективных обстоятельств, придающих ей достаточно большую степень правдоподобности. Прежде всего на съезде оказалось немало бывших оппозиционеров; многие делегаты — партийные работники уже имели возможность испытать на себе бесцеремонность, грубость и диктаторские замашки Сталина. Обстановка в партии уже была такой, что открыто подвергать критике Сталина и тем более предлагать его сместить с высокого поста не мог никто, однако выразить свое подлинное отношение к Сталину с помощью тайного голосования эти люди, бесспорно, могли. В пользу достоверности этого запутанного дела говорит и то обстоятельство, как резко Сталин изменил свое отношение к Кирову, который теперь в его глазах стал реальным соперником.

(Окончание следует.)

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

Новые стихи

* * *

Средь мертвой тишины
Мне ветер напевал:
Не выйти из войны
Тому, кто воевал!

Среди кромешной тьмы
Бездомный ветер пел:
Не выйти из тюрьмы
Тому, кто в ней сидел!

Оглохла. Но стервец
Допел свое вдали:
Не жди! Скорей мертвец
Воспрянет из земли!

1975

Старая песня

Предвидено, предсказано,
Цветком не прорасту,
Я к времени привязана,
Как к конскому хвосту.

О плоские булыжники
Крутым затылком бьюсь.
Молчат твои подвижники,
Заезженная Русь!

Молчат твои утешники,
Лежат в сырой земле,
Кровавые подснежники
Им чудятся во мгле

Да снится, как расплющило
Их младшую сестру, —
Лишь волосы распущены
И тлеют на ветру.

1972

* * *

Я все хочу уйти! Уйти!
Мне все нужней, нужней свобода!
И нет естественней ухода —
Крест-накрест руки на груди.

Я репетировала смерть,
Крест-накрест складывала руки,
Лицо не выражало муки,
Чтобы не страшно было впредь.

Шла репетиция в бреду.
В разъятом на куски сознаньи
Больничные седые ткани
Цвели, как яблони в саду.

Уже семь лет я не больна,
Мое сознание едино,
Но, как на ветках паутина,
Опять мне жизнь моя видна.

По тонким лестничкам ее
Карабкаюсь и задыхаюсь,
И все свободы домогаюсь
Бессмысленной, как забытье.

1969

* * *

Бреду в никчемушном наряде я
Вдоль длинной заборной доски —
Отчаянья первая стадия,
Последняя степень тоски.

И шаль по канаве волочится,
Цепляет солому и тьму,
И больше мне плакать не хочется,
И не над чем, и ни к чему.

Все то, что болело, отмучилось,
Застыло под левым плечом.
Молитва — и та улетучилась,
Молиться кому и о чем?

В затылок мне дышит прошедшее.
Пусть дышит — я не обернусь,
А тронет — так я сумасшедшею,
Нет, мертвою я притворюсь!

1978

* * *

Лето. Берег как жаровня.
В волдырях моя ступня.
Интересно, кто сегодня
Будет гостем у меня,
Кто сегодня мне окажет
Эту милость, эту власть,
Кто мне весело расскажет,
Как у смерти время красть?..

Вновь жара, как в преисподней,
Сквозь подметку пятку жжет.
Интересно, кто сегодня
В гости позовет?
И кому со всем усердьем
Буду каяться я всласть,
Как училась красть у смерти —
И у жизни стала красть?

1966

* * *

В столивневый июль,
В число десятое,
Продернута сквозь нуль
Тоска завзятая,

Продернут длинный дождь
В ушко игольное,
И в тонких пальцах дрожь
Невольная.

И как мне совладать
С такими пальцами?
И что мне вышивать,
Склонясь над пяльцами, —

Над кругом бытия,
Где вся материя —
Из слов, и забытья,
И суеверия?

1977

* * *

В овраг мы спускались, как будто в провал,
Снегами почти голубыми,
Ты палкой ореховой крупно писал
Вдоль снежной тропы мое имя.

И был набалдашник — головка змеи
И полураскрытое жало,
Я в замшевых варежках пальцы свои
От смутного страха сжимала.

Тогда бы и надо с твоей колеи
Свернуть на тропинку любую
И издали помнить улыбку змеи
И зиму почти голубую.

1976

* * *

Лезет желтая природа
В серое окно,
Элегическая ода —
С нею заодно.

Дождь позванивает в склянки
Утренней зари:
Листья старятся с изнанки,
Люди изнутри.

Так давай с тобой приправим
Музыку дождем.
Так и сердца не состарим
Прежде, чем умрем.

Нету истин незатертых,
Кроме роковых.
Так давай восславим мертвых,
Помня о живых.

1980

* * *

Случайная, как соловьиный помет,
Оброненный на подоконник,
Жизнь вышла из книги и в книгу уйдет, —
Всего вероятнее, в сонник.

На лоне, где пишущий дачник окреп,
По горло уйдя в огородство,
Где есть у меня и бумага и хлеб,
Свое ощущаю уродство.

Уедут соседи, и выпадет снег,
Похожий на суперобложку:
Увижу приблудшую в нынешний век
Мемфисскую черную кошку.

На лунно-голодный египетский взор
Пойду, как лунатик, шатаясь,
И тварь-божество я впущу в коридор
И дам ей все то, чем питаюсь.

И тесно с прапамятью я подружусь,
Но, может быть, неосторожно.
Я вышла из сна, и я в сон возвращусь,
Какой толковать невозможно.

1987

●

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Свадебное платье № 327

РАССКАЗ

Сквозь давно не мытые громадные окна прокатного пункта косо падали с голубых небес полосы предвечернего майского света, весело желтели в муторной пустоте бессмысленно высокого и просторного помещения. Обведенные по краям золотистым контуром хаотично дрожащих пылинок, лучи солнечного света упирались в плохо подогнанные друг к дружке светло-коричневые кафельные плитки пола и будто дымились, расшибаясь об них, рассеиваясь яркими мушками.

Запах пропахших складской плесенью бетонных стен смешивался с запахами сигаретного дыма и более кислого папиросного дымка.

Приемщица курила сигареты, а сидевшая напротив нее, по другую сторону низенькой стойки, моложавая, ухоженная старушка — давно забытые миром папиросы. На разделявшем собеседниц прилавке сняла роскошная, похожая на вазу хрустальная пепельница — из тех, что могли быть выданы напрокат.

— На нашей клетке одна семья пьет беспощадно, до основания: гуталин разводят, и тот пьют. В пиво, например, чем-то таким пшик, снова закрыли бутылку, взболтнули и пьют — дуреют на месте. А вторые соседи ничего, самостоятельные — водочные, — не спеша рассказывала старушка. — А мой еще без меня отпился, у него вместо мочевого пузыря — нейлон. Я ему говорю: «Так что, выходит, если дам тебе разá по причинному месту, значит, мне из-за тебя в тюрьму садиться, да?!» Измучил, паразит. А держу его чисто. Все соседи мной вполне восхищаются. Ему восемьдесят два года, а мне шестьдесят семь. И когда я, дура старая, за него выходила, и на нашей клетке, и в подъезде, и аж во дворе все говорили: «Что же ты, бабушка, такая модная, красивая, и за такого выходишь?» С сорок первого года я без мужа, в двадцать два осталась вдовой с двумя детьми. И не смотрела ни на кого, и забыла, что я женщина. А теперь детей вырастила, внуков им подняла, и дети со мной не хотят жить — выдали меня замуж. А он, не поверите, такой хулиган — это в восемьдесят-то два года! Голый выходит из своей комнаты и в мою — выставит своего петуха, а там все атрофировано. И смотрит нахально, смеется. И не умирает, между прочим. Морду наел на моих борщах, щечки розовенькие стали. Целый день есть отказывается — ни обедать его не дозовешься, ни ужинать, а потом всю ночь шарится по кастрюлям, мясо руками из борща выхватывает — сколько уж прокисло! Врачиху ему вызывала, а она говорит: ничего не поделаешь, бабушка, старческий маразм, терпите. Любой, говорит, может дожиться — хоть вы, хоть я, хоть сам министр, генерал, академик, писатель — любой! Сейчас, говорит, бабушка, продолжительность жизни большая, поэтому многие не выдерживают — впадают. Тысячи тому примеров! — Докурив папиросу, старуха ткнула ее в хрусталь пепельницы, загасила привычным, завинчивающим движением сухонькой кисти в бурых накрапах пигментации. — Вся ими жила, на них вся надежда держалась — на деточках, да-а... А они меня замуж, да еще так сделали, чтобы мы с ним съехались. А детям моя квартира перешла,

тоже двухкомнатная. Так что теперь мне и деться некуда. Вы меня извините, конечно, но вот как можно вляпаться на старости лет.

— Не вляпывались бы, кто вам виноват? — едко спросила приемщица, пуская дым из ноздрей.

— Святая правда, — покорно согласилась старуха, — но вот ваши подрастут, тогда и поговорим, — закончила она с ноткой затравленности в голосе.

— У меня одна. Но я ей не дамся, ей-богу, не дамся!

— Ой, не зарекайтесь! Мне тоже все говорили: не давайся, не давайся ты им! Да куда денешься: дочка с утра до вечера только и капала: «Нет у нас с ним жизни, мама, нет. Да и откуда ей взяться — без самостоятельности?» Сын тоже ее поддерживал, хотя и молчком. Как-то крупный разговор у нас был с дочкой при нем, так я ей говорю: «Тогда к Вите уйду, если тебе не нужна». А он молчит. Так и промолчал, будто не слышал, газетку схватил и стал за мухой гоняться по всей кухне, пока не прихлопнул. А недельки через две его жена, Витина, как раз мне этого старичка нашла. Я согласилась. Куда деваться? И он такой жалкий был! Думала, хоть кому-то нужна буду, хоть чужого старичка обихожу. Да и мои все так радовались, так подталкивали меня к этой семейной жизни. Поплакала, будто в молодости, и пошла под венец. Куда денешься: жалко их всех.

Заговорило молчавшее до тех пор радио: окончился перерыв. Заговорило с победительным придыханием сначала что-то насчет кормов и удоев, потом про Чернобыль.

«Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце», — сказал в свое время Екклезиаст. Сквозь давно не мытые стекла косо съезжали на пол лучи солнечного света, радовали глаз, веселили душу неясной надеждой.

Окончившая в свое время десять классов приемщица подумала, что, наверное, атомы похожи вот на эти пылинки, танцующие в солнечном луче, только еще меньше: «В голове не укладывается, куда же еще меньше?!»

— Значит, оно, излучение, с радио связано? — спросила старуха. — Так зачем же в каждом доме радио? Надо их поснимать.

— Радио здесь ни при чем. Там что-то другое, просто так называется — радиоактивность.

— Раз назвали — значит, связано, — возразила старуха, — так просто не назовут.

— Сколько угодно, — скривив полные, еще свежие губы, дерзко усмехнулась приемщица. — Вот, например, почему я называюсь «приемщица»? Я ведь выдаю людям вещи — значит, я «выдавальщица». Да, я самая натуральная выдавальщица!

Старуха не стала перечить, почувствовала, что тут у ее собеседницы затронуто какое-то коренное несогласие с жизнью, какой-то глубинный протест против судьбы и рутины. Чтобы не спорить и вместе с тем сохранить достоинство, старуха закурила новую папироску.

По-мужски, щелчком выбив из пачки сигарету, приемщица последовала ее дурному примеру. «А то и в подоле принесет!» — неожиданно подумала она о своей пятнадцатилетней дочке, и страх пробрал ее по спине холодными иголочками до крестца.

Старуха умиротворенно смотрела на рой золотистых пылинок и думала о том, как ей не хочется идти домой, какая тоска ждет ее там один на один с законным супругом, который сейчас наверняка подсоединяет телефонный провод к радио, чтобы она, старуха, даже не могла позвонить, спросить про внуков. Знала, что двойняшкам-внукам до нее как до прошлогодней травы, но прощала им все по молодости: вот пойдут через год в армию, даст бог переменятся. Втайне старуха надеялась, что внуки о ней еще вспомнят, еще доживет она до того дня, когда попросят посидеть с маленькими.

Ее внуки были у сына, а дочка, хотя и жила со вторым мужем, но так и не обременила себя детьми. Сначала говорила «рано», а теперь говорит «поезд ушел». «При чем здесь поезд?» — спрашивала старуха. «Ладно, замнем для ясности!» — всегда одинаково обрывала дочка, и в уголках ее густо подведенных ореховых глаз набухали злые слезинки, но только набухали, пролиться она им не давала — берегла краску.

Два года назад заехала старуха в этот чужой для нее район Москвы, и теперь сложилось так, что единственный человек, кто еще уделял ей внимание, была вот эта работница прокатного пункта, разместившегося в высоком первом этаже жилого крупнопанельного дома. По всем статьям приемщица годилась старухе в дочки, а разговаривали они на равных. Может быть, оттого, что старуха не поучала, не кичилась своей старостью, а приемщица не подчеркивала свою сравнительную молодость, а может быть, потому, что женские судьбы их были похожи в главном: приемщица тоже осталась вдовой в двадцать два, едва родив. Старухиного мужа и его поколение выкосила война, а мужа приемщицы и его ровесников — бутылка. Не дай бог сравнивать с войной, но и бутылка — оружие массового уничтожения. Из тех, кого она прокатала, как тесто на лапшу, многие живые только по форме, а не по содержанию.

Как ни крути, а старухе, кроме приемщицы, пойти здесь не к кому. А что она знает об этой приемщице? А что приемщица знает о ней? Ничего не знают они друг о друге, да и узнавать не хочется — так лучше. Но как только приемщица увидит ее в дверях, так и заулыбается. Улыбается и сразу выносит большую хрустальную пепельницу, похожую на вазу, ставит ее на низкий прилавок, отделяющий казенную часть пункта от так называемого «зала» — места, где могут толочься прочие люди. Старуха придвигает к стойке один из нескольких приставленных к пустой стенке стульев, и они сидят, курят, говорят про погоду, про цены, про всякие другие общие места, а больше молчат. Главное — не лезут друг к другу с откровениями. А вот сегодня старуха вдруг сорвалась, наговорила лишнего. И сейчас ей стыдно, она старается не смотреть в глаза своей собеседнице: вдруг та подумает, что должна ответить взаимностью и рассказать что-нибудь не слишком красивое из своей личной жизни?

— Так я пойду? — неуверенно спросила старуха, докуривая вторую папироску.

— Да ладно, сидите, — приветливо улыбнулась приемщица, и на сердце старухи отлегло, как будто ее простили.

Все с тем же победительным придыханием радио объявляло о том, что желающие граждане могут взять напрокат свадебные платья, и называло адреса прокатных пунктов столицы.

— Про нас, х-мм! — криво усмехнулась приемщица. Такая у нее была манера усмехаться — криво, с обидой, накопленной за многие годы, еще с тех пор, когда однажды, в первое лето после школы, напоили ее в полузнакомой компании до беспамятства и очнулась она наутро в чужой постели.

— У вас и такое добро есть? — удивилась старуха.

— Есть. Теперь осталось одно, а завезли когда-то пять штук. — Приемщица невольно оглянулась в сумеречную глубину помещения, туда, где висело на плечиках свадебное платье; издали его было почти не видно, так, лишь край тускло отсвечивающего полиэтиленового чехла. Но она-то знала его досконально — каждую рюшечку. Что ни говори, а белое свадебное платье с фатой — это тебе не пылесос «Буран», не стиральная машина «Эврика», не коврик в прихожую. Словом, это была самая непростая вещь у нее на выдаче, и относилась она к ней по-особому, с душой.

Оставшееся в прокатном пункте свадебное платье значилось в описи под инвентарным номером 327. Платье было самого ходового размера — полнота сорок шесть, рост третий. Как было записано в документации: «Рост — 164, обхват бедер — 100, обхват груди — 92 см». Обычно пишут «окружность бедер», «окружность груди», а здесь употребили слово «обхват», и хотя не было указано, кто должен обхватывать, но все равно сразу веяло чем-то живым и веселым.

Платье было впору и приемщице, и ее дочери — в свои пятнадцать лет та вымахала в такие дылды, что хоть под венец. Всего каких-то два года назад была девчушка, пигалица, а теперь форменная невеста — рослая, налитая, ступни тридцать восьмого размера, дай бог, чтоб больше не росли!

«Неужели и она из атомов?! — подумала приемщица о своей дочери. — И я? И вот эта старуха? И пепельница? И пепел? Неужели все из атомов? Чепуха какая-то!» Она ведь и в школе учила, и знала: таки так, из атомов. Знать знала, но осознать не могла, хоть режь! Атомы эти были

для нее вроде смерти: то, что умирают другие, даже близкие, — понятно, а вот в то, что умрешь сама, как-то не верится.

Сквозь толстые витринные стекла в грязных потеках была далеко видна ярко освещенная предвечерним солнцем широкая новая улица: майская свежесть газонов, невысокие деревья в дымке молодых листьев, небольшая, но плотно сбитая очередь человек в триста у винного магазина, будто стоящих на пристани в надежде сесть на корабль, что увезет их к спасению; застывшие в глубокой прозрачной тени громады жилых домов, очеловеченные лишь разноцветными постирушками на балконах. А лет двадцать назад здесь дремали в беспамятстве глубокие, дикие овраги, заросшие колючим терновником. Говорят, что в оврагах водились зайцы, но в это сейчас так же трудно поверить, как и в сами овраги.

По дальнему от прокатного пункта тротуару, вдоль темной зелени газона брели к автобусной остановке знакомые старухе богомолки — чисто одетые, в косыночках, туго завязанных под горло, некоторые с палочками, точно стародавние странницы с посохами. Старуха многих из них знала в лицо, здоровалась, называла про себя «вольными бабками» и смотрела на них с завистью. Еще бы не завидовать: у них своя компания, с ними бог! А что она? Как ей сейчас к ним пристать? Как присоединиться? Никогда прежде не ходила она в церковь да и о боге не задумывалась. Так только, когда, бывало, припечет, тогда и взвоешь: «Господи, пронеси! Господи, оборони!» А в нормальные дни не до бога — крутись и крутись. То на камвольной фабрике, где проработала она, считай, всю жизнь среди мокрой шерсти, в грохоте чесальных машин, то дома, то с детьми, то с внуками. В церковь ходят по нынешним временам вольные бабки, а она никогда не была вольною. Лишь теперь, в последние годы, да и то со старичком на шее. Только и думай об его шкоде, только и спасайся. Ночью стала в своей комнате крючок на дверь накидывать: мало чего ему взбредет — возьмет и голову отрежет. Врачиха говорила, такие случаи описаны. Зря, конечно, она это сказала, но уж больно начитанная в своем медицинском деле была врачиха, уж очень хотелось ей разъяснить насчет старческого маразма все до тонкостей. Да, сейчас бы она пошла в церковь, но как? Стыдно вдруг к богу примазываться. А тем более вольные бабки все держатся кучкой, все такие неприступные, с поджатыми губами и с таким видом, как будто знают что-то такое, чего никто не знает. А тут еще ее дураковатое замужество. Правду сказать, если б не последний грех, попросилась бы она к вольным бабкам в компанию. На миру и смерть красна — в народе ничего зря не сказано...

«А что ж, того и гляди, выскочит через два-три года замуж и вполне может привести зятька, — продолжала думать о своей дочери приемщица. — И куда я денусь от зятька, а?» Хоть и хорохорилась она перед старухой, но понимала, что деться ей тоже будет некуда. Вообще она давно заметила, что чем дольше жила на свете, тем больше становилось для нее непонятного. И чтобы не мучить себя невообразимой картиной дочкиного замужества, приемщица стала вспоминать о прочих четырех свадебных платьях, бывших когда-то в ее ведении.

Одно платье утонуло вместе с пьяной невестой в Останкинском пруду.

Второе было залито красным вином и прожжено во многих местах сигаретами, отчего в белом капроне грязно желтели оплавленные дыры.

Третье увезено за рубежи нашей Родины на горячий и пыльный Аравийский полуостров пухленькой блондинкой лет двадцати трех. Приемщица хорошо ее запомнила: бело-розовую, с густо подведенными большими светлыми глазами без зрачков, в золотых серьгах-висюльках, в золотых браслетах на обеих руках, с обручальным кольцом такой толщины, каких она отродясь не видывала. А рядом с большой желтой сумкой на ремне стоял ее темнокожий друг-супруг — щупленький, поменьше ее ростом, в черно-белых лакированных ботинках на высоких каблуках, с быстрыми, маслянисто взблескивающими глазками, которые он потуплял воровато, но в которых опытный человек все-таки мог прочесть: он терпит любые ее выкобенивания, пока не взнуздает, не покроет седлом, не подтянет подпруги. «Достань-ка мои белые туфли! Да не ставь ты сумку на пол, вот бестолочь!» — властно покрикивала она. Он исполнял все ее желания беспрекословно, только сладко жмурился в белозубой улыбке: «Иншаалла*, доберемся до земли правоверных...»

А из четвертого платья, которое по протоколу о списании съели крысы, приемщица — она же завпунктом — как-то однажды, сгоряча, сшила своей дочурке две замечательные балетные пачки для занятий в хореографическом кружке. Те балетные пачки теперь валяются на антресолях их однокомнатной квартирки — балет заброшен дочкой давным-давно. А ведь как танцевала, какая была шустрая, как крутилась на одной ножке, как пыталась ударять о ножку ножкой, как невесомо порхала! А сейчас подпрыгнет — посуда звенит! Боже мой, куда оно все девается? Как это так устроено, что одни и те же атомы превращаются из одного совсем в другое?

«Заседания по производству молока и мяса выполнены успешно», — оговорилось бурчавшее без остановки радио. Но ни старуха, ни приемщица не заметили оплошности — они уже давно не различали многие сложные слова.

Зевнув украдкой от старухи в ладошку, приемщица подивилась, как мало сегодня посетителей, и стала вспоминать тех, кто востребовал последнее, висевшее в быстро темнеющем закутке за ее спиной белое свадебное платье.

Сравнительно живо вспомнила только четырех невест: шатенку, брюнетку, блондинку, русую — она помнила их по масти, а во всем прочем невесты совпадали: сорок шестой размер, третий рост — один и тот же обхват груди, обхват бедер.

Брюнетка была лет двадцати шести, злая, лютая, с вставными зубами. И огни, и воды, и медные трубы запечатлелись на ее припудренном остроносом лице с большой выразительностью. Она так ловко цыкала на своего женишка, так деловито, будто знала наверняка, что «обула» его теперь по всей строгости закона на всю жизнь: никуда он от нее не денется — тут ему и крышка! Женишок был слегка «под мухой», молоденький, розовощекий, видно, только-только переставший потреблять щедро насыщенные бромом солдатские щи да каши. Перестал потреблять успокоительные, и тут же вздыбился весь его молодой организм на женитьбу. Он то и дело приговаривал: «Ништяк, прорвемся!» — и радостно икал от переполнявшего его восторга обладания благоверной.

Приемщица не разделяла этих восторгов, ее так и подмывало подойти и сказать ему на ушко: «Куда же ты лезешь, поросеночек?! Куда ты прешь с голодухи?»

Шатенка была молодая, оплывшая, с предродовыми пятнами на лице, с припухшими губами. Мучаясь токсикозом, все время прижимала ко рту большой носовой платок — видно, ее мутило беспрерывно, отчего взгляд был ошалелый, будто перепугали девушку спросонья и она еще не вполне соображает, в чем дело, что происходит... Жених был невысокий статный мужчина лет тридцати, с маленькой черной бородкой, с рыжеватыми усиками и затравленным выражением голубых ласковых глаз.

— Смотри, как хорошо, — фатой прикроюсь, и очень хорошо! — радовалась невеста пышности и таинственной воздушности свадебного наряда.

— М-гу, — покорно отвечал жених, а в ласковых голубых глазах проскакивали такие лукавые чертики, что было понятно: на языке у него вертится сейчас какая-нибудь не вполне безобидная шутка, и вообще он еще не сломлен окончательно.

Блондинка и ее блондин были очень похожи друг на друга: одинаково сияющие серые глаза, ровные, здоровые зубы, чистые волосы, по живому, текучему блеску которых чувствовались и молодость, и здоровье, и неизжитые запасы душевных сил. У него была грива поменьше, у нее волосы густо ниспадали до пояса, а казалось, подстриги их одинаково — и не сразу поймешь: кто мальчик, а кто девочка. Им было по двадцать лет, и оба были из какого-то приморского городка, то ли Симферополя, то ли Севастополя, то ли Ставрополя, — приемщица сейчас точно не помнила, запало только, что из приморского, блондинка все тарахтела про море, приглашала ее, приемщицу, в гости на лето. Она вообще была из тарахту-

* Если будет угодно аллаху (*арабск.* Прим. автора).

шек. Первым делом доложила, что оба они лимитчики: она работает приемщицей белья в прачечной, а он — шофером поливальной машины.

— Оба связаны с чистотой! — смеялась она, щуря бьющие светом серые глаза. — Мы с горшков знаем друг друга. Да, в детсаду четыре года на горшках рядышком сидели. И в школе за одной партой все десять лет. И до сих пор не надоели друг другу — такие мы, уникальные, ха-ха! Ой, прямо кому ни расскажешь, никто не верит. Только когда его в армию взяли, то я бросилась сюда, к вам в Москву, на разведку. Два года на фабрике-прачечной, сначала на тяжелой работе — на стирке-глажке, там тяжко, некоторые девчонки в обморок хлопаются, а теперь работа у меня легкая — принимай себе грязное, взвешивай, метки смотри. Тепло, светло и мухи не кусают, теперь я, считай, пробилась в люди, ха-ха! Заочно в юридический поступила, чтобы законы знать, хи-хи! Теперь распишемся, комнатку дадут по лимиту, а там родим, и куда они денутся, а?

В ее чистых глазах так непреклонно сверкнуло, что приемщице стало ясно — никуда о н и от нее не денутся, от этой милой юной блондинки. Приемщица была коренная москвичка и потому остро почувствовала, что о н и для блондинки образ собирательный, образ всех тех, кто живет здесь, в столице, своим домом, а не скитается по чужим углам, не жмется по казенным койкам. С точки зрения бездомной блондинки, о н и — хозяева жизни, но ничего, поживем — увидим...

Как и большинство коренных москвичей, приемщица не любила лимитчиков, считала, что их слишком много, что они захватывают лучшие места, лучшие квартиры, в том числе и в самом центре, оттесняя аборигенов в далекие новые джунгли из стекла и бетона. Но блондинка не вызвала у нее антипатии, может быть, потому, что была в некотором роде коллега — тоже приемщица, а скорее всего оттого, что хотя и занималась целыми днями грязным бельем в сыром и теплом подвале на одной из центральных старомосковских улиц, но веяло от нее такой чистотой, такой житейской добротностью и порядочностью, такой отвагой, каких она давно не встречала. Да и мальчишка был у нее славный — так и ловил каждое ее слово, но в то же время не поддакивал, не лез под каблук, держался достойно, осанисто.

— Конечно, если по-людски, то свадебное платье надо бы пошить самой, я и думала его пошить, но нам неожиданно срок перенесли в загсе, а это нас сильно устраивает, — тараторила блондинка. — Мне всегда хотелось в свадебном белом платье, с фатой. Мы всегда так и представляли — только в Москве и чтоб к Вечному огню пойти: у меня дедушка погиб, и у него дедушка. Чтобы все, как у людей, как по телику, ха-ха! И родители приедут, и все будет у нас честь честью! У меня приданого уйма — подушек пятнадцать штук, и все пуховые! И это очень хорошо, потому что мы на одном не остановимся, у нас такой план — родить хотя бы пятерых, а лучше больше, ха-ха! Иначе русский народ переведется, так моя бабушка говорит!

Жених вежливо кивал, подтверждая слова невесты, и было заметно, что он ее обожает...

— А какие красивые названия бывают у церковных праздников! — печально вздохнув, сказала старуха то ли себе самой, то ли приемщице. Провожая взглядом вольных бабок, медленно бредущих к автобусной остановке, старуха вспомнила, как видела недавно у одной из них «Календарь православной церкви» — красный такой журнальчик с белым православным крестиком вверху. Одна бабка держала календарь в руках, а другая заглядывала в него, далеко откидывая голову, и читала вслух названия праздников. Особенно запомнился праздник «Всех святых, в земле Российской просиявших». Как красиво! Та же вольная бабка прочла далее, что это, оказывается, был день перенесения святых мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву.

А приемщица все думала о своем, вспоминала уже другую невесту — темно-русую. Темно-русая запомнилась своей редкой молодостью, на вид ей можно было дать лет пятнадцать, только развитые бедра и ноги выдавали в ней молодую женщину. И едва заметная грудь, и тонкие плечики, и детское ненакрашенное личико с пухлыми губами — все протестовало против замужества. Когда приемщица потребовала у нее паспорт, выяснилось, что подательнице сего исполнилось восемнадцать.

А жених был совсем взрослый мужчина, лет тридцати пяти, с крупными чертами лица, и глаза, кажется, были у него карие, мягкие, лучистые. Такие мужчины всегда нравились приемщице, о похожем она мечтала всю жизнь — о таком же уверенном в себе, добром, большом.

Помнится, когда они пришли, приемщица уже собиралась закрывать и сказала им, что опоздали, что теперь только завтра; еще мелькнула у нее мысль, что, может быть, этим спасет девчонку от раннего замужества. Мало ли, как оно бывает, иногда достаточно пустяка, чтобы поломалось большое дело.

— Нет-нет, нам только сегодня, нам нужно сегодня, мы записаны на утро! — с ужасом лепетала девочка, и глаза ее наполнялись слезами.

— Не огорчайся, достанем в другом месте, — уверенно сказал немолодой жених и нежно прикоснулся к ее тонкому запястью. — Из-под земли, а достанем венчальное платье. — Он улыбнулся приемщице, как бы прощая ее, понимая ее затурканность.

— Зачем же из-под земли? — смутилась приемщица, подумав, что этот действительно достанет. — Мне не жалко, дочка без ключей торчит на улице, а там дождь, сами видите.

— А я на машине, подвезу, — сказал он просто, без заискивания.

Возможность не шлепать по дождю, не душиться в автобусе, не спускаться в паркое подземелье метро мгновенно переборола искушение вмешаться в чужую судьбу, и приемщица согласилась выдать им белое свадебное платье. Они взяли его без примерки.

— Большая у вас дочка? — спросил он в машине.

— Не очень, но рослая, на три года моложе вашей жены.

— Невесты, — мягко поправил он, уверенно проскакивая на желтый глаз светофора.

— Да-да, простите, — сказала приемщица. И вспомнила вскользь о том, о чем не любила вспоминать: о своей первой ночи с мужчиной, о невинности, израсходованной по пьянке. Вспомнила, как кричал этот лысый утром, сворачивая простыню: «Предупреждать надо в таких случаях! Куда я ее теперь? Придется в мусоропровод — скажу: «Не видел — и все». Ну, ты даешь! Сказала б, да разве... Ну, ты даешь!» Да, так было у нее, а вот эта девочка выходит замуж по любви. Приемщица еще застала те дни, когда говорили: «Она честная», или: «Она нечестная!» Такое было разделение. Даже бывший муж попоекнул: «Или я тебя честную взял?» Уверял, что и пить начал по этой причине. И пить, и бить. Где он сейчас куролесит? Лет десять никаких вестей, никаких алиментов. Где, что, под каким стоит магазином? Хорошо, хоть на квартиру не претендовал: сгинул — и все, по-благородному. Она его не разыскивала — сердце подсказывало, что жив-здоров. А раз так, не разыскивала из гордости, не гонялась за его алиментами по всей России. «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!» — пела про него дочка, когда была маленькая.

Как и тогда в машине, защемило сейчас у приемщицы от всех этих воспоминаний сердце, заныла душа: заворошилось все хорошее, на что были когда-то надежды во всей ее многотрудной жизни матери-одиночки...

— Раньше в церкви венчались, как красиво! — сказала старуха, глядя в окно на загородивший богомолок автобус, в который те и должны были взобраться.

— Сейчас тоже венчаются, — отвечала приемщица. — Сейчас с каждым годом все больше и больше венчаются. Возле нашего дома церковь. Туда и с этого микрорайона ездят.

— Надо же! — уныло сказала старуха, думая, как хорошо бы ей все-таки пристать к тем вольным бабкам, которых увез сейчас автобус. Хорошо бы, но как?

По ближнему к окнам тротуару большая толстая старуха в шляпке и грязно-зеленом плюшевом салопе, словно видение из начала двадцатых годов, сопровождала на тонком ременном поводке огромного рыжего кота, настолько зажиревшего, что он не мог повернуть шеи, будто волк, и смотрел своими круглыми глазами прямо перед собой, не мигая.

— Какой толстый, — развеселилась старуха, — регистрированный!

— Ага, кастрированный! — засмеялась приемщица. — Ему не надо жениться, он свои проблемы решил. Чем только люди не занимаются: собак развели, кошек, рыбок. Бесословесная тварь — она дешевле и гадо-

сти тебе не сделает на старости лет никакой,— иронично скривилась приемщица.

— Это неправильно, я думаю,— поддержала ее старуха,— и собакам здесь мучение, и кошкам, и детям от них одна зараза. А куда денешься — всем чего-то живого хочется, всем тепло нужно.

— Запретить на фиг законом! — убежденно сказала приемщица, и ее поблекшие глаза вспыхнули молодо, яростно.

— Да уж, матушка, это слишком! Сколько можно запрещать? Все не запретишь, чего-нибудь да просочится. Водку запретить, собак запретить! Много запретов — тоже нехорошо. На каждый запрет нужно и разрешать чего-то. А из одних запретов жизнь не выстроишь.

— Ничего, перебьются. Что алкаши, что эти собачники и всякие кошечники... От Москвы только за семафор отъедешь, жрать людям нечего, а эти собаки и прочие кошки сколько они съедают, а?!

— А как же свадебное платье — и вдруг напрокат? — сказала старуха, уводя разговор от острой темы.— Оно же должно быть свое, на память оставаться, навечно. У меня и то осталось, хоть простенькое платьице, ситцевое, хоть в дырах, но я не пустила его на тряпки, сберегла.

— Навечно ничего не бывает,— закуривая новую сигарету, сказала приемщица.

Старуха обрадованно последовала ее дурному примеру: дунула в мундштук папироски, чтобы не попали в горло табачные крошки, закурила, затянулась сладостно, с удовольствием.

— Навечно не бывает,— повторила приемщица,— все напрокат. Попользовался — заплати и слазь. Даже сама жизнь и то нам дается во временное пользование,— закончила она по-казенному сухо, как будто читала формуляр описи.

— Да, конечно,— поспешно согласилась старуха, хотя никогда не задумывалась, навечно ей дана жизнь или только попользоваться и сдать. «А что, вот и они мною попользовались, взяли напрокат, а теперь сдали замуж»,— радостно подумала она о детях, оправдывая их поступок общим ходом вещей.

Радио играло бравурную музыку.

Старуха вспомнила о своих губошлепах-внуках, которые никогда не задумываются о ней точно так же, как не задумываются о своих родителях,— только о себе, о своей личной жизни. Года два назад сын Витя сделал им замечание, а они в ответ: «Имеем право, у нас еще год детства!» Тогда им было по пятнадцати, и вот они заявили, что, мол, не доели счастливое детство. Сейчас по семнадцати, а все не доели... Но, может, они правы? Не полностью, частично. Ведь если хорошенько подумать, то каждый имеет право на свою жизнь. Это только ей в голову не приходило, некогда было задуматься. Всю свою жизнь, до копейки, она отдавала то детям, то внукам, то фабрике. Теперь даже дедку полоумному отдает, будто заведенная, даже с удовольствием. Да ведь он чем платит?.. Хорошего мало, но лишь бы войны не было! «Лишь бы войны не было» — это она исповедовала всегда, как самую главную свою веру. Она хорошо помнила и войну, и голод тридцать третьего, и голод сорок шестого. Чего там сравнивать — совсем другая теперь жизнь, ничего общего. Дай бог, пусть так и будет, только бы хорошо, чтобы все-таки улучшалось...

— Так я пойду? — спросила старуха, гася папироску в тускло мерцающей хрустальной пепельнице.

Приемщица не удерживала. Глаза ее были где-то далеко-далеко и от этого прокатного пункта, и от старухи.

Выйдя на улицу, старуха пошла домой дальним, кружным путем. Вечер предстоял долгий, светлый, и коротать его нужно было приноравливаться одной, лично.

«У нее тоже не медовая жизнь,— подумала старуха о приемщице,— а ведь еще молодая, всего хочется». Она вспомнила свою камвольную фабрику, где работали сплошь женщины, многие из них матери-одиночки или вдовы. «Камифольную» или «канифольную» фабрику, как говорили у них. Старуха и до сих пор не подозревала, что «камвол» от немецкого Kammwolle — чесаная шерсть. Так и проработала сорок лет под непонятной вывеской, да разве она одна? Иногда ей и сейчас снятся грохот и скрип чесальных машин, запах мокрой шерсти, мелькание голых по локоть сноровистых женских рук.

Очередь у винного магазина была такая же монолитная, но внутри нее как бы зарождалась морская зыбь, очередь начинало раскачивать — время шло к закрытию магазина, многие нервничали, что им может не достаться спасения, а ведь все вокруг говорят, будто водка помогает от атомов. «Неужели помогает? — подумала о том же старуха.— Чудеса! Но если говорят — значит, знают, так просто не скажут».

Громады домов на той стороне улицы стояли уже в глубокой тени, развешанные на балконах разноцветные постирушки стали от этого ярче, похожие на соты пчелиного улья окна отливали почти черным лаком.

А тем временем приемщица быстро закрыла двери на засов и кинулась в закуток, к висевшему на плечиках свадебному платью в нахолодавшем полиэтиленовом чехле. Минут через пять она стояла перед большим трельяжем в белом подвенечном платье с фатой, и лучи почти скрывшегося за громадами домов майского солнца освещали всю ее, как оказалось, по-девичьи стройную фигуру.

Радио играло марш. Не «Свадебный марш» Мендельсона, но что-то близкое. Глаза приемщицы светились неизжитой жизнью; делая мелкие шажки, она старалась не высовывать из-под длинного белого подола ноги в стоптанных туфлях, старалась не портить картину. Пологие лучи красного закатного солнца падали сквозь широкие, давно не мытые окна прокатного пункта, и тысячи тысяч пылинок дымились в них золотистыми мушками, жили своей жизнью, расшибаясь о кафельные плитки пола, и сладок был солнечный свет, и приятно для глаз было видеть солнце, горящее на подоле подвенечного платья.

●

Леонард ЛАВЛИНСКИЙ

Пять стихотворений

* * *

Глухая ночь. Изгиб реки.
Погоревать о людях не с кем.
Костры вселенной далеки.
И непонятен до тоски
Мой шепот зарослям донецким.
Ау, курганы-старики!
Ушел народ, бесследно канув.
Источник жизни пересох.
От ветра глыбы истуканов
Зарылись по́ уши в песок.

Пенаты Скифии — мертвы.
Но катит буйное заречье
Волну растительной молвы:
Люблю ночное просторечье
Ветвей, колючек и травы.
В степном углу я не пришелец.
И на пороге вечной тьмы —
Вот эти древние холмы,
Земля, роса, преданий шелест
Сольются в кратком слове «мы».

* * *

Я не терплю елейного и постного.
Мои враги — лампадные витии.
Корявы неподдельные апостолы,
Лохматы откровения святые.

Береза, дуб, ветла, иные прочие —
Их изначальной мудрости доверюсь.
Они меня вовеки не морочили
И сами не любили слушать ересь.

Они покой струят бессонным шепотом
И раздвигают горизонты буден.
И долго человеку хорошо потом —
Просторны выси, дольный мир не скуден.

Художник-осень, кистью не крамольничай.
«Какие краски!» — ахает прохожий.
А мне огонь почудится раскольничий,
Самосожженье рощи белокожей.

Шумят леса, роняют искры под ноги,
От холода надолго умирая,
А человек растит мечту о подвиге,
Когда подошвы жжет земля сырая.

Шальных ветров гудит разноголосица,
Но нет вокруг ни копоти, ни смрада —
Благоуханье горькое возносится,
И тихо меркнет зарево распада.

* * *

Клен-детеныш, оротышка, мне по пояс,
До знакомства хоть немного подрасти.
Но протягивает, весел и напорист,
Перламутровую бусину в горсти.

Он корнями угнездился в серой глине.
И судьба его, должно быть, непроста.
Я хотел бы разгадать узоры линий
На ладони широченного листа.

* * *

Снимаем грязное белье
Для грубой стирки.
Отмоем прошлое свое,
Зачиним дырки.

Наденем чистое опять,
И вид опрятен.
Как хорошо, уютно спать:
Мирок без пятен!

Метель

Воронье и непогодь седая,
Снег и табор птичий
Гонят карусель, не соблюдая
Никаких приличий.

Белый конь опасно расковался —
Встрепанная грива —
И танцует нечто вроде вальса
На краю обрыва.

Полюбили ветры свистопляску,
Дикие припевы,
А деревья ожидали сказку
Снежной королевы.

Мне и слабой радости немало:
Вот за склон оврага
Держится, ветвей не обломала
Славная коряга.

Так не надо старую, не надо
Гнуть и рвать на части —
Обновите мех ее наряда,
Звездами украсьте.

Но пургу залетную послушай:
Стонет по России,
Голосит разбойница кликушей —
Мы ее просили?

Донимает воплями с разгона.
Только чуть помешкай —
Наметет под окна три вагона
С маленькой тележкой.

●

Арсений НЕСМЕЛОВ

Из литературного наследия

«Не убежавший от борьбы»

Возвращение советскому читателю поэзии Арсения Несмелова пока не имеет аналогий в журнальных публикациях последних лет. Поэты русского зарубежья, пришедшие на страницы советских журналов первыми — В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович и др.,— были прежде, с одной стороны, нечасто, но ругаемы на тех же страницах (что как бы поддерживало их репутацию). С другой стороны, они были хорошо освоены русскими зарубежными изданиями, и публиковать их можно было по достоверным текстологическим источникам.

Судьба Несмелова — обратная. Его упоминали в СССР, «явного» запрета на него не было: в «Антологии поэзии Дальнего Востока» (Хабаровск, 1967) пять стихотворений Несмелова напечатаны. Не был он и безвестен: Борис Пастернак 26 июня 1924 года писал первой жене, Евгении Владимировне: «Подают книжки стихов с Тихого океана. Почтовая бандероль, Арсений Несмелов, хорошие стихи». Леонид Мартынов в «Литературном обозрении» (1974, № 12) по памяти цитировал куски несмеловской поэмы о декабристах и призывал вернуть поэта читателям. Напротив, маститые литературоведы русского зарубежья неизменно Несмелова ругали: Глеб Струве писал, что на протяжении всего творческого пути «близость к советским поэтам у него осталась: и тематикой, и приемами он сильно отличался от парижских поэтов», а стиль его «напоминал Пастернака и Сельвинского». Ни Иваск (1953), ни Терапиано (1959), ни Чалзма (1978) Несмелова в свои антологии русской зарубежной поэзии не включали. Ни единого издания Несмелова в виде книги не предпринималось: там «не нравился». Наследию поэта угрожала прямая возможность быть утраченным. Сборник, изданный в Харбине до войны тиражом 150 экземпляров,— где теперь найти хоть один? Из двенадцати книг Несмелова одна («Только такие», 1936, под псевдонимом Н. Дозоров) не найдена по сей день. Но значительная часть этого наследия за последние двадцать лет собрана все же была в основном усилиями другого «русского китайского» (с 1953 г.— еще и «бразильского») поэта — Валерия Перелешина. Пересылая мне по листику несмеловские стихи, он писал: «Меня благословил в свое время Арсений. ...Он откликался на Северянина, Некрасова, Маяковского, а я не откликался. Пели мне Баратынский, Тютчев, Ладинский, которых для Арсения как бы и вовсе не бывало. О Лермонтове не говорю: наверное, в отрочестве Арсений им тоже бредил» (9.XII.1972). В изданных в 1987 году в Амстердаме воспоминаниях «Два полустанка» Перелешин пишет о том же: «В своей серьезной поэзии Несмелов стоял ближе к Цветаевой и даже Маяковскому, но никакого фанатизма у него не было. Говаривал, что по методу Пушкин был, в сущности, акмеистом».

А. Несмелов родился в Москве в 1891 году в семье литератора-толстовца И. Митропольского, воспитывался в одном из кадетских корпусов в Лефортове. «Дважды уезжал из Москвы, оба раза — воевать»,— напишет он в единственной сохранившейся автобиографии в 1940 году. После первой книги, вышедшей под

подлинной фамилией (Митропольский) в Москве в 1915 году, три следующих выпустил во Владивостоке, последнюю — «Уступы» — во Владивостоке советском, ибо 14 ноября 1922 года ДВР слилась с СССР, а сборник датирован 1924 годом: именно его получил по почте Пастернак. В том же году бывший белый офицер Несмелов в ответ на не совсем беспочвенный слух, что вот-вот «офицерье к стенке будут ставить», перешел границу и двадцать лет прожил в Харбине.

Об остальном расскажут его стихи. Но читатели должны узнать и о кончине Несмелова. Вот два отрывка. Первый — из все тех же воспоминаний Перелешина, из главы, описывающей август 1945 года, когда советские войска вошли в Харбин и «особо уполномоченные» занялись судьбой белоэмигрантов (сам Перелешин жил тогда в Шанхае, но в Харбине оставалась его мать, журналистка Е. А. Сентянина). «Чтобы никто не ускользнул, они устроили вечер литераторов и журналистов. Пригласили поименно всех. А в конце вечера арестовали всех гостей так же поименно». Добавлю: среди них был и Несмелов. В середине 1970-х годов в не изданных по сей день воспоминаниях другой харбинец, И. Н. П-в., писал:

«Теперь сообщу все, что сохранила память о последних днях Арсения Несмелова. Было это в те зловещие дни сентября 1945 года в Гродеково, где мы были в одной с ним камере. <...> Как это случилось, точно сейчас не помню, но он вдруг потерял сознание (вероятнее всего, случилось это ночью — это я теперь могу предположить как медик), т. е. у него произошло кровоизлияние в мозг — вероятно, на почве гипертонии или глубокого склероза, а вероятнее всего, и того и другого <...>. В таком состоянии он пребывал долго, и все отчаянные попытки обратить на это внимание караула, вызвать врача ни к чему не привели. Я сейчас не помню, как долго он мучился, но постепенно затих — скончался. Все это было на полу — нар не было. И только когда это случилось, караул забил тревогу...»

Поэт Арсений Несмелов умер на родной земле, на полу камеры пересыльной тюрьмы. То же подтвердил и следователь, ведший дело Митропольского-Несмелова-Дозорова (только месяцем смерти он называет ноябрь). Он же сообщил, что добиваться реабилитации поэта нет нужды — тот умер до вынесения приговора.

Несмелов — первый из поэтов-эмигрантов, приходящий к советскому читателю не со страниц зарубежных «Собраний сочинений», а с пожелтевших листков собранного за несколько десятилетий архива. Хочется верить, что не только «больше не отнимут», а и других *истинных* поэтов вернут — даже тех, кого равно миновала и хвала на чужбине, и хула на родине.

Родина

От ветра в ивах было шатко.
Река свивалась в два узла.
И к ней мужицкая лошадка
Возок забрызганный везла.

А за рекой, за ней, в покосах,
Где степь дымила свой пустырь,
Вставал в лучах еще раскосых
Зарозовевший монастырь.

И ныло отдаленным гулом
Почти у самого чела,
Как бы над кучером сутулым
Вилась усталая пчела.

И это утро, обрастая
Тоской, острей которой нет,—
Я снова вижу из Китая
Почти через двенадцать лет.

1932

Разведчики

Всеволоду Иванову

На чердаке, где перья и помет,
Где в щели блики щурились и гасли,
Поставили треногий пулемет
В царапинах и синеватом масле.

Через окно, куда дымился шлях,
Проверили по всаднику наводку
И стали пить из голубых баклаг
Согретую и взболтанную водку.

Потом... Икающе захлебывалась речь
Уродца на треноге в слуховуше...
Уже никто не мог себя сберечь,
И лишь во рту все становилось суше...

И рухнули, обрушившись в огонь,
Который вдруг развеял ветер рыжий.
Как голубь, взвил оторванный погон
И обогнал, крутясь, обломки крыши.

...Но двигались лесами корпуса
Вдоль пепелищ, по выжженному следу,
И облака раздули паруса,
Неся вперед тяжелую победу.

1928

Р. В. 15[1]

Говорит Хабаровск,
Р.В.15,
На волне в семьдесят метров...
Диск
В содрогании замирающих вибраций:
Шорох, треск, писк.

Родина декламировала баритоном актера,
Пела про яблочко, тренькала на мандолинах,
Но в этом сумбуре мы искали шорохов
Родимых полей и лесов родимых.

Но тайга, должно быть, молчание слушала,
Вероятно, поля изошли в молчании.
Нагло лезли в разинутые уши —
Писк, визг, бренчанье.

— Революционная гроза?
Где там!
Давно погасла огнеликая вышка.
Перетряхивал Хабаровск перед целым светом
Мещанских душ барахлишко.

И когда
Панихидой Интернационала
Закончился концерт через полчаса,
Мы услышали —
Лишь далекая зала
Аплодисментами оттрепетала, —
Посторонние голоса.

Родина сказала:
— Покурить оставь-ка!..
И голосом погуще:
— Вались ты к...!

---

[1] Радиостанция, ведшая в конце 20-х гг. из Хабаровска передачи для русского населения Маньчжурии.

И снова несуразица звуков —.
Визг, вой, давка,
Атака спутанных волн,
Идущих в штыки.

Родина! Я уважаю революцию,
Как всякое через, над и за,
Но в вашем сердце уже не бьются,
Уже не вздрагивают ее глаза.

Говорит Хабаровск,
Р.В.15,
На волне...
Родина, бросьте метраж!
Революция идет,
Она приближается,
Но,
Пора сознаться,
Накопляет уже
Обратный стаж.

1931

Наша весна

Еще с Хингана ветер свеж,
Но остро в падях пахнет прелью,
И жизнерадостный мятеж
Дрозды затеяли над елью.

Шумит вода, и, точно медь,
По вечерам заката космы,
По вечерам ревет медведь
И сонно сплетничают сосны.

А в деревнях у детворы,
Раскосой, с ленточками в косах,
Вновь по-весеннему остры
Глаза, кусающие осы.

У пожилых, степенных манз
Идет беседа о посеве,
И свиньи черные у фанз
Ложатся мордами на север.

Земля ворчит, ворчит зерно,
Набухшее в ее утробе.
Все по утрам озарено
Сухою синевою с Гоби.

И скоро бык, манчьжурский бык,
Сбирая воронье и галочь,
Опустит смоляной кадык
Над пашней, чавкающей алчно.

1939

Две тени

«В Москву, — писали предки
В тетради дневников, —
Как зверь, в железной клетке
Доставлен Пугачев».

И тот Емелька в проймы
Железин выл, грозя,
Что ворон-де не пойман,
Что вороненок взят.

И будто, коль не басни,
О полночь, при светце,
Явился после казни
В царицыном дворце.

— Великая царица, —
Сказал, поклон кладя, —
Могу ль угомониться,
Не повидав тебя?

На бунт я села дыбил
И буду жить, пока
Твой род не примет гибель
От гнева мужика.

Сказал. Стеною скрыта,
Тень рухнула из глаз,
На руки фаворита
Царица подалась.

Столетье проклубилось
Над Русью (гул и мгла).
Она с врагами билась,
Мужала и росла.

В боях не был поборон
Ее орел, двуглав,
Но где-то каркал ворон,
Как пес из-за угла.

И две блуждали тени
С заката до утра
От Керчи и Тюмени
До города Петра.

...Болота и равнины,
Уральских гор плечо...
Одна — Екатерина,
Другая — Пугачев.

Одна в степи раздольной
Скликает пугачей,
Другая в сонный Смольный
Сойдет из мглы ночей.

Дворянским дочкам — снится,
Легки, ясны их сны,
И вот императрица
Откроет свой тайник.

Румяна и дородна,
Парик — сребряный шар,
Войдет она свободно
В уснувший дортуар.

Как огненные зерна,
Алмазы. Бровь — дуга.
За ней идет покорно
Осанистый слуга.

Прошла, взглянула мудро,
Качнув, склоняя лик,
Голубоватой пудрой
Осыпанный парик.

Шли годы за годами,
Блуждал лучистый прах,
Внушая классной даме
И пепиньеркам страх.

Но вздрогнул раз от грома
И дортуар, и зал,
У комнаты наркома
Красногвардеец встал.

Он накрест опоясал
На грудь патронташи.
До смены больше часу,
В прохладах ни души.

Глядит: шагает прямо,
Как движущийся свет,
Внушительная дама,
И не скрипит паркет.

Глядит спокойным взором,
И лента на груди.
Дослав патрон затвором,
Шагнул: «Не подходи!»

Но, камень стен смыкая,
Угас фонарь луны...
Ушла, как тень какая,
В пустую грудь стены.

И человек (лобастый,
Лицом полумонгол)
Тяжелое, как заступ,
Перо на миг отвел.

Вопрос из паутины
Табачной просквозит:
— Опять Екатерина
Нам сделала визит?

Усмешкой кумачовой
Встречает чью-то дрожь.
И стал на Пугачева
На миг нарком похож.

Разбойничком над домом
Посвистывала ночь,
Свивая тучи комом
И их бросая прочь.

И в вихре, налетавшем
Как пес из-за угла, —
Рос ворон, исклевавший
Двуглавого орла.

1930

Моим судьям

Часто снится: я в обширной зале...
Слыша поступь тяжкую свою,
Я пройду, куда мне указали,
Сяду на позорную скамью.

Сяду, встану, — много раз поднимут
Господа в мундирах за столом.
Все они с меня покровы снимут,
Буду я стоять в стыде нагом.

Сколько раз они меня заставят
Жизнь мою трясти-перетряхать.
И уйдут. И одного оставят,
А потом как червяка раздавят
Тысячепудовым: р а с с т р е л я т ь!

Заторопит конвоир: «Не мешкай!»
Кто-нибудь вдогонку крикнет: «Гад!»
С никому не нужною усмешкой
Подниму свой непокорный взгляд.

А потом — томительные ночи
Обступившей, непроломной тьмы.
Что́ длиннее, но и что́ короче
Их, рожденных сумраком тюрьмы.

К надписям предшественников — имя
Я прибавлю горькое свое.
Сладостное: «Боже, помяни мя»
Выскоблит тупое острие.

Все земное отжену, оставлю,
Стану сердцем сумрачно-суров,
И как зверь, почувствовавший травлю,
Вздрогну на залязгавший засов.

И без жалоб, судорог, молений,
Не взглянув на злые ваши лбы,
Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений,
Но не убежавший от борьбы!

1942

Вступление и публикация Евг. ВИТКОВСКОГО

Анатолий КУРЧАТКИН

За фасадом «высотки»

Человек рождается, живет и умирает.

Рождения своего он не помнит. Смерть свою, бывает, предчувствует, но никогда мы не узнаем — осознает ли ее.

Для памяти и осознания нам дана лишь средняя часть триады. Собственно жизнь.

«Каким родился, таким и в могилку сойдешь», «Горбатого могила исправит»,— говорят в народе.

И вправду, мы знаем: кто каким был в детстве, тот таким и остается в состоянии взрослом. Нечувствительная жестокость превращается в душевную глухоту и неспособность к состраданию, опасливая осторожность становится гражданской трусостью. Как, равным образом, открытость и доверчивость переходят в доброту и деятельную сострадательность, безоглядность, с которой ребенок ввязывается в драку, заступаясь за своего друга, оборачивается с годами смелостью и самовольной готовностью пойти навстречу опасности.

Все мы это знаем. Все. Оглянемся ли на себя в детстве, приглядимся ли к тем, с кем волею судьбы оказались связаны с малых наших лет до дней сегодняшних.

И вместе с тем... Вместе с тем все мы точно так же знаем, как меняются люди. Социальное, оставляя нетронутыми сами кирпичи, из которых сложено здание нашей личности, так перекладывает это здание, что к смерти мы подходим подчас совсем иными, чем начинали жизненную дорогу.

Не просто учиться способен человек. Не просто перенимать умелость, накопленную до него десятками поколений,— в работе землепашца, сталевара, строителя,— не просто впитывать в себя знания, собранные по крупице в огромные горы этими предшествовавшими поколениями. Человек способен делаться лучше, чем он был замышлен природой. Способен делаться и хуже. Социальное словно бы способно превратить здание его личности или во дворец, восходящий вершинами своих башен к небу, или в жалкий барак, убого прижавшийся к земле в неприглядной корявости своей примитивной формы.

Употребленное мной сравнение человеческой личности со зданием отнюдь не произвольно. Когда, с некоторой бездумностью, как всякую затершуюся от частого употребления словесную формулу, мы произносим: «Архитектура — это застывшая музыка»,— то обычно имеем в виду самый поверхностный смысл этого гениального выражения — некую «музыкальность» архитектуры, иекую мелодику, звучащую в ее линиях,— не вдумываясь в смысл глубинный, внутренний и собственно сущностный. А смысл этот состоит в том, что архитектура — это застывшая музыка человеческой души, каменный слепок ее состояния, ее высоты и низости, ее красоты и безобразия, и если душа угнетена и придавлена, если ей горько и сиро, какой высоты ни заверни строитель свое творение, эти придавленность и горечь проступят в его линиях с некоей высшей бесстрастностью, и наоборот: домик, распластавшийся у самой земли, вдруг окажется словно бы весь просквожен солнечной радостью и счастьем бытия.

Облик окружающих нас зданий — свидетельство своей эпохи, свидетельство того состояния, в котором пребывала человеческая душа, чем мучилась, чем была счастлива, к чему стремилась, от чего жаждала освободиться и, лучалось, что не могла, несмотря на все свои усилия...

Что за «здания» представляет собой современный отечественный человек, обитатель 80-х годов двадцатого столетия, дитя всех наших потрясений, осуществленных замыслов и совершенных ошибок — осуществленных и совершенных подчас задолго до его рождения,— собственно, мы все сами, все без исключения, потому что ни одно здание не существует само по себе, не может быть вычлененo из ансамбля и в безобразии может утонуть даже самая высокая красота?

Образы, возникающие в нашем сознании, не контролируемы им, они зарождаются на уровне подсознания, подкорки, они безотчетны и выдают нам всю правду о нас. Самая страшная, ужасающая меня правда о нас — и о самом себе, значит, тоже — состоит в том, что при ответе на этот вопрос о здании подкорка рождает во мне два противоположных образа: сооруженные в эпоху «зрелого» сталинизма высотные московские здания и начавшие наводнять нашу землю двумя десятилетиями раньше и так до сих пор не схлынувшие с нее те самые помянутые мной раньше пресловутые бараки.

Человеческая жизнь жаждет цели и смысла. Пустое, когда говорят про человека: живет без цели и смысла. Это лишь значит, что без высокой цели, без высокого смысла. Это лишь значит, что цель его жизни — обойтись без высокой цели, а смысл ее — не утруждать себя каким бы то ни было высоким смыслом, живя, как живется.

Цель человеческой жизни всегда должна быть конкретной и реальной, а смысл осязаемым. Жизнь ради будущего, ради следующих поколений, когда человек отказывает себе в самых необходимых своих потребностях, возможна лишь тогда, когда он воочию видит вокруг те благотворные изменения, которые происходят благодаря его «отказу». Не было отечественных тракторов — и появились. Не производили автомобилей — и вот начали. Не летали в стратосферу — и полетели. А если тракторов и автомобилей этих — тысячи, если в стратосферу, и не только в нее, а в космос летают и летают, то это перестает быть целью, как перестает быть целью для голодного человека еда, когда у него становится ее достаточно.

И точно так же обесцениваются те законы человеческого общежития, следование которым и наполняет человеческую жизнь смыслом, когда, будучи декларируемы, они перестают работать. Они декларируются, но не работают, жизнь по ним не приносит больше желаемого осязаемого результата — и утрачивает смысл. Что проку в заповеди «не укради», когда честным путем не достанешь краски для ремонта в доме, что толку не творить себе кумира, когда вокруг правят бал славословие и обыкновенное лизоблюдство.

Утрата истинных цели и смысла человеком вызывает замещение их суррогатами, ценности подлинные замещаются фальшивыми, и все это в итоге приводит к деформации здания человеческой личности, расшатыванию его фундамента, а то и к полному разрушению.

Необходимость конкретности жизненных целей и осязаемости смысла для человека всегда необыкновенно тонко чувствовали все религии. Учение о загробной жизни в христианстве и заповеди Божии, по которым надлежит жить христианину, дабы вкусить Божьей благодати,— наиболее близкий тому пример.

Нашим обществом эти фундаментальнейшие понятия цели и смысла в человеческой жизни в определенный исторический миг оказались утрачены. В свою пору жизнь общества оказалась полностью подчинена государственным интересам, сведена к задачам наилучшего функционирования государственного механизма,— так что в сознании многих людей слова «общество» и «государство» стали ныне практически идентичны.

Между тем институт государства по природе своей консервативен, схватив обручами порядка и законов определенную общественную форму, он стремится к «навечному» ее сохранению и часто — вопреки логике жизни, вопреки ее вопящим нуждам и требованиям. Общество может быть тождественно государству в моменты великих потрясений и опасности, когда все его интересы сосредоточиваются на одном: сохраниться, выжить, не погибнуть. Когда такой момент остается позади, а государство, пользуясь своей мощью, тем не менее не выпускает общество из железных объятий, требуя подчинения всех его функций лишь собственным, узкогосударственным функциям, общество, неосознанно для себя, начинает сопротивляться государству: утратой высоких целей, забвением высокого смысла — разменом благородного металла высоких идей на медяки меркантильных, бытовых интересов. Потому что человек, еди-

ница общества, малая его песчинка, перестает ощущать прежние цели как действительно реальные, они утрачивают для него конкретность, необходимость, он ощущает реальными и необходимыми совсем другие цели — но возможности реализовать их лишен. «Догоним и перегоним Америку по выплавке стали на душу населения»,— зовет его государство, но человек уже не воспринимает это как цель. Ибо он знает, что это цель, которую надо было решать вчера, а сегодня надо решать иную: догонять не по количеству, а подтягиваться по качеству. Однако, лишенный свободы волеизъявления, а тем более действий, через некоторое время он вообще перестает интересоваться большими общественными целями, погружаясь в мирок целей маленьких, мелких, эгоистичных.

И можно ли винить в том человека?

О стихии приписок в промышленности и сельском хозяйстве, о диктатуре иных, еще недавно облеченных самой высшей властью руководителей, приводившей к прямым преступлениям против государства и общества,— обо всем этом в виде конкретнейших фактов за последние три года мы узнали весьма немало. Фактов этих даже с избытком.

Чего недостает — их анализа.

Не общей ситуации, анализ которой дан еще на последнем съезде партии, а анализа именно этих, конкретных фактов.

У каждого из нас есть свой, личный подобный факт. А то и два. И три. И четыре...

Вот один из моих.

Кто бывал на Урале, тот знает, что нет на его горах поселения, где бы не возвышались заменою прежних церковных колоколен трубы промышленных предприятий. Впрочем, завод, о котором речь, расположен вовсе не в каком-нибудь захолустье, куда добираться — и в погожую погоду не доберешься, а в городе, население которого—добрых сто тысяч, да и сам завод, хотя и не гигант вроде «Уралмаша», однако весьма приличных размеров.

В начале 70-х на этом заводе начали строить новый цех. К означенному сроку (до того уже не одиажды переносимому) цех, как водится, не построили. Причем не просто не построили, но сумели истратить деньги, отпущенные на строительство, на какие-то другие производственные нужды. Наверх же, в министерство, руководство завода отрапортовало о цехе как о готовом к производству. И заводу, естественно, спустили план, рассчитанный на этот цех.

Должно быть, отчитываясь о цехе как о готовом, руководство завода надеялось исхитриться и в самом непродолжительном времени цех достроить. Но достроить не удалось. План, спущенный заводу, оказался таким большим, что до цеха просто-напросто не дошли руки, все силы ухнули на то, чтобы вытянуть этот неподъемный план.

На будущий год заводу спустили, как это водится, новый план — «от достигнутого». И на следующий год, и на следующий... Каждый год план увеличивался, и каждый год выполнялся он ценой неимоверных человеческих усилий, ценой проедания основных производственных фондов, выполнялся, наконец, при помощи приписок, когда еще месяц-другой-третий в новом году работали в счет года предыдущего. И так не два, не три года, а с лишком десять лет! Пока не загнали завод, как лошадь.

Любопытно отметить, что при всем при этом из года в год не за то, так за это завод исправно получал переходящее Красное знамя. Но самое поразительное во всей этой ситуации другое. О том, что цех не пущен, что никакой продукции он не дает, в министерстве знали. Знали — и продолжали каждый год спускать план «от достигнутого». Предпочитали делать вид, будто ничего о том цехе неизвестно, а уж как вы там на месте выкручиваетесь — ваше дело. Назвались груздем — полезайте в кузов.

Могли ли эти товарищи из министерства не догадываться, к каким последствиям приведет завод подобное перенапряжение сил? Нет, не могли. Не просто обо всем прекрасно догадывались, а прекрасно знали, к чему приведет. И не было им, облеченным властью и высшим, как говорится, народным доверием, никакого дела до этих последствий.

Не было дела им, не было руководству завода.

Внутреннее уродство всех этих людей, «барачность» их духовного естества несомненна.

Но откуда он, этот барак, вместо того прекрасного, светлого дворца, который бы должен был стоять на его месте, возведение которого и мыслилось как отечественным, так и иноземным мечтателям минувшего века главной задачей исторического прогресса?

Известное дело: сорняк расцветает на заброшенной земле. Возделывание культурных растений требует огромных усилий, требует непрестанного вкладывания труда; перестань поливать тяжким потом культурную ниву — и через несколько лет от былой ее культурности не останется и следа. Мы долгое время жили в обществе, которое обращалось с собой не как с культурным полем, а как с некоей залежью, что не нуждается ни в каком обиходе. Но от залежной земли в природе никто не требует урожая культурвых злаков. У нас же с того самого человеческого поля, где не пахали, не сеяли, хотели собирать именно урожаи культурных злаков. Причем не какие-нибудь там простые, а непременно рекордные.

Чувство ответственности, о котором так много говорится уже добрые два десятка лет, о котором до того много говорится, что у любого нормального человека при одном поминании этого словосочетания начинается нечто вроде аллергии, не может рождаться в человеке само по себе, произвольно. Человеческую жизнь формируют заложенные в нем инстинкты, и вся культурная человеческая «надстройка» покоится на них, как на фундаменте. Невозможно возвести стены без опоры, невидимо покоящейся в глубине земли. Они рухнут. Каждый это знает. И, однако же, чувство ответственности — то, высшее «надстроечное» чувство, когда интересы общего становятся существеннее узколичного, потому как вбирают в себя это личное в качестве частного,— долгое время пытались у нас формировать в человеке без опоры на фундаментальнейшие основы его психики. Государство, присвоив себе все функции общества, тем самым лишило человека чувства свободы, главнейшего чувства, из которого, как река из ручья, проистекает и это самое чувство ответственности. Результат подобного присвоения сказался не сразу. Однако он был уже различим острым глазом и тридцать лет назад, а к нашим дням выступил с рельефной отчетливостью.

Чувство несвободы сковывает, выпивает свежие соки души, иссушая ее и огрубляя. Ответственность предполагает срывы и ошибки в действиях человека, они невольны и неизбежны на пути к истинным решениям. Но если эти срывы и ошибки объявляются то вредительством, то уголовным преступлением или, в лучшем случае, административным проступком, то есть если человек оказывается стиснут, сжат со всех сторон угрозой наказания, придавлен чувством страха за последствия любой несанкционированной «сверху» инициативы, то ни о какой ответственности тут уже говорить не приходится. На месте ее рождается ее антипод: безответственность.

Человеческая душа, чтобы не зарастать бурьяном низких чувств и низменных страстей, должна постоянно в о з д е л ы в а т ь с я, должна постоянно п о д к а р м л и в а т ь с я, беря питание из той самой атмосферы жизни, в которую погружена. Но бывает так, что атмосфера окружающей жизни не дает ей никакого питания. Подобное происходит тогда, когда разрыв между декларируемыми общественными ценностями и их реальным воплощением оказывается слишком велик.

Степень этого разрыва достигла у нас в годы «застоя» критической величины.

А в результате как следствие критической величины достигла и степень а к у л ь т у р н о с т и общества.

Разрыв между декларируемым принципом и его жизненным воплощением до сих пор дает у нас знать о себе буквально на каждом шагу.

«Советское — значит отличное» — бытовал еще недавно такой лозунг. Хороший в принципе лозунг, и вовсе он не был придуман для камуфлирования низкого качества продукции нашей промышленности. Предполагалось, что он должен активизировать человека, поднимать его рабочий дух, способствовать его ориентации на выпуск продукции качественной.

А вместе с тем, как мы все сейчас прекрасно знаем (да и раньше знали!), вся наша хозяйственная система была запрограммирована на выпуск продукции именно некачественной. Помню, как несколько лет назад пришел в свой родной цех на помянутом уже мной Уралмашзаводе, в котором четверть века

назад работал фрезеровщиком. Станок, на котором я работал, по-прежнему стоял на своем месте и исправно выстреливал из-под режущей головки дымящимися синеватыми полукольцами стружки. Рядом стояли новые станки, по внешнему виду не особо отличающиеся от моего «старичка», но с пультом управления, свидетельствовавшим об управлении электронном. И вот половина из этих новых станков отдыхала, несмотря на то, что дело происходило в первую, дневную смену. Я спросил, что случилось. «Электроника, чтоб ее! — был мне ответ, и краткость его подразумевала недоумение по моему поводу: что ж тут непонятного, раз станки с электроникой.— На таких вон только,— последовал кивок в сторону моего «старичка»,— и вытягиваем план».

«...План! Выполнить план любой ценой!» — заклинание это превратилось в некое чудовище, начавшее пожирать нас со всевозрастающей быстротой. На том же родном Уралмашзаводе, присутствуя на летучке в кабинете начальника производства, я стал свидетелем, как едва не подрались два начальника цеха: механического и сборочного. Дело было в том, что механический цех, выполняя «свой», цеховой план, умудрялся поставлять сборочному какие-то важные, необходимые детали дважды. Делалось это самым простым, древним как мир способом. В дневную ли, в вечернюю ли смену детали доставлялись в сборочный цех на площадку складирования, оприходовались там, а в ночную смену, когда народу в цехе мало да и освещение оставляет, как говорится, желать лучшего, мастер из механического, прихватив с собой пару рабочих покрепче, приезжал к этой площадке с тележкой, нагружал ее сданными деталями, а утром эти детали везли сдавать по второму разу. То, что бумажное количество деталей не соответствовало действительному, что собрать узел машины было невозможно, потому что не из чего, руководителей механического цеха не очень заботило. Конечный результат их не волновал. Их волновало одно: «свой», цеховой план, за который они только и несли ответственность. Именно «несли», а не чувствовали; несли под страхом, расширительно говоря, наказания — снятия с должности, партийного выговора, лишения премии,— несли под страхом утраты завоеванных жизненных позиций. И потому начальник механического цеха на летучке не испытывал никаких угрызений совести из-за происшедшего, отметал все обвинения в свой адрес, а когда его приперли фактами к стенке, ответил: «Ну так ставьте тогда сторожа у себя!»

Работа ради о т ч е т а сделалась сутью труда многих тысяч и тысяч людей в самых различных сферах общественной жизнедеятельности. Ради отчета работает продавец, потому что в условиях дефицита и очередей свою зарплату он получит в любом случае. Ради отчета работает строитель — и все по причине того же дефицита и очередей на получение жилой площади. Ради отчета ведет прием стоматолог: качество его работы оценивается не по тому, насколько долго стоит поставленная им пломба, насколько редко обращаются к нему его пациенты, а по тому, насколько много примет он больных. Ради отчета работают колхозник, инженер, партийный функционер, ученый, прокурор, следователь...

Все мы безмерно устали от этой повсеместной, повсюдной работы «для отчета». Как мы боимся покупать новые холодильники, телевизоры, радиоприемники, телефоны и прочую необходимую в современном быту технику, потому что уже знаем, научены: сломаются не через день, так через месяц. С каким отвращением покупаем мы в магазинах тот несъедобный продукт, что называется «колбасой вареной», или же кислый, даже в свежем виде неприятный на вкус хлеб, который на следующий день вообще уже нужно выбрасывать. Но покупаем! Выбора-то нет.

Впрочем, бог с ними, с холодильниками и приемниками,— вроде бы их качество не влияет на здоровье человека впрямую. Оставим разговор и об этой ужасной колбасе и скверном хлебе, хотя их воздействие на здоровье несомненно, разве что не явно.

Физическая и психическая полноценность подрастающего поколения — вот проблема, что год от году становится все горячее и температура ее возрастает в геометрической прогрессии.

Здоровье подрастающего поколения — это в полном смысле слова здоровье завтрашнего общества. Залог его процветания и достижений. Нездоровье подрастающего поколения — это залог будущих бед общества, его ослабления и упадка. Растить недостаточно здоровое в основной своей массе поколение — это жить взаймы, жить за счет него, этого подрастающего поколения, за счет будущего своей страны.

Ныне общепризнано, всеми понято, всеми вроде усвоено: для современного ребенка, особенно городского, лишенного в силу специфического городского существования подвижности и воздуха да еще прикованного на целый день в согбенном положении к столу школьными уроками и домашними заданиями, занятия спортом обязательны. Спорт для него — это здоровье. Не тот спорт, что непременно ориентирован на разряды и на рекорды, а тот, что дает его растущему организму необходимую физическую нагрузку, заставляет легкие дышать во весь свой объем, а мышцы расти и крепнуть.

Однако и тут, в этом деле—в деле первостатейной общественно-государственной важности! — властвует все тот же принцип работы «для отчета». Ведь спортом у нас может заниматься лишь тот ребенок, что «перспективен», который может все улучшать и улучшать свой разряд, участвовать во все более и более высоких соревнованиях, то есть который удобен для о т ч е т а. Выжить из секции «неудобных» у каждого тренера есть тьма способов, и вовсе тренеру не обязательно говорить такому «неудобному»: «А покинь-ка ты, братец, секцию, ты неперспективен». Достаточно перестать обращать на ребенка внимание, оставлять его сидеть на скамейке, когда все играют на площадке с мячом, а то и просто постоянно унижать его — и дело сделано, ребенок оставит секцию сам.

И сколько уж лет, как осознана наша спортивная «проблема», сколько уж лет говорится и пишется, что спорт наконец должен стать доступен всем, а воз в соответствии с тем самым законом и ныне стоит все на прежнем месте. И как ему не стоять, если бассейнов не хватает, спортивных залов не хватает, к кортам даже близко не подойдешь, а работу тренера все так же меряют «отчетом» — и лишь!

Любое негативное явление у нас, какое ни возьми, в какую сферу жизни ни загляни, есть проявление разрыва между декларируемыми принципами и их реальным, жизненным воплощением. Уничтожить этот разрыв возможно только одним способом: повышением культурности общественной атмосферы, устранением из нашего общественного сознания и бытия того заскорузлого, темного взгляда на культуру, который видит в ней лишь некую обременительную нагрузку к экономике, непонятно для чего существующую, лишь некое недоразумение, оставшееся нам от «проклятого прошлого».

«Культура не нужна!» Никто такого лозунга, разумеется, не выбрасывал. И однако же пышным цветом расцвело отдающее каким-то сальным, жирным привкусом понятие «престижность», по всей своей сути противоположное понятию «культура». Престижно, не скрываясь, воровать на глазах у всего общества и жить на широкую ногу. Престижно использовать свое высокое «кресло» в сугубо личных целях, устраивать благодаря ему своих детей в полузакрытые, элитарные вузы, а после сажать их на теплые, синекурные «местечки». Престижно ездить за границу и затем не стесняясь спекулировать одеждой, обувью, радиоаппаратурой...

Но, слава богу, этот заскорузлый, темный взгляд на культуру в последнюю (самую последнюю!) пору начал у нас понемногу изживаться. Тому свидетельством—пробы демократических выборов, съезд неформальных общественных объединений, прошедший в Москве год назад, свобода дискуссий, попытки возродить предпринимательскую деятельность, а также и открытие новых театров, публикация книг и демонстрация фильмов, ранее считавшихся «вредными».

Да, и попытки возрождения предпринимательской деятельности, и публикация лежавших в столах книг — это все явления одного порядка. Потому что культура — это не просто совокупность произведений различных видов искусств. Культура — это прежде всего та система ценностей, что исповедует общество, и его способность действительно следовать им. Культурное общество — то общество, которое понимает законы, им и человеком управляющие, понимает и живет по этим законам, не пытаясь деформировать их, дабы приспособить под какие-то свои умозрительные представления.

Те, кто утверждает, что наше общество, встав на путь перестройки, находится лишь в самом начале этого пути, безусловно, правы. Слишком велика степень деформации объективных законов общественной жизни, слишком большая работа должна произойти, чтобы вернуть общественному сознанию и бытию истинный облик этих законов. А без восстановления истинного их

облика, без укоренения его в общественном сознании мы не решим никаких поставленных перед нами задач. И прежде всего задач экономического возрождения. Экономическое возрождение невозможно без возрождения человеческой души. А чтобы душа возродилась, она должна ощутить свободу чувствовать и понимать мир таким, каким он действительно является, а не таким, каким бы его хотелось видеть чиновникам государственной машины, возложившим на себя миссию и водителей, и механиков этой машины одновременно, хотя понятно, что рук у человека только две и вести машину и ремонтировать ее на ходу невозможно. Чтобы душа возродилась, в ней должен быть сломан барак, едва-едва прикрытый картонным фасадом высотного здания,— барак придавленности, страха, боязни любой инициативы. Трудно жить с бараком внутри себя, а в какой-то момент и просто-напросто невыносимо уже становится, руки опускаются у человека с душой-бараком, страшен он себе и отвратителен делается. И, убегая от своего страха, окунается в водку и разгул, разрушает там, где надо бы строить... Вот понимаем ли мы это в полной мере, какое место занимает она, душа, в тех процессах, что идут сейчас в нашем обществе, осознаем ли по-настоящему?

Боюсь, что если и понимаем, то неотчетливо, может быть, и осознаем кое-что, но далеко не до конца.

В атеистической нашей жизни нет ныне такого понятия, как грех.

Преступник, убивец, злодей, знаем мы по различным старым историям, не ведавший в течение долгих лет ни угрызений совести, ни душевных мук, вдруг в какой-то жуткий миг просветления осознавал, чтó он сотворил со своей жизнью, в какой страшный грех вверг свою душу,— и шел в монастырь с покаянием. Не страх божий совершал в нем этот переворот, потому что никакого страха он никогда не знал, а именно обрушившееся на него чувство греха. Этот преступник, убивец, злодей независимо от своей воли жил в мире определенной культуры — религиозной культуры,— и независимо от его воли в душе его, заваленные мусором низких страстей и низменных желаний, гнездились знание и понимание цели и смысла человеческой жизни. Он даже ни сном ни духом о том не ведал, совершенно не подозревал о том,— а понимание это в нем жило. Жило и ждало своего часа, чтобы обрушиться на него тем самым чувством греха.

Без чувства греха невозможно покаяние. А без покаяния — не словесно-наружного, подчас вынужденного обстоятельствами, а внутреннего, того, что называется духовным переворотом,— невозможно и перерождение души. Невозможна перестройка барака внутри нее во что-то иное, светлое и устремленное ввысь.

Но из чего ему взойти в душе современного человека, этому чувству греха?

А все из того же: из знания душой цели и смысла человеческой жизни. Инстинктивно-слепого, быть может, неотчетливо проявленного для сознания и тем не менее руководящего человеком с неукоснительной твердостью и силой. Знание это будет тем более крепко, чем выше будет становиться культурность общественной атмосферы. Ведь повышение культурности есть не что иное, как устранение того самого разрыва между декларируемыми ценностями и их реальным, жизненным воплощением.

И не служение ли будущему действительно является одной из главнейших целей нашей лишенной божественного начала, атеистической жизни? Правда, эта формула служения основательно дискредитирована прошлыми годами, когда государственное нежелание думать о человеке, насильственное ограничение его в самых естественных потребностях прикрывалось именно высокими словами заботы о будущем.

Но разве мы не любим наших детей? Разве нам не хочется, чтобы они жили лучше нас, счастливее нас, наполненнее? А это значит, что мы должны передать им общество в лучшем состоянии, чем приняли его в свои руки. И речь о всех детях, чужих и родных, всех, а не только своих собственных. Потому что забота об одних своих детях неуклонно ведет в масштабах всего общества к его обнищанию — и духовному и материальному,— и оттого, думая о лучшей жизни только для своих детей, мы тем вернее и надежнее ухудшаем ее. Лишь забота о лучшей жизни для всего поколения, что следует за нами, может по-

настоящему обеспечить более высокий уровень жизни и нашим собственным детям.

А стремясь к подобному, человек и внутри себя будет дотягиваться до себя лучшего, что существует в нем, до себя высшего. И разве это не может быть смыслом человеческой жизни: уйти из нее лучшим, чем пришел? Преодолеть в себе низкое и грязное, изжить порочное, эгоистическое...

Право, это не такой уж малый смысл—уйти из жизни лучшим, чем пришел в нее. Ведь становясь лучше сам, человек передает своим детям таким образом мир, в котором жил, лучшим ровно настолько, насколько он сам лучше и сделался.

И следует же всем нам, наконец, помнить, не забывать и не бояться почаще говорить об этом: человек рождается, живет и умирает.

Рождается он голым и, как считается, чистым, словно лист бумаги. Умирает, уходит в свое последнее, земляное жилье, хотя и одетым, снова чистым, как начинал,— смертью смываются все письмена, остается лишь память о нем, жившем, среди продолжающих жить.

Что в ней, в памяти? Проходят годы, и стираются в ней черты ушедшего, забывается, членом каких комиссий он был, кем избирался, какую должность занимал и всякое подобное, остается — каким он был человеком. Добрым или злым, честным или корыстным, смелым или трусливым, лизоблюдом или порядочным... Сущность человеческая остается в памяти. За это и помнят. Это в разговорах о нем и поминают.

И вот ведь что странно: нам ведь, хотя и смываются после смерти все письмена, вовсе не все равно, как будут вспоминать о нас. Почему-то нам хочется, чтобы вспоминали о нас по-доброму, чтобы слова «о мертвых или хорошо, или ничего» имели бы отношение к нам первой своей частью, а не последней.

Задавайся мы этим вопросом — как вспомнят? — мир, может быть, был бы ныне намного ближе к вожделенному нами «мировому братству». Но мы не задаемся.

Почему?

Возможно, потому, что, живя, мы не думаем о смерти. О жизни думаем. О достижении тех целей, которые ставит перед нами она, жизнь. Об исполнении тех обязанностей, которые налагаются на нас ею, жизнью. О достойной, наконец, нашего представления жизни—при ней, при жизни, а не после нее, в загробной, в которую мы теперь не верим...

И, однако же, она продолжается, наша жизнь, после смерти. Что из того, что мы не знаем о ней. Она продолжается.

И возлагая вину за нынешнее наше «барачное» состояние на сложившиеся условия и обстоятельства, мы не должны забывать, что вина за это наше состояние есть и на нас самих.

Задавай мы себе этот вопрос — как вспомнят нас после нас? — возможно, мы бы не оказались так некрепки, столь нестойки перед напором обстоятельств. Что говорить, предстать перед глазами поколения, что придет после нас, такими, какие мы сейчас есть, вовсе не радостно. Да чего там «не радостно»! Горько.

К счастью, нынешнее время дает нам всем шанс сложить в себе иную «застывшую музыку»...

Неужели мы упустим его?

●

ПЛАТОНОВ СЕГОДНЯ

Инна РОСТОВЦЕВА

У человеческого сердца

Возвращение Андрея Платонова... Не предугадано ли оно в самом художественном мире писателя, где происходит постоянное возвращение человека к самому себе, к своей человеческой сущности, к человеку человечному?

И не оставалось ли нам только извлечь это социально-философское явление из недр самобытной, не знающей себе аналога в отечественной литературе художественной системы? И, поскольку неизвестные ранее произведения этого писателя пришли к нам одновременно с рядом возвращенных в литературу старых и новых ценностей, не спешить тут же непреложно поставить это в заслугу своему времени. Себе, социально мыслящим, прогрессивным, доросшим до понимания «Ювенильного моря», «Котлована» и «Чевенгура». И менее всего ставящим это в заслугу художественной ценности как таковой, объективной реальности, созданной в 30-е годы, пережившей годы своего создания, смерть творца, преодолевшей время и пространство и явившей в 80-е свежесть и новизну современного произведения.

Не лучше ли, на наш взгляд, не искать дополнительных преимуществ в нашем хорошем времени (а они не столь уж велики, ибо, выражаясь газетным языком, дефицит милосердия, присущий ему,— установленный и недоуменно-горестно признанный нами всеми факт), а подумать о внутренних основаниях оставленной нам художественной мысли. Что в ее сплаве оказалось не только необходимым для нас, но и незаменимым ничем иным?..

Многие обратили внимание на суждение писателя в записной книжке (запись 1931—1933 гг.): «Писать надо не талантом, а «человечностью» — прямым чувством жизни». Но «прямое чувство жизни» (когда его пытаются раскрыть и объяснить) в понимании наших современников все-таки чаще всего сводится к загадке слова. «... «нечаянному» и вечному совершенству Андрея Платонова», как это формулирует Виктор Чалмаев в предисловии к недавно вышедшей книге Платонова «Государственный житель» (Проза. Ранние сочинения. Письма). В том, как прицельно старается критик разгадать загадку платоновского слова, представить читателю, *как* художник писал («...А между тем писал Андрей Платонов как будто нарочито «тихо», не пробуя никого вокруг себя перекричать. Никаких дредноутов, грандиозных взрывов, криков... И вслушивался он, подлинный волшебник слова, перебиравший «четки мудрости златой» (Пушкин) не в звучание фраз, а в сложную мелодию, в тревожные вариации мысли, повелительно-глубокой, неизменно оригинальной, часто афористически законченной») — кроется все же некая, на мой взгляд, односторонность представлений об искусстве прозы, воспитанная отчасти сегодняшней беллетристикой, отчасти общим мышлением критики, нацеленным именно на «феномен прозы», с ее «шокирующей наше будничное сознание обратной перспективой» (Н. Иванова)...

Между тем оригинальность как таковая, своеобразие, выражающееся в необычном слове, равно как и шокирование читателя словом, не составляла цели и намерения этого автора, не определяла его нравственного сознания, не входила в первостепенную шкалу оценок и критериев художественной ценности. Не феномен прозы, а феномен человека, человеческая индивидуальность во всем разнообразии ее неповторимых черт и свойств, «с колеблющейся зоной индивидуальных надежд» (Тейяр де Шарден) — вот принятый Платоновым для себя еще в ранние годы круг размышления, уровень сознания, который он никогда не покидал, не поддаваясь требованиям сиюминутной злободневности.

И здесь мы, осмысляющие и прочитывающие его, где-то расходимся с ним, отдавая предпочтение тактике, эстетике, а не стратегии творческого пути (философии). Достаточно внимательнейшим образом прочесть отзыв на рассказы Александра Грина, впервые опубликованный 50 лет тому назад в журнале «Литературное обозрение» (1938, № 4) и входящий в книгу «Размышления читателя» (1970). Он примечателен тем, что Платонов — сам своеобразный писатель — пишет так же о писателе, чье своеобразие и оригинальность общепризнаны. Его суждения не умаляют значения Грина, как показалось гриноведам, вступившимся за автора «Алых парусов», а резче проясняют те художественные цели, которые ставил перед собой Платонов. Доставить читателю удовольствие — этого, по Платонову, для писателя мало, он должен быть способен своим произведением дать читателю «ту глубокую радость, которая равноценна помощи в жизни».

Из контекста статьи ясно, что понятие «удовольствие» для него заключено именно «в поэтическом языке автора, в светлой энергии его стиля, в воодушевленной фантазии». И когда сегодня ты сам, не удержавшись, выписываешь из произведений писателя примеры, где проявляются «поэтический язык автора», «светлая энергия его стиля», «воодушевленная фантазия»,— то ловишь себя на мысли, что не смог преодолеть искуса удовольствия, остановился в начале пути познания писателя, постижения даруемой им глубокой радости, которая равноценна помощи в жизни.

На каком отрезке, в какой точке пути к Платонову мы, читатели, можем испытать эту глубокую радость, равноценную помощи в жизни? Почувствовать «силу дрожащих, нуждающихся, не абсолютно прекрасных человеческих сердец»? Тихую победу, одерживаемую платоновскими героями, не освобожденными автором от «всякой скверной конкретности окружающего мира»? Автором, избравшим для себя самое трудное положение по отношению к своим героям, а таким автором и был Платонов, «когда герои его находятся у него в руках настолько же, насколько он сам находится в их руках». Ведь, по глубокому убеждению писателя, абсолютная свобода обращения автора со своими персонажами к добру, к созданию глубокого произведения не ведет. Необходимо представить себе направление пути по отношению к содержанию эпохи, к основному философскому нерву XX века. (Этот нерв пролегал в работах французского ученого Тейяра де Шардена, выделившего «феномен человека» и открыто заявившего что «с возникновением «личности», наделенной путем «персонализации» способностью к бесконечной индивидуальной эволюции, ветвь перестает нести будущее исключительно в своем безликом целом», как и в трудах Владимира Вернадского, впервые обосновавшего идею автотрофности человека и прямо утверждавшего в одном из писем 20-х годов, что «самовыражение каждой личности есть неслучайный и небезразличный факт в мироздании».)

Платонов остро чувствовал, где проходит напряжение эпохи, выразившейся в драматической борьбе разума и чувства, духовного и природного начал в человеке, эгоизма и альтруизма, в самой экзистенциальной постановке проблемы: «в чем же состоит истинное достоинство современного человека, то есть открыть и изобразить того человека, который был бы приемлем для других и выносим для самого себя».

Именно так он определяет для себя — читателя и критика — основную идею романов «Прощай, оружие» и «Иметь и не иметь» Эрнеста Хемингуэя.

Отыскать «выход в счастье» — была и его, писателя Платонова, человеческая и художественная задача.

К тому времени — конец 30-х годов,— Платонов, уроженец Ямской слободы Воронежской губернии, человек из провинции, вступил в диалог с мировой литературой. А именно так следует понимать его критические статьи и рецензии в тогдашних журналах «Литературный критик», «Детская литература» (часто под псевдонимом) по поводу романов Э. Хемингуэя и Р. Олдингтона («Сущий рай»), книги Вашингтона Ирвинга «Рассказы и легенды», повести К. Чапека «Гордубал», книги Ваша-Куоннэзина «Исчезающая граница» («Серая Сова» в пересказе М. Пришвина), впервые выходивших тогда на русском языке. К этому времени он был уже автором повестей «Сокровенный человек» (1928), «Котлован» (1930), «Джан» (1933), таких замечательных рассказов, как «Река Потудань» (1937), «По небу полуночи» (1939). То есть Платонов выступал на равных с мировой художественной мыслью — прежде всего как сложившийся писатель, разрабатывавший «в одиночку» и на новом материале те же, что и зарубежная литература, темы происхождения и нравственно-этического поведения человека. Но не в тех особых, очищенных «от всякой скверной конкретности окружающего мира» обстоятельствах и условиях, в которых действовали романтические герои Грина и Паустовского, его современников, и не в той косвенной системе доказательств, когда писатель, по словам Платонова, «хочет доказать этическое в человеке, но стыдится из художественных соображений назвать его своим именем и ради беспристрастия, ради сугубой доказательности и объективности ведет изложение чисто эстетическими средствами», как это, он считает, было у Хемингуэя.

Андрей Платонов задумал себя как писателя трудностей человеческого существования: собственная нужда, которую он постоянно претерпевал в жизни в отличие от многочисленных обладателей счастливой, легкой, «красивой» судьбы, совпала с выбором такого же трудного объекта для изображения. Это котлован жизни. Это уездный российский городок («Чевенгур»), засеянный жизнью и людьми, как поле травой (кто они и зачем сюда попали, Платонова, как и его героя Дванова, всегда «сильно и душевно ин-

тересовало. Сколько раз он встречал — и прежде, и потом — таких сторонних, безвестных людей, живущих по своим одиноким законам»). Это «реальная, второстепенная» сила — сила дрожащих, нуждающихся, не абсолютно прекрасных человеческих сердец». Как будет действовать такое человеческое сердце в таких реальных, грубых, трудных — до предела — условиях человеческого существования, помноженных на всевозможные утопии, идеологические, социальные, философские, житейские, которые в избытке и впрок давала трагическая действительность 30—40-х годов?

Как истинное органическое дарование Платонов не ставил эксперимента с человеческим сердцем. Он создавал свои произведения — каждое как единственное: это был именно «сокровенный человек», именно «усомнившийся Макар», именно «одухотворенные люди». Этика отчетливо проступала даже в самих названиях, открыто заявляя о своем характере и забирая художественные силы автора на самое себя.

Но эксперимент ставили история, Октябрьская революция, мировая литература, и если на минуту представить, что с вопросом, в чем сокровенность человека, к нам бы обратились сегодня Хемингуэй или Олдингтон, то мы ответили бы произведениями Платонова, оказавшегося наиболее близко «у человеческого сердца». С другой стороны, трудно представить себе, что сегодняшний писатель, читающий Г. Маркеса, или Х. Кортасара, или Г. Грина, мог вступить с ними в принципиальный философский спор, как это сделал в свое время «печатающийся» Платонов. И разве в «посмертной жизни», в той общей оценке, которую на наших глазах вынесло Хемингуэю время, не присутствует и оценка Платонова, проницательно отметившего силу и слабость новой формы, открытой его знаменитым современником: «в ее стенки», в ее устройство впитывается много содержания, и там оно погибает для читателя».

Да, Платонов сумел уловить силу «растущего сердца» и установить — подобно ученому, физику или биологу — закон зависимости счастья — и от добра, и от других людей, и от силы, идущей «из глубины тела, согревающегося своим теплом и своим смыслом». Но это время в жизни, когда невозможно избежать своего счастья, кратко и встречается редко, разве что в раннем детстве (как не избежал встречи с ним мальчик Семен из одноименного рассказа, как и другие платоновские дети).

Взрослым людям «выход в счастье» не дается задаром. Платонова тревожила тенденция на «снижение человека», замеченная им в жизни и в литературе. Она проявлялась не только в борьбе человека с обстоятельствами жизни, но — что главное — в споре его с самим собой, в противостоянии биологического, животного и духовного начал.

По Платонову, для истинной жизни, оказывается, недостаточно однажды родиться, нужно чуть ли не ежедневно возрождаться, в каждом человеке, даже самом забитом, темном, неправильном, задавленном нуждой и обстоятельствами, существует возможность такого возрождения, такого развития в истинного человека, то есть духовного. Но духовное — в художественном мире писателя — не есть голая мысль, интеллектуальное, философское, разумное начало; духовное — это высшая степень природного.

«Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась» — так начинается один из лучших рассказов Платонова «Река Потудань». Какая странная причинно-следственная связь в этой мысли! Война прекратилась, и трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам — так, по логике вещей, следовало бы написать эту повествовательную фразу. Но художественная логика писателя иная, точно выражающая его философское понимание соотношения природного и человеческого. Природа ожила, возродилась потому, что окончилось бессмысленное, бездуховное, бесчеловечное состояние, когда люди убивают друг друга. Возобладавшая, возродившаяся, победившая духовность несет в себе природное начало.

«Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой».

У Платонова процесс мысли — это менее всего внутренняя речь, это движение нравственного чувства, такое же, как движение воды, ветра или снега в природе. Мысль не просто чувственна, она облагорожена чувством.

В рассказе «Река Потудань», маленьком романе, словно бы созданном писателем как ответ романам Хемингуэя и Олдингтона (наполненным до краев, по словам Платонова, «мужественным», лаконическим, с оттенком животного нетерпения описанием любви», где такая «любовь быстро поедает самое себя»), феноменальная, высшая, человеческая любовь оказывается выше любви биологической. «Жестокая, жалкая сила» наслаждения, которую познает в конце концов герой рассказа Никита Фирсов, не дает ему той высшей радости чувства, что он испытывал обыкновенно, по-человечески трогательно заботясь о Любе, деля с ней все житейские тяготы и беды трудного существования послевоенного времени; страдание, терпение и доброта героя оказываются тем нелегким, темным путем, который безошибочно приводит одно человеческое сердце к другому, очеловечивает отношения любящих.

Забота и терпение отличают все живое, природу («неподвижные деревья бережно держали жару в листьях»).

Если первые исследователи творчества Платонова обратили наше внимание на «вещество существования», определяющее мир художника, то мы, прочитавшие сегодня одно за другим «Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур», заметили и «чувство существования», которым наделяет писатель своих героев. Он обладает способностью мгновенно превращать внешние факты в свое внутреннее чувство.

Сколько, к примеру, разнообразных движений чувства показывает нам Платонов в душе своего героя Александра Дванова в «Чевенгуре»! Он чувствует и «тревогу заросшего, забвенного пространства», вспоминает «детское видение и детское чувство: мать уходит на базар, а он гонится за нею на непривычных, опасных ногах и верит, что мать ушла на веки веков, и плачет своими слезами», чувствует «сухой венок Сониных уст на своем лбу», знает «волнение повторенной, умноженной на окружающее сочувствие жизни» песни. «Но строфы песни,— продолжает Платонов,— рассеивались и рвались слабым ветром в пространстве, смешивались с сумрачными силами природы и становились беззвучными, как глина. Он (Дванов.— **И. Р.**) слышал движение, не похожее на его чувство сознания».

«Скучно оттого, что не сбываются наши чувства»,— говорит Вермо в «Ювенильном море». Вощев, герой «Котлована», садится у окна, «чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и **мучиться сердцем** (разрядка здесь и далее наша.— **И. Р.**), окруженным жесткими каменистыми костями». Но вначале он видит, как **мучается** дерево на глинистом бугре,— оно качалось от непогоды, и **с тайным стыдом** «заворачивались его листья», как светит небо, наполненное «**мучительной силой звезд**».

«Напряжение сознательности» называется у Платонова «сухим», ибо оно не может дать человеку не только верного, очеловеченного страданием знания, но даже догадки мысли, в зарождении которой у художника, как правило, участвуют все природные силы, весь космос, неразрывно связанный с человеком.

«Вермо не услышал,— читаем в «Ювенильном море»,— он заметил, как дрожали первичные волны рассвета на востоке, и мучил в темноте своего сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще неизвестную самой себе, но связанную с рассветом нового дня». Эти дрожащие упругие первичные волны рассвета почти физически-осязаемо, чувственно-пластически передают движение начавшейся мысли, которая есть высшее природное начало. «...И сам я был не детище природы, но мысль ее! Но зыбкий ум ее!» (Н. Заболоцкий).

Поэзия здесь приходит на ум не случайно, ведь художник такого типа, как Платонов, «зачастую лишь силой одного своего поэтического видения, а не силой прямого знания» находит средства и правильные пути к изображению сокровенности человека. Заметим: такой автор, каким был Платонов, всегда делится своим открытием с героем, точнее будет сказать, автор здесь **помогает** своему любимому герою, как правило, человеку из низов, усомнившемуся в строительстве «дальней массовой жизни» — социализма — только «в целостном масштабе», но без отдельной частной судьбы, без индивидуальности, без души и сердца.

Помощь автора такому человеку — «усомнившемуся Макару» — подчас сродни помощи в сказке. Во сне.

Примечательно, что сну героя предшествуют вполне реальное томление, какая-то «совестливая рабочая тоска», ощущение неполадок на стройке. Сон не дает Макару ответа, каких именно, но увиденное им: озеро, птицы, забытая сельская роща — сокровенный образ живой природы, с которой он расстался и о которой тоскует в каменном мешке города, способствует зарождению творческой мысли, догадки, прозрения. «Тогда Макар проснулся,— пишет автор,— и вдруг открыл недостаток постройки: рабочие запаковывали бетон в железные каркасы, чтобы получилась стена. Но это же не техника, а черная работа! Чтобы получилась техника, надо бетон подавать наверх трубами, а рабочий будет только держать трубу и не уставать, этим самым не позволяя переходить красной силе ума в чернорабочие руки».

В отличие от многих современных писателей, самоуверенно и поверхностно повествующих об открытиях своих героев-«чудаков», героев-изобретателей Платонов и эту тему раскрыл как философскую концепцию личности: творческая мысль, приводящая к открытию, оказывается у него органического, природного происхождения! Существует определенная причинная связь между «томлением духа», «совестливой рабочей тоской» и дорогим человеку воспоминанием.

В рассказе «Усомнившийся Макар», впервые опубликованном в 1929 году в журнале «Октябрь» и сразу же принявшем на себя жестокий удар критики (недавно он впервые переиздан), возникает в лучших традициях русской классической литературы — Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Сухово-Кобылина — гротескный образ мертворожденной теории, бюрократической науки, оторвавшейся от живых народных масс.

Глазами своего «усомнившегося» героя Платонов заглянул в лицо такой беспощадной правде времени, высказал такое серьезное опасение и чувство социальной тревоги, что мы сегодня можем только изумляться прозорливости художника, так глубоко заглянувшего в будущее.

«Спал Макар недолго, потому что он во сне начал страдать. И страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору, или возвышенность, и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот

стоял и молчал, не видя горюющего Макара, и думал лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Мвкар лежал во сне и тосковал.

— Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? — спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал по-прежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах».

Вопрос человека: «Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен?» и был для Платонова тем главным вопросом, который он поставил перед собой как художник. И ответ на него стал равноценен конкретной жизненной помощи читателю.

Страдание, сострадание, сочувствие жизни, терпение сердца, труд — вот что обеззараживает мир от эгоизма, самодовольства, чванства, сказал он нам своими произведениями.

В 1939 году Стефан Цвейг написал роман «Нетерпение сердца» (Платонов мог быть с ним знаком), предварив его примечательным эпиграфом. Он гласит: «...Есть два рода сострадания. Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их».

Герой романа Цвейга не выдержал испытания на истинное сострадание, герои «Котлована» — лучшего, на наш взгляд, произведения Платонова — Вощев, Жачев,Чиклин — выдерживают. В «Котловане» сам общий смысл строительства подвергается испытанию. Люди, строящие котлован будущего, ищут «душевный смысл» для каждого частного человека, они не могут выполнить свое дело, не сострадая никому и ничему. Ребенок, дитя — девочка Настя становится для них тем духовным оселком, на котором выверяется прочность «чувства существования». Настя умирает потому, что идея котлована дала слишком много трагических трещин, пошла наперекосяк. Жачев отказывается от нее, как и от грядущего счастья.

Но в фундамент «Котлована», кроме детского трупика, помимо всего трагического, поднятого временем начала 30-х годов, заложено и сострадание человека человеку, «скупость сочувствия». Великая слабая сила...

Автор лучшей на нынешний день статьи об Андрее Платонове «Вещество существования» Сергей Бочаров проницательно заметил: «Самое прочное и точное в целесообразной организации жизни оказывается — не жесткий каркас, а тончайшая мягкая нить, как бы одновременно суровая и шелковая нитка жизни. Она так тонка и слаба, что готова всегда порваться, но она необычайно прочна и сильна. В послевоенном «Возвращении» эта платоновская метафора, которая не воспринимается как метафора, осуществляется в действии рассказа. Именно мягкими маленькими — здесь буквально ногами детей — спасается жизнь загрубевших «жестких» людей...

Эти тихие силы — сочувствие, утешение, надежда, терпение — хранят и поддерживают жизнь, они и есть ее «вещество». «Трепет этой жизни бедной» сохраняет материя платоновской прозы».

В этих словах точно передано, быть может, самое трудноподдающееся выражению в критике — общий смысл и центр платоновского слова. Он расположен «у человеческого сердца» и направлен на сбережение «тихих сил», даже не сил, а частиц «скупого» сочувствия человека человеку, рассеянных и разбросанных по всему огромному живому космосу. В конечном итоге это ведет и приводит к сохранению «энергии человеческой культуры» (Вернадский).

Быть может, потому «материя платоновской прозы» и уцелела во времени и пространстве и сегодня, спустя полвека, празднует свою «тихую победу» над многими, шумно и яростно заявившими о себе при своем рождении произведениями, но так же быстро исчезнувшими с горизонта читательского внимания и сочувствия.

Вл. ГУСЕВ

...Минуту молчания

В скорбном молчании хотели встретить мы, литераторы воронежского происхождения публикации великого нашего писателя Андрея Платонова. Публикации его главных произведений, опоздавших на шестьдесят и более лет, «Чевенгура» и особенно «Котлована», в которых столь многое сказано.

Сказано не только то, что теперь разносят на стороны различные литературные люди, смелые задним числом и все же так и не сказавшие всей той даже и

чисто социальной правды, которая была в «Котловане» в 29-м году. Сказано и нечто еще более глубокое и, я бы сказал, космическое.

Главное слово Андрея Платонова — это «жизнь». «...Он посмотрел на место своего ночлега — там осталось что-то общее с его жизнью...» «Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки?..» «...каждый существовал без всякого излишка жизни...» Это лишь несколько страниц «Котлована», причем и с них можно и еще брать примеры. Левые и правые критики Платонову теперь срочно шьют свои расхожие кафтаны: гуманизм, правда, критицизм, нравственность, мысль, разум. Все это в общем верно. Платонов и гуманист и так далее, только «отстаньте вы пока» от нас, воронежских. Мы все это знаем, как знаем и то, что любой великий писатель не может не быть гуманистом; только что подразумевать под гуманизмом-то? Уж не ваши ли плоские выкладки о человеке — «венце Вселенной»? Но кто его произвел в венцы? Сам человек?

Человек ценен не тем, что он человек и все тут, а тем, насколько в нем выражено некое таинственное высшее начало, которому нет названия и которое хорошо чувствовал Андрей Платонов, как и многие другие наши люди. Я не хотел бы тут впасть в грех дурного географического местничества, которое всю жизнь было чуждо как Андрею Платонову, так и иным истинно воронежским людям и мне самому. Воронеж не нуждается в доказательствах. Хотя как сказать. Ныне все столь яростно и до хрипоты борются за лыжню, что нелишне, не приводя доказательств, все же кое о чем напомнить. Платонов из тех, кому трудно найти предшественника,— настолько он, как и многое воронежское, неповторим, самобытен; однако же ясно и то, что Платоновы не возникают на пустом месте, и великие тени Евгения Болховитинова, Крамского, Рылеева, Веневитинова, Станкевича, Кольцова, Никитина, А. Н. Афанасьева, Бунина, Пятницкого, Остужева, а также тени Эртеля, Никитенко, Суворина, Милициной, Замятина, Маршака, Эйхенбаума, Алексея Прасолова, Павла Мелехина, Е. Дубровина и многих других, имевших отношение к Воронежу и его окрестностям, должны быть названы. В Воронеже и по сей день живет Г. Троепольский, из Воронежа А. Жигулин, В. Песков и др. А если припомнить, что в XVIII веке было время, когда Азовская губерния с центром в Воронеже шла от Нижнего Новгорода до Черного моря и что было время, вот уж совсем недавнее, когда в Центрально-Черноземную область с центром в Воронеже входили нынешние Орловская, Курская, Белгородская, Тамбовская и Липецкая области, то придется перечислить всю русскую литературу ее золотого века.

По преданию, отраженному, впрочем, в геологических штудиях на месте ЦЧО было когда-то так называемое Теплое Пятно неизвестного происхождения. Какой-то выход светлой энергии, откуда — неизвестно. Здесь не было ледника. Севернее, западнее, восточнее и, что характерно, даже южнее был тот Ледник и оставил свои валуны — округлые тяжкие камни, граниты или базальты, серо-розовые и иные. Сразу видно.

На территории ЦЧО — здесь нет валунов — зато есть этот великий и мощный Чернозем, пришедший впоследствии от тепла Земли и от света Солнца. Здесь есть граница Леса и Степи, воспетых воронежцем Кольцовым.

Платонов знал цену Теплу и Солнцу; недаром его атмосфера столь чудно созвучна таинственным и бодрым теориям, философиям Вернадского, Циолковского, Федорова, Богданова и иных. Одна из тайн и странностей российского человека: он, вахлак и герой Земли, Чернозема, оказался к тому же талантливым механизатором и в высшей степени «космическим» человеком, что с недоумением обсуждалось на Западе. Платонов — из этих. Да, он знает цену Солнцу и цену Теплу; и переносит эту мысль, это чувство на все на свете — в том числе и одушевляет теплом и светом машину. Его Пухов и многие иные его герои, они хранят свое заводское механизаторское достоинство; Пухов — он мастеровой, он все знает; для него и суетный комиссар «фулюган» и белый офицер «фулюган»,— он признает лишь человека труда и творчества, ибо за ними — тепло и свет. В одушевленной машине — в ней тоже свет. Только она должна быть не в руках «фулюганов», а в руках у Мастера. (Как и Литература). В ней тепло из Космоса и из недр Земли.

Еще и теперь моя мать живет в двух кварталах от той слободки, где родился Платонов. Слободка была у вагоноремонтных мастерских, ныне тепло-возоремонтного «завода Дзержинского». Оттуда шли Пуховы. Ехали на свои станции Графское, Лиски и далее на свою реку Потудань, что ныне на границе с владеньями Белгорода: у Платонова все названия — реальны... (Пожалуй, лишь Чевенгур он слегка изменил: уж «больно больна» символика). Отсюда же шел и автор в свое житейское странствие. Что из того, что умер он в помещении, выходящем окнами во двор Литинститута,— умер в забвении и в опале; что из того, что один благополучный литинститутский мэтр, по преданию, на вопрос студентов, кто ныне лучший писатель в России, отвечал, что это дворник в Лнтинституте, что, естественно, было принято за шутку; что из того, что он написал свой великолепный, свой грандиозный пустынный «Джан», тем самым еще раз доказав, что братство людей, их таинственное общее родство, что понимание всего «чужого» изнутри как родного — не пустые слова для воронежца; да, что из того... Листайте Платонова — и через две страницы на третью вы увидите наши воронежские названия. Это уж навсегда.

Итак, жизнь. Воронежский не умеет врать. Он может быть нудиным, вязким, хандрливым; все это оттого, что он постоянно ощущает присутствие Света и понимает, что жизнь окружающая, людская,— она сплошь и рядом расшита не по законам Света. Но он не умеет врать, ибо — ибо Природа, Свет не дают. Посмотрите на фразу Платонова. Она не для профанов. Посмотрите, как выполнен «Котлован». Так и кажется, что каждое предложение — тихая шаровая молния. Это вещество Света, вещество плазматической, плотной энергии Тепла и «сугрева». Любая самая мрачная его эскапада внутренне, мысленно светоносна: «Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за горизонт в свой край согбенных плетней, заросших лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди. Вощев пошел туда походкой механически выбывшего человека, не сознавая, что лишь слабость культработы на котловане заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то нерадостно на душе, тем более что в поле простирался мутный чад дыханья и запаха трав. Он осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную незримость: устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление. Вощев ушел в одну открытую дорогу». Где тут место плоским «гуманизмам» и публицистикам, всяким ловкостям, риторикам и пассажам? Платонов пишет глубину Жизни и гибнет на этом. Он не может в прозе «маневрировать» ни на йоту: да, ему не дает этого его тепловой талант-гений. Он гибнет, но иначе не может. Он не умеет внести суету внутрь творчества. Кстати, человек есть человек, и в статьях своих — а он немало их писал и в начале 20-х еще в Воронеже, и в 30-е в «Литкритике» и других журналах — в статьях своих Платонов порой не столь «оголтело» огнев, правдив теплом. Среди статей его есть и гениальные, как о «Медном всаднике» (я выпустил книжечку его статей еще в 1977 г.); но есть и такие, которые отдают унылым социологизмом в духе 30-х и пр.; не то в художестве, особенно в «Котловане».

Вся идея «Котлована», если это можно назвать идеей в нашем плоском значении этого слова, состоит в том, что идет борьба именно не на жизнь, а на смерть между последними остатками Тепла, Жизни, Тепла-Жизни на этой трагедийной Земле, на этом трагедийном нашем Юге — и напором на них, на эти Землю и Юг и на его Тепло-Жизнь, неведомых мертвых сил, которые топят, топят, мнут, мнут...

Мертвые силы.

Кто они, эти мертвые силы?

Это сложный и тоже космический, метафизический для Андрея Платонова вопрос; на него трудно ответить сразу. Мертвые силы — это, как мы видели, не машина, не «мертвая» почва самой Земли, не вода, не камень, не Космос; это все — живое. Это подтвердит и Вернадский. Да, и машина жива, хотя сам *механицизм* — не жив... Мертвые силы — это ну, например, бюрократ.

Ах, как легко ответили! А говорили, что сложно.

Да, сложно; ибо бюрократ у Платонова — тоже жив, «тоже человек»; откройте злой и пламенный «Город Градов», где человек человека спрашивает: «Ты по какому вопросу плачешь?», откройте горький и въедливый, сатирически-очистительный, несколько более плоский, чем «Котлован», «Чевенгур», в названии кого так легко прозревается наш знаменитый и родной Богучар, к которому имеют отношение и Шолохов, и Революция (Богучарская дивизия), и Великая Отечественная, ибо именно тут, как и поперек самого трагического Воронежа, катались туда-сюда *огненные* валы Воронежского и Степного фронтов; откройте — и вы, да, увидите, что и бюрократ — жив, что и он — Природа. Все эти строители высшего общества в одном отдельно взятом городке Чевенгуре — кто они? Они живые; они хотят нам добра, как они понимают его. Так же и активисты в «Котловане»... Они живые, активные деятели Природы... как именно Природы. Природы именно. Как *живые*.

Они мертвые как деятели некоей системы, схемы, которая мертва, но не имеет названия. Они мертвы как бюрократы: обозначим «схему» этим понятным словом. «Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься».

Платонов безошибочно различает то и другое в самом бюрократе; вы помните это место из «Сокровенного», когда Пухов читает плакаты?

«В рабочие руки мы книги возьмем,
Учись, пролетарий, ты будешь умен!» —

сочинил плакат бюрократ-агитатор.

«Тоже нескладно»,— реагирует Пухов. И рядом другой же агитатор, но «такой же», как тот, а может — да, может быть! — и тот самый, сочинил и другой плакат: «Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии. Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова!» «Вот это сурьезно!.. Это твердые слова»,— отвечает Пухов. Слова-то, положим, тоже глупые; но он чувствует жизнь, энергию...

Бюрократ...

Один очень левый литератор, только-только став бюрократом сам-то, немедленно объявил телезрителям: теперь главный наш враг не бюрократ, он теперь хороший; главный наш враг — это сами писатели, которые не нравятся новому бюрократу.

С особой ухмылкой смотрел всегда Платонов на эти неновые трюки; так смотрит он на нас со своего знаменитого больного портрета...

Бюрократ — *всегда* враг.

Враг Платонова.

Роют, роют они этот котлован; понятно, что образ растет до гигантского символа; сопротивляется мертвому хилая, слабая *Жизнь*, воплощенная в бедной, угрюмой девочке Насте; постепенно весь Житель, весь Котлован начинает участвовать в этом Спасении — и не может спасти; жизнь, смерть — всё на волоске; грани почти нет; мертвые, живые, живые, мертвые — всё наравне, все рядом, одно в одном: «Девочка спала, положив голову на живот матери; она сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих членов. Чиклин, желая отдыха ребенку, стал ждать его пробуждения; а чтобы девочка не тратила свое тепло на остывающую мать, он взял ее к себе на руки и так сохранял до утра, как последний жалкий остаток погибшей женщины». Все-таки Жизнь борется. Она, да, принимает и этих мертвых — этих, *вот этих* мертвых: мать девочки, вместе с которой спит, живет и девочка, и иных; ибо эти мертвые — тоже жизнь, они таинственные *Те*, которых хотел возродить Федоров; истинная смерть — да, иное: она прет, напирает, маленькие свет, пламя жизни мнутся, колеблются — но горят. Вот гаснут — дым; но снова, снова где-то...

Жизнь — от всего отчищенная, последняя, распоследняя ценность; так в эвакуации, в голод матери боролись за жизнь детей.

Какую вам еще тут идею?

Какой гуманизм?

Что надо?

Сам язык Платонова — вот уж его идея; кстати, язык его — один из залогов его бессмертия; все эти публицистические романы, где они будут через три года? А когда сам язык — это Жизнь, Жизнь, это живое тело, то за будущее можно и не волноваться. Платонов как истинный языковой гений сумел именно и самую мертвечину, даже ту, ту, «бюрократическую» мертвечину, тут ввести в Жизнь; он плазматически вобрал в свой языковой организм весь этот подлый, бедный канцелярит — и оживил его Мыслью, Теплом и Светом: «Кто-то громко постучал беспрекословной рукой...»

Всюду Жизнь.

Гул идет за Жизнь, против мертвого...

Свет, Тепло и Язык.

Всё едино.

На одном из новомодных обсуждений Платонова было сказано человеком умным, что и ныне время Платонова еще не пришло; что и ныне нам сказать о нем еще нечего — бедными своими словами.

Эта вся трагедия русского Юга, возросшая до трагедии человечества. Этот город Воронеж, по которому — по Теплу которого — именно огневым валом туда-сюда катались все эти столетия. От кочевников до гражданской войны и немецких войск, когда наши стояли на левом, а немцы на правом берегу этой реки Воронеж, а она протекала (протекала, ибо теперь вместо нее, чистой, унылое «море»!) посреди города; стояли — и поливали друг друга бомбами и снарядами. Приходили, уходили. Взрывали дома из подвалов, снова бомбили. Я и теперь с одного взгляда различу дом разбомбленный (осталась «коробка»!) и дом, взорванный при отходе (остались «воронка» и горы щебня).

Воронеж, который уничтожался столько раз, что воронежские ныне праздновали свое 400-летие, хотя надо было — 800-летие, и документы есть.

Уничтожался.

И каждый раз снова возникал Город.

Ибо нельзя не быть городу у слияния Дона с рекой Воронеж... Слишком *теплое* место.

«Место» по-польски — Город...

Этот дух воронежский, непонятный до всех концов чужеземцу. В самом «Котловане» — в нем так ощутима эта степная наша, пыльная, черноземная оголтелость... Пыль, а под ней Тепло.

Не сказать еще о Платонове...

Оставили б вы его в покое.

Грустно глядели мы все эти годы, десятилетия в эту разверстую и больную могилу; кидали комья — они скорбно стукали о молчащий гроб: издавали какие-то книжечки, писали статьи — все не то; и сейчас, когда он давно издан, в том числе на русском, по всему миру, а в Воронеже так по-настоящему и не издан (вот и «Котлован», и «Чевенгур» напечатаны вовсе не в «Подъеме»), но наконец, с трудом по-крупному приходит и к нам, мы хотели постоять молча...

Не дают.

Уже суетятся.

Примазываются, присасываются...

Делают свои дела на *живом* мертвеце...

Так что же?

Отдадим?

Пусть хрустят костями, пока мы медлим?..

Не знаю.

Как-то я привез из *Югославии* «Чевенгур» на *итальянском*; поехал я в Воронеж, походил, походил у вокзала — у любимого места Платонова: отсюда едут все его герои... Он сам жил рядом... Мы сами жили рядом, но с другой стороны вокзала: мы — это мои приятели детства, мое грустное, непростое семейство...

Походил, походил.

Вернулся в Москву и отдал книгу приятелю: он знает по-итальянски.

...Так помолчим хоть немного.

Н. БЕРБЕРОВА

Курсив мой

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

У меня долго хранилась одна фотография — это была встреча Нового, 1923 года в Саарове. На фоне зажженной елки, за столом, уставленным закусками, стаканами и бутылками, сидят Горький, Ходасевич, Белый, все трое в дыму собственных папирос, чувствуется, что все трое выпили и напустили на себя неподвижность. Слева, сложив руки на груди, очень строгая, в закрытом платье М. Ф. Андреева, Шкловский, беззубый и лысый, чье остроумие не всегда доходило в этом кругу, актер Миклашевский, снимавший группу при магнии и успевший подсесть под самую елку и оттого полупрозрачный. Максим, его жена, Валентина Ходасевич и я, размалеванные под индейцев. Негатив был на стекле, и Горький, когда увидел фото, велел разбить его: фотография была «стыдной». Единственная уцелевшая карточка была выкрадена из моего архива — она, может быть, еще и сейчас гуляет по свету.

В эти годы Горький писал мне:

[Сааров] 22 февраля [19]23

Нина Николаевна!

Разрешите просить Вас перевести прилагаемую статейку Элленса; ее надо тиснуть в первый №*, и тогда мы будем у Христа за пазухой!

Очень прошу!
Всего доброго.
А. Пешков

[Сааров. Весна 1923 г.]

Нина Николаевна!

Вы извините мне [!], если я укажу Вам на некоторые штрихи стихов Ваших, не очень удачные, на мой взгляд? И — примите во внимание, что и рассматриваю стихи, как реалист, как человек, стремящийся к точности. Читая: «птицы, вдруг поверя непогоде, взлетают вверх и ищут облаков» — я говорю себе: это не так, это не точно: перед непогодой птицы, даже морские чайки, прячутся, и вообще у них нет причины искать облаков; «и ищут» звучит не хорошо.

«Выплюнув табак» — непонятно: зачем бы? Табак жуют преимущественно во время работы.

Прилагательное «лихой» умаляет ураган, явление грандиозное.

«К красоткам» — трудно произносится.

«С восставшей к трубам» — почему «к трубам», а не «в небо», «к небу»?

Вот каковы мои замечания. В общем же стихи Ваши очень нравятся мне.

А. Пешков

[1924?]

Многоуважаемая Берберини!

В благодарность за милое письмо Ваше искренне желаю Вам сплясать гопака с Ольденбургом, С. С. и какой-нибудь отчаянный фокстрот с Зиновием Гржебиным.

А стихи Ваши мне очень нравятся. Я бы, пожалуй, решился указать Вам на некоторые, по моему мнению профана,— неловкости стиха, напр., в «Точильщике», первая строфа, рифмы идут — «клочья — вдвоем, волчьи — днем», а вторая: «точильщик — ножи, дружочек— покажи». Не нравится мне и «бродяга — бедняга». Но стихотворение оригинально. Очень внушительно, фонетически правдиво звучит, шипит в нем злость:

«Нынче оба зубы волчьи
Точим ночью, точим днем».

И «О портном» хорошо, особенно — конец. В нем есть неловкие строки:

«Каждый пусть за угощенье
Мне старинное споет»,—

в нем неотчетливы рифмы. И «Дым повис от табака» неловко. И еще кое-что.

Но — сие есть техника, и с нею, я уверен, Вы сладите.

Только не торопитесь!

Очень прельщает меня широта и разнообразие тем, сюжетов в стихах Ваших. Я считаю это качество признаком добрым, оно намекает на обширное поле зрения автора, на его внутреннюю свободу, на отсутствие скованности с тем или иным настроением, той или иной идеей. Мне кажется, что определение: поэт — эхо мировой жизни,— самое верное.

Конечно, есть и должны быть души, воспринимающие только басовые крики жизни, души, которые слышат лишь лирику ее, но Андрей Степаныч Пушкин слышал все, чувствовал все и потому не имеет равных. Пока — будем надеяться.

Я думаю, Берберини, что Вы будете очень оригинальной поэтессой, и это меня чертовски радует. Да. Разве есть что-нибудь лучше литературы — искусства слова? Ничего нет. Это — самое удивительное, таинственное и прекрасное в мире сем.

Ну, и будьте здоровы! Пишите больше, а печатайте — меньше...

Пока, пока!

Вы еще очень желтый птенец*, но Вы — хорошая птица, не знаю какая, а хорошая! Крепко жму лапу.

А. Пешков

[Сорренто. 5 мая 1925 г.]

Сталь, насколько я помню, рыжий. Ходасевич тоже сидел рядом с рыжей дамой. Что значит эта склонность к рыжим? Сталь хочет прийти к Вам в гости? Чувство дружбы понуждает меня предупредить Вас: у него страшная жена, у Сталя, если это московский адвокат Сталь.

А «мы священника поймали!» Из Бенвента. Розовый, веселый, играет на пианино Грига, ел пельмени и хохотал. А у нас была немецкая актриса,похожая на белую мышь, и немецкая художница, одетая цыганкой, потому что она любит Россию. Ей дали кусок пирога, а в начинке оказался гвоздь, она очень обрадовалась: «Ах, я поняла, это для счастья»,— сказала она; она говорит по-русски, и даже муж у нее «совершенно русский».

Вообще у нас очень интересно и к тому же мобилизовано по случаю 1-го мая и на всякий иной случай. Спросите В. Ф.**, что делать с шестью томами Случевского? Послать ему?

Прилагаю открытку. И вырезку из «Правды». Я не понимаю ее, ведь белугато протухла? Зачем же возить по улицам столицы 41 пуд тухлого рыбьего мяса? Ночь не спал, все думал, но — ничего не понял. Спросите Мережковского: как он смотрит на этот странный факт?

Все, которые дома, кланяются В. Ф. и целуют Вас***. Будьте здоровы, веселы.

А. Пешков

[Сорренто, 20 июля 1925 г.]

О, женщина, соблазненная грешною славой лицедейки американской Мери Пикфорд и тридневно пляшущая еретический фокстрот на улицах французского Вавилона подобно Саломее, родственнице известного изверга Ирода,— о, женщина, что же будет дальше? Чью голову пожелаете видеть отделенной от шеи, чью? Исполнив долг моралиста, перехожу к серьезному делу. Сообразно желанию Вашему влагаю в письме эту фотографию домашнего изготовления, изображающую меня в достойном виде: отдаю честь Татиане Бенкендорф, девице, которая говорит басом и отлично поет эстонский гимн, слова коего таковы:

Макс и Нина. Макс и Нина
Ку-ка-ре-ку, ква-ква-ква!
Ой, самопойс...

Замечательная девочка, равно как и все другие, перечень которых прилагаю: Павел Бенкендорф — бас, Кира — сопрано, Илья Вольнов — тенор, Зоя Лодий — тоже сопрано и какое! Профессор Сергей Адрианов — не поет, а только сопровождает, Дейнеке — танцор и рассказчик на все темы. Федор Рамша — гармонист, Исидор Кудрин — баритон. Сара Volnoff — иногда поет, но лучше, если молчит; Павел Муратов — сами знаете, сударыня! — Александр Каун — американский профессор из Сан-Франциско и Черниговской губернии, жена его — совершенно круглая... ходит в платьях византийского стиля, лепит людей из глины, но еще хуже, чем это делал Бог; не поет, но порывается. О, Господи, Господи...

Все прочие в нормальном состоянии, кроме Максима, который ходит на одной ноге, потому что разрезал другую о морское дно. Тимоша — молодец, она мужественно собирается сделать меня дедушкой. Ох, пора! Мария Игнатьевна в «кольце круга» своих детей — изумительна. По вечерам все играют на дворе в различные игры, а я обязан, стоя у ворот, кричать: «Warum den — или der — nicht». По-русски это будет: Варум ден Нихт. Трудно мне, но — кричу. И то ли еще я делаю! Затем каждый обязан прыгать на одной ноге вокруг клумбы, среди которой торчит известная Вам пальма.

Так и живем. Посещаем близь лежащие острова, как-то: Капри, Искию, Прочиду и т. д. В свободное время пишем роман, в пяти частях с «прологом» и «эпилогом». Что будет!

«Пролог» и «эпилог» изобретены т. Денисом Русским из Воронежа, а «кольцо круга» — известным литератором т. Алтаевым, из Москвы.

Как изволите видеть — все обстоит благополучно. Купчиха**** пишет портрет Сары Вольной с растрепанной прической и Татьяну Бенкендорф с бантиками. Потом будет писать меня.

В Минерву приехало стадо учительниц из Дании, сорок голов. У одной из них — три живота, два — по бокам и один посередине. Даже итальянцы изумляются.

Русские же виллы Сорито совокупно просят кланяться Вам.

Кланяюсь. Всего доброго. И успеха. Надо все-таки стихи писать, милая Н. Н.

А. Пешков
20.VII.25 г.»

А что же сказать об архивах Горького, собранных им за границей в двадцатых годах (точнее: 1921—1933)? Неужели же мы так никогда и не узнаем

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 10 с. г.

* «Беседы». (Н. В.)

* Было написано: цыпленок. Нехорошо!
** Ходасевич. (Н. В.)
*** А дома-то один я, Макс — в Неаполе, а Сол. и Тнм. ушли в Сорренто. Каково?

**** В. М. Ходасевич, художница, племянница поэта. (Н. Б.)

правду о том, как и когда они были доставлены в Москву? В мае 1933 года был, видимо, ликвидирован дом в Сорренто и тысячи книг были упакованы, как и все вещи, принадлежавшие Горькому, его сыну, его невестке и двум его внучкам, так же, как и вещи, принадлежавшие Ивану Николаевичу Ракицкому, в то время жившему в доме как член семьи. Все это ушло в Москву. Но надо полагать, не весь архив, а только часть его. В этом архиве, кроме рукописей, записных книжек, черновиков, копий писем, договоров с издателями и многого другого, должна была находиться вся переписка Горького с советскими писателями, как жившими в СССР, так и приезжавшими за границу; переписка его с эмигрантскими писателями (Ходасевич, Осоргин, Слоним, Вольский, Мирский и др.), обширная переписка с эмигрантскими общественными деятелями, как, например, Кускова; переписка с иностранцами, побывавшими в России в эти годы или сочувствующими советскому строю, и, наконец, письма крупных советских людей, членов партии и правительства, Бухарина, Пятакова, некоторых советских послов в европейских столицах. Здесь, всякий понимает, была и критика Сталина, и критика режима, и эти документы Горький вряд ли повез в Россию. Он, если верить одному осведомленному лицу, передал их на хранение человеку, наиболее ему близкому (в Россию с ним не поехавшему), который и увез эту часть архива в Лондон. Была ли она в тридцатых годах привезена или отослана в Москву, как ходят слухи? Или она была доставлена позже, как об этом сообщается во втором томе Краткой литературной энциклопедии? Если письма Бухарина, Пятакова и других были в России уже в тридцатых годах, то Сталин не мог с ними не ознакомиться. Через два месяца после смерти Горького (до сих пор не объясненной) начались московские процессы. Сейчас, начиная с 1958 года, эти документы частично печатаются с примечанием: «Подлинник находится в архиве Горького в Москве». Подробного описания этого архива до сих пор нет. Были ли письма казненных большевиков своевременно уничтожены? Или они сохраняются? И что сталось с сотнями писем П. П. Крючкова, по которым можно проследить, как по календарю, всю жизнь Горького за границей? Крючков был подвергнут пыткам и расстрелян — в этом сомнения нет. Но теплые слова о нем начинают появляться здесь и там в мемуарной литературе.

Шкловский в то время (1923 г.) писал свое покаянное письмо во ВЦИК, за ним гонялись, как за бывшим эсером, жена его сидела в тюрьме заложницей, он убежал из пределов России в феврале 1922 г. и теперь просился домой, мучаясь за жену. Шкловский между Белым и Ходасевичем был человеком другого мира, но для меня в нем всегда ярко горели талант, живость, юмор: он чувствовал, что его жизнь в Германии бессмысленна, но он не мог предвидеть своего будущего, того, что его заморозят в Советском Союзе на тридцать лет (и разморозят в конце пятидесятых годов). Он пережил всех своих друзей, жив и сейчас, но от живости и юмора в нем осталось мало, судя по его писаниям последнего периода. Систематически мыслить и связно писать он никогда не умел, академическая карьера была не по нем, как это оказалось у его соратников, Тынянова, Томашевского, Эйхенбаума и других. Его судьба загубленного человека — одна из самых трагических. На Западе, среди славистов, его знают и ценят больше, чем его знают и ценят сейчас в России.

Шкловский был круглоголовый, небольшого роста, веселый человек. На его лице постоянно была улыбка, и в этой улыбке были видны черные корешки передних зубов и умные, в искрах, глаза. Он умел быть блестящим, он был полон юмора и насмешки, остроумен и подчас дерзок, особенно когда чувствовал присутствие «важного лица» и «надутой знаменитости» или людей, которые его раздражали своей педантичностью, самоуверенностью и глупостью. Он был талантливый выдумщик, полный энергии, открытий и формулировок. В нем бурлила жизнь, и он любил жизнь. Его «Письма не о любви» и другие книги, написанные о себе в эти годы, были игрой, он забавлял других и сам забавлялся. Он никогда не говорил о будущем — своем и общем и, вероятно, подавлял в себе предчувствия, уверенный (во всяком случае, снаружи), что «все образуется» — иначе он бы не уехал обратно: на Западе он один из немногих мог осуществить себя полностью — Р. О. Якобсон, близкий ему человек, конечно, помог бы ему. Но вопрос жены не давал ему покоя.

Выдумки его иногда кончались плохо: однажды он позвал меня на обед к художнику Ивану Пуни и его жене, художнице Ксане Богуславской. Они решили пообедать по-советски, сделать маленький опыт и посмотреть, выйдет ли что-нибудь из этого: на первое была подана селедка — воблы в Берлине не оказалось,— твердая, как дерево, которую сперва отбили. На второе на стол была принесена пшенная каша. В нее влили немного постного масла («Маленький компромисс» — объяснил Шкловский). Мы пожевали селедку, а потом, грустно глядя на горшок с кашей, почувствовали, что есть ее не можем. И пришлось нам пойти в пивную на угол, где мы заказали сосиски, квашеную капусту и пиво. «Не вышло,— говорил потом Виктор Борисович,— отбили. Подлец человек!»

Иногда в те месяцы в Сааров приезжал Н. А. Оцуп. Этот, конечно, никогда не думал возвращаться: он остался на Западе и в памяти моей живет как пример стремительного ущерба всех своих способностей. Его оскудение остается для меня загадкой. Лучшие свои стихи он написал в двадцатых годах, все, что он написал впоследствии, было тронуто каким-то странным тлением, каким-то грустным неумением развиться, все было слишком вяло, слишком длинно, нравоучительно, как старомодная басня. Исчезла музыкальность, начисто ушли силы воображения, «моралью» был задавлен элемент игры. Это был человек, встречи с которым в течение двадцати лет мне всегда были тягостны, словно он искусственно хотел быть чем-то, чем быть не мог, и это напряжение чувствовалось в нем постоянно, а с ним и обида на мир, и осуждение этого нашего порочного мира, в котором ему когда-то дышалось так хорошо. Быть может, личная судьба помешала ему быть тем, чем он обещал стать еще в Петербурге, когда писал про «рыбачку Эдди», или в Берлине, когда писал свою прелестную поэму «Встреча» (1928), испорченную концом, где было столько очаровательных мелочей, или цикл стихов о любви из второй книги «В дыму», которые, раз прослушав, легко было запомнить на всю жизнь:

Ты головой встряхнешь, и на ветру блеснет
Освобожденный лоб, а злой и нежный рот
Все тени на лице улыбкой передвинет
И, снова омрачась, внимательно застынет.

Какая точность в передаче видимого! Какая свобода! Но он, кажется, позже стыдился их, и девизом его стало «без бога ни до порога». Эти любовные стихи даже не вошли в его посмертную книгу (1961) — отвергнутые кем? Им самим или тем человеком, который распорядился его наследием?

Б. Л. Пастернака я в Саарове не помню, но хорошо помню его в Берлине. Он принадлежал к той группе людей, о которых я сказала, что Горький был начисто вне круга их литературных интересов. В Берлине он довольно часто приходил к нам, когда бывал и Белый. Я тогда мало любила его стихи, которые теперь ценю гораздо выше, чем его неуклюжий, искусственный и недоработанный роман, чем его поздние стихи о Христе, Магдалине и вербной субботе. Ходасевич и Белый слушали его сочувственно и внимательно. Он казался мне не очень интересным, потому что и тогда и после производил впечатление талантливого, но не созревшего человека. Таким остался он до конца своей жизни, но этот грех почти всегда можно простить, если есть что-то другое, за что его можно прощать. Я в то время во многих его стихах (которые сейчас мне кажутся простыми, только перегруженными не до конца продуманными метафорами) не могла добраться до сути. Однажды Белый пожаловался Ходасевичу, что он с трудом добирается до сути, и, когда добирается, суть оказывается совсем неинтересной. Ходасевич согласился с ним и между прочим сказал, что «они» (футуристы и центрофугисты) часто подчеркивают, что живут в динамическом мире, в особом динамическом времени, а тратить время на расшифровку их неинтересных и интеллектуально-элементарных стихов приходится так много, что тут получается противоречие.

— И ничего за это не получаешь! — закричал Белый посреди Виктория-Луиза Платц (мы шли ночью с какого-то литературного собрания, на котором Пастернак читал стихи, еще затемняя их своим очень искусственным чтением), так что голос Белого ударился о темные дома, и эхо берлинской площади гулко ему ответило, что привело его в восторг.

Впрочем, хотел ли Пастернак сам, чтобы люди добирались до сути его стихов? Теперь я думаю, что эти усилия понять до конца строфу за строфой были совсем и необязательны,— в его поэзии строфа, строка, образ или слово действуют внесознательно, это в полном смысле не познавательная, но чисто эмоциональная поэзия — через слух (или глаз) что-то трепещет в нас в ответ на нее, и копаться в ней совершенно не нужно. Вот комната — она названа коробкой с красным померанцем, вот весна — пахнущая выпиской из тысячи больниц, вот возлюбленная, как затверженная роль провинциального трагика,— разве этого недостаточно? Этого много, слишком много! Здесь есть «гений», и мы благодарны ему. Здесь есть «высокое косноязычье» — и мы принимаем его.

В берлинские месяцы Пастернак был в своем первом периоде. Между первым и третьим (стихи доктора Живаго) был у него второй: характерная смесь Рильке и Северянина, отмеченная некоторой долей графомании, легкостью отклика на «весну», «лето», «осень», «зиму», «листопад», «одиночество», «море» и т. д., словно написаны стихи на заданную тему — чего никогда не было у Есенина и что Маяковский возвел в прием как результат «социального заказа» и тем самым — остранил.

Позже, уже в Париже, я знала ту, которая, теперь упоминается во всех биографиях Пастернака и о которой есть строки в «Охранной грамоте»: «две сестры Высоцкие», из которых старшая была первой любовью Пастернака, когда ему было четырнадцать лет, и которую позже он встретил в Марбурге, где жил студентом (летом 1912 года). Он сделал ей предложение, и она тогда отказала ему. Он страдал от неразделенной любви и начал писать стихи «день и ночь». (Но главным образом о природе.)

В Париже она была уже замужем, когда я знала ее. Обе сестры почему-то весьма непочтительно назывались Бебка и Решка. Решка была старшая, тоненькая рыженькая, в веснушках. Вторая, с которой я была ближе знакома, иногда называлась Бебочка — она была очень хороша собой, с прекрасными глазами, строгим профилем и женственными движениями. Пропасть разделяла меня с ней — она жила в светской, буржуазной среде, выезжала, но почему-то, когда мы встречались, мы всегда были рады друг другу; я чувствовала в ней и прелесть ее, и душевную мягкость. Она тоже была с

сестрой в Марбурге, когда случился разрыв Решки с Пастернаком.

«Темно́ты» в его стихах — именно потому, что они в стихах,— теперь меня уже давно не беспокоят, но что сказать о его статьях, письмах, ответах на анкеты, его интервью? Теперь кажется, что эти «темно́ты» были созданы им нарочно, чтобы настоящую мысль спрятать подальше, прикрыть, закамуфлировать: в статье «Черный бокал» (1916), в письмах к Горькому (1921—1928), в анкете по поводу постановления компартии о литературе (1925), в «Минской» речи (1936) немыслимо добраться до существа дела, все обрамлено виньетками отвлеченных слов, не имеющих никакого отношения к главной теме, этот стиль соблазнительно назвать «советским рококо» — он, конечно, ни Горькому, ни читателям анкеты не мог быть понятен. А что если это не камуфляж? А что если такими виньетками годами шла мысль Пастернака, пока он не нашел для себя новый способ думать, которым и воспользовался в «Докторе Живаго»? Этот метод «Живаго» выдуман не им: он был в расцвете в русской литературе до эпохи символизма.

Третью сторону его мышления — уже не рококо, но и не стиль восьмидесятых годов прошлого века — отражает его переписка с Ренатой Швейцер.

Каждому, кто любит Пастернака, необходимо прочитать переписку его с племянницей д-ра Альберта Швейцера, вышедшую в 1964 году в оригинале, по-немецки. В этой небольшой книжке (история знакомства, письма его, отрывки писем Ренаты и история ее поездки к нему в Переделкино) Пастернак отражен полностью — и во всей своей неизменности. Даже его лицо на фотографии осталось почти прежним — лицо подростка (как было замечено иностранными журналистами). После чтения этой переписки несомненно одно: его молодая поэзия, от которой он более или менее отрекся в старости, была в его жизни не более как прекрасной и, может быть, даже гениальной случайностью. Есть что-то захлебывающееся, идущее от второстепенных немецких романтиков и наших слезливых идеалистов типа Огарева, в тоне писем семидесятилетнего Пастернака (и влюбленной в него шестидесятилетней Ренаты Швейцер, называющей его «мой Боря»), в то же время напоминающее его таким, каким он был сорок лет тому назад: растерянного, восторженного, запутавшегося в себе самом, в «о!» и «ах!» своего эпистолярного стиля, признающегося, что не в силах «перевести дыхания» от радости при получении письма Ренаты. Вот он говорит ей о слиянии их душ, вот — о передаче своих чувств ей на расстоянии, вот о погоде — в связи с ожиданием ее приезда — как отражении собственных эмоций. Вот она описывает его: в пасхальное воскресенье они гуляли по улицам и он христосовался со всеми встречными — знакомыми и незнакомыми; после того, как он познакомил ее с женой, он повел ее к О. Ивинской, сказав: «Я завоевал ее (Зину), добился ее... а теперь пришла другая. Зина — идеальная мать, хозяйка, прачка. Но Ольга страдала за меня...» Время от времени от избытка чувств (пишет Рената) они смотрели друг на друга и глотали слезы в молчании.

Может быть, дар вечной молодости не дал ему созреть? Еще в Берлине, несмотря на то, что ему было за тридцать, он выглядел юношей. Он тогда то появлялся на горизонте, то исчезал опять (он несколько раз в 1922—1923 годах выезжал из Москвы в Берлин и опять возвращался в Москву из Берлина). В 1935 году я опять встретилась с ним в Париже (он приезжал не то один, не то два раза). До этого года он много печатался, его библиография занимает в Мичиганском издании его стихов и прозы 30 страниц. В эти последние наезды он разошелся со своей первой женой, художницей Женей Лурье, и собирался жениться (или только что женился) на второй — Зинаиде Николаевне Еремеевой-Нейгауз. Цветаева, которая его видала несколько раз (он ездил к ней в Медон), рассказывала, что он ходил по Парижу и все выбирал, какое бы купить новой жене платье. «Да какое же вы хотите платье?» — спросила его Цветаева.

— Такое, какое носят красавицы,— ответил он. Марина Ивановна смеялась, рассказывая это, и добавляла, что на вопрос: а какая же все-таки эта новая жена? — Пастернак отвечал:

— Она — красавица.

Если можно облегченно вздохнуть, услышав, что Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ» (ее не столь легко было бы предать забвению, как «Выбранные места» — впрочем, и это потребовало более полувека), то несомненной удачей в современной русской литературе является тот факт, что Пастернак не успел закончить свою пьесу-трилогию «Слепая красавица». То, что мы знаем о ней, заставляет думать, что это была бы вещь, ни в какой мере не достойная его пера. Три поколения должны были быть выведены в ней, и большое место должно было быть отведено спорам об искусстве крепостного человека Агафонова и... Александра Дюма. Изнасилование, кража фамильных драгоценностей, убийства, ослепление крепостной девушки — таковы темы первой части. Но, к счастью, и она осталась недописанной — если верить рассказам людей, бывавших у Пастернака в последний год его жизни.

Когда мы выехали 4 ноября 1923 года в Прагу, Марина Ивановна Цветаева уже давно была там. Мы не остались в Берлине, где жить нам было нечем, мы не поехали в Италию, как Зайцевы, потому что у нас не было ни виз, ни денег, и мы не поехали в Париж, как Ремизовы, потому что боялись Парижа, да, мы оба боялись Парижа, боялись эмиграции, боялись безвозвратности, окончательности нашей судьбы и бесповоротного решения остаться в изгнании. Кажется, нам хотелось еще немного продлить неустойчивость. И мы поехали в Прагу. Вот пражский календарь из записей Ходасевича:

9 ноября — Р. Якобсон.
10 ноября — Цветаева.
13 ноября — Р. Якобсон.
14 ноября — к Цветаевой.
16 ноября — Цветаева.
19 ноября — Цветаева.
20 ноября — Р. Якобсон.
23 ноября — Цветаева и Р. Якобсон.
24 ноября — Р. Якобсон.
25 ноября — Р. Якобсон, Цветаева.
27 ноября — Р. Якобсон.
28 ноября — Цветаева.
29 ноября — Р. Якобсон, Цветаева.
1 декабря — Р. Якобсон.
5 декабря — Якобсоны.
6 декабря — отъезд в Мариенбад.

В том неустойчивом мире, в котором мы жили в то время, где ничего не было решено и где мы вторично — за два года — растеряли людей и «атмосферу», которой я уже сильно начинала дорожить, я не смогла по-настоящему оценить Прагу: она показалась мне и благороднее Берлина, и захолустнее его. «Русская Прага» нам не открыла своих объятий: там главенствовали Чириков, Немирович-Данченко, Ляцкий и их жены, и для них я была не более букашки, а Ходасевич — неведомого и отчасти опасного происхождения червяком. Одиночками жили Цветаева, которая там томилась, Слоним и Якобсон, породы более близкой и одного поколения с Ходасевичем. Они не только выжили, но и смогли осуществить себя до конца (Якобсон — как первый в мире славист), может быть, потому, что оба были преисполнены энергией, а может быть, и «полубезумным восторгом делания». В эти недели в Праге и Ходасевич и я, вероятно, могли бы зацепиться за что-нибудь, с огромным трудом поставить одну ногу — как альпинисты,— перебросить веревку, подтянуться... поставить другую... В такие минуты одна дружеская рука может удержать человека даже на острове Пасхи, но никто не держал нас. И, вероятно, хорошо сделал. Цветаева и Слоним долго не прожили там. Якобсон, когда расправил крылья, вылетел оттуда, как бабочка из кокона.

В то время М. И. Цветаева была в зените своего поэтического таланта. Жизнь ее материально была очень трудна и такой осталась до 1939 года, когда она вернулась в Россию. Одну дочь она потеряла еще в Москве, от голода, другая была с ней. Сын родился в 1925 году и был убит во вторую мировую войну. В Праге она производила впечатление человека, отодвинувшего свои заботы, полного творческих выдумок, но человека, не видящего себя, не знающего своих жизненных (и женских) возможностей, не созревшего для осознания своих настоящих и будущих реакций. Ее отщепенство, о котором она гениально написала в стихотворении «Роландов рог», через много лет выдало ее незрелость: отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего н а д другими, отщепенство есть несчастье человека — и психологическое и онтологическое,— человека, не дозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с историей и людьми. Ее увлечение Белой армией было нелепым, оно в какой-то степени вытекало из ее привязанности к мужу, С. Эфрону, которому она «обещала сына» — она так и сказала мне: у меня будет сын, я поклялась Сереже, что я дам ему сына. Несомненно, в Марине Иввновне это отщепенство тем более было трагично, что с годами ей все более начало хотеться слияиия, что ее особенность постепенно стала тяготить ее, она изжила ее, а на ее месте ничто не возникало взамен. Она созревала медленно, как большинство русских поэтов нашего века (противоположность веку прошлому), но так и не созрела, быть может, в последние годы своей жизни поняв, что человек не может годами оставаться отверженным — и что если это так, то вина в нем, а не в его окружении. Но ее драма усугублялась тем, что в эмиграции у нее, как у поэта, не было читателей, не было отклика на то, что она делала, и, возможно, что не было друзей по ее росту. Поэт со своим даром — как горбун с горбом, поэт — на необитаемом острове или ушедший в катакомбы, поэт в своей башне (из слоновой кости, из кирпича, из чего хотите), поэт на льдине в океане — все это соблазнительные образы, которые таят бесплодную и опасную своей мертвенностью романтическую сущность. Можно вписывать эти образы в бессмертные или просто хорошие стихи, и кто-то, несомненно, на них внутренне отзовется, но они будут нести в себе один из самых коварных элементов поэзии — эскапизм, который если и украсит поэму, то разрушит поэта. Пражское одиночество Марины Ивановны, ее парижское отщепенство могли только привести ее к московской немоте и трагедии в Елабуге. В ней самой, в характере ее отношения к людям и миру уже таился этот конец: он предсказан во всех этих строчках, где она кричит нам, что она — не такая, как все, что она гордится, что она не такая, как мы, что она никогда не хотела быть такой, как мы.

Она поддавалась старому декадентскому соблазну придумывать себя: поэтурод, непризнанный и непонятный; мать своих детей и жена своего мужа; любовница молодого эфеба; человек сказочного прошлого; бард обреченного на гибель войска; ученик и друг; страстная подруга. Из этих (и других) «образов личности» она делала стихи — великие стихи нашего времени. Но она не владела собой, не строила себя, даже не знала себя (и культивировала это незнание). Она была беззащитна, беззаботна и несчастна, окружена «гнездом» и одинока, она находила, и теряла, и ошибалась без конца.

Ходасевич однажды сказал мне, что в ранней молодости Марина Ивановна на-

поминала ему Есенина (и наоборот), цветом волос, цаетом лица, даже повадками, даже голосом. Я однажды видела сон, как оба они, совершенно одинаковые, висят в своих петлях и качаются. С тех пор я не могу не видеть этой страшной параллели в смерти обоих — внешней параллели, конечно, совпадения образа их конца, и внутреннюю противоположную его мотивировку. Есенин мог не покончить с собой: он мог погибнуть в ссылке в Сибири (как Клюев), он мог остепениться (как Мариенгоф) или «словчиться» (как Кусиков), он мог умереть случайно (как Поплавский), его могла спасти война, перемена литературной политики в СССР, любовь к женщине, наконец — дружба с тем, к кому обращено его стихотворение 1922 года, иежнейшее из всех его стихов:

Возлюбленный мой, дай мне руку...

. . . . :

Прощай, прощай! В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

. . . .

Другой в тебе меня заглушит

. . . . :

Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня!

Его конец — иллюзорен. Цветаева, наоборот, к этому шла через всю жизнь, через выдуманную ею любовь к мужу и детям, через воспеваемую Белую армию, через горб, несомый столь гордо, презрение к тем, кто ее не понимает, обиду, претворенную в гордую маску, через все фиаско своих увлечений и эфемерность придуманных ею себе ролей, где роли-то были выдуманы и шпаги картонные, а кровь-то все-таки текла настоящая.

Таким же неизбежным было и самоубийство Маяковского. Быть может, с этим согласятся те немногие, кто прочел внимательно и полностью последний том его сочинений, где приведены стенограммы литературных дискуссий 1929—1930 годов между РАППом (и МАППом) и Маяковским, автором поэмы (неоконченной) «Во весь голос». Сначала «во весь голос» шла ругань, потом «во весь голос» прозвучал на всю Россию его истошный крик. Потом «весь голос» замер. Раздался выстрел, и жизнь, казалось, не имевшая конца, кончилась. Отступать он не привык, не умел и не хотел. «Заранее подготовленных позиций» у него не было и у поэта его судьбы и темперамента быть не могло. Он застрелил не себя только, он застрелил все свое поколение.

Трудно одолеть эти стенограммы, но, не одолев их, невозможно понять неизбежность этого выстрела.

Не в каждом начале уже заложен конец, а главное — не всегда его можно увидеть, иногда он спрятан слишком хорошо. Смотря назад, в XIX век, видишь, что и смерть Пушкина, и смерть Льва Толстого (и Лермонтова), так похожие на самоубийства, тоже были заложены в их судьбе. Если бы Толстой ушел из дому сразу после «Исповеди», он умер бы свободным человеком, изжив свою морализующую религию. Если бы Пушкин ушел от жены, и двора, и Бенкендорфа, ему не пришлось бы искать смерти. Оба стали жертвами собственной аберрации — Толстой стал жертвой своей дихотомии. Пушкин стал ясен только теперь, после опубликования Геккерновского архива: стало известно наконец, что Наталья Николаевна не любила его, а любила Дантеса. На «пламени», разделенном «поневоле», Пушкин строил свою жизнь, не подозревая, что такой пламень не есть истинный пламень и что в его время уже не может быть верности только потому, что женщина кому-то «отдана». Пушкин кончил свою жизнь из-за женщины, не понимая, что такое женщина, а уж он ли не знал ее! Татьяна Ларина жестоко отомстила ему.

Понятие женской невинности жило в мире около ста лет. Иллюзия о двух категориях женщин — несколько дольше. Тяжело платили за нее не только Стриндберг и Белый, но и Герцен: сцена с Гервегом на прогулке в Альпах, когда Герцен заставил Гервега поклясться, что тот никогда не будет любовником Наталии, когда он уже им был,— принадлежит к этой же мечте о женской невинности. Сейчас современным людям трудно понять «красоту», «справедливость» и «пользу» такой мечты. Теперь мы знаем, что всякая затянувшаяся невинность не только противоестественна, но и вызывает чувство брезгливости, как тот кретин, который в шестнадцать лет остался на уровне развития двухлетнего ребенка. Мне мучительно неловко читать про революционерку Марию Павловну, тридцатилетнюю, пышущую здоровьем девицу, в «Воскресении» Толстого. Я с отвращением смотрю на слюдяные глаза девственников, на слишком белые руки монахинь, мне неприятно думать о щитовидной железе старых дев и внутренней секреции аскетов.

Ранний ноябрьский вечер черен за окном. Мы сидим с трех часов при лампе в номере пражского отеля «Беранек»: Цветаева, Эфрон, Ходасевич и я. «Беранек» по-чешски значит «барашек». Барашки нарисованы по стенам, на дверях, метками вышиты на наволочках, барашки украшают меню в ресторане, барашек улыбается нам со счета отеля. Ходасевич говорит, что мы живем в стаде розовых и голубых барашков. Иные — с лентами, другие — с золочеными рожками, еще другие — с бубенчиками на шее. Барашек стоит у входа в гостиницу и даже крутит головкой и говорит «мэ-э».

Мы сидим долгие часы, пьем чай, который я кипячу на маленькой спиртовке, едим ветчину, сыр и булки, разложенные на бумажках. Все, что говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, в пьюе речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться, и я это чувствую, а она, видимо, нет, она, вероятно, думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться<...>

Р. О. Якобсон приходит после обеда. По черным улицам он, Ходасевич и я чавкаем по жидкой грязи, тонем в ней, скользим по мостовой — мы идем в старинную пивную. В пивной Ходасевич и Р. О. будут вести длинные разговоры о метафорах и метонимиях. Якобсон предлагает Ходасевичу перевести на русский язык поэму чешского романтика Махи: «Может быть, от Махи до Махи вы могли бы закрепиться в Прахи?» — говорит он. Но Ходасевич Махой не очарован и возвращает поэму.

И вот мы в Италии. Сперва — неделя в Венеции, где Ходасевич захвачен воспоминаниями молодости и где я сначала подавлена, а потом вознесена увиденным. Я только частично участвую в его переживаниях, я знаю, что он сейчас смешивает меня с кем-то прежним, и позже такие строчки, как

Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей,

мне будет естественно делить с его возлюбленной (Женей Муратовой) 1911 года. У меня тем не менее отчетливое сознание, что «мое» и что «не мое». Его молодость — не моя. Для меня и свое-то прошлое никогда не стоит настоящего, он же захвачен всем тем, что было здесь тринадцать лет тому назад (и что отражено в стихах его второго сборника — «Счастливый домик»), и ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их. И мне становятся они дороги, потому что они — его, но я не вполне понимаю его: если все это уже было им «выжато» в стихи, то почему оно еще волнует его, действует на него? Я, конечно, и вида не подаю, и не спугиваю его видений, я начинаю по-своему боготворить этот волшебный город.

Сама я уже тогда не любила носиться со своим прошлым, теперь, когда я рассказываю о нем, мне хочется быть и увлекательной, и точной, и извлекать больше радости для себя от формулировок, чем от эмоций, с ним связанных. Эмоций, собственно, нет. Я не умею любить прошлое ради его «погибшей прелести» — всякая погибшая прелесть внушает мне сомнения: а что если погибшая, она во сто раз лучше, чем была непогибшая? Мертвое никогда не может быть лучше живого. Если для живого человека мертвец лучше живого, то значит, в человеке самом есть что-то омертвелое, всякая минута живого есть лучше вечности мертвого. Кому нужны мертвецы? Только мертвецам.

Волочить сквозь всю жизнь какие-то минуты, часы или дни? Любить их ушедшую тяжесть, когда всякое настоящее уже тем только, что оно живо, лучше всякого прошлого, которое мертво? Нет, единственная непогибшая и непогибающая прелесть есть «свирепейшая имманенция» данного мгновения, состоящего из прошлого, настоящего и будущего. Нет, все воспоминания — даже самые нежные, как и самые величественные — я готова отдать за вот эти минуты жизни, а не отражения ее, когда как сейчас, мой карандаш бежит по бумаге, тень облака бежит по мне, и все вместе мы бежим по бесконечности — в трех планах: времени, пространства и энергии.

В Венеции Ходасевич был и окрылен, и подавлен: здесь когда-то он был молод и одни, мир стоял в своей целости за ним, еще не страшный. Теперь город отбрасывал ему отражение того, что есть: он не молод, он не один, и никто и ничто не стоит за ним, защиты нет. Голуби на Пьяцце ворковали и носились над нами, пароходик вез нас мимо каменного кружева старых дворцов, «которые так постарели,— говорит Ходасевич,— что сейчас рухнут». Они едва держатся, и мы едва держимся, но ничего, может быть, не рухнем, отвечала я. Мы любили друг друга через эту черту, разделявшую нас: по одну сторону был он со своими утренними предчувствиями вечерних катастроф, по другую — я с ночными тревогами о дневных радостях.

С тех пор я возвращалась в Венецию три раза. Я люблю этот город больше всех городов мира, он несравним для меня ни с одним. Но каждый раз, когда я жила в Венеции, она была моим сегодняшним днем, словно я попадала в нее впервые. Не было ни груза воспоминаний, ни оживающей меланхолии прошлого, ни сожалений, ни следов смерти. Каждый раз я была там счастлива особенной и единственной полнотой, и счастливее всего я была там, когда в полном одиночестве прожила там восемь дней (в 1965 году) — утром, бродя по церквам и музеям, по знакомым и всегда как будто новым кварталам, днем — купаясь на Лидо и вечером, либо слушая в старых двориках Возрождения камерный оркестр, играющий Вивальди, Тартини, Скарлатти, либо работая над рукописью этой вот книги. Каждый день приносил что-то новое: то это была маленькая площадь на той стороне Большого канала, где мне хотелось поселиться хотя бы дня на три, чтобы из окна комнаты по утрам видеть ее, то это был остров Санта-Элена, который я открыла в одну из прогулок и где мне все — люди, дети, собаки—казались такими красивыми. То это были розы и левкои Торчелло, окружавшие мой столик, когда я там обедала, и дышавшие на меня.

Ночью, на вокзале во Флоренции, мы с Ходасевичем вдруг решили не выходить, а проехать в Рим, который оба не знали. Утром в Риме с вокзала — прямиком в гостиницу Санта-Киара, где жил Н. Оцуп, по телефону звонить Муратову. С ним — кружить по Риму. Денег было

ровно на месяц, и Муратов сказал, что это немало, если быть очень благоразумными с временем и точно знать, куда идти и что смотреть. Сначала я скептически отнеслась к его предложению составить расписание: сама могу, не люблю расписаний, хочу — пойду, не хочу — не пойду, если чего не увижу — увижу в другой раз. «Но ведь другого раза может и не быть,— сказал Муратов.— Да и настать он может через четверть века. А вдруг вы не увидите самого важного?». Он был прав, и благодаря его «плану» я увидела все, что только мыслимо было увидеть. А «другой раз» наступил ровно через 36 лет.

Быть в Риме. Иметь гидом Муратова. Сейчас это кажется чем-то фантастическим, словно сон, после которого три дня ходишь в дурмане. А это было действительностью, моей действительностью, моей самой обыкновенной судьбой в Риме. Я вижу себя подле «Моисея» Микеланджело и рядом с собой небольшого роста молчаливую фигуру, и опять с ним — в длинной прогулке по Трастевере, где мы заходим в старинные дворики, которые он все знает так, как будто здесь родился. Мы стоим около какого-то анонимного барельефа и разглядываем его с таким же вниманием, как фрески Рафаэля; мы бродим по Аппиевой дороге, среди могил, вечером сидим в кафе около пьяццы Навона и обедаем в ресторане около Трэви. Наконец, мы едем за город, в Тускулум. И все это в атмосфере интереса к Италии современной, не только музейной. Он любил новую Италию и меня научил ее любить. Впрочем, в то время он главным образом интересовался барокко. К барокко с тех пор я уже никогда не вернулась: через 36 лет, когда я опять была там, было так много раскопано древностей, что античный Рим заслонил для меня все остальное, и было не до барокко. Я уже не пошла в Ватикан и не смотрела Моисея. Термы Веспасиана, вилла Адриана стали моими любимыми местами. Муратова уже не было, чтобы ходить туда со мной, рассматривать каждую колонну, каждый осколок колонны, но тень его и тогда была рядом.

Я спрашиваю людей, какой сюжет эпохи Возрождения они больше всего любят? Муратов любил св. Иеронима, Ходасевич — благовещенье, Н. Оцуп — задумчивого осла в Вифлееме. Сама я сквозь всю жизнь пронесла любовь к Товию, несущему рыб, идущему в ногу с Ангелом. Многое менялось в моих вкусах: я разлюбила поздний Ренессанс (после 1500 года), я разлюбила французский восемнадцатый век, я прохожу мимо Тинторетто и Карпаччио, но Товий во всех видах неизменно восхищает меня. Я люблю «Товия, несущего рыб» и у Пьеро ди Козимо, и у Ботичини, и у Тициана, и у Чимы да Конельяно, и у Вероккио, и даже у Гварди, у которого и Товий, и Ангел еще не идут, а только собираются уходить и прощаются: Ангел впереди, Товий чуть следом за ним и под руку, не за руку (это — вторая картина в серии «История Товия» в церкви св. Рафаэля в Венеции). У Ботичини ангельский шаг — широк и воздушен, у Тициана Товий шагает не в ногу, очевидно, не может поспеть; чаще всего он, маленький и серьезный, шагает рядом с огромным, спешащим к определенной цели, а не просто так себе гуляющим Ангелом, босым, с мускулистыми ногами и отогнутым большим пальцем на ноге. Ангел крепко держит в своей «настоящей» руке детскую руку Товия. Собака неопределенной породы тихонько бежит за ними. Но перед тем как подробнее сказать о них обоих, я напомню апокриф.

Старый слепой Товит (из рода Нафтали) был когда-то пленником в Ниневии. Он оставил десять серебряных талантов у Габаэля, брата Габрина, в Мидии.

Двадцать лет прошло. Расписку разорвали тогда надвое. Товит хранил свою половину.

Он решил послать сына своего, Товия, к Габаэлю за десятью талантами. Надо было найти молодому Товию спутника. Нашли ангела Рафаэля. Ходу до Мидии было два дня.

Рафаэль сказал: Я — Азария, сын Анания Великого. Товит обещал платить ему одну драхму в день на всем готовом, если он поведет Товия к Габаэлю и приведет его обратно. Он обещал награду. Мать спросила: кто пойдет с нашим сыном? Отец ответил: добрый ангел. Он знает дорогу.

Пошли втроем с собакой.

Ночью на берегу Тигра Товию захотелось вымыть ноги. Большая рыба выскочила из реки и хотела откусить ему ногу. Он громко закричал. Ангел сказал: не бойся. Схватил рыбу рукой. И по совету Рафаэля Товий разрезал рыбу, отделил печень и сердце — это были важные лекарства.

Кишки выбросили.

Часть рыбы зажарили, часть засолили. Какие же это были лекарства?

Печень и сердце — от злых духов.

Желчный пузырь — от слепоты.

Прошли через Экбатан. В доме Рагуэля жила Сарра, и Рафаэль посоветовал Товию взять ее в жены.

Но дьявол уморил уже семь женихов Сарры.

Рафаэль велел Товию бросить в огонь первое лекарство.

Дьявол исчез.

Тогда на радостях устроили пир.

Получили в Мидии десять талантов по расписке, составленной из двух половинок. Пошли обратно, втроем с собакой.

Принесли второе лекарство старому Товиту. И он прозрел.

Привезли Сарру. И прожили 117 лет.

Я знаю, почему так люблю этот сюжет Ренессанса: я целиком идентифицируюсь и с Товием, и с Ангелом. Смотря на Товия, я вижу себя, внимательно несущую рыб, доверчиво марширующую вдоль низкого горизонта, раз-два, раз-два, башмачки туго зашнурованы, обруч держит мои волосы, чтобы их не растрепал ветер. И я смотрю на Ангела и тоже вижу себя: сандалии ловко обхватывают мои ноги, широкие лопасти одежды вьются вокруг моих бедер, лицо обращено вперед, словно у той фигуры, которую ставят, вырезанную из дерева, на бушприт корабля, идущего в далекое странствие,— и которая есть самый яркий и постоянный образ моей личной символики. В лице уверенность, бесстрашие, цель — это лицо Ангела, я сливаюсь с ним в моем воображении, я держу за руку кого-то и веду. И мне не страшно быть Ангелом, потому что я одновременно и маленький человек, вернее — человечек, ведомый этим Ангелом-гигантом вдоль тосканского горизонта; облака в небе клубятся, как мои одежды, и мне начинает казаться, что этот поход маленького и большого — мой собственный поход по жизни, в котором я вдруг так счастливо раздвоилась, зная, что я соединяю обоих: Товий — это все, что во мне боится и не уверено, не смеет, не знает, все, что ошибается, сомневается, все, что надеется, все, что болеет и тоскует. А Ангел, в полтора раза больше человеческого роста,— это все остальное, куда входит и восторг жизни, и чувство физического здоровья, и равновесие, и моя несокрушимость, и отрицание усталости, слабости, старости.

Деньги кончились, оставалось в обрез на билеты до Парижа, где мы думали найти заработок. Мы выехали из Рима в теплое апрельское утро и через сутки вышли из поезда на Лионском вокзале. Дул ветер, шел дождь, туманы собирались над огромным городом. Все было серое: небо, улицы, люди, вместо башни св. Ангела (вынимает ли ангел меч или вкладывает? — я всегда думала, что вкладывает),— вместо башни на фоне римской синевы — приземистая башня с часами Лионского вокзала. Все было чужое, неуютное, холодное, казалось жестоким, угрожающим: вот я вернулась сюда, я была здесь когда-то, но ничто не отвечает мне, ничто не отзывается. В каменном грохоте таится молчание людей и вещей. Только трамваи бросают искры из-под колес на стрелках, уходя вправо и влево.

Мы поехали прямо к З. И. Гржебину. В это время он еще жил надеждами, что его издания будут допущены в Россию, что книги Горького, Зайцева, Ходасевича, Белого и других будут куплены у него на складе, что ему дадут издавать журнал, переиздавать классиков. Он даже продолжал скупать у авторов рукописи; этот опытный, казалось бы, делец не мог допустить и мысли, что ничто куплено у него не будет, что он через три года разорится дотла, что за неуплату налогов и долгов его будут фотографировать во французском полицейском участке без воротничка, в фас и профиль, как преступника, отмечая его «особые приметы», после чего он умрет от сердечного припадка, и холеные белоручки, три обожаемые им дочери, жена, свояченица — вся огромная семья с двумя не подросшими еще сыновьями будет годами биться в тяжелой нужде, в борьбе с бедностью.

Тогда, в 1924 году, он еще жил в большой квартире на Шан де Марс, к дочерям его ходили учителя, французские и русские, на кухне, с папироской во рту, стояла у плиты бывшая смолянка, а в столовой с утра до поздней ночи ели, пили, спорили и хохотали присяжный поверенный Маргулиес, поэт Черниховский, Семен Юшкевич, эсеры, эсдеки, поэты, нахлебники всякого рода, балетная молодежь студии балерины Преображенской, бывшие великие князья, артисты бывших императорских театров, опереточные певцы, художники с именем, художники без имени, кабаретные певички, приезжие из Одессы безработные журналисты, приезжие из Киева, безработные антрепренеры — всевозможные шумные полуголодные бездельники.

В первый же вечер он повез нас в Балль Табарэн, на канкан. Билеты во все театры стопкой лежали в столовой на буфете — кто хотел, тот брал. Поселили нас с Ходасевичем на седьмом этаже, в так называемой комнате для прислуги, под крышей, всю комнату занимала огромная не двухспальная, а трехспальная кровать. В окно была видна Эйфелева башня и сумрачное парижское небо, серо-черное. Внизу шли угрюмые дымные поезда (тогда еще существовала там железная дорога). На следующий вечер был балет в театре Шан-з-Элизэ, потом — ночь на Монмартре. А на третий день я нашла квартиру, вернее — комнату с крошечной кухней, на бульваре Распай, почти наискось от «Ротонды». Там, в этой квартире, мы прожили четыре месяца. Ходасевич целыми днями лежал на кровати, а я сидела в кухне у стола и смотрела в окно. Вечером мы оба шли в «Ротонду». И «Ротонда» была тогда еще чужая, и кухня, где я иногда писала стихи, и всё вообще кругом. Денег не было вовсе. Когда кто-нибудь приходил, я бегала в булочную на угол, покупала два пирожка и разрезала их пополам. Гости из деликатности до них не дотрагивались.

То зеркало в фойе театра Шан-з-Элизэ, в котором я отразилась в антракте, в тот вечер балета, все еще цело. Я много раз смотрела в него — в вечера спектаклей Дягилева, Анны Павловой, Шаляпина, в вечера «Габимы», в вечера гастролей МХАТа (1937 г.). Оно висит у лестницы, направо, и в нем долго видишь себя, когда идешь по направлению к нему. Там, в глубине этого зеркала, я вижу себя в тот первый вечер, мое синеголубое платье с белыми кружевами, по тогдашней моде, без рукавов и без талии, ноги в лакированных туфлях, узел волос на затылке, худые руки. Рядом со мной — Ходасевич. Сейчас будут три

удара. Немчинова и Долин вылетят на сцену. Я увижу «Свадебку», я увижу «Весну священную». Худенький, стройный, все в том же перелицованном пиджаке (или, может быть, взятом напрокат смокинге?) Ходасевич берет меня под руку и ведет в зал.

Мы с ним ходим теперь по городу. Лето. Жарко. Деваться некуда. Мы ходим вечерами или даже ночами, когда город медленно остывает, затихает, словно вытягивается, как зверь, перед тем, как положить одно ухо на лапу и полузакрыть громадный огненный глаз. Жадность увидеть этот город в его прошлом и настоящем постепенно обуревает нас. Мы ходим по узким и дурно пахнущим переулкам Монмартра, сидим в кафе Монпарнаса, мы идем в публичный дом на улицу Блондель, в танцульку на улицу де Лапп, мы проводим полночи где-то за путями железной дороги, где китайцы ловят нас за руки и зовут куда-то в подвал, дыша на нас странным незнакомым запахом. Мы ходим в маленькие театрики, «варьете», где картонные декорации были бы смешны, если бы не были так грустны, на ярмарки, где показывают гермафродита, сидим в кабачке, где подают голые, жирные женщины и где, опять же за пятак, можно получить чистое полотенце, если клиент решает пойти с одной из них «наверх». «Румяный хахаль в шапокляке» и «тонколягая комета» — все это было увидено тогда на улице Гетэ.

И музеи, и сады. И набережные. Вдвоем и в одиночку мы бродим.

Кое-кто из берлинских и московских друзей уже вел здесь в это время оседлую жизнь, на которую мы все еще не смели решиться. Зайцевы раскинули свой добротный быт, бедный, но прочный; Цетлины, еще до войны имевшие в Париже квартиру, обрастали мирным семейным уютом. В редакции «Последних новостей» было тесно и грязно, но уже чувствовалась прочность этого, вначале зыбкого, начинания. На улице Винез, в небольшой комнате с портретом «бабушки» Брешко-Брешковской на стене, обосновалась редакция «Современных записок». Журнал в это время печатал много Гребенщикова и Минцлова, полагая, что это пригодится для будущей России. Постепенно картина «русского Парижа» стала для нас проясняться: «правые» держались больше вокруг православной церкви (где молились), русских ресторанов (где подавали) и завода Рено (где работали рабочими), иначе говоря — доблестное войско Деникина и Врангеля продолжало вести себя доблестно: работало в поте лица, рожало детей, оплакивало прошлое и участвовало в военных парадах у могилы Неизвестного солдата. Затем были «левые», одним из центров которых был Эренбург, окруженный всевозможными бездомными фигурами, талантливыми и растерянными, среди которых был Борис Поплавский, поэт Валентин Парнах (брат забытой поэтессы Софии Парнок, умершей в Москве в 1933 году) и будущие модные художники: Терешкович, Челищев, Ланской, и поэт Борис Божнев, один из замечательных поэтов моего поколения, сошедший на нет в тридцатых годах из-за тяжелой душевной болезни. Все были слегка недокормлены, не вполне знали, что будут делать завтра, как и где жить, больше сидели в кафе за чашкой кофе, многие недоучились, иные воевали (на чьей стороне — неизвестно) и теперь наверстывали кто что мог в послевоенной пестроте парижских литературных и художественных течений.

Я не сразу почувствовала и поняла ту умственную роскошь и новизну западной (главным образом в то время — французской) жизни, которые окружили меня. Я некоторое время еще жила впечатлениями трех первых лет моей молодости. Слишком они были сильны: Петербург, август 1921 года, Белый, Горький, Италия, перемена моей личной жизни и разлука с близкими. Слишком сильно надавила на меня внезапная наша бедность, русский Париж, французский Париж, язык, который, хоть я и знала, но оказавшийся вдруг не совсем таким, какому меня учили в детстве: изысканно-трудный, с неожиданными препятствиями, которые то и дело отбрасывали меня от него. Это первое наше пребывание в Париже, в 1924 году, перед тем, как вернуться еще на одну зиму в Сорренто к Горькому, оставило во мне чувство бездомности: нерешительность Ходасевича остаться здесь, поставить обе ноги на почву, которая считается твердой, даже как будто укрепилась. Боязнь решений мучила его. Заработки оказались эфемерными, настоящего дела не предвиделось. Помнятся мне последние дни и ночи перед отъездом в Сорренто. Ходасевич в это время уже знал, что его имя было в числе других в списке высланных в 1922 году из России писателей и профессоров — нескольких сотен человек (когда мы уже были в Берлине), и понимал, что не только возврата быть не может, но что скоро нельзя будет даже и печататься в русских изданиях. То, что он был в списке, только подчеркнуло что-то в его сознании, зачеркнуло возможность возврата домой и начертило первый рисунок будущего. Холодом повеяло от него. Первый сквозняк страха над нами и приучил очень скоро ниоткуда не ждать «сладкого кусочка». Помню одну бессонную ночь, может быть, это была последняя ночь перед отъездом в Сорренто (этот отъезд был отсрочкой неизбежного): Ходасевич, изможденный бессонницами, не находящий себе места: «Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать». Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный «личный» или «частный» ад вокруг себя и как тянет меня в этот ад, и я доверчиво шла за ним, как Товий со своими рыбами. Я леденею от мысли, что вот наконец нашлось что-то, что сильней и меня и всех нас. Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России — и умоляет меня умереть вместе с ним.

М. В. Вишняк, один из редакторов «Современных записок», в своих воспоминаниях о Ходасевиче, напечатанных в «Новом журнале» в сороковых годах, рассказал, как Ходасевич однажды пришел к нему и объявил ему, что решил покончить с собой. Еще в 1921 году, как сам Ходасевич пишет в комментариях к стихотворению «Из дневника» (издание стихов 1961 года), он был готов сделать это. Такие настроения начались у него рано, пожалуй, можно сказать, что они у него были с самых ранних лет. Они кончились только с его смертью, которую он в конце концов принял как давно ожидаемое освобождение.

Окончательно приезжаем мы в Париж в апреле 1925 года (он остается здесь четырнадцать лет и умирает, я остаюсь двадцать пять лет и уезжаю). Теперь он смирился. Он знает, что к Горькому возврата нет, что там скоро все переменится. Он знает, что у него нет выбора, ехать больше некуда, и значит, все задачи сами собой разрешены: надо жить здесь, надо жить, надо. И нет нам другой дороги, как в тесный и грязноватый Притти-отель на улице Амели, не раз с тех пор описанный в мемуарах иностранной богемы,— в частности, в одной из книг Генри Миллера. Тут мы начинаем нашу жизнь в Париже. Тут мы получаем документ «апатридов», людей без родины, не имеющих права работать на жалованье, принадлежать к пролетариям и служащим, имеющим постоянное место и постоянный заработок. Мы можем работать только «свободно», как люди «свободных» профессий, то есть с д е л ь н о, такое нам ставят клеймо. Тут мы научаемся делить один артишокный листик на двоих, делить пополам каждую заработанную копейку, делить обиды, делить бессонницы.

Артишоков, впрочем, не было. И совсем не потому, что они «устарели», как когда-то говорила Виржинчик, а просто потому, что готовить их было не на чем, да Ходасевич и не ел их. В электрической кастрюле можно было вскипятить воду для трех чашек чая, и среди ночи, когда не спалось, мы пили чай, сидя на кровати, рядом, и опять не спали, говорили без конца, что-то решали и все не могли решить (а жизнь каждое утро принималась решать за нас). Иногда он плакал, ломал руки, и я пугалась настоящего, а о будущем я в те ночи и не думала: какая это роскошь — думать о будущем! Итак: артишокный листик был только метафорой.

Но не «каждая заработанная копейка». Это была не метафора, если под копейкой понимать тогдашний круглый бронзовый французский франк. Франки приходили редко и туго, но зато из самых разнообразных мест: то нам обоим из «Дней» (газеты эсеров, которая теперь выходила в Париже), то ему из «Современных записок», то мне из «Последних новостей». То вдруг из США маленький чек от Общества помощи русским интеллигентным труженикам, оказавшимся не у дел, то вдруг из Англии, от моих родственников (впрочем, от родственников всегда заимообразно). Однажды появилась жившая в Притти-отеле первая жена Ю. П. Анненкова, танцовщица из «Летучей мыши» (через год уехавшая в Москву), и положила мне на колени какое-то вышиванье, которое непременно надо было окончить к завтрашнему утру. Вышивание было крестиком, длинные полосы, которые мерились на метры, и в час выходило сантимов 60 заработку. Помню, как я сидела и вышивала всю ночь, а Ходасевич говорил, что, к сожалению, все это уже было когда-то описано, лет примерно сто тому назад, не то в романе Диккенса, не то у Чернышевского — про бедных и честных тружеников, вышивающих до слепоты в глазах, а потому — совершенно неинтересно. Но я продолжала стегать свои крестики, пока кому-то они были нужны.

Что касается обид, то они были у него, у меня пока обид не было. В Париже это ему говорили: помилуйте, мы не можем платить вам больше, чем Лоло (Мунштейну), его так любит публика! Или вам придется подождать с фельетоном — у нас на этой неделе Тэффи. Милюков сказал ему однажды (когда он краткое время пытался работать в его газете «Последние новости»), что он газете с о в е р ш е н н о н е н у ж е н. А в это время в России один из столпов журнала «На (литературном) посту» писал о нем так:

«Один из типичных буржуазных упадочников, Владислав Ходасевич, так описывает свое впечатление от собственного отражения в вагонном стекле:

...проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.

Не знаю, быть может, В. Ходасевич индивидуально совершил ошибку, быть может, он как человек обладает весьма привлекательной и даже обаятельной внешностью, но социально он оказался безусловно прав. Он верно различил в зеркале черты современной литературы своего класса. Современная буржуазная литература, взглянув в зеркало, действительно может увидеть лишь «отрубленную неживую ночную голову».

[После этого критик переходил к подобной же критике Сологуба, Мандельштама и Пастернака.]

Дальше следовало:

«С культивированием Ходасевичей и прочих нытиков мистицизма и реставрации пора покончить».

В другой раз, «покончив» с Эренбургом, критик переходил к Ходасевичу:

«Оставим Эренбурга и остановимся на его соседе по журналу [«Красная новь»]. Слушайте:

Под ногами скользь и хруст... [приводится все стихотворение].

Разумеется, «никто не объяснит», почему на «склоне лет» Ходасевичу хочется «коченеть» и выкидывать другие чудачества. И точно так же никто не объяснит, каким образом эти стихи попали не на страницы каких-нибудь эмигрантских «Сполохов», а на столбцы «Красной нови».

И дальше:

«Явно буржуазная литература, начиная с эмигрантских погромных писателей, типа Гиппиус и Буниных, и кончая внутрироссийскими мистиками и индивидуалистами, типа Ахматовых и Ходасевичей, организуют психику читателя в сторону поповско-феодально-буржуазной реставрации...»

В последние годы (пятидесятые и шестидесятые) принято писать в СССР, что эмигранты «боялись» народа, что они «испугались» народа, что они дрожали при мысли о революционном народе. Я не думаю, чтобы Бунин, Зайцев, Цветаева, Ремизов, Ходасевич боялись *народа*. Но они, конечно, боялись литературных *чиновников* — и не зря: эти чиновники-критики, завладевшие постепенно «Красной новью», обосновавшиеся в журнале «На посту», способствовали закрытию «Лефа»», довели до каторги и смерти Пильняка, уничтожили Воронского, погубили Мандельштама, Клюева, Бабеля и других, но и сами погибли тоже. Их-то уж никто не реабилитирует, надо надеяться. Среди них был тот человек, который первый сказал о необходимости *снижения культуры* в массовом масштабе, то есть об уничтожении интеллигенции, и еще другой — грозивший пулей последним символистам и акмеистам. Хочется верить, что они не оставили потомства.

Все это было тяжело потому, что отрезало путь в Россию, а слова Милюкова звучали угрозой, потому что надо было платить за комнату в Притти-отеле, а я — ни заметками, ни стихами, ни первыми рассказами, ни крестиками — не могла дотянуть до такой суммы.

Потом я низала бусы. Много нас тогда низало бусы. Даже Эльза Триоле (сестра Л. Ю. Брик, жившая в те годы в отеле на улице Кампань-Премьер, очень похожем на наш Притти-отель) низала бусы. Это, пожалуй, было несколько выгодней, чем вышивать крестом. Три раза я снималась статисткой на киносъемках. Деньги мне заплатили с трудом и в четвертый раз не пригласили. И подошла осень, и к рождеству я надписала 1000 открыток с изображением Вифлеемской звезды. Я надписала тысячу раз. «Oh, mon doux Jesus», за что получила 10 франков: три обеда, или одна пара туфель, или четыре книжки в издательстве Галлимара.

В «Днях», пока они существовали (до осени 1926 года), Ходасевич вместе с Алдановым был редактором литературного отдела, и несколько месяцев у него была регулярная работа. Мы нашли квартиру, далеко от тех мест, где жили *все*: около площади Дюмениль. Мы купили два дивана, то есть два матраса на ножках, хотя к ним полагалось купить и наматрасники, но эти наматрасники были куплены только через три года. В нашем тогдашнем понимании это называлось «рассрочкой платежа». У меня было два платья (с чужого плеча). У нас была кастрюля. В маленькой кухне я стирала и развешивала четыре простыни. Смены постельного белья не было.

Вокруг нас шумел, цвел, безумствовал послевоенный Париж, «грохочущие» двадцатые годы, вошедшие в историю западного мира как «морепоколенная» эпоха. Послевоенное поколение буйствовало. Старое доживало. Я видела собственными глазами и Клода Фаррера, и Поля Бурже, и Анри де Ренье, и невероятным может показаться теперь, что они еще существовали, когда во всей своей славе ломились в жизнь Жид, Пруст, Валери, не говоря уже о Бретоне и Тзара.

И на верхах правительства было то же: ушел древний Клемансо, пришел древний Пуанкаре, и Барту, и Бриан — все были люди начала нашего века, которые, вероятно, хотели охранить Францию от этого века; и в Академии, и в университетах было то же, и чем прочнее сидели бородатые сверстники Деруледа, тем отчаяннее боролись два следующих за ними поколения за восьмичасовой рабочий день, за свободные школы, за кубизм, дадаизм, антиакадемизм, за Брака и Пикассо, балеты Дягилева, за «исповедь» против «романа», за новый театр и музыку Стравинского.

Париж — не город, Париж — образ, знак, символ Франции, ее сегодня и ее вчера, образ ее истории, ее географии и ее скрытой сути. Этот город насыщен смыслом больше, чем Лондон, Мадрид, Стокгольм и Москва, почти так же, как Петербург, Нью-Йорк и Рим. Он сквозит этими значениями, он многосмыслен, он многозначен, он говорит о будущем, о прошлом, он перегружен обертонами настоящего, тяжелой, богатой, густой аурой сегодняшнего дня. В нем нельзя жить, как будто его нет, законопатиться от него, запереться,— он все равно войдет в дом, в комнату, в нас самих, станет менять нас, заставит нас вырасти, состарит нас, искалечит или вознесет, может быть — убьет.

Он есть, он постоянен и вечен, он вокруг нас, живущих в нем, и он в нас. Любим мы его или ненавидим, мы его не можем избежать. Он — круг ассоциаций, в котором человек существует, будучи сам кругом ассоциаций. Раз попав в него и выйдя, мы уже не те, что были: он поглотил нас, мы поглотили его, вопрос был не в том, хотели мы этого или не хотели: мы съели друг друга. Он бежит у нас в крови.

Крошечная улочка, где летом на мостовой играют дети и ночью в дешевых отелях (и в нашем тоже) комнаты сдаются по часам, где на одном конце — почтовое отделение, а на другом — турецкие бани, в тесной комнате, жаркой летом, холодной зимой, под звуки гремящего до поздней ночи радио соседей, мы живем, пока не находим наконец квартиру. И от счастья, что у нас есть жилище, что мы можем запереть дверь, спустить шторы и быть одни, мы в первые дни ходим, как шалые. На улице Ламбларди мы находим наш первый «дом». Как муравей, я волочу в него то стол, то книжную полку; наматрасников нет, но есть уже утюг, есть два стула, сковородка и метла. По воскресеньям во двор приходит шарманщик, и я бросаю ему су. У нас есть теперь три вилки, и, когда Вейдле приходит, мы втроем обедаем. Ощущения времени нет. Все неизменно. Все кругом существовало и будет существовать. Перемен не предвидится. Здесь мы живем теперь и во веки веков будем жить. Измениться ничего не может как не может измениться клеймо на наших паспортах.

Вокруг город — символ страны, с его домами, дворцами, магазинами, фабриками, театрами, памятниками,— что-то огромное, тысячелетнее, богатое шумами, запахами, пульсом и мыслью, мы глотаем его, мы срастаемся с ним, мы празднуем его праздник, тянем его будни, мы прячемся в него и выходим в него в бой с жизнью (и мы будем дрожать, когда в него будут бить бомбы). И под одной из его крыш мы узнаем свою отверженность, свое бессилие, отчаяние и — иногда — надежду.

Я не могу оставить Ходасевича больше чем на час: он может выброситься в окно, может открыть газ. Я не могу пойти учиться — на это прежде всего нет денег. Я думаю о том, что не в Сорбонну мне надо идти, а стать линотиписткой, наборщицей, научиться работать в типографии, но я не могу бросить его одного в квартире. Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию «Дней». Возвращается униженный и раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе, то здесь, то там, а чаще в «Ротонде». Собираются: Б. Поплавский, А. Гингер, А. Ладинский, Мих. Струве, Г. Адамович, через несколько лет — В. Смоленский, Ю. Фельзен, Юрий Мандельштам, Г. Федотов, реже — В. Вейдле, Б. Зайцев, другие... Ночами Ходасевич пишет. Я сплю, прижав к груди его пижаму, чтобы она была теплой, когда он захочет ее надеть. Я просыпаюсь — у него в комнате свет. Бывает, что я утром встаю, а он еще не ложился. Часто ночью он вдруг будит меня: давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать. Я клюю носом. После кофе или чая он иногда засыпает, иногда нет. Засыпаю и я.

«Быта» не было. И не могло его быть, да мы и не хотели его. Но я помню, что два ощущения были свойственны мне в те годы: чувство свободы и чувство связанности. Первое было в тесной зависимости от моей жизни в западном мире и моей собственной молодости, от книг, которые я читала, от людей, с которыми встречалась и сближалась, со всем моим внутренним ростом и с тем, что я писала тогда. Чувство связанности (или не-свободы) было соединено со всем, что касалось моей судьбы вне России, Ходасевича, нашего «дома», времени и места моих дней и лет. Это чувство связанности держало меня неделями в каком-то необъяснимом умственном застое, тоске, страхе. За страхом всегда, как сторож каждого моего шага, стояла бедность, тревога (пополам с болью) быть вдвоем, сознание, что мы оба находимся в мучительной зависимости друг от друга. Он не скрывал ее от меня, я не скрывала ее от него. Обыкновенные мерки «мужа» и «жены», «брата» и «сестры» были бы к нам неприложимы. Ткань жизни ткалась днями и ночами, ночи зависели от дней, то, что снилось, переходило в реальность, то, что мелькало при свете — в бессонницу, преображалось в раздумья. Четыре стены, два человека. Они открыты друг другу, они поняты друг другом (потому что между нами сверкает не только «духовная», но и «физическая» близость). Как много таинственного «всходит» в этой жизни вдвоем, когда видишь, как ткется самая основа существования — из шума в тишину, из толпы в одиночество, из ночи в день и из дня в ночь. Как много «всходит» потом и как много теряется и пропадает, оставив только легкий след, который вдруг начинает таинственно жить в тебе вторым пластом. Первый — всегда со мной, а этот, второй, я могу только изредка ухватить, он ускользает от меня. Я прислушиваюсь к нему, но бывают дни, когда его не слышно вовсе.

Теперь, когда я об этом пишу, я хорошо знаю возвращающиеся темы моей жизни, ее символику: колодец и родник, бедный Лазарь, Товий, ведущий Ангела, и Ангел, ведущий Товия, рвущаяся вперед фигура на бушприте и еще другие. Они обнаруживают себя время от времени, перекидывая мосты друг к другу, живя внутри меня между сознанием и подсознанием, производя непрерывную свою работу, немного сходную с перистальтикой, то всасывая, то извергая различные элементы. Эти пласты (их два или больше?) с годами во мне нарастают, крепчают, твердеют, как лед, на который уже можно встать, и от углов их скрещений и пересечений я начинаю чувствовать свой внутренний «кубизм». Но тогда, сорок лет тому назад, моя персональная символика еще была для меня загадочной. Когда я клала голову на

грудь Ходасевича, за этим моим «горизонтом» ничего еще не было. Только мысль, что мы оба держимся друг за друга,— но так ли уж крепко держимся мы за этот мир? Он, наверное, едва-едва: сквозь этот мир ему сквозит какой-то другой, полный бесконечного смысла, созданный им самим и его современниками, связанный с нашим миром зеркальный мир отражений, значений и *реалиоры*. Я держусь за жизнь, другой мир не сквозит для меня сквозь этот, я знаю, что в этом единственном мире найду все необходимые координаты. Но я знаю также, что во всякой действительности есть элемент бессмысленности, во всякой цели — абсурд и в каждой цивилизации — жестокость. Но ведь природа-мать, пожалуй, еще страшнее, жесточе и бессмысленнее? Так уж лучше это, чем то!

(Да, природа-мать уже и тогда, как и теперь, мне казалась страшнее цивилизации; теперь я знаю, что она потому страшнее, что она, во-первых, детерминирована, а цивилизация — нет. А во-вторых, мы же сами часть природы, а что же может быть страшнее, и жесточе, и бессмысленнее человека? И конечно, важнее, интереснее его? Впрочем, не есть ли и цивилизация часть природы, и весь прогресс, то есть вся наша реальность, не есть ли часть эволюции?)

Как ни грозны законы нашего общежития, нашего политического, социального, индивидуального бытия и нашего имманентного опыта, законы матери-природы еще гораздо более мощны и отвратительны. Когда я начинаю говорить об этом, Ходасевич закрывает мне рукой глаза (жест Ангела к Товию), и во мне возникают спокойные свободные миры. И он засыпает на моем плече (этот его жест — жест Товия к Ангелу), и мне хочется взять на себя все его ночные кошмары, от которых он ночами кричит.

Эти возвращающиеся темы, эта структуральная символика не наложена на меня извне, она не «накрывает» меня, она составляет мою сущность, меня самое — неотделимая, как форма от содержания. Без нее я только кости, мускулы, кожа, или вода и соль, или формула. Эта символика — моя форма, которая есть и мое содержание, она — мое содержание, которое есть и моя форма. В ней я умираю и воскресаю всю жизнь, держась за нее, потому что без нее я — не я, потому что бессмысленность и непрочность мира начинает показывать мне свое лицо. Только в себе можно найти то, на чем можно (и нужно) стоять, да еще, может быть, крепко прихватив другого кого-нибудь, прижав его к себе, помогая ему не соскользнуть, не обещая ему вечности, но обещая возможность последних пределов реальности, которых он ищет. И обещая ему память — хранительницу воображения — наперекор времени.

— Тебя нельзя разрушить, ты можешь *только* умереть,— сказал мне как-то Ходасевич.

Мне хотелось писать, я искала все возможные пути индивидуального освобождения, но я никогда не могла жертвовать минутой живой жизни ради строчки написанного, равновесием ради рукописи, бурей внутри меня — ради мелодии стихов. Для этого я слишком любила самое жизнь. Я хотела быть, во-первых, человеком, во-вторых, образованным человеком, в-третьих, современным образованным человеком, в-четвертых, современным образованным человеком в гармонии с собой и в гармонии с дисгармонией страшного мира. И только в-пятых, я хотела писать — не для читателя-друга, а для очищения себя, если успею познать себя, перед тем как *только* умереть.

Он считал, что меня нельзя разрушить, но вместе с тем он не мог не видеть минут моей слабости. В то время я тайно боялась людей, будучи жадной до них,— и тех, кому нравилась, и тех, кому не нравилась, и даже больше первых, чем вторых. Я помню напряжение внутри от желания скрыть этот страх, и нашу бедность, и болезни Ходасевича, и неуверенность в себе. Я бы не могла говорить о себе в те годы, как говорю сейчас. Многое было не побеждено тогда, не укрощено. Да я и не умела говорить, не умела даже думать. Самое важное было — научиться думать. Научиться думать о себе, о нем, о нас. А может быть, позже научиться думать и о других. Он говорил: учись писать. Но я знала, что самое важное для меня: сначала научиться думать. Ни писать, ни говорить без этого невозможно, потому что сам язык человека есть отражение его разума. Я всегда мечтала успеть созреть перед тем, как *только* умереть.

Страшное, грозное время — двадцатые и тридцатые годы нашего века. На карте Европы: Англия, Франция, Германия и Россия. В одной правят дураки, в другой — живые трупы, в третьей — злодеи, в четвертой — злодеи и чиновники. Англия разоружается. Франция не способна провести в жизнь свои решения, национал-социалисты вооружаются, предварительно заявив на весь мир, что именно они собираются делать, но их не слышат и им не верят. Там, у нас, начинается политический и культурный термидор, который будет длиться, с краткими перерывами, четверть века. В одном из перерывов будет война, когда погибнет каждый десятый.

Мы сидим с Ходасевичем в остывшей к ночи комнате, вернее, он, как почти всегда, когда дома, лежит, а я сижу в ногах у него, завернувшись в бумазейный капотик, и мы говорим о России, где начинается стремительный конец всего — и старого, и нового, блеснувшего на миг. Всего того, что он любил. Брюсов умер, о Белом не слышно, люди, с которыми он когда-то был связан личной дружбой,— Шагинян, Липскеров, А. Эфрос, Чулков, Ю. Верховский — отошли далеко-далеко. Я говорю о том, что для меня он, не имеющий в себе ни капли русской крови, есть олицетворение России, что я не знаю никого более связанного с русским ренессансом первой четверти века, чем он,— он может говорить о смерти Чехова и Толстого, как о событиях личной жизни, он знал Блока, он жал руку Скрябину, он сам есть часть этого ренессанса, один из камней здания, от которого скоро не останется ничего.

Он много кашлял. У него (уже тогда) бывали долгие боли где-то глубоко внутри. Доктор М. К. Голованов (лечивший его даром) щупает его и говорит, что это, вероятно, печень, но диеты не дает, потому что никакой диеты Ходасевич держать не может: он всю жизнь (кроме голода революционных лет) ест одно и то же: мясо и макароны. Ни салата, ни супа, ни фруктов, ни всего того, что обыкновенно дают больным.

Через год возобновляется фурункулез. Голованов делает уколы, но они не помогают. Он прописывает пилюли — безрезультатно. Больному надо менять белье через день. И вот я отправляюсь как-то вечером, осенью 1926 года, сначала в «Дни», где ему должны деньги, а потом к моей двоюродной сестре, чтобы занять две чистые простыни.

В «Днях» вышел ко мне Зензинов (эсер, в свое время упустивший Азефа) и, пугливо озираясь по сторонам, объяснил, что денег нет и не будет, что газета ликвидируется. Я стояла и смотрела на этого очень честного и очень глупого человека и думала о том, что он будет обедать и сегодня, и завтра и во веки веков аминь (а мы — это еще неизвестно), и старалась уверить себя, что гораздо интереснее жить, когда будущее неизвестно, но не могла. Я знала, что Зензинов живет в квартире Фондаминского, тоже террориста-эсера, что у них прислуга, и самовар на столе, и вид из окна на весь Париж, и книги, и что, как выражался Фондаминский, они живут умственной жизнью. Но денег, как сказал мне Зензинов, в газете не было, и я ушла и поехала на улицу Дарро, в ту сторону, где метро около станции Гласьер вымахивает на поверхность земли, и там, в этой узкой и темной улице, на седьмом этаже, я сидела часа два на ступеньке лестницы, дожидаясь, когда придет Ася, чтобы взять у нее чистое постельное белье. Я сидела и чувствовала на этой темной лестнице, что мы пропали, что деваться нам некуда и что я, вероятно, виновата во всем, что случилось и со мной и со всеми нами,— и думала, что если Ходасевич умрет, то, разумеется, умру и я.

Я вернулась поздно. Ходасевич, одетый, едва живой, стоял в передней, готовый идти в полицию, заявить о том, что я пропала. Я села тут же на стул, усталая, голова моя кружилась, ноги не держали меня. Наконец я подняла на него глаза и сказала: «A nos yeux les habitants du heste de l'Europe n'étaient, que des imbéciles pitoyables».

— Откуда это? — спросил он и положил мне руку на голову, сам едва держась на ногах.

— Стендаль. И он был прав.

Он ничего не ответил. Две слезы побежали у меня из глаз. Я пошла стелить ему постель. Он разделся, лег, целовал мои руки и смеялся от радости, что ему не нужно ехать в морг опознавать меня. Все это — и его ирония — было частью нашего многолетнего разговора, который начался еще там, у окна его круглой комнаты (или у дымившей печки, или в воротах дома на Кирочной). Он продолжался долго, он занял огромную часть моей жизни. Этот разговор можно было бы назвать диалогом о символизме — не том, ушедшем в прошлое литературном направлении, которого Ходасевич был частью, но о символизме как основе жизни и мышления, основе отдельных моментов и общей судьбы человека. Не мировоззрения, но теории познания. О том, что через двадцать лет С. Лангер назвала *главным* в умственной деятельности человека. Если человек не распознал своих мифов, не раскрыл их — он ничего не объяснил ни себе, ни в самом себе, ни в мире, в котором жил. Уметь найти «структуру» индивидуальной символики и ее связь с символикой мира — вот куда заглядывали мы с ним в этих разговорах.

В роскоши европейской интеллектуальной жизни тех лет было не так просто отличить друга от врага и созидателя от разрушителя. Да, по правде говоря, в двадцатых годах только еще нарождалось самопознание нашего века, да и то не во Франции. Франция либо охраняла памятники прошлого (никогда ни от чего не отказываясь не в пример нам), либо взрывала их, с присущей ей непоследовательностью превознося то, что нужно было взорвать, а то, что нужно было сохранить и чему поклониться,— осмеивая. В мыслях был сумбур необыкновенный, один и тот же человек мог восхищаться реакционной философией Аллэна и восторгаться «дада», мог питаться Фрейдом и быть членом компартии, и все это не от буйства молодости, а просто от переизбытка бутафорской ветоши, вышедшей из-под контроля, и того нового ради нового, что бешено устремилось навстречу этой ветоши, чтобы смыть ее с лица земли, не разбирая кто — кто. В этой атмосфере Ходасевич чувствовал себя одиноким (только теперь стало ясно, с кем он перекликается в европейском подъеме новой поэзии), считал, что время работает против него (а вышло наоборот). Пленник своей молодости, а иногда и ее раб (декораций Брюсова, выкриков Белого, туманов Блока), он проглядел многое или не разглядел многого, обуянный страшной усталостью, и пессимизмом, и чувством трагического смысла вселенной (последняя стадия перед чувством полной ее бессмысленности), не имея уже сил взглянуть в ту сторону, где стояли его европейские единомышленники (впрочем — только час-

тичные). Или, может быть, разрушенный российскими событиями, он сознательно закрылся от них, не веря им, отвернулся и замолчал?

В то время во всем западном мире не было ни одного видного писателя, который был бы «за нас», то есть который поднял бы голос против преследований интеллигенции в СССР, против репрессий, против советской цензуры, арестов, процессов, закрытия журналов, против железного закона социалистического реализма, за неповиновение которому шло физическое уничтожение русских писателей. Старшее поколение — Уэллс, Шоу, Роллан, Манн — было целиком за «новую Россию», за «любопытный опыт», ликвидировавший «ужасы царизма», за Сталина против Троцкого, как оно было за Ленина против других лидеров русских политических партий. Старшее поколение — с Драйзером, Синклером Льюисом, Эптоном Синклером, Андрэ Жидом (до 1936 г.), Стефаном Цвейгом — во всех вопросах было на стороне компартии против оппозиции. Затем шли «средние», как, например, группа «Блумсберри» с Вирджинией Вулф, или Валери, или Хемингуэй, которые энтузиазма к компартии не высказывали, но которые были безразличны к тому, что совершалось в России в тридцатых годах. Кумир молодежи Жан Кокто писал: «Диктаторы способствуют протесту в искусстве, без протеста искусство умирает». (Хотелось спросить: а как насчет пули в затылок?) Главным врагом их была реакция, позже — реакция в Испании и нарождавшийся в Германии национал-социализм. А что сказать о «молодых»? Самый яркий пример их поведения — избиение французскими сюрреалистами Андрея Левинсона, литературного и театрального критика, эмигранта, автора книги об истории балета, когда Левинсон напечатал в 1930 году свой некролог Маяковского. Уже до этого у него были неприятности, когда он в апреле 1928 года поместил статью в парижской газете «Ле Тан», спрашивая, как относиться к М. Горькому теперь, когда начались в Советском Союзе репрессии против писателей, если он не поднимет свой голос против них? Но здесь я подхожу к одному событию, о котором хочу рассказать более подробно. Оно произошло летом 1927 года.

В этом году в Париж из Советского Союза приезжала Ольга Дмитриевна Форш, которую я знала по Петербургу 1922 года, когда она была одним из ближайших друзей Ходасевича. Приехав в Париж, она сейчас же пришла к нам. Она обрадовалась Ходасевичу, разговорам их не было конца. В 1921—1922 годах она жила одновременно с ним в Доме Искусств, они встречались ежедневно, и теперь, в Париже, она продолжала с ним когда-то прерванные беседы. В «Диске» они жили в одном коридоре, Ходасевич знал и сына ее, и дочь (по прозвищу Тапирчик). Форш любила и ценила его как поэта давно. Для обоих эта встреча после пяти лет разлуки была событием.

Форш проводила у нас вечера, говорила о переменах в литературе, о политике партии в отношении литературы, иногда осторожно, иногда искренне, с жаром. Седая, толстая, старая (так мне казалось в то время), она говорила, что у всех них там только одна надежда. Они все ждут.

— На что надежда? — спросил Ходасевич.

— На мировую революцию.

Ходасевич был поражен.

— Но ее не будет.

Форш помолчала с минуту. Лицо ее, и без того тяжелое, стало мрачным, углы рта упали, глаза потухли.

— Тогда мы пропали,— сказала она.

— Кто пропал?

— Мы все. Конец нам придет.

Прошло два дня, и она не появлялась, и тогда мы пошли к ней вечером узнать, не больна ли она. Она остановилась на левом берегу, у дочери-художницы Нади, оказавшейся в эмиграции. Был чудный летний вечер, и во дворе у нее была зелень и скамеечка, и студия ее открывалась прямо на этот двор. Мы вошли. Форш лежала на кровати, одетая, растрепанная, красная. Она сказала нам, что вчера утром была в «нашем» посольстве и там ей официально запретили видаться с Ходасевичем. С Бердяевым и Ремизовым можно изредка, а с Ходасевичем нельзя. «Вам надо теперь уйти,— сказала она,— вам здесь нельзя оставаться».

Мы стояли посреди комнаты, как потерянные.

— Владя, простите меня,—выдавила она из себя с усилием.

Мы медленно пошли к дверям. Дворик был весь в солнечных зайчиках. Форш задвигалась на кровати всем своим огромным телом и всхлипнула. Мы молча постояли в подворотне с минуту и побрели домой. Теперь с неопровержимостью нам стало ясно: нас отрезали на тридцать, на сорок лет, навеки... Сейчас, в 1977 году, можно сказать: а все-таки не навеки!

После этого были у Ходасевича еще две-три встречи, когда друзья, приезжавшие из Москвы, отвернулись от него. Они возвращались обратно и не могли позволить себе роскоши ослушания. Потом прекратилась посылка авторских из Союза писателей за перевод Ходасевича «Кареты святых даров» Мериме, шедший, если не ошибаюсь, в Малом театре. Потом мои родители дали мне знать, чтобы я им писала не письма, но открытки.

К этому же лету (1927 г.) относится теперь забытое анонимное письмо, присланное из Москвы в редакции русских газет за границей, которое называлось «Писателям мира». Видимо, судя по названию, оно было прислано и в иностранную печать, но я не помню, чтобы оно появилось в какой-либо французской газете. В «Последних новостях» оно было напечатано 10 июля 1927 года.

Я привожу его здесь полностью:

«Писателям мира

К вам, писатели мира, обращены наши слова.

Чем объяснить, что вы, прозорливцы, проникающие в глубины души человеческой, в душу эпох и народов, проходите мимо нас, русских, обреченных грызть цепи страшной тюрьмы, воздвигнутой слову? Почему вы, воспитанные на творениях также и наших гениев слова, молчите, когда в великой стране идет удушение великой литературы в ее зрелых плодах и ее зародышах?

Или вы не знаете о нашей тюрьме для слова — о коммунистической цензуре во вторую четверть XX века, о цензуре «социалистического» государства? Боимся, что это так. Но почему же писатели, посетившие Россию — господа Дюгамель, Дюртен и другие,— почему они, вернувшись домой, ничего не сообщили о ней? Или их не интересовало положение печати в России? Или они смотрели и не видели, видели и не поняли? Нам больно от мысли, что звон казенных бокалов с казенным шампанским, которым угощали в России иностранных писателей, заглушил лязг цепей, надетых на нашу литературу и весь русский народ!

Послушайте, узнайте!

Идеализм, огромное течение русской художественной литературы, считается государственным преступлением. Наши классики этого направления изымаются из всех общедоступных библиотек. Их участь разделяют работы историков и философов, отвергавших материалистические взгляды. Набегами особых инструкторов из общих библиотек и книжных магазинов конфискуется вся дореволюционная детская литература и все произведения народного эпоса. Современные писатели, заподозренные в идеализме, лишены не только возможности, но всякой надежды на возможность издать свои произведения. Сами они, как враги и разрушители современного общественного строя, изгоняются изо всех служб и лишаются всякого заработка.

Это первая стена тюрьмы, за которую засажено свободное слово. За ней идет вторая.

Всякая рукопись, идущая в типографию, должна быть предварительно представлена в двух экземплярах в цензуру. Окончательно отпечатанная, она идет туда снова — для второго чтения и проверки. Бывали случаи, когда отдельные фразы, одно слово и даже одна буква в слове (заглавная буква в слове «Бог»), пропущенные цензором, автором, издателем и корректором, вели при второй цензуре к безжалостной конфискации всего издания.

Апробации цензора подлежат все произведения — даже работы по химии, астрономии, математике. Последующая авторская корректура в них может производиться лишь по особому, каждый раз, согласию цензора. Без него типография не смеет внести в набор ни одной поправки.

Без предварительного разрешения цензора, без специального прошения с гербовыми марками, без долгого ожидания, пока заваленный работой цензор дойдет до клочка бумаги с вашим именем и фамилией, при коммунистической власти нельзя отпечатать даже визитной карточки. Господа Дюгамель, Дюртен могли легко заметить, что даже театральные плакаты с надписью «не курить», «запасной выход» помечены внизу все той же сакраментальной визой цензуры, разрешающей плакаты к печати.

Есть еще и третья тюремная стена, третья линия проволочных заграждений и волчьих ям.

Для появления частного или общественного издательства требуется специальное разрешение власти. Никому, даже научным издательствам, оно не дается на срок, больший 2-х лет. Разрешения даются с трудом, и неказенные издательства редки. Деятельность каждого из них может протекать только в рамках программы, одобренной цензурой. На полгода вперед издательства обязаны представлять в цензуру полный список всех произведений, подготовляемых к печати, с подробными биографиями авторов. Вне этого списка, поскольку он утвержден цензурой, издательство не смеет ничего выпускать.

При таких условиях принимается к печати лишь то, что наверняка придется по душе коммунистической цензуре. Печатается лишь то, что не расходится с обязательным для всех коммунистическим мировоззрением. Все остальное, даже крупное и талантливое, не только не может быть издано, но должно прятаться в тайниках; найденное при обыске, оно грозит арестом, ссылкой и даже расстрелом. Один из лучших государствоведов России — проф. Лазаревский — был расстрелян единственно за свой проект Российской конституции, найденный у него при обыске.

Знаете ли вы все это? Чувствуете ли весь ужас положения, на которое осужден наш язык, наше слово, наша литература?

Если знаете, если чувствуете, почему молчите вы? Ваш громкий протест против казни Сакко, Ванцетти и других деятелей слова мы слышали, а преследования вплоть до казни лучших русских людей, даже не пропагандирующих своих идей, за полной невозможностью пропаганды, проходят, по-видимому, мимо вас. В нашем застенке мы, во всяком случае, не слышали ваших голосов возмущения и вашего обращения к нравственному чувству народов. Почему?

Писатели! Ухо, глаз и совесть мира — откликнитесь! Не вам утверждать: «несть власти аще не от Бога». Вы не скажете нам жестких слов: всякий народ управ-

ляется достойной его властью. Вы знаете: свойства народа и свойства власти в деспотиях приходят в соответствие лишь на протяжении эпох; в короткие периоды народной жизни они могут находиться в трагическом несходстве. Вспомните годы перед нашей революцией, когда наши общественные организации, органы местного самоуправления, Государственная Дума и даже отдельные министры звали, просили, умоляли власть свернуть с дороги, ведшей в пропасть. Власть осталась глуха и слепа. Вспомните: кому вы сочувствовали тогда — кучке вокруг Распутина или народу? Кого вы тогда осуждали и кого нравственно поддерживали? Где же вы теперь?

Мы знаем, кроме сочувствия, кроме моральной поддержки принципам и деятелям свободы, кроме морального осуждения жесточайшей из деспотий вы ничем не можете помочь ни нам, ни нашему народу. Большего, однако, мы и не ждем. С тем большим напряжением мы хотим от вас возможного: с энергией, всюду, всегда срывайте перед общественным сознанием мира искусную лицемерную маску с того страшного лика, который являет коммунистическая власть в России. Мы сами бессильны сделать это: единственное наше оружие — перо — выбито из наших рук, воздух, которым мы дышим,— литература — отнят от нас, мы сами — в тюрьме.

Ваш голос нужен не только нам и России. Подумайте и о самих себе: с дьявольской энергией, во всей своей величие, видимой только нами, ваши народы толкаются на тот же путь ужасов и крови, на который в роковую минуту своей истории десять лет назад был столкнут наш народ, надорванный войной и политикой дореволюционной власти. Мы познали этот путь на Голгофу народов и предупреждаем вас о нем.

Мы лично гибнем. Близкий свет освобождения еще не брезжит перед нами. Многие из нас уже не в состоянии передать пережитый страшный опыт потомкам. Познайте его, изучите, опишите вы, свободные, чтобы глаза поколений, живущих и грядущих, были открыты перед ним. Сделайте это — нам легче будет умирать.

Как из тюремного подполья отправляем мы это письмо. С великим риском мы пишем его, с риском для жизни его переправят за границу. Не знаем, достигнет ли оно страниц свободной печати. Но если достигнет, если наш замогильный голос зазвучит среди вас, заклинаем вас: вслушайтесь, вчитайтесь, вдумайтесь. Норма поведения нашего великого покойника — Л. Н. Толстого,— крикнувшего в свое время на весь мир «не могу молчать», станет тогда и вашей нормой.

Группа русских писателей.
Россия. Май 1927 года».

Таков был крик, раздавшийся из России, адресованный всему миру и услышанный только эмиграцией. В «Правде» от 23 августа (того же 1927 года) появилось опровержение этого письма: «Правда» называла его фальшивкой, сфабрикованной эмигрантами, в доказательство чего газета говорила, что в Советской России писатели — самые счастливые в мире, самые свободные, и не найдется среди них ни одного, кто бы посмел пожаловаться на свое положение и тем сыграть в руку «врагам советского народа».

И вот теперь, глядя назад, я скажу, что несмотря на то, что хорошо было бы узнать всю правду о происхождении (и авторстве) этого документа, мне сейчас в с е р а в н о, писал ли его кто-нибудь из окружения Иванова-Разумника, Чулкова или Волошина в Р о с с и и или кто-нибудь в окружении Мережковского, Мельгунова или Петра Струве в П а р и ж е. В письме звучат ноты отчаяния, связанные с самоубийством Есенина и Соболя, с гонениями против А. Воронского, с расцветом журнала «На посту», с железным занавесом, спускающимся над Россией после отмены нэпа. Но если письмо фальшивка и «Правда» права, то какая пророческая фальшивка! Какая «бытулка в море», если вспомнить, что началось через год-два и продолжалось четверть века!

Ни один «писатель мира» не откликнулся на это письмо, ни одна газета, ни один журнал не комментировали его. «Левая» печать Франции, разумеется, стояла на позиции «Правды», правая не интересовалась положением русской литературы «на данном этапе». Писатели-эмигранты начали прилагать усилия к тому, чтобы голос из Москвы был услышан. Но их никто не слушал, их нигде не принимали, ответ всегда бывал один: вы потеряли ваши фабрики и заводы, доходные дома, текущие счета. Мы сочувствуем, но дела с вами иметь не хотим. Наконец, Бальмонт и Бунин написали письма-обращения к «совести» французских писателей. Несколько месяцев они старались напечатать их в так называемой «большой» прессе, но это им не удалось. И вот в январе (12-го) 1928 года эти обращения появились наконец в маленьком периодическом издании «Л'Авенир». Их никто не заметил.

За одним исключением: это был Ромэн Роллан. Он прочел письма Бальмонта и Бунина, которые, по существу, комментировали и пересказывали анонимное московское письмо, прочел и решил дать им урок. Он напечатал свою отповедь в февральском номере ежемесячника «Л'Эроп» (письмо помечено 20 января). «Бальмонт, Бунин, я вас понимаю,— писал Роллан,— ваш мир разрушен, вы — в печальном изгнании. Для вас гудит набат погибшего прошлого. О, люди прозорливые, почему вы ищете себе союзников среди ужасных реакционеров Запада, среди буржуазии и империалистов? О, новобранцы разочарований!.. Я иду к новорожденному, я беру его на руки...

Секретная полиция всегда была в России, этот ужасный яд, от которого вянут цветы души нации... Что касается материнства и младенчества, то прочтите отчет О. Каменевой о ее деятельности... Кровь ваша и русского народа одна. Но сейчас между вами и вашим народом ров крови... Высокие умы ездят в Россию и видят, что делается там... Ученые хладнокровно работают на вашей родине... там больше писателей и читателей, чем у нас... Только недавно получил я в подарок новую книгу Пришвина... Меня в моей собственной стране тоже мучила цензура... Выжжем рану каленым железом! Всякая власть дурно пахнет. И все-таки человечество идет вперед... Оно идет вперед сегодня... По вас, по мне...».

Но на этом дело не кончилось. Этого Роллану показалось мало. Он обратился к Горькому, в Сорренто, с вопросом: правда ли, что писателей в Советском Союзе угнетают? Правда ли, что положение их тяжелое? В мартовском номере «Л'Эроп» (того же года) можно найти ответ Горького на запрос Роллана (он помечен 29 января — 12 февраля 1928 года). Этот ответ окончательно разъяснил Роллану положение вещей и раз навсегда успокоил его.

Горький писал, что не только «Писателям мира» — фальшивка, но что в Советском Союзе писатели куда более счастливы, чем в буржуазных странах: молодых талантов сотни, старые литераторы работают более усиленно и плодотворно, чем до революции. Чтобы не быть голословным, Горький называет многочисленные имена — вслед за известными, знаменитыми даже, именами А. Н. Толстого, Тихонова, Пришвина, Леонова и др. он приводит в своем списке следующие фамилии:

Леонид Борисов
Нина Смирнова
Бабель
Пильняк
Ал. Яковлев
С. Клычков
Казин
Орешин
Зощенко.

Все эти имена принадлежат людям, впоследствии так или иначе репрессированным — в разное время и в разной степени. Л. Борисов прекратил писать романы и рассказы и перешел на биографические очерки о великих людях прошлого (Мопассан, Жюль Верн, Стивенсон). Горький написал предисловие к книге Борисова, но оно ни тогда, ни позже опубликовано, видимо, не было. Шесть человек, упомянутые Горьким, были ликвидированы в тридцатых годах. Зощенко отстранен от литературы в 1946 году. Может быть, по этим причинам это письмо Горького Роллану и не вошло в полное собрание его сочинений и писем?

Но и это не было концом «спора». Через месяц, 22—23 марта, Горький опять написал Роллану — на этот раз он дал характеристику Бальмонта как алкоголика и просил Роллана это письмо опубликовать. Этого Роллан, однако, не сделал, видимо, боясь затрагивать «личность», зато это письмо теперь опубликовано в СССР среди других 1200 писем Горького (всех писем, по его собственному подсчету, им написано было около 20 000).

Тогда же «Л'Авенир» сделал попытку опросить французских писателей: существуют ли еще, по их мнению, преследования писателей в СССР или они давно кончились, как заявил Бернард Шоу? Но журнал этот никем не читался, расходился плохо, и все дело заглохло очень скоро. В марте 1928 года был отпразднован шестидесятилетний юбилей Горького «всем миром», как писал Роллан в той же «Л'Эроп», и тогда-то А. Я. Левинсон и задал свой вопрос в «Тан», в связи с оплакиванием Горьким Дзержинского. А ровно через два года застрелился Маяковский, и началась новая эра в советском государстве, которая продолжалась 23 года.

Грохочущие, буйствующие двадцатые годы. Мятеж в литературе, бунт в живописи, в музыке. Революция в быту — по всему миру. Схождение с ума буржуазии: мы победили, смотрите на нас! (Или: нас побили, смотрите на нас!). Гром военной музыки в день перемирия, гром фейерверка в день взятия Бастилии. Гром речей с трибун, гром хохота с подмостков. Если и есть среди всего этого небесный гром, его никто не слышит. А нам-то что до всего этого, нам, Акакиям Акакиевичам вселенной? «Тише воды, ниже травы»...

Между тем я думала: как прожить, чтобы сделать жизнь переносимой для себя и еще хотя бы для одного человека или, может быть, для двух или трех? Как пройти, не расталкивая слишком сильно? Как дойти, не ударив больно? Как победить страх? Как научиться относиться к жизни п р е ж д е в с е г о как к благородному спорту, основанному на благородных правилах состязания в игре, подчиненной благородным нормам? Да, уметь быть на высоте того, что на английском языке называется sportsmanship, в самые страшные минуты. Чтобы в конце сказать (не словами в торжественной речи, а так, бормоча себе под нос): меня больше толкали и били, чем толкала и била я. Меня больше предавали, чем предавала я. Я больше облегчала, чем облегчали мне. И я чаще бывала Ангелом, чем Товием, а когда я бывала Товием, то не сознавала ни своей прелести, ни своей невинности (которые, впрочем, обе не ставила ни во что). И в отчаянные, безнадежные годы моей жизни я умела быть одна, умела молчать и быть строгой к самой себе, сначала — с некоторым педантизмом молодости, позже — освободившись от него.

— В общем, тебе никто не нужен, ведь так? — сказал как-то Ходасевич.

— Ты нужен.

— До поры до времени... Хотел бы я

посмотреть на тебя в безвыходном положении.

— Более безвыходном, чем сейчас с тобой?

— Да. (Сейчас ты еще можешь иногда минусы переделывать в плюсы.)

— Это будет премерзкая картина.

— А у меня всегда есть выход: можно возвратить билет.

— Ни в коем случае. Я хочу его использовать до конца и даже попробовать один перегон проехать зайцем.

(Нравится ли ему мое чугунное нутро,— думала я иногда,— или оно коробит его?)

Счастье мое с ним было не совсем того свойства, какое принято определять словами: радость, свет, блаженство, благополучие, удовольствие, покой. Оно состояло в другом: в том, что я сильнее ощущала жизнь рядом с ним, острее чувствовала себя живой, чем до встречи с ним, что я горела жизнью в ее контрастах, что я в страдании, которое узнала тогда, имела в себе больше жизни, чем если бы делила окружающее и окружающих на «да» и «нет»,— интенсивность «заряда» была иногда такова, что любое чудо казалось возможным. Я не уверена, что в комфорте, в уверенности в завтрашнем дне живет для современного человека то же значение, которое было в этих понятиях сто лет тому назад: если судить по современной литературе, оно в значительной мере утеряно. Не я одна «искала жизни» вне соображений удобств и покоя. И уже тогда мне стала являться мысль, что я «была, есть и буду», но, может быть, не «стану». Это не пугало меня. В «быть» для меня была заложена интенсивность, которой в «стать» я не чувствовала.

Для меня наш диалог, который длился семнадцать лет,— не прошлое. Это такое же настоящее, как сегодняшний день. Оно живет во мне, до сих пор действует на меня, растет во мне, как и я расту в нем, хотя сегодня я уже никого никуда не веду и сама уже ни за кого не держусь: я слила в себе Ангела и Товия, и их больше нет. В разные годы я бывала вдвоем. Сейчас я, как в детстве, просыпаюсь одна и засыпаю одна.

* * *

Я помню ярко, как они вошли: открылась дверь, распахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За ними внесли два стула, и они сели. Господину с бородкой, маленького роста, было на вид лет шестьдесят, рыжеватой даме — лет сорок пять. Но я не сразу узнала их. Вас. Ал. Маклаков, читавший свои воспоминания о Льве Толстом, остановился на полуфразе, выждал, пока закрылись двери, затем продолжал. Все головы повернулись к вошедшим. Винавер (это было в большой гостиной Винаверов) привстал, затем опять сел. По всей гостиной прошло какое-то едва заметное движение. Кто они? — подумала я: на несколько минут какая-то почтительность повисла в воздухе. И вдруг что-то ударило меня ответом, когда я еще раз взглянула на него: прежде чем узнать е е, я узнала е г о, меня ввело в заблуждение то, что она выглядела так молодо, а ведь ей в то время было под шестьдесят! Это были Мережковские.

Положив ногу на ногу и закинув голову, слегка прикрывая веками свои близорукие глаза (ставшие к старости косыми), она играла лорнеткой, слушая Маклакова, который цветисто и уверенно продолжал свой рассказ. Она всегда любила розовый цвет, который «не шел» к ее темно-рыжим волосам, но у нее были свои критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у нее делалось частью ее самой. Шелковый, полупрозрачный шарф струился вокруг ее шеи, тяжелые волосы были уложены в сложную прическу. Худые маленькие руки с ненакрашенными ногтями были сухи и безличны, ноги, которые она показывала, потому что всегда одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины прошлых времен. Бунин смеясь говорил, что у нее в комоде лежит сорок пар розовых шелковых штанов и сорок розовых юбок висит в платяном шкафу. У нее были старые драгоценности, цепочки и подвески, и иногда (но не в тот первый вечер) она появлялась с длинной изумрудной слезой, висевшей на лбу на узкой цепочке между бровями. Она, несомненно, искусственно выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна. И она не была женщиной.

Он был агрессивен и печален. В этом контрасте была его характерность. Он редко смеялся и даже улыбался не часто, а когда рассказывал смешные истории (например, как однажды в Луге у Карташева болел живот), то рассказывал их вполне серьезно. Что-то было в нем сухое и чистое, в его физическом облике; от него приятно пахло, какая-то телесная аккуратность и физическая легкость были ему свойственны, чувствовалось, что все вещи — от гребешка до карандаша — у него всегда чистые, и не потому, что он за ними следит, а потому, что ни к нему, ни к ним не пристают пылинки.

Гостиная Винаверов была одним из «салонов» русского литературного Парижа в 1925—1926 годах (М. М. Винавер умер в 1926 году). Огромная квартира их в лучшей части города напоминала старые петербургские квартиры — с коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в кабинете. На доклады приглашалось человек тридцать, и не только «знаменитых», как Маклаков, Милюков, Мережковские, Бунин. Бывали и «подающие надежды», молодежь из монпарнасских кафе, сотрудники понедельничной газеты «Звено», которую издавал и редактировал Винавер (он, кроме

того, издавал и редактировал в то время «Еврейскую трибуну» и был автором книги воспоминаний «Недавнее»). Известный кадет, член партии Народной свободы и бывший думец, он с Милюковым как бы поделил русскую демократическую печать (ежедневную, газетную) — Милюков издавал и редактировал «Последние новости», а Винавер — литературное приложение к газете.

После доклада гости переходили в столовую, где их ждал ужин. Зинаида Николаевна плохо видела и плохо слышала, и ее смех был ее защитой — она играла лорнеткой и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой, чем была на самом деле, более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь, прекрасно ею понятое. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба-игра. Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой.

Они жили в своей довоенной квартире, это значит, что, выехав из Советской России в 1919 году и приехав в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом и нашли все на месте: книги, посуду, белье. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Буниных и у других. В первые годы, когда я еще их не знала, они бывали во французских литературных кругах, встречались с людьми своего поколения (сходившего во Франции на нет), с Ренье, с Бурже, с Франсом.

— Потом мы им всем надоели,— говорил Дмитрий Сергеевич,— и они нас перестали приглашать.

— Потому что ты так бестактно ругал большевиков,— говорила она своим капризным скрипучим голосом,— а им всегда так хотелось их любить.

— Да, я лез к ним со своими жалобами и пхохочествами (он картавил), а им хотелось совсем другого: они находили, что русская революция ужасно интересный опыт, в экзотической стране, и их не касается. И что, как сказал Ллойд Джордж, торговать можно и с каннибалами.

Вечерами она сидела у себя на диване, под лампой, в какой-нибудь старой, но все еще элегантной кацавейке, куря тонкие папироски, приблизив работу к глазам, шила что-то (она любила шить), поблескивая наперстком на узком пальце. Запах духов и табаку стоял в комнате.

— Где мои кусочки? — спрашивала она, роясь в лоскутках.

— Где моя булочка? — спрашивала она за чаем, приближая к себе хлебную корзинку.

В. А. Злобин ставил перед ней чашку.

— Где моя чашка? — И она обводила невидящими глазами стены комнаты.

— Дорогая, она перед вами,— терпеливо говорил Злобин своим умиротворяющим, веским тоном.— А вот и ваша булочка. Ее никто не взял. Она ваша.

Это была игра, но игра, которая продолжалась между ними много лет (почти тридцать) и которая обоим была необходима.

Потом открывалась дверь кабинета и Д. С. входил в столовую. Я никогда не слышала, чтобы он говорил о чем-нибудь, что было бы неинтересно. З. Н. часто спрашивала, говоря о людях:

— А он интересуется интересным?

Д. С. интересовался интересным, это было ясно с первого произнесенного им слова. Он создал для себя свой мир, там многого недоставало, но то, что ему было необходимо, там всегда было. Его мир был основан на политической непримиримости к Октябрьской революции, все остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы этики, вопросы религии, политики, науки — все было подчинено одному: чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях. Иногда все это было только подводным течением в его речах, которое в самом конце вечера вырывалось наружу:

— ...и вот потому-то мы тут!

Или:

— ...и вот потому-то они там!

Но чаще вся речь была окрашена одним цветом:

— Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России?

Она думала минуту.

— Свобода без России,— отвечала она,— и потому я здесь, а не там.

— Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но...— и он задумывался, ни на кого не глядя,— на что мне, собственно, нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?

И он замолкал, пока она искала, что бы такое сказать, слегка ироническое, чтобы в воздухе не оставалось этой тяжести и печали.

Время от времени она принималась расспрашивать меня о моем петербургском детстве, о прошлом. Я не любила говорить, я больше любила слушать. И тогда говорила она. И какая-то смутная тайна чувствовалась в ней, тайна, дававшая ей всю ее своеобразность, и тайна, дававшая ей все ее страдание.

Она болезненно любила свою мать. Все четыре сестры (братьев не было) болезненно любили свою мать. Она единственная из сестер вышла замуж, три другие остались в девушках, две — в Советской России, и за одной из них когда-то ухаживал Карташев и собирался жениться, но вмешался Д. С., и свадьба не состоялась. Эти две женщины оказались во время войны (в 1942 году) в Пскове у немцев, и З. Н. пыталась списаться с ними. Они, вероятно, погибли при немецком отступлении. Это были те Тата-Ната, о которых Белый писал в своих воспоминаниях. Третья сестра была высохшая, полоумная Анна Николаевна, состоявшая «при соборе» на улице Да-

рю (автор книги о житии Тихона Задонского), одна из тех, что чистят образа, чинят ризы и бьют поклоны.

Анна иногда забегала к З. Н., сидела на краю стула и беспокойно молчала. Племянника же Д. С. и его жену я никогда у них не видела. Это был сын старшего брата Д. С., Константина Сергеевича, автора книги «Земной рай», утопии 27-го века. Он родился в 1854 году, был профессором Казанского университета, автором нескольких научных книг, но в начале нашего столетия он был судим за совращение малолетней и сослан в Сибирь. Сын его был человек довольно замечательный, изобретатель всевозможных вещей — от усовершенствованной мины до губного карандаша, не пачкающего салфетки. Ни он, ни жена его, видимо, никогда у Мережковских не бывали.

Сколько раз мне, как когда-то Блоку, хотелось поцеловать Д. С. руку, когда я слушала его, говорящего с эстрады, собственно, всегда на одну и ту же тему, но трогающего, задевающего десятки вопросов и как-то особенно тревожно, экзистенциально ищущего ответов, конечно, никогда их не находя. Из его писаний за время эмиграции все умерло — от «Царства Антихриста» до «Паскаля» (и «Лютера», который, кажется, еще и не издан). Живо только то, что написано им было до 1920 года: «Леонардо», «Юлиан», «Петр и Алексей», «Александр I и декабристы» да еще литературные статьи, если читать их в свете той эпохи, когда они были написаны (на фоне писаний Михайловского и Плеханова). Из стихов его и десятка нельзя отобрать, и все-таки это был человек, которого забыть невозможно. «Эстетикой» он не интересовался, и «эстетика» отплатила ему: новое искусство с его сложным мастерством и магией ему оказалось недоступно.

В З. Н. тоже не чувствовалось желания разрешать в поэзии формальные задачи, она была очень далека от понимания роли с л о в а в словесном искусстве, но она по крайней мере имела некоторые критерии, имела вкус, ценила сложность и изысканность в осуществлении формальных целей. Русский символизм жил недолго, всего каких-нибудь тридцать пять лет, а русские символисты и того меньше: Бальмонт был поэтом пятнадцать лет, Брюсов — двадцать, Блок — восемнадцать — люди короткого цветения. В Гиппиус сейчас мне видна все та же невозможность эволюции, какая видна была в ее современниках, то же окаменение, глухота к динамике своего времени, непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и неестественно, и печально, и говорит об омертвении человека.

Я тоже вижу сейчас, что в Гиппиус было многое, что было и в Гертруде Стайн (в которой тоже, несомненно, был гермафродитизм, но которая сумела освободиться и осуществиться в гораздо более сильной степени): та же склонность ссориться с людьми, и затем кое-как мириться с ними, и только прощать другим людям их нормальную любовь, в душе все нормальное чуть-чуть презирая и, конечно, вовсе не понимая нормальной любви. Та же черта закрывать глаза на реальность в человеке и под микроскоп класть свои о нем домыслы или игнорировать плохие книги расположенного к ней (и к Д. С.) человека. Как Стайн игнорировала Джойса и не приглашала к себе людей, говоривших о Джойсе, так и З. Н. не говорила о Набокове и не слушала, когда другие говорили о нем. Стайн принадлежит хлесткое, но несправедливое определение поколения «потерянного» (как бы санкционирующего эту потерянность); З. Н. считала, что мы все (но не она с Д. С.) попали «в щель истории», что было и неверно, и вредно, и давало слабым возможность оправдания в слабости, одновременно свидетельствуя о ее собственной глухоте к своему веку, который не щель, а нечто как раз обратное щели.

Было в ней сильное желание удивлять, сначала — в молодости — белыми платьями, распущенными волосами, босыми ногами (о чем рассказывал Горький), потом — в эмиграции — такими строчками в стихах, как «Очень нужно!» или «Все равно!», или такими рассказами, как «Мемуары Мартынова» (которые никто не понял, когда она прочла их за чайным столом в одно из воскресений, кроме двух слушателей, в том числе — меня. А Ходасевич только недоуменно спросил: венерическая болезнь? — о загадке в самом конце). Удивлять, поражать, то есть в известной степени быть эксгибиционисткой: посмотрите на меня, какая я, ни на кого не похожая, особенная, удивительная... И смотришь на нее иногда и думаешь: за это время в мире столько случилось особенного, столько непохожего ни на что и столько действительно удивительного, что — простите, извините,— но нам не до вас!

К ним ходили все или почти все, но лучше всего бывало мне с ней, когда никого не было, когда разливался в воздухе некоторый лиризм, в котором я чувствовала, что мне что-то «перепадает». Я написала однажды стихи на эту тему о «перепадании» и напечатала их, они оба, вероятно, прочли их, но не догадались, что стихи относятся к ним. Вот эти стихи:

Труд былого человека,
Дедовский, отцовский труд,
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд

Вы проносите пред нами,
Вы идете мимо нас,
Мы, грядущими веками,
Шумно обступили вас.

Не давайте сбросить внукам
Этой ноши с ваших плеч,
Не внимайте новым звукам:
Лжет их воровская речь.

Внуки ждут поры урочной,
Вашу влагу стерегут,

Неразумно и порочно
Расплескают ваш сосуд.

Я иду за вами тоже,
Я, с протянутой рукой,
Дай в ладонь мою, о Боже,
Капле пасть хотя б одной!

Полный вещей влаги некой
Предо мной сейчас несут
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд.

В 1927 году З. Н. посвятила мне стихотворение «Вечная женственность» (рукопись с посвящением хранится у меня, вместо названия поставлены буквы В. Ж.), оно вошло в ее книгу «Сияния» (1938) без года, без посвящения и под названием «Вечноженственное». А когда мы жили летом в Каннэ, в Приморских Альпах, где жили и Мережковские, и виделись ежедневно, то еще одно (я привожу его здесь впервые):

Чуть затянуто голубое
Облачными нитками,
Луг с пестрой козою
Блестит маргаритками.
Ветви по летнему знойно
Сивая олива развесила.
Как в июле все беспокойно,
Ярко, ясно и весело...
Но длинны паутинные волокна
Меж колокольчиками синими...
Но закрыты высокие окна
На даче с райским именем.
И напрасно себя занять я
Стараюсь этими строчками:
Не мелькнет белое платье
С лиловыми цветочками.

Октябрь. 1927.

А еще через год я прожила у них три дня, в Торран, над Грассом, и она подарила мне листок с тремя стихотворениями, написанными в эти дни. Эти стихи удивили меня, они показали мне неожиданную нежность ее ко мне и тронули меня. Два из них, под названием «Ей в горах», вошли в книгу «Сияния», а третье напечатано не было. На моем листке они называются «Ей в Торран».

1

Я не безвольно, не бесцельно
Хранил лиловый мой цветок,
Принес его длинностебельный
И положил у милых ног.

А ты не хочешь... Ты не рада...
Напрасно взгляд твой я ловлю.
Но пусть! Не хочешь, и не надо:
Я все равно тебя люблю.

2

Новый цветок я найду в лесу,
В твою неответность не верю, не верю.
Новый лиловый я принесу
В дом твой прозрачный, с узкою дверью.

Но стало мне страшно, там, у ручья,
Вздымился туман из ущелья, стылый...
Только шипя проползла змея,
И я не нашел цветка для милой.

3

В желтом закате ты — как свеча.
Опять я стою пред тобой бессловно.
Падают светлые складки плаща
К ногам любимой так нежно и ровно.

Детская радость твоя кратка,
Ты и без слов сама угадаешь,
Что приношу я вместо цветка,
И ты угадала, ты принимаешь.

Торран. 1928.

В Торран к Мережковским я поехала из Антиб на автобусе. Ходасевич болел, мы тогда жили с В. В. Вейдле и его будущей женой на даче. Торран — место в горах, высоко, высоко, в Приморских Альпах, и там, в старом замке, Мережковские снимали один этаж. В самой башне была наскоро устроена ванная; кругом замка стояли сосны, черные, прямые, и за ними, на высокой горе, напротив окон столовой, видны были развалины другого замка,

— ...который был построен тогда, когда еще не был написан «Дон Кихот»,— возвестил мне Д. С. при встрече.

Спать меня положили в узкой, длинной комнате, в квартире хозяев замка, и там стояли на полках книги XVII и XVIII веков, на палец покрытые пылью.

Днем мы ходили гулять вдоль ручья, который шумел и прыгал по камням, и Д. С. говорил, глядя, как водяные пауки стараются удержаться изо всех сил, чтобы не быть унесенными, работая ножками:

— Зина! Они против течения! Они совсем как мы с тобой!

Ручей поворачивал, успокаивался, тихонько журчал, убегая, и Д. С. опять говорил, но уже ни к кому не обращаясь:

— Лепечет мне таинственную сагу про чудный край, откуда мчится он,— и внезапно останавливался и начинал вспоминать, как они когда-то жили под Лугой (где у Карташева болел живот), так что нетрудно было догадаться, что «чудный край» для него мог быть только один на свете.

Она сказала мне после его смерти, что они не расставались никогда и пятьдесят два года были вместе, и на мой вопрос, есть ли у нее от него письма, ответила: «Какие же могут быть письма, если не расставались ни на один день?» Помню, как на его отпевании в русской церкви на улице Дарю она стояла, покачиваясь от слабости на стройных ногах, положив руку на руку Злобина, и он, прямой и сильный, и такой внимательный к ней, неподвижный, как скала, стоял и потом повел ее за гробом. И как года через полтора на деньги французского издательства был на могиле Д. С. поставлен памятник с надписью: «Да приидет Царствие Твое!»; и каждый раз, когда я бывала на его могиле, я слышала его голос, слегка картавящий на обоих «р», восклицающий это заклинание, в которое он вкладывал особый, свой смысл.

И потом пошла на убыль ее умственная сила. В 1944 году она призналась мне, что ничего не понимает в событиях, и чувствовалось, что уже ничего не надо объяснять, все равно ничего не дойдет до нее. Она много и часто кричала по ночам, звала его, мучилась приближением смерти, вся высохла, стала еще хуже видеть и слышать и нянчилась со своей по-

лупарализованной рукой. А когда маленькая и сморщенная лежала в гробу, кое-кто из пришедших на панихиду переглядывался и говорил:

— Прости Господи, злая была старушенция.

Ее гроб опустили в могилу на его гроб, и в памяти моей они сливаются вместе, словно одно существо в двух аспектах, словно голос, поющий длинную песнь под аккомпанемент, и то она поет, а он аккомпанирует, то (пожалуй, чаще) он поет, а она следует за ним. В длинной (еще, вероятно, российской) бобровой шубе и бобровой шапочке, все меньше ростом с каждым годом, он берет ее под руку (и кто за кого держится — неизвестно). На ней потертая меховая шуба рыжего меха, красная или розовая шляпа — как она любила эти тона, от розового до кирпичного, от ярко-красного до темно-рыжего! Она осторожно выступает на своих острых, высоких каблуках. Они идут гулять в Булонский лес. Они возвращаются. В темной квартире здесь и там зажигаются лампы, старенькая мебель, книжные полки, ее шитье, его бумаги — всё на месте. Начинается вечер. Я прихожу и сажусь подле нее на диван. Она любит задавать мне вопросы, чтобы смутить меня, но я нечасто смущаюсь. Иногда я чувствую, что все это только игра, умышленная, чтобы узнать у меня не ответ на загадку, а узнать меня самое. Допрос. Она часто удивляется мне, моей прямоте, бесстрашию, откровенности, тому, что я так много «принимаю» в жизни, и тому, что совершенно перестала смущаться и ее. и Д. С.

Потом мне кажется, что я все получила от них, что могла получить, что мне видно их «дно», и я на несколько лет отхожу от них, и во время войны опять возвращаюсь, когда вокруг них в Париже остается так мало людей. Но я уже не вхожу в гостиную и не сажусь с ней на диван. Я поднимаюсь по черной лестнице, вхожу в кухню и долго смотрю, как Злобин моет посуду, скребет кастрюли, вытирает вилки и ножи. И мы с ним тихо разговариваем. Там, в гостиной, очень холодно, и Д. С. лежит, укрывшись пледом, а она сидит с ним, и я боюсь потревожить их. И у меня отчетливое впечатление, что они оба доживают, а не живут, что они оба тают, постепенно уходят. И когда я получаю однажды телеграмму (в утро Пирл-Харбора): «Merejkovsky décédé...», мне кажется, что это плавное завершение чего-то, чему пора было завершиться, что это естественно, а ее четыре года существования без него — неестественно, ненужно, мучительно и для нее, и для других.

В последние месяцы своей жизни она иногда говорила (в 1945 г.) о событиях, но всегда заканчивала одним и тем же:

— Я ничего не понимаю.

В этом «ничего не понимаю» для меня все больше и больше звучал отказ от жизни, безнадежная пропасть между человеком и миром, смерть, а не жизнь.

— Я стараюсь понять, но не могу понять. Объясните...

В этом «стараюсь» и «объясните» не было содержания: стена все росла между нею и всем остальным и в конце концов отделила ее навеки.

А как она властвовала над всеми, когда в центре гостиной Винаверов (или Цетлиных) ее чуть скрипучий голос покрывал другие голоса или когда говорил Д. С. и она выжидала момент, чтобы напасть на него, или поддержать его, или вступить в разговор между ним и его оппонентом. Как она властвовала над людьми, и как она любила это, вероятно, превыше всего, любила эту «власть над душами», и все ее радости и мучения были, я думаю, связаны именно с этим властвованием: над маленьким, неизвестным поэтом (Штейгер написал ей письмо, и она смеялась над ним), над которым она расправляла свои темные крылья, чтобы побольнее клюнуть его; над редакторами журналов, нарастивших себе толстую кожу, у которых она отыскивала чувствительные места, чтобы до крови царапнуть их.

Бунин бывал с ней настороже, но, конечно, ему редко удавалось победить ее в споре. Пленительная, старомодная примитивность Бунина забавляла ее и давала ей озорное желание спорить с ним в своем собственном ключе, потому что его — житейский, элементарный, двухмерный, бытовой — ключ был ей смешон, а Д. С-чу скучен. Он так и говорил:

— Мне Бунин скучен.

Но она считала, что скучных людей вообще нет и что Бунин «забавен», забавен для нее, во всяком случае, потому что если его нельзя переубедить или переделать, то его, во всяком случае, можно удивить.

Как я любила его стиль в разговоре, напоминавший героя «Села Степанчикова» Фому Фомича Опискина: «Называйте меня просто ваше превосходительство», и его крепкое рукопожатие, разговоры о «дворянских родниках» и «дворянских ушах» и вообще обо всем «дворянском» — я такого, конечно, не слыхала никогда даже от дедушки Караулова! Здесь было что-то древнее, феодальное, а ему вместе с тем всегда хотелось быть с молодыми, быть самому молодым. Как я любила его рассказы (взятые готовыми из старых повестей) о собаках — муругих, брудастых, которые опсовели, которые заложились, полвопегие, подуздые; о трактирах на главной орловской улице — поди, проверь их, вероятно, половина выдумана вот сейчас, на месте, а все вместе — чудо как хорошо!

Но, конечно, орловские вывески и полвопегие, опсовевшие псы ничего не говорили Д. С-чу. И неудивительно. что ему от всего этого бывало скучно.

Бунин стоял внизу у лифта, на лестнице, в доме Цетлиных, когда мы вошли. Ходасевич познакомил нас. Бунин не хотел входить в лифт, на днях где-то лифт едва не раздавил его: он шагнул в пустую

клетку, а лифт в это время спускался, и кто-то вытащил его, и он теперь боялся лифтов. Мы поднялись пешком. Если Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич при первом знакомстве учиняли собеседнику некий экзамен («како веруеши?»), то Бунин делал это совсем по-другому: не «како веруеши?», а какое я на тебя произвожу впечатление? А ну еще? А это как? Он немного тянул слова (по-барски или по-московски? Или как «у нас, в Белевском уезде»?) и все время, когда говорил, взглядывал на меня, стараясь прочитать в моем лице впечатление, которое он на меня производит.

Бывало у него это с мужчинами, с женщинами, с литераторами и нелитераторами, но особенно ярко было это заметно с женщинами-литераторами. В первый же вечер знакомства со мной он рассказал мне, какой случай произошел с ним однажды в молодости. Рассказ начинался, как первый рассказ в «Темных аллеях», только барин был молодой и приехал в избу к молодой бабе. Входит барин в избу, видит — крепкая, грудастая молодайка одна. Он в восторге от предстоящих возможностей. Готов уже взять ее за грудь и замечает, что она на все согласна. И вдруг с полатей раздается старческий дребезжащий голос: «Тетя Настя, я усрался». Барин (то есть Бунин) выскочил из избы, вскочил на лошадь и пустил ее галопом.

Рассказывание подобных историй кончилось довольно скоро; после двух-трех раз, когда он произнес вслух и как-то особенно вкусно «непечатные» (впрочем, давно на всех языках, кроме русского, печатные) слова — он любил главным образом так называемые детские непечатные слова на «г», на «ж», на «с» и так далее,— после того, как он два-три раза произнес их в моем присутствии и я не дрогнула, а приняла их так же просто, как и остальной его словарь, и после того, как я сказала ему, как прекрасны его «Сны Чанга», он совершенно перестал «рисоваться» передо мной, он понял, во-первых, что меня не смутишь таким простым способом и, во-вторых, что я ему не враг, а друг. Впрочем, не совсем друг:

— А стихи мои вам, конечно, не нравятся?

— Нет... нравятся... но гораздо меньше вашей прозы.

Это было его больное место, я еще тогда не знала этого.

Но уже через год он вернулся в наших разговорах к теме стихов и прозы, наболевшему вопросу всей его жизни. Он сказал мне однажды в Грассе, куда я ездила к нему (есть два превосходных снимка этого лета: на одном Г. Н. Кузнецова и я стоим, как два ангела-хранителя, над ним, и другой, где он сидит голый до пояса, а я держу над ним зонтик):

— Если бы я захотел, я бы мог любой из моих рассказов написать стихами. Вот, например, «Солнечный удар» — захотел бы, сделал бы из него поэму.

Я почувствовала неловкость, но сказала, что верю. Я была поражена этими словами: он, видимо, думал, что любой «сюжет» можно одеть в любую «форму», так сказать, наложить форму на содержание, которое рождалось самостоятельно, как голый младенец, для которого нужно выбрать платье. Из этого ясно, что он считал, что «Полтаву» допустимо было написать гекзаметром, а «Двенадцать» — триолетами. Впрочем, о его отношении к Блоку я скажу позже.

Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он переносил и в литературу. Он не то что раздражался или сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-нибудь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова или еще какую-нибудь глупость. Но сам возражал на это еще большей нелепицей:

— Я — от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя вышел.

Окружающие испуганно и неловко молчали. Часто бешенство его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из самых милых его черт:

— Убью! Задушу! Молчать! Из Гоголя я!

В такое же бешенство, если не большее, приводили его разговоры о современном искусстве. Для него даже Роден был слишком «модерн».

— Бальзак его — говно,— сказал он однажды.— Его потому-то голуби и обосрали.

И — острый взгляд в мою сторону.

Я ответила, что для меня он такой, обосранный, все же лучше Гамбетты, который у Лувра, с флагом и нимфами (впрочем, были ли в этом безобразии нимфы, я не была уверена).

— Что ж, для вас и Пруст лучше Гюго?

Я даже потерялась от неожиданности: какое же может быть сравнение?

— Пруст, скажете, лучше?

— Ну, Иван Алексеевич, ну, конечно же! Он — величайший в нашем столетии.

— А я?

Г. Н. Кузнецова и я смеялись на это. Он любил смех, он любил всякую «освободительную» функцию организма и любил все то, что вокруг и около этой функции. Однажды в гастрономическом магазине он при мне выбирал балык. Было чудесно видеть, как загорелись его глаза, и одновременно было чуть стыдно приказчика и публики. Когда он много раз потом говорил мне, что любит жизнь, что любит весну, что не может примириться с мыслью, что будут весны, а его не будет, что не все в жизни он испытал, не все запахи перенюхал, не всех женщин перелюбил (он, конечно, употребил другое слово), что есть еще на тихоокеанских островах одна порода женщин, которую он никогда не видел, я всегда вспоминала этот балык. И, пожалуй, я могу теперь сказать: насчет женщин это все были только слова, не так уж он беспокоился о них, а вот насчет балыка или

гладкости и холености собственного тела — это было вполне серьезно.

Будучи абсолютным и закоренелым атеистом (о чем я много раз сама слышала от него) и любя пугать и себя и других (в частности бедного Алданова) тем, что черви поползут у них из глаз и изо рта в уши, когда оба будут лежать в земле, он даже никогда не задавался вопросами религии и совершенно не умел мыслить абстрактно. Я уверена, что он был совершенно земным человеком, конкретным цельным животным, способным создавать прекрасное в примитивных формах, готовых и уже существовавших до него, с удивительным чувством языка и при ограниченном воображении, с полным отсутствием пошлости. Какое количество пошлости было у так называемых русских реалистов начала нашего века! Примером может служить не только Амфитеатров, Арцыбашев, Вересаев, но и Ал. Н. Толстой, ранние рассказы которого сейчас трудно и немножко противно перечитывать. Даже у Горького, позднего русского «викторианца», можно иногда найти пошлое, но не у Бунина. Никогда чувство вкуса не изменяло ему. И если бы он не опоздал родиться на тридцать лет, он был бы одним из наших великих нашего великого прошлого.

Я вижу его между Тургеневым и Чеховым, рожденным в году 1840-м. Он сам сказал об этом гораздо позже, в 1950 году, в своих «Воспоминаниях»:

«Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои воспоминания».

Но в 1920-х годах ему нельзя было бы и намекнуть на это. Он не позволил бы не только в печати, но и лично заподозрить его в том, что он человек прошлого века. Однажды он пожаловался мне, что «молодые» его упрекают, что он ничего не пишет о любви. Это было время увлечения Д. Х. Лоуренсом. «Все, что я писал и пишу,— все о любви»,— сказал он.

Когда разговоры заходили о советской литературе, он о ней не имел никакого понятия. А все современные французы были у него «как Пруст». Сомневаюсь, однако, чтобы он прочел все двенадцать томов «В поисках утерянного времени».

Ко мне относился он в разные годы по-разному. Сначала — с нежной иронией («Я близ Кавказа рождена, владеть кинжалом я умею» — это про вас, про вас!»), потом с удивлением и некоторым недоверием, еще позже — с доброжелательством, мирно принимая то, что сначала казалось ему во мне дерзостью и неуважением к нему, и под конец жизни — откровенно враждебно за мою книгу о Блоке. Как, о Блоке? Почему не о нем?

Всю жизнь Блок был для него раной, и весь символизм, мимо которого он прошел, чем-то противным, идиотским, ничтожным, к которому он был либо глух, либо яростно враждебен. «Больших дураков не было со времени Гостомысла»,— говорил он и в «Воспоминаниях» сказал: «Во всей моей жизни пришлось мне иметь немало встреч с кретинами. Мне вообще была дана жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории». Эти кретины для него были: Бальмонт, Сологуб, Вячеслав Иванов; стихи Гиппиус возбуждали в нем злую насмешку, Брюсов был коммунист, и его следовало повесить за одно это, Белый (от белой горячки) был опасный сумасшедший. Но главной «мерзостью» во всей этой компании был Блок, рахитик и дегенерат, умерший от сифилиса. Однажды Г. В. Иванов и я, будучи в гостях у Бунина, вынули с полки томик стихов о Прекрасной Даме, он был весь испещрен нецензурными ругательствами, такими словами, которые когда-то назывались «заборными». Это был комментарий Бунина к первому тому Блока. Даже Г. В. Иванов смутился. «Забудем это»,— шепнула я ему.

— И совсем он был не красивый,— однажды воскликнул Бунин, говоря о Блоке,— я был красивее его!

При этом Алданов заметил, что, вероятно, это так и было.

Хотя в «Воспоминаниях» он и сказал, что ему было суждено прожить жизнь среди пьяниц и идиотов, эта судьба его часто беспокоила. Он чувствовал, что что-то здесь не так, не то и что он, может быть, остался за бортом чего-то, что важнее его книг. Какой-то зверь ел его внутри, и все более и более резкие суждения о современниках, все более злобные выкрики к концу жизни — устные и в печати — свидетельствовали о том, что он не мог забыть этих «идиотов и кретинов», что они неотступно мучили его всю жизнь и к старости сделались сильнее его, а он слабел и искал защиты в грубости. В небольшом зале Плейель в 1948 году он однажды устроил вечер чтения своих воспоминаний, позже вышедших книгой (в издательстве «Возрождение» и по старой орфографии!). И в тот момент, когда он, с наслаждением произнося каждое слово, доказывал, что Блок — ничтожество, я подумала, что вот наступила минута, когда надо встать и выйти из зала, даже не хлопнув дверью. И какая-то странная слабость нашла на меня: я вдруг заколебалась, сделать это или продолжать слушать эти ревнивые, злые, безобразные страницы. В несколько секунд прошло передо мной и все литературное величие написанных Буниным книг, и все личное, что связывало меня с ним за двадцать пять лет нашей дружбы, и охлаждение в последние годы, о котором я скажу позже. И в то время, как я колебалась, встать или остаться сидеть, кто-то на другом конце моего же ряда встал, трахнул сиденьем и, стуча ногами, пошел к выходу. Я сейчас же встала, не трахнув сиденьем, не стуча ногами, пошла к дверям. Осторожно открыв и закрыв их, я оказалась перед Ладинским. Мы молча вышли на улицу, он пошел налево, а я направо. После многолетних дружеских отношений мы теперь избегали разговаривать друг с другом: он уже взял тогда советский паспорт, стал «советским патриотом» и собирался в Советский Союз, считая Сталина чем-то вроде Петра Великого.

Не знаю, сколько и кому надо в жизни прощать? Может быть, никому ничего не надо прощать (так казалось в молодости)? Во всяком случае, я знаю, что всем всего прощать невозможно, и когда Бунин после чудного дня, проведенного в Лонгшене (место под Парижем, где у меня и Н. В. М. был деревенский дом в 1938—1948 годах, о чем будет рассказано в свое время), когда после разговоров, чтения вслух, долгого лежания в креслах на площадке между двумя маленькими домами, под миндальным деревом и ласковых речей вдруг за обедом он собрался понюхать жареного цыпленка, прежде чем начать его есть, я спокойно остановила его руку: я знала, что он это делает всегда — и за ужином у Цетлиных, и в наилучшем парижском ресторане, и у себя дома.

— Нет,— сказала я,— Иван Алексеевич, у меня вы нюхать цыпленка не будете.— И твердо отвела его руку с куском цыпленка на вилке.

— Ай да женщина! — весело сказал он.— Не боится никого. Недаром «я близ Кавказа рождена» и т. д. Только как же не нюхать? Дворянин тухлятину есть не может.

— Здесь,— сказала я,— вам тухлятины не дадут.

И разговор перешел на другие темы.

Я думаю теперь, что грубость в словах, в поведении, грубость его интеллекта была отчасти прикрытием, камуфляжем и что он боялся мира и людей не менее остальных людей его поколения, и все его чванство,— а оно было в очень сильной степени уже до революции, в Москве,— было его самозащитой. Он был груб с женой, бессловесной и очень глупой (не среднеглупой, но исключительно глупой) женщиной, он был груб со знакомыми и незнакомыми, и ему нравилось после грубости вдруг сказать что-нибудь ласковое или отвесить старинный поклон. В последний раз я пришла к нему в 1947 или 1948 году, после моих поездок в Швецию, где я исполнила некоторые его поручения к переводчику и издателю его шведских переводов. Я вошла в переднюю. Посреди передней стоял полный до краев ночной горшок, Бунин, видимо, выставил его со злости на кого-то, кто его не вынес вовремя. Сидел он за столом в кухне, а с ним некто Клягин, состоятельный человек, владелец огромного отеля около площади Этуаль. Клягин только что был выпущен из тюрьмы, где отбывал наказание за сотрудничество с немцами. Он не то писал, не то уже издал книгу о своем детстве (кажется, он был сибиряк), и теперь они оба сидели и говорили друг другу, как прекрасно они оба пишут. Возможно, что Клягин помогал Бунину в эти годы вновь наставшей для него бедности (Нобелевская премия была давно прожита), возможно, что Клягин добивался от Бунина предисловия к своей книге или рецензии о ней, но, когда я увидела грязную кухню, двух слегка подвыпивших старых людей, которые обнимались и со слезами на глазах говорили друг другу: «ты — гениальный», «ты — наш светоч», «ты — первый», «мне у тебя учиться надо», на меня нашло молчание, которое я никак не могла сломать. Посидев минут десять, я вышла в переднюю. Бунин сказал:

— Это — Клягин, друг мой единственный. Великий писатель земли русской. Всем вам у него учиться надо.

Я прошла через переднюю (горшка уже не было), вышла на лестницу, на улицу Оффенбах и больше уже никогда не вернулась.

Я не люблю смотреть на распад, любопытствовать о распаде, любоваться распадом, не люблю ни смеяться над ним, ни сожалеть о нем. Я стараюсь избегать распада, а он для Бунина начался в тот день, 12 февраля 1945 года, когда С. К. Маковский заехал за ним, чтобы везти его к советскому послу Богомолову пить за здоровье Сталина. Автомобиль ждал внизу.

Все это было устроено А. Ф. С., видимо — «оком Москвы» в газете Милюкова (о чем никто никогда не имел никаких подозрений). С. сначала «обработал» Маклакова («будет амнистия эмигрантам, в Советском Союзе все переменилось»); Маковскому было поручено привезти Бунина и некоторых других. Посол ждал с угощением. Никаких политических последствий это не имело, это было началом распада эмиграции в целом и в отдельных ее представителях.

На Бунина был сделан нажим с двух сторон. С одной стороны — С., с другой — ближайший друг С., некто П. Будучи ближайшим свойственником Алданова, П. имел авторитет в Париже, который вряд ли заслуживал. Вернувшись в Париж после войны, он заявил, что все те, кто не погиб при немцах,— сотрудничали с немцами. Он очернил бесчисленное множество людей, в том числе и меня. Через несколько лет оба они — и С., и П.,— будучи людьми сравнительно нестарыми, умерли (от сердечных припадков). Одним из самых приятных для меня событий конца сороковых годов было общее собрание Союза писателей и выборы в президиум, на которых их обоих, и С., и П., с грохотом «прокатили» (они считали, что их выберут),— сознаюсь, я действовала энергично и храбро и подготовила заранее этот «прокат».

Первый раз Ходасевич и я были приглашены к Буниным к обеду в зиму 1926—1927 года. Его книги, недавно вышедшие, лежали на столе в гостиной. Один экземпляр («Розы Иерихона») он надписал мне и Ходасевичу, другой он тут же сел надписывать Г. Н. Кузнецо-

вой. В тот вечер я впервые увидела ее (она была со своим мужем, Петровым, позже уехавшим в Южную Америку), ее фиалковые глаза (как тогда говорили), ее женственную фигуру, детские руки и услышала ее речь с небольшим заиканием, придававшим ей еще бóльшую беззащитность и прелесть. Надпись Бунина на книжке была ей непонятна (он назвал ее «Рикки-тикки-тави»), и она спросила Ходасевича, что это значит. Ходасевич сказал: «Это из Киплинга, такой был прелестный зверек, убивающий змей». Она тогда мне показалась вся фарфоровая (а я, к моему огорчению, считала себя чугунной). Через год она уже жила в доме Бунина. Особенно бывала она мила летом, в легких летних платьях, голубых и белых, на берегу в Каннэ или на террасе грасского дома. В 1932 году, когда я жила одна на шестом этаже без лифта в гостинице на бульваре Латур-Мобур, они оба однажды зашли ко мне вечером, и он ей сказал:

— Ты бы так не могла. Ты не можешь одна жить. Нет, ты не можешь без меня.

И она ответила тихо: «Да, я бы не могла».

Но что-то в глазах ее говорило иное.

Когда она в конце 1930-х годов уехала от Буниных, он страшно тосковал по ней. За всю жизнь он, вероятно, по-настоящему любил ее одну. Его мужское самолюбие было уязвлено, его гордость была унижена. Он не мог представить себе, что то, что случилось с ним, случилось на самом деле, ему все казалось, что это временно, что она вернется. Но она не вернулась.

Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова... всего не перечесть. Символистов он «стирал в порошок»; к собственным стихам относился ревниво и не позволял суждений о них; в русской политике до визита к советскому послу он был реакционных взглядов, а после того, как пил за здоровье Сталина, вполне примирился с его властью; смерти он боялся, злился, что она есть, искусства и музыки не понимал вовсе; имя Набокова приводило его в ярость. Поэтому очень часто разговор был мелкий, вертелся вокруг общих знакомых, бытовых интересов. Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин «распускался», его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыслью, крупные, сильные руки дополняли облик, и речь его лилась — о себе самом, конечно, но о себе самом не мелком, злобном, ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашедшем себе настоящего места в своем времени. Что-то теплое сквозило тогда в его лице, и это же теплое сквозило иногда в его письмах, и казалось, какая-то нить протягивается между нами, но на следующий день нити никакой не оказывалось, и он вдруг силою вещей отдалялся на бесконечное расстояние. В самом ближайшем его окружении постоянно находились люди, присутствие которых было мне тягостно, и среди них (не говоря уже о Вере Николаевне, которая своей невинностью обескураживала не одну меня) был человек, который впоследствии оказался тайным членом Французской коммунистической партии. Мы, конечно, узнали об этом значительно позже. В. Н. не чаяла в нем души, и он много лет жил как член семьи в доме Буниных.

Приведу несколько отрывков из писем Бунина ко мне. Всех писем двадцать пять, написанных от 1 октября 1927 года до ноября 1946 года. Оригиналы лежат в моем архиве.

Письмо от октября 1927 г. (первое):

«Дорогая Нина Николаевна, простите меня окаянного,— обманул я Вас с рассказом для «Нового Дома» *,— и поверьте, что постараюсь исправиться. Кто такой Буткевич? Талантливый человек, много, очень много хорошего!

Целую Ваши ручки, сердечный привет Вл. Фел.

Ваш Ив. Бунин».

Письмо от 18 июня 1933 г. (третье, ответ на мое о «Жизни Арсеньева»):

«Дорогая Нина Николаевна, очень тронут Вашим письмом, очень благодарю за него и очень рад, что не удержали своей «плыкости»,— право, не такое уж плохое это чувство, как теперь многие думают или стараются думать! Позвольте сердечно поцеловать Вас — и простите мою краткость: она проистекает не из моей сухости, а как раз из других, противоположных чувств, которые я гораздо лучше сказал бы Вам устно, чем это делаю сейчас. До свидания, дорогая моя, и еще раз — большое спасибо.

Ваш Ив. Бунин».

Письмо от 2 августа 1935 г. (четвертое):

«Милая моя Нина Николаевна, долг платежом красен — плачу с большим удовольствием: похвалили Вы меня когда-то — настал наконец и мой черед похвалить. Был ужасно занят,— прочел половину «Аккомпаниаторши» и бросил на 2 недели,— ни минуты свободной не было. Теперь дочитал — и уж совсем твердо говорю: ах, какой молодец, ах, как выросла, окрепла, расцвела! Дай Бог и еще расти — и, чур, не зазнаваться! Целую Вас, дорогая, даже не прося позволения на то Н. В. (которому поклон).

Ив. Бунин».

Письмо от 18 июля 1938 г. (шестое):

«Дорогая моя, я в четверг вернулся с Ривьеры — 12 дней рыскал от Ментоны до Парижа, всюду искал пристанища на лето — буквально нигде ничего! Плачу, рыдаю — и сижу в Париже. Смотрел кое-что вокруг Парижа — опять тщетно! Кое-что осталось, но жалкое и притом дьявольски дорогое.

* Журнал, где я была членом редколлегии. (Н. Б.)

За этими милыми делами не перечитал еще «Без заката». Но хорошо помню по первому чтению, сколько там таланта (хотя не совсем ровно написана эта вещь). Не отрываясь, прочел «Бородина» — чудесно! Смело, свободно, отличными штрихами... м.б., и не такой был — не совсем такой Бородин, да что мне за дело!

Целую Вас сердечно, кланяюсь Н. В.

Ваш Ив. Бунин».

Письмо от 5 октября 1939 г. (восьмое):

«Дорогая Нина, очень тронут и обрадован Вашим письмом. Да, я, увы, засел в Грассе, где у меня ровно ни единой души нет, не только близкой, но просто близко знакомой. Печален я и одинок бесконечно. И это уж давно, и чем дальше, тем больше.— «Мудрость» лет, милый друг! — и уж про теперь и говорить нечего! Целую Вас и Н. В. от всей души. Кланяюсь О. Б. Пишите хоть изредка.

Ваш Ив. Бунин

Пишется что-нибудь? Дай Бог. Я не могу — пока по крайней мере».

Письмо от 25 января 1940 г. (девятое):

«Дорогая Нина... с Праздником и с Новым Годом. Поздравляет Вас и желает Вам всех благ и весь мой дом.

Письмо Ваше, Нина, от 6-го Дек. получил давным-давно. Был, конечно, очень рад ему,— я ведь действительно очень люблю Вас,— а не поблагодарил Вас за него сразу прежде всего потому, что уже давным-давно чувствую себя прескверно, тупым и отравленным от всяких лекарств против ужасного кашля; холод у нас был собачий, долго лежал снег, и наш большой и нелепый дом натопить не было никаких возможностей; все прохворали, я же больше всех. А потом — что напишешь? Газеты, радио, тревога за финнов... чтение старых журналов, что я беру в Ниццкой церковной библиотеке... вот и все. Пишите ли Вы что-нибудь? Пишите, дорогая, пользуйтесь силами, молодостью...»

Письмо от 2 мая 1940 г. (десятое):

«Очень благодарю Вас, дорогая моя, за письмо, тронут тем более, что думал, что во хмелю слишком много говорил в тот вечер. Пишу кратко — надеюсь быть в Париже через несколько дней и пробыть там недели три. Живу по-прежнему, одиноко и грустно. Сердечно целую Вас обоих.

Ваш Ив. Б.».

Письмо от 14 апреля 1943 г. (восемнадцатое):

«Дорогая Нина, не сразу отвечаю на Ваше письмо потому, что совсем был никуда, как это часто со мной теперь бывает: ужасно болела правая рука,— ревматизм от зимних холодов в доме и скверное кровообращение от вечного голода,— а главное, недели две страшно болел правый глаз и висок,— все от того же,— плюс отравление «Атофаном», которым старался убить эти боли. Плох и туп сейчас и хотя отвечаю, но тоже тупо, плохо и кратко — м. б., напишу как-нибудь получше и побольше. Очень благодарю Вас и Н. В. за Ваши чувства ко мне... Как я живу, Вы видите из первых строк этого письма. Кроме того, Вы в общем уже давно знаете, какова моя жизнь: плоха, очень плоха во всех смыслах! З. и Б. все еще с нами (и нас теперь только четверо, М. и Г. Н. уже год живут в Каннэ...). Одиноко мне до безобразия. «Потребность в людях» у меня, увы, еще есть. Пишу я теперь мало и все больше только заметки для всяких предполагаемых рассказов. А вот почему Вы пишете «мало, медленно и туго», не понимаю и огорчаюсь — ведь Вы, думается мне, сейчас в полном расцвете всячески... Рад, что Вы так сошлись с Борисом и Верой * — вот еще по ком я очень скучаю! Последние дни ужасно беспокоились о них, но нынче, слава Богу, письмо от Веры — что они живы и здоровы...

Ваш Ив. Б.

Очень тронут, что послали мне посылку (украденную кем-то в пути), и до сих пор жалею, что ее украли. Жаль даже галстухов, хотя они очень не шли бы они к тем лохмотьям штанов, в коих я хожу. Да, да, вспоминаю Одессу 19-го года:

Я остался без подштанников —
И теперь мне все равно:
Правит ли Одессой Санников
Или генерал Эннο!»

Письмо от 10 мая 1944 г. (двадцатое):

«Дорогие Нина и Н. В., очень тронут Вашим приглашением, очень благодарю. Все еще не теряю надежды, что нас оставят здесь, но если нет и если придется стеснить Вас, если не найду убежища в Париже,— простите, стесню на некоторый малый срок.** Все еще — вот уже больше недели — работаю как вол (будучи на него ничуть не похож) над уборкой дома, посему не обессудьте за краткость.

Целую. Ваш Ив. Б.

Письмо от конца ноября 1946 г. (двадцать пятое):

«Дорогая Нина, когда Вы уезжаете? Не будете ли добры позвонить мне завтра или послезавтра от 12 до 2-х, AUT 33—22 и сообщить, когда именно уезжаете? Послезавтра, т. е. в четверг, я надеюсь иметь не позднее часа дня мою новую книгу («Темные аллеи»), которую я очень прошу Вас отвезти в Стокгольм Сергею Анатольевичу Циону. Если Вы уезжаете в четверг в 5 часов дня, могу ли я заскочить к Вам на о д н у минуту с этой книгой и в какой час? Целую Вашу руку...

Ваш Ив. Бунин».

(Продолжение следует.)

* Зайцевы. (Н. Б.)

** Я еще раньше звала Бунина в Лонгшен, где мы в это время не голодали, хотя и испытывали большие затруднения и вопросы еды и топлива стояли довольно остро. Копий своих писем к нему я не оставляла, иногда это были открытки; я не помню точно, когда именно я писала, что ему у нас будет спокойно и тепло,— слишком ему тяжело было в Грассе, о чем он непрерывно мне писал, жалуясь на голод, холод, одиночество

На пути потерь и обретений

•

Владимир Тендряков. Рассказы. «Новый мир», 1988, № 3. **День, вытеснивший жизнь.** «Дружба народов», 1985, № 1. **«День седьмой»**, «Дружба народов», 1986, № 1.

•

Напечатанные в этом году четыре рассказа Тендрякова — «Пара гнедых», «Хлеб для собаки», «Параня», «Донна Анна», сразу же замеченные критикой, по-новому осветили появившиеся ранее рассказы («День, вытеснивший жизнь» и «День седьмой»), воспринятые на первых порах как безыскусное повествование о становлении солдата в самый трагический период войны. Сейчас видно, что художественная задача Тендрякова была более значительна. Трудно сказать, во что мог вылиться замысел писателя, но рассказы объединены героем, Володькой Тенковым, близким автору. (Его нет лишь в «Паране», по манере напоминающей «Тихие воды Китежа».) Но, с другой стороны, четыре новомирских рассказа подчеркнуто связаны вехами наиболее бедственных моментов нашей жизни, обозначенными в самом начале каждого («Лето 1929 года», «Лето 1933 года», «Лето 1937 года», «Лето 1942 года»), и «документальными репликами» в первых трех.

Таким образом, шесть рассказов предстают частью неизвестного нам целого, но даже и при этом оказываются «томов премногих тяжелей». Писатель далеко уходит от констатации фактов, хотя прежде всего опирается на их обжигающую правду,— он проникает в суть изображаемых явлений, ищет разгадки парадоксов общественной психологии. Непосредственный взгляд на события (Тенков «поднимает» «почти со дна... памяти», т. к. ему было всего пять лет, 1929 год, а войну встречает мальчишкой, только что окончившим десятый класс), сохраняя свою «детскость», корректируется, но не подменяется поздним («По детским следам иду сейчас, сорок с лишним лет спустя, иду зрелым и весьма искушенным человеком»). Внешне немасштабные рассказы передают мучительную сложность осознания личностью противоречивого исторического процесса, попытки чувства и мысли вырваться из догматических оков, обнажают трагические последствия нерассуждающего подчинения диктату ложной мысли.

В истолковании прошлого Тендряков, сближаясь здесь с Платоновым, исходит из непреложности общечеловеческих ценностей, которые не может отменить никакая благая идея. Герои «Чевенгура», поспешая «к новому году» «сделать социализм», не способны реально воспринимать настоящее и видеть гибнущего рядом человека, что сближает их в некоторой степени с Федором Васильевичем Тенковым, участником революции и гражданской войны, на свой страх и риск вершащим новое и непонятное дело социализма в деревне. Надумав установить «равенство» путем переселения семей богачей в дома семей бедняков и наоборот, он тоже, вероятно, как и платоновский Копенкин, руководствовался побуждением «Мы — враз...». Но ... «враз» не получилось. (В действиях Федора Тенкова была изначальная неправда, чувствуемая его сыном.) Писатель показывает неожиданно нелепый результат этого «переселения», задуманного с благой целью. Хозяйственный Мирон Богаткин, получив красавцев коней Антона Коробова, буквально вгрызается в свою крестьянскую работу, в обустройство дома и подворья, тем самым попадая в разряд кулаков. Деревенский «гегемон» Ваня Акуля пропил железо с крыши доставшегося ему дома Коробова и собирается возвращаться в свою разрушенную баньку...

Федор Тенков ощущает трагическую непродуманность своих действий. Он, растерянный, ссутулившийся, вызывает жалость сына. Историческую цену ошибок Федора яснее всего понимает Коробов. Антон Коробов не укладывается в схему — богач, который скинул с себя «бремя частной собственности» и всех обвел вокруг пальца. Он сложнее. «Мне б волю дать, я бы... великую Россию досыта накормил». Почему бы ему не поверить? Ведь любили его дети и животные, инстинктивно чуждые фальши. Мне Коробов напоминает залыгинского Барышникова, председателя «Смычки», советского нэпмана из крестьян, кооператора, который хочет и может хозяйствовать масштабно. Тот же тип. Антон не считает, что «любопытное событие» — переселение — приведет «ко всеобщему равенству», и задает прозорливые и колкие вопросы: «Вот только куда любопытное нас развернет?», «А вдруг да не остановитесь, Федор Васильевич?». В ответ на слова Мирона, что он за своих теперь коней «костьми ляжет», Антон замечает: «По твоим костям пройдут и хруста не услышат...». Все, о чем мы читаем далее, подтверждает правоту сказанного. Ведь даже неплохой человек. Федор, начинающий робко задумываться о своей нескладной деятельности, фактически губит людей. Тенков-отец, оправдывая бытовые неполадки, говорит как-то мужику: «Историю на дыбки подымаем, а ты о спичках скулишь!». Часто исторической не-

обходимостью объяснялось пренебрежение к «мелкому» людскому интересу, от которого было совсем близко до принесения человека в жертву. И правда, люди тысячами погибали при рытье «котлована» для абстрактно понимаемого «общепролетарского дома». Не бесстрастны «документальные реплики» Тендрякова: 240 757 кулацких семей выселены в 1930—1932 гг., 3—4 миллиона человек умерли в 1933 году. По мнению писателя, первая цифра занижена, а вторая — следствие самых скромных подсчетов. Какую страшную силу приобретают эти цифры, когда глазами ребенка глядишь в привокзальный «сквозной березовый скверик», в котором умирают лишенцы — мужики со всей России. Грызут кору на деревьях, едят пристанционный мусор, корчась в последних голодных судорогах. Человеку с совестью нельзя жить, видя умирающую Россию. Начальник станции не выдержал — застрелился. Отец Володьки Тенкова темнел лицом, задумывался, молча страдал, не находя выхода из сомнений.

Во втором рассказе писательское внимание переакцентировано с отца на сына — отдано Володьке Тенкову. Слово «справедливость» в «воспаленное время» обернулось для него своей обратной стороной, спряталось за жестокую формулу «Если враг не сдается, его уничтожают». Но Володька Тенков не может отрешиться от «постыдной» «жалости к врагам», обгладывающим деревья, не может перешагнуть, как первый секретарь райкома Дыбаков, через «плоский костяк в тряпье», даже зная, что у «кровопийцы» когда-то были две лошади. «Справедливости», которую можно по-разному толковать, в рассказе противопоставлено вечное, неизменяемое нравственное понятие — совесть. Ребенку легче с ней поладить, она в нем изначально, он еще не гонит ее от себя. А жизнь бередит душу, не дает успокоиться. Леденят душу ужасы сквера и утренний стук телеги, увозящей трупы. Голодным отчаянием наполнена тишина в классе, вызванная появлением в руках Володьки ломтей хлеба. Многое объясняют голодный взгляд учительницы, прикованный к раздавленному на полу куску, и вдруг возникшее по отношению к нему, сытому, злобное отчуждение ребят.

Великую русскую литературу и ее героев всегда мучила личная ответственность за общую беду: если кто-то страдает — и я должен страдать, если человеку больно, то как я могу благоденствовать?.. «Я не должен есть свои обеды один. Я обязан с кем-то делиться. С кем? Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг. Кто — самый?.. Как узнать?» — думает Володька Тенков.

Кто же? Опухший от голода лишенец? Но он не один. Их много таких, они буквально осаждают мальчика, вызывая в нем отчаяние бессилия. И все это настолько ужасно, что даже «Голод» Гамсуна кажется в сравнении почти невинной вещью. «Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок»,— говорит отец Володьке. Но совесть не заставишь задремать. И мальчик кормит облезшую собаку с пустыми, тусклыми глазами, в которой убита доверчивость к человеку. «Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени». Жертвы, жертвы, жертвы... Как тут не вспомнить слова одного из героев «Чевенгура», обращенные к Дванову: «Народ ведь умирает — кому ж твоя революция останется?» Тендряков и рассматривает события начала 30-х годов как осквернение идеалов революции, преступление перед народом, Россией, имевшие для всей нашей жизни самые трагические последствия. Особенно тяжело отразились они на общественной психологии, породив чувства страха, бессилия, покорности, недоверия к себе и окружающим, отчетливо обозначившиеся в 1937 году.

Писатель вскрывает осознанное и неосознанное лицемерие в жизни общества. Недаром он все время подчеркивает резкое несоответствие происходящего официальному ликованию. Из репродуктора доносится бравурное «Не спи, вставай, кудрявая!» (по горькой иронии, слова репрессированного впоследствии поэта), когда крестьянская Россия вымирает от голода. Медоточивые славословия всевидящему и мудрому («В нашем сердце это имя, на устах у всех наш Сталин...»), с утра до вечера оглашающие площадь перед районной чайной, поневоле заставляют жалкую, слюнявую дурочку Параню, уставшую отбиваться от издевавшихся над нею людей, поверить, что и ее от всех напастей защитит Сталин — благодетель всех и вся. В этом есть неумолимая логика, но логика... сумасшедших. Вполне естественно, что забранная в милицию, а потом выпущенная Параня кричит уже про «свирженье-покушенье», про ножики и необходимость спасения «нашего отца и учителя»,— она просто в кривом зеркале своего больного сознания отразила дух времени. Но самое ужасное: горожане — они-то ведь в своем уме! — в великом страхе, покорно подчиняются психозу, охватившему их, как пожар (срабатывает то, что уже многие годы люди жили под прессом великой давильни), и с ужасом ждут ареста по указующему персту Парани: «Вроде сам ты свят и чист, но один бог без греха». Люди теряют уверенность в себе, критерий правильности поступков и мыслей. Больше всего Тендрякова волнуют социальные последствия подобного явления. В конце рассказа звучит из репродуктора горьковский гимн Человеку, говорится о том, как «шествует мятежный человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед и выше, все — вперед и выше!» И плачет тайком — не умеет иначе — осуждающий толпу инкассатор Андрей Андреевич с неподходящей для его поведения фамилией Молодцов. А ведь тяжко больное общество, скован-

ное страхом и безволием, стоит почти на пороге тяжелейшего исторического испытания: четыре года — до войны. Как поведут себя в исключительной ситуации Молодцовы, Пашки Быковы, Володьки Тенковы?..

Для Тендрякова война была главным событием жизни, раскрывшим в народе такие силы, о которых тот сам в себе ранее не подозревал. В трех военных рассказах писатель сосредоточил внимание на рождении Человека. «День, вытеснивший жизнь» и «День седьмой» — один день из жизни сержанта Тенкова, ускоренной подготовки младшего командира, и его товарищей, как два дня творения.

В центре внимания Тендрякова люди, о войне имеющие самое приблизительное представление. Они полны нетерпеливым и радостным чувством: «Приехали не куда-нибудь, а на фронт». Лейтенант из свежего пополнения «весь новенький, как только что отчеканенный двугривенный». Жизнь свела вместе очень разных людей: московского студента-умницу Сашку Чуликова, Сашку Глухарева, с которого можно писать картинку образцово-показательного разведчика, цыганистого Нинкина, изловчившегося в дороге новое обмундирование сменять на старое, молчуна, хозяйственного батю Ефима, командиров Зычко, Смачкина, Звонцова... Когда «все кругом выворачивалось наизнанку», каждый человек обнаруживал свою истинную цену. Меняется и Тенков, за которым писатель следит особенно пристально. Уже первый фронтовой день преподносит сюрприз за сюрпризом: далекий фронт «вдруг оказался рядом, прямо над каской», непобедимый «КВ» горел как от спички, для отражения танковой атаки не было фугасных снарядов... Рушатся стереотипы. «Побеждать мы не устали, побеждать мы не устанем!» — звучит теперь иронично. «Кто сказал, что труп врага сладко пахнет?» — думает Тенков. Но самое главное «серьезное открытие» Тенкова: «Знать, правда, есть что-то сильней смерти». Рушатся упрощенные и ложные представления, а обретаются истинные. Рождается чувство общности людей, вера в безграничные силы человека, продолжающего «деятельно жить», когда, кажется, рушится мир.

Тендряков рисует картину народной войны, во многом следуя Л. Толстому. Художник внимателен к психологии солдатской массы. Легко чувствуются параллели с некоторыми сценами «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира». Вот солдаты высыпали из теплушек... Появляется балалайка. «Топчут кирзовые сапоги шлаковую землю между путями». А то вдруг вспыхивает веселье — огневики смеются над «селедкой» Чуликова. Или высокий тенор начинает песню «Солдатушки, бравы ребятушки...», и она, как пожар, охватывает колонну. Безголосый Тенков тоже поет самозабвенно.

Народный взгляд на войну сказывается в характере ее изображения. Война — это тяжкий труд. Герои Тендрякова роют щели, тянут кабель, тащат до ломоты в плечах тяжелые катушки, вгрызаются в неподатливую каменную землю, ладят переправу, строят паром; их гимнастерки насквозь промокли от пота, каски раскалены степным солнцем — обжигают руки. Тендряков устами Тенкова обобщает: «Война для меня... была прежде всего тяжелый и рискованный труд, труд до изнеможения, труд рядом со смертью».

В рассказе «День седьмой» Тендряков углубляет сказанное о войне, сталкивая на разных уровнях две точки зрения на то, как воевать. Сначала это спор кадрового военного Смачкина и Звонцова, в прошлом бухгалтера-экономиста, тяжело переживающих отступление советских войск. Смачкин считает, что двести миллионов должны «дозреть» до жертвенности. Звонцов же не хочет рассчитывать на «самоотверженную смерть», он верит в «самоотверженное созидание». Ответом на спор является само содержание рассказа. Отступающих к Дону охватывает паника. Броуново движение человеческой каши сумел направить в нужное русло не «страстотерпец» Смачкин, на лице которого проступила «стремительная затравленность», а спокойный Звонцов, с одышкой несущий свой животик, по-стариковски покряхтывающий, одетый в покоробленные кирзовые сапоги, приказывающий «тихим, будничным тенорком». (Ну, просто ближайший родственник капитана Тушина.) Он прекратил неразбериху, дав людям осмысленное дело. Именно Звонцов разбудил дремавшую инициативу солдат. Заканчивается рассказ на высокой оптимистической ноте: «А внизу под берегом вперепляс весело перестукивались плотницкие топоры, крепили воедино сваренные секции. Веселый перестук обещал жизнь».

Рассказ «Донна Анна» по-своему тоже ставит вопрос о «самоотверженной смерти» и «самоотверженном созидании». В нем Володька Тенков с его недельным, но значительным опытом войны, потерявший друга, отправивший другого в госпиталь со смертельным ранением, выступает внутренним судьей происходящего. Начинается рассказ со «спектакля», разыгранного тыловиками,— церемонии расстрела членовредителя — повара, может быть, случайно отрубившего себе палец. Кончается — тоже расстрелом. Расстрелом Ярика Галчевского — лейтенанта, интеллигента, любителя Блока. И расстрел другой, поспешный, неотрепетированный, и отношение к нему писателя и героя иное. «Жестко выпрямленный» Ярик Галчевский, усвоивший киношную правду о войне, продукт жестокой и плакатной эпохи с его показной храбростью (он желает умереть, так, чтобы смеяться «в глаза врагу»), бессмысленно погубил почти весь батальон, расстрелял как труса лейтенанта Мохнатова, который не хотел большой и бесполезной крови, требуемой начальством («Убийство будет, наступления нет. У своих же окопов ляжем...»). Отношение писателя и его автобиографического героя к Галчевскому сложное. С одной стороны, Ярик раздражает своей истеричностью, капризностью, категорической прямолинейностью. Но, с другой стороны, Ярик — преступник и жертва одновременно. Он слепо и свято поверил в плакатные догматы. Он, может быть, в силу жизненного опыта и особенностей характера просто не успел понять, как преступно далеки они от жизни. Ведь и Тенков встает в тупик, когда привычные, внушенные ему с детства представления жестоко расходятся с действительностью. Как трудно ему разбираться в словах: «Наше дело правое...» «Очевидно же! Правда всегда побеждает, а вот поди ж ты, враг — неправедный — подошел к самому Дону...». Да, пожалуй, тяжелее всего люди оплачивали крушение своей веры в «очевидности», так как жизнь оказалась сложнее их.

Шесть небольших рассказов Тендрякова представляют собой исследование духовного состояния общества в переломные, трагические моменты истории. Общества, взятого не на своем элитном уровне, а на народном,— в этом особая ценность. Тендряков в своих рассказах мучился трагическими потерями на пути нашего общества и со всей свойственной ему страстью искал вместе с народом твердые нравственные критерии в жизни.

Л. БАРТАШЕВИЧ

г. Ленинград.

Один день Антона Сергеевича

•

Александр Великин. Санитар. Повесть. «Знамя», 1988, № 6.

•

Новый, новый писатель у нас объявился: Ве-ли-кин. Отчетливо вижу лежащий на его повести «Санитар» — она открывает нам скрытые стороны жизни тружеников феерических карет «скорой помощи», тех, что вызывают, дрожащими пальцами набирая 03,— налет ученичества и все же предрекаю начинающему собрату несомненное литературное будущее, наш добротный, чуточку надоевший, но и влекущий стандарт. Все пойдет по накатанному пути: и в не очень-то дружную нашу артель, в СП, Александра Великина примут, а потом, глядишь, и в какое-нибудь правление его изберут; окажется он и делегатом писательских съездов, насчет всесоюзных не знаю, а за республиканский ручаюсь. И фотографии его нет-нет да и замелькают в «Литературной газете»: А. Великин беседует с каким-нибудь, скажем, башкирским писателем. И дружеский шарж на него появится: например, он въезжает в литературу на кремовой «скорой помощи», в одной руке у него перо, а в другой — стетоскоп или шприц, и остроумно, и мило. Это внешние контуры моих предсказаний, моей литературно-критической хиромантии, ибо критики в чем-то родственны и хиромантам, и графологам: по ладоням да по перстам, по бороздочкам почерка предрекают своим подопечным будущее, а у Великина таковое имеется.

Что касается внутренней, творческой стороны, то она пока ясна мне не очень; но я все же надеюсь: может быть, отыскался писатель, который со временем будет ме-нять-ся. Его ждут переломы, драматическая радость самопреодоления, отрицания себя предыдущего собою последующим. Его повесть о врачах и о фельдшерах «скорой помощи» да о тех, кто взывает к ним денно и нощно,— реализм, соприкоснувшийся с откровенным натурализмом; сам он медик, продолжающий традицию притока в литературу врачей, а я просто не представляю себе, как же можно писать о хирургах, о патологоанатомах и о гинекологах, целомудренно минуя натурализм. В «Санитаре» он пишет с тою демонстративностью в воспроизведении подлинности, изнанки, которая именно натурализму присуща; тут все достоверно, явлено с испода и даже как бы рентгеном просвечено. Сейчас у Великина так. И это явно ему по душе, и читателя он этим, полагаю, к себе расположит. Но творческий путь невозможен без неожиданностей. Без выходок даже, и боже упаси при найденном остаться навеки: хочется верить, что завтра Великин примется за... за лирические миниатюры какие-нибудь. За роман-панно. Не знаю, за что именно примется он, но хотелось бы, чтобы он нас озадачивал, ибо постоянство в литературе прекрасно, но экстенсивная монотонность в ней навевает тоску. В одном Великин, возможно, останется постоянен: он нейтрален; он как бы просто ничего не знает о бульканьях вокруг словесности распрях. И да сохранит начинающий наш собрат по перу нейтральность позиции. Она — в нежелании, в неумении кому бы то ни было потакать, примыкать к кому бы то ни было; и все же мудрой была бесхитростная гоголевская крепостная девчонка из «Мертвых душ»: не ведала она, где право, где лево, ни к чему было ей. К какой из групп хотя бы потенциально принадлежит Александр Великин? Не знает он. И я не могу разобраться. И да будет он всегда принадлежать к группе Правды, к

группе Русской Литературы. А в остальном пусть меняется, противоречит себе, от себя самого уходит.

«Доктор Серый Антон Сергеевич, непроспавшийся и оттого неуклюжий, топтался посреди врачебной комнаты, напяливая халат. Свитер был толст, халат тесен, рвались на плечах и спине жесткие крахмальные складки. Серый сопел, ловя бесчувственной рукой слипшийся узкий рукав, сердился. Спятила природа, кряхтел Серый, пошла в мире зима по второму кругу. Э-хе-хе!» На этой ноте, ворчливой, с призвуком брюзжанья какого-то, начинается повесть. Брюзжат и ворчат в ней много. Ворчит Виталий Гусев, шофер дребезжащего автомобиля, да и как не брюзжать, если лимиты бензина срезают, резина лысая, а больных из-за отсутствия предусмотренных по штатному расписанию фельдшеров надобно таскать самому (от чего, однако, шофер угрюмо отлынивает). И больные, вызывающие «скорую помощь», бывает, брюзжат: и дождаться ее не под силу, и лечат не так. Да и сам Антон Сергеевич Серый брюзжит и ворчит: на начальника, незримого, но ощущаемого Матюхина он ворчит, хотя, казалось бы, тот к нему вполне благосклонен; на людей, паникующих понапрасну. На жену, на природу. И на себя, наконец.

«Санитар» — казалось бы, целая какофония звуков: «Кишки у женщины... были раздуты, и она орала...», «...поднялся визг», «под вопли Гусева», «вскричала», «тело... издавало стоны». Люди, как видим, вернее, как слышим, орут, визжат, вопят и стенают. Да что люди, вещи-то вторят людям: «...Прыгают и стонут на плите выкипающие чайники». Какофония, да? Но все громогласие сие преломлено сквозь фоническую призму ворчания: ворчащий повествует о кричащих и стонущих.

Позволительно предположить, что в литературу пришел человек, наделенный если не даром, то хотя бы интуицией филологии. А прикладная, практическая филологичность реализуется в простом, как может показаться, явлении: в ощущении рит-ма того, что ты пишешь и говоришь. Ритма и интонаций, которые уже сами по себе могут быть и фальшивы, и достоверны настолько, что в них, даже только в них, безотносительно к фабуле, отражается, даже прямо-таки продолжается наша действительность.

Что мы делали четверть века, в течение так называемой эпохи (так сразу уж и эпохи? По-моему, периода просто) застойных явлений? Ворчали мы, как солдатушки, когда-то описанные М. Ю. Лермонтовым: «Ворчали старики...». Дружно этак ворчали, единодушно, хотя и разрозненно, да и по разным поводам: кому колбасы возжелалось, кому в Пастернака вникать, а уж самым привередливым — и того, и другого, и хлеба, как говорится, и роз. А колбаса запропастилась куда-то, над невиннейшим «Доктором Живаго» простирался запрет; оставалось ворчать. Интонации социально окрашены; более того, с них-то и начинается соборное слово, глагол времен, так сказать. С них и с их продолжения: с ритмов. Выделялись две интонации: бравурная интонация какого-то величавого эпоса, в коем мы жили, и скептического ворчания, в коем мы выражали себя. Находились они во взаимном антагонизме. Но у первой была власть, была материальная сила, вторая же напоминала о скворчанье сверчка, знающего свой неказистый шесток. Ворчание камерно, оно очень интимно: нельзя же, положим, ворчать по радио, ворчать в официальном докладе. Оно достается в удел безоружным, и нужен для него или узкий кружок домочадцев, или же случайный мимолетный знакомец: поворчать хорошо в томительной очереди, в автобусной толчее. Не надо думать, однако, что ворчание малодушно. Народ пронес его сквозь тысячи бедствий, сквозь войны: бывалые фронтовики ворчанием реагировали на опасность, на появление в воздухе самолета-разведчика, «рамы», на каждый новый артиллерийский налет; и некая мудрость сквозила в том, что с одною и тою же интонацией язвили и о «фокке-вульфе», и о происках ротного старшины, который опять недодал сто граммов или не выдал портянок. Ворчание сводит большие социальные бедствия до уровня зауряднейших неприятностей; и, может быть, высшее мужество в том, чтобы ворчанием встретить и смерть: до монашеской веры и спокойной радости в предвидении перехода в иные миры старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» Достоевского нам далеко, а истерика, предсмертная паника все-таки прескверная вещь. Заглянет смерть к нам в виде первых сердечных приступов, в виде резкого обострения язвы с желудочными кровотечениями или в виде визита к онкологу, так уж лучше всего, полагаю я, поворчать.

Весь мой трактат о ворчании к тому, что у Великина оно как художественная интонация слагалось на фоне сугубой патетики возвеличивания Москвы. Образы и ритмы «Санитара» в сознании начинающего писателя кристаллизовались тогда, когда об опубликовании этой в общем-то скромной вещи и помыслить было нельзя. В однотонный призыв превратить Москву в образцовый коммунистический город никак не вплетались шоферские «крики по части лысой резины и сволочей-частников, что путаются под колесами, и начальника гаража, который ворует и поэтому нет запчастей, и очередей в магазинах, где ни черта не купишь». Не вплетались ни умирающие в комнатенках коммуналок старушки, ни вальяжная дама из райпартактива, супруга какого-то особо ответственного товарища. Действие повести в наши дни происходит: и улица названа бывшей Метростроевской, и про нынешнее положение с винно-водочными изделиями там говорится. Нас приглашают именно нынче, сегодня всмотреться в несущиеся ми-

мо машины, последовать за одною из них, за кулисы проникнуть, в кухню. Но действие то и дело возвращается к прошлому доктора Серого; и именно тогда, несомненно, повесть в основных ее очертаниях и слагалась. Смело? По-моему, да.

Взят один-единственный день, проведенный на работе Серым. Но на «скорой» он без малого десять лет, и, едучи к очередному болящему, он пытается подсчитать: по 17 вызовов за смену, в месяц 11 дней, в год 11 месяцев, 9 лет. Сколько же всего, получается, он стенающих, умирающих навестил? Он сбивается, но я за него подсчитал: $17\times11\times11\times9 = 18\,513$. Округлим: 18 000, население вполне приличного районного города. Доктор Серый — хороший врач, сколько б он ни наговаривал на себя и, согласно основанной еще писателем-врачом В. В. Вересаевым традиции, ни убеждал и себя, и нас в бессилии медицины, в невежестве и в шарлатанстве своем и своих собратьев, в омерзительной надменности медицинских профессоров, в раболепии доцентов и аспирантов. Он ворчит убедительно, но хорошее все равно пробивается сквозь брюзжание его. И я верю и его аргументам, еще больше веря его застенчивому оптимизму. На надменных профессоров я тоже всласть нагляделся, и я в качестве доцента лебезил перед ними, не имея, впрочем, в виду никаких особенных выгод: мы же все будто актеры в каком-то уморительно-величавом спектакле свои роли играли, да и продолжаем играть, лишь с огромным трудом выходя из них ныне. Мог бы я и литературоведов обозвать нехорошими словами какими-нибудь, и литературоведение обвинить в шарлатанстве. А не хочется почему-то: в этой вроде бы правде-матке была бы неправда, и не только потому, что был же М. М. Бахтин, сохранили себя Д. С. Лихачев и С. С. Аверинцев, а еще и потому, что есть прекрасная молодежь, есть и жажда анализа слова людского, есть и результаты ее проявлений, умнейшие книжки, статьи. Литературоведение и — шире — эстетика с медициною внутренне сходны: пушкинский Сальери «музыку... разъял, как труп», и на первых этапах работы это необходимо. Медики тела людские режут, анализируя; мы — тела слов. А потом, за анатомией слова, — физиология, изучение жизни слова, функций его. Аналогия тут несомненна, и она глубоко существенна. И за здравие людей, за жизнь их мы, твержу уже много лет, ответственны не меньше, чем медики: радикального перелома у них не будет до тех пор, пока не будет его у нас; путь к телесному здоровью лежит через здоровье духовное, через ряд модернизаций в методологии. А ею ведаем мы. И хотя пока что дела равно плохи и у них, естественников, и у нас, верю: вы-бе-рем-ся! И скрытую веру доктора Серого разделяю всецело, а вера есть у него, и «Санитар» — это повесть об испытаниях веры, о сохранении ее вопреки неурядицам.

Начинающий писатель принес в литературу свою, для него естественную метафору: метафору ор-га-низ-ма, а грубее сказать, метафору чрева, нутра, утробы.

С чем имеет дело герой повести, доктор Серый? С 18 513 человеческими организмами. Однотипными и разными. Организмы членятся: вены, грудные железы. Организмы очищаются: испражнения, рвоты. И реалии медицины, постепенно прилегая одна к другой, образуют метафору го-ро-да, столицы, Москвы как нуждающегося в заботе, во внимании организма. Это было, конечно: мы в быту говорим о том, что лесопарки — это легкие города, улицы уподобляем артериям, а витрины и окна глазам. Еще русская «натуральная школа» говорила о «физиологии Петербурга», а основоположник натурализма Эмиль Золя назвал рынок «чревом Парижа». У Золя «Le ventre de Paris», у Великина — «утроба Москвы», так по сути-то. И во чреве, а грубее сказать, в утробе города постоянно что-то, кто-то рождается.

Непогода, мартовский снег с дождем. «Снова накрыло Москву грязным одеялом». Город — как лежачий больной. Одеялом и сам врач накрывается, греза им в недосыпаниях суточного дежурства. И в машине одеяло имеется. И ползет, пробирается, мчится эта машина по извивам утробы града, причем и сама-то эта машина — донельзя усталое тело, организм, обладающий постоянно беременеющим чревом. А на выходе из чрева... «Крохотная фельдшерица с акушерской бригады боролась с мужским непослушным телом... Тело было явно живое и тяжелое, оно издавало стоны...» Тело это принадлежит заслуженному человеку и депутату, возле возится и кудахчет привилегированная дама-жена; но занятно: здоровенного номенклатурного дядьку, копошащегося в отверстом чреве машины, пытается принять на руки фельдшерица из а-ку-шер-ской бригады, повивальная бабка, по-старому говоря. Чрево, стало быть, несет в себе умирающего, а умирающий стонет на руках акушерки, как бы рождаясь. В этой путанице — похоронный комизм «Санитара», мрачноватый юмор, поддерживающий надежду и на что-то хорошее, на перманентность рождения, возрождения. И Москва в ее откровенной физиологичности у Великина все же — град рождающий, и постоянно рождающийся, и телесно рождающийся, и духовно. В муках противоречий рождающийся.

Противоречий полно, но в их кажущейся хаотичности есть иерархия. И главнейшее из них обозначено сразу, на мой взгляд, даже слишком отчетливо, броско: «...Барахтается скоропомощное племя. По мокрому и скользкому, по снежной мешанине, через хляби переулков пробираются замызганные, в коросте кареты. Во лбу выросты. Фара-крест справа и фара-крест слева. Рога. Снуют

рогатые, рыскают...» «Рогатые» в разрядку написано, и далее не раз машины-спасительницы будут именоваться «рогатыми». Занятно, а? То-то и оно, что занятно. Почему-то даже по старинке сказать захотелось: занятно-с. Тут претензия на глубины выражена: запечатлеть духовное состояние люда честного, оказавшегося в ситуации, которую обозначить можно только непереводимым русским «ни то ни сё». И доктор-то Серый: не белый, не черный, а так, неопределенное что-то. И время года: ни зима, ни весна. И люди не то, чтобы были больными все сплошь по-серьезному, в бреду бы метались, в жару; но и не то, чтобы здоровыми были они, у каждого все-таки есть основания тянуться к телефону, тыкать перстом: 0... 3... И наконец: и кресты, и рога. Бог с дьяволом соединились, и агрегат этот «рыскает» (!) по Москве. Коктейль из извечно несоединимых, несоизмеримых понятий, преданий. Коктейль из лекарств. И ужас не в жульничествах, не в том, что, бывает, воруют у подобранных пьяных денежки, хамят, интригуют. В эк-лек-ти-ке ужас. В том, что можно сказать и так, как однажды в повести говорится: «Береженого кто-то там бережет».

Причудливо совместились в организме города призвания, функции. Врач «скорой помощи», он же... Он кто? Сплошь и рядом он не столько исцелять, сколько соборовать мчится. С крестами. И на «рогатом». И видит он: «...Разоренная божница, дырки в стене, черные полоски на обоях, там, где были края икон, ржавый гвоздь с клочком бечевки». Бога нет: «кто-то там». Не осталось икон, сперли их на продажу. Говорю же, налет ученичества в повести несомненен: проблематика выписана со старательностью учащегося бесчисленных наших «с. ш.», средних школ. То и дело на нас из повести настороженное око поглядывает: как, заметили? Да заметили, как же было бы не заметить! С самой первой страницы заметили: «Ах, послал бы такую перевозочку бог, то есть диспетчер...» Все видать, и дальнейшее нагнетание уже просто бестактно: сами видим, не маленькие. А нам и про дыры вместо икон, и про близкую смерть очередного бедняги, без труда предсказанную одной из помощниц Серого. «Похоже, что так,— ответил Серый и полез за папиросами.— А впрочем, как бог распорядится, так и будет». Бьет в глаза аналогия: доктор — батюшка, медикаменты — причастие. Но для большей полноты появляется еще и «Беломорканал» вместо ладана.

Но как же все-таки здорово, что писатель — пусть и с запозданием явным — остановиться сумел. Что оставил он героя своего на распутье и не сделал «Санитара» некоей богоискательской благостной притчей. Не превратил маршрут «скорой помощи» в дорогу к храму, ибо модно стало поскорее, поскорее туда устремляться. Да уж так, чтобы было заметно: «Мы у-ве-ро-ва-ли!» Мне такое усердие не внушает доверия. И претит мне религиозный снобизм: нешто ж можно свою веру, ежели и вправду она появилась, превращать в какое-то преимущество? Настораживают какая-то серийность и сопутствующая ей назойливость обращения Савлов в Павлы.

Доктор Серый — не Савл, разорявший церковь, но и вовсе не Павел, внезапно прозревший. И кончается повесть всего лишь вопросом о нем, о его духовной судьбе. «Трудно... Себя трудно не жалеть. Да при нашей собачьей работе, когда никто не щадит»,— ворчит врач-санитар. А потом и расхожая эта метафора «собачьей работы» реализуется в крохотный образ: доктор Серый звонит маме час тому назад ушедшей из жизни милой, обаятельной женщины, а в телефонную будку «острой мордочкой лезла черная дворняжка, вертела хвостом, просила. Это была Тяпка, собака дворника. Ночью отсыпаясь в гараже, она выходила в это время охранять подстанцию от окрестных пьянчуг, которых ненавидела всей своей собачьей душой».

В храм не мчатся на «скорой», светя яркими фонарями-«мигалками» и распугивая встречных ревом сирены. В храм, к осанне, насколько я знаю, приходят через горнило сомнений. Целомудренно скрытых, это уже обязательно. В храм идут, почтительно внемля нескончаемым поучениям краснобаев-профессоров и делая, делая изо дня в день свое скромное дело: у одних — уколы, таблетки; у других, положим, возня в архивах каких-нибудь. И идут без гарантий, что уж непременно придут.

Мы не знаем, куда идет доктор Серый.

И, я думаю, хорошо, что не знаем.

В. ТУРБИН

Диагноз

•

«Если по совести». Сборник статей. М., Художественная литература, 1988.

•

Многие страницы этой книги посвящены дням минувшим, но появиться она могла только сейчас, всей своей сутью работая на день сегодняшний. А в будущем она станет важным документом для историков, которые посвятят свои труды процессу перестройки в нашей стране. Достаточно назвать имена авторов этого сборника, посвященного насущным общественным проблемам: Ч. Айтматов, А. Ананьев, В. Астафьев, Г. Бакланов, В. Белов, Ф. Бурлацкий, Л. Васильева, М. Ганина, А. Гельман, Д. Гранин, В. Дрозд, И. Друцэ, Е. Евтушенко, Ю. Карякин, Е. Носов, А. Нуйкин, Л. Почивалов, В. Распутин, Р. Рождественский, В. Селюнин, А. Стреляный, Ю. Черниченко, Н. Шмелев. Если бы передо мной стояли рекламные цели, то можно было бы считать дело сделанным: список сам говорит за себя. Однако рекламировать сборник «Если по совести» поздно: его 200-тысячный тираж разошелся давно и быстро. А вот рассказывать о нем можно по-разному.

Экономика, политическая структура, история, нравственность... По сути дела, перед читателем встает вся панорама проблем, унаследованных нами от минувших десятилетий. Намечены острые, болевые точки. Поставлен диагноз. Предложены пути лечения... Но в то же время сборник явил собой картину современной публицистики, представленной в острейших образцах. И хотя каждый автор говорит о том, что ему ближе, в итоге выстраиваются приоритеты, цели перестройки, какими их видят известные писатели. Очерчивается круг основных тем, вокруг которых идет дискуссия о путях развития страны.

Прежде всего это резкое неприятие сталинщины. Авторы статей, прямо касающихся этой темы (Ч. Айтматов, Ю. Карякин, Е. Носов), не ставят задачей развенчание культа личности через л и ч н о с т ь. Не в этом дело, хотя еще не все осознали Сталина как палача народов, кровавого тирана. Но не желающих слышать вразумить трудно. Сегодня — и это четко видно в сборнике — актуальна иная цель: понять, что сложившаяся в годы сталинщины политическая система, механизмы управления экономикой, культурой, всей жизнью народа стали роковым тормозом для развития общества. Именно она, Система, привела и к застою с его тяжкими последствиями, именно она тянула страну в бездну, к краху. Принципы действия механизма власти затронуты многими авторами (Ф. Бурлацкий, А. Гельман, В. Дрозд, Е. Евтушенко), главные пороки названы ясно: неподотчетность народу, оторванность от реальных жизненных процессов, авторитарность, приказной стиль, отсутствие заинтересованности в изменениях жизни страны к лучшему и, наконец, бюрократическая громоздкость и неэффективность. А дальше — плоды работы Системы в разных сферах жизни.

Гневные, страшные строки посвящены положению деревни (А. Ананьев, В. Белов, Е. Носов, Ю. Черниченко). Голод в 30-е и 40-е годы, подневольный труд, многолетнее ограбление крестьянства, планомерное уничтожение деревень, отчуждение крестьянина от земли, на которой он не хозяин, раскрестьянивание аграрной страны... И наконец — гибель самой земли, отравление вод... «Становится не по себе при одной только мысли о том чудовищном разрушении и ущербе, которые были нанесены нашей многострадальной деревне, задерганной, измордованной, исхлестанной чиновно-бюрократическими вожжами» (Е. Носов).

О невосполнимом вреде, который принесла командно-административная Система индустрии, пишут А. Нуйкин, А. Стреляный, Н. Шмелев и другие. Карточки на продукты и товары через сорок с лишним лет после войны, дефицит как постоянное, устойчивое явление экономики и жизни в целом, породивший разветвленную коррупцию, раздавленная хозяйственная инициатива, катастрофическое отставание многих отраслей научно-технического прогресса — все это следствия Системы, ориентированной не на улучшение жизни, а на функционирование аппарата, заинтересованного только в сохранении своего высокого статуса.

Трагические результаты активного действия Системы показал на примере Молдавии Ион Друцэ: исчезновение источников воды в результате бездумной мелиорации, пересыхание, а затем отравление ядохимикатами земель и вследствие этого — увеличение числа умственно неполноценных детей: «Шабашно-разгульный период, замешенный на хмеле и воровстве... буйство разрухи под знаменами созидания...» И грубые нападки на литераторов, пытающихся бить в набат. Их испытал на себе и сам Ион Друцэ, ставший помехой временщикам, губившим Молдавию. Ясно, что наследники Сталина, выученики его Системы боятся любого свободного и правдивого голоса, им нужна только ручная пресса и карманные литераторы. Опыт долгих лет недвусмысленно приводит к выводу: отношение властей предержащих (будь то на государственном или районном уровне) к мнению журналистов, писателей — четкий показатель и честности, и справедливости, и компетентности этих властей. И чем настойчивей спокойная, деловая полемика, серьезные аргументы подменяются политическими ярлыками, чем громче раздаются голоса, клеймящие литераторов-«очернителей», журналистов-«экстремистов», тем вернее можно сказать, что печатное слово попало в цель, в болевую точку. Долгое отсутствие гласности, «закрытые зоны», густой сетью покрывшие карту общественной жизни, разительное расхождение слова и дела искорежили не только экономику, но и души, привели к деградации морали общества. Это, по-моему, самое страшное следствие и сталинского, и брежневского режимов.

И среди всех целей перестройки писатели особо выделяют необходимость перемен в нравственном климате. Здесь идейный центр сборника «Если по совести». «... Что же происходит с нами? Как мы... из нормальной отзывчивости перешли в равнодушие, бездушие, и это тоже стало нормальным? Не берусь назвать все причины... но думаю, что во многом это началось с разного рода социальной несправедливости, когда ложь, показуха, корысть действовали безнаказанно» (Д. Гранин). «... Дольше всех дер-

жалась, кажется, совесть, но затем и из нее сделали инструмент послушания. Нравственность заменили соблюдением писаных законов, политграмотой заменили духовность. Жизнь перешла во внешние формы, внутреннее порицалось» (В. Распутин). Чудовищный обман растлевал души. «Расцветом колхозной деревни» именовались разорение тысяч деревень, гибель миллионов людей от голода... «Торжеством советской демократии» — покрывшие страну язвы лагерей с бесчисленными невинными жертвами... «Пролетарским гуманизмом» — кровавые, беззаконные расправы... «Развитым социализмом» — развал экономики, катящейся к краху, метастазы коррупции, проникшие и в высшие эшелоны власти... «Социалистическим реализмом» — ложь, корыстную лакировку жизни... И как штрих к этой горькой картине: советские граждане за границей. Лицемерная демагогия о необходимости вести себя т а м достойно звания гражданина СССР — и известное всем торговцам мира жалкое безденежье советских туристов, убеждающее в бедности великой державы куда нагляднеи, чем ухищрения буржуазной пропаганды (статья Л. Почивалова)...

Но как ни горьки, как ни трагичны факты и выводы статей сборника, ни одна из них не рождает чувства безысходности. В том, что выход есть, уверены все, хотя никто не ожидает простого и быстрого преодоления кризиса. Пути исправления предложены. Скажем, в экономике это хозрасчет, развитие разных форм кооперации, семейный подряд на селе, отказ от жесткой, губительной централизации, доверие к трудовым коллективам, материальная зависимость управленцев от производителей, а производителей от потребителей...

Не будем перечислять долго — предложения эти достаточно известны. С точки зрения здравого смысла аргументов против конструктивных идей перестройки нет. Но борьба за их реализацию разворачивается трудная. Ведь затронут вопрос об изменении системы власти, а никакая власть (даже чиновничка районного масштаба) не берется без борьбы. Публицистика первых лет обновления стала активным участником этой борьбы. И, может быть, именно здесь ответ на главный для писателей вопрос: обратима ли нравственная деградация общества? По-моему, сам факт появления этих статей (и многих, многих других), обновляющаяся атмосфера страны свидетельствуют, что в народе живы и совесть, и честь. И есть силы для борьбы.

...Что же дальше? Неизбежно должен измениться характер самой публицистики, переместиться фокус ее внимания. Коль скоро диагноз поставлен, методы лечения предложены — настанет время внимательно следить за ходом лечения. И речь здесь не о сакраментальном и столь печально известном требовании «давать больше положительных фактов», по сути равном другому, более откровенному призыву: «Сделайте нам красиво!» Слишком долго было «красиво» на газетных и журнальных полосах, но в жизни от этого только грязи прибавилось. Речь идет о том, что публицистика ближайшего времени займется п р а к т и к о й перестройки. Ведь теперь особенно важно знать, где, в каких звеньях, кем лично тормозится перестройка, важно отстаивать реалистические меры с целью уничтожить эти тормоза, помогать нарождению нового самосознания общества. И, конечно,— поддерживать первопроходцев перестройки, не вымышленных, не слепленных по заказу сверху, а реальных борцов за нее! (Первые шаги на этом пути сделаны и в «Если по совести» — в статьях Е. Евтушенко, А. Нуйкина, Н. Шмелева, исследующих практику перестройки.) И жизненно важно, чтобы на новом этапе публицистика сохранила то, что приобрела в 1987-м — первой половине 1988 года.

В это время она перешла от одиночных выстрелов по мелким недостаткам к массированному наступлению на зло, разъедающее общество в целом. Совместными усилиями литераторов был проделан п у б л и ц и с т и ч е с к и й а н а л и з состояния дел во всех сферах: нравственной, политической, экономической, культурной... А значит — впервые публицистика обратилась к каждому читателю, ни одну «хату» не оставив с краю... Впервые публицистика обрела самостоятельность мысли, не зашоренной жестким: «Не для печати!» Намного шире, чем раньше, стала привлекать нетривиальные материалы (исторические факты, современные социологические, статистические данные, лежавшие прежде «за семью печатями», оригинальную собственную информацию). Отказалась от предопределенных догмой выводов. Публицисты предложили немало непроторенных путей развития, решительно сорвав флажки, ограждавшие поле мысли и действия. Идет подлинное возрождение политической публицистики, ее возвращение на единственно верный путь. И все это будет остро необходимо ей на новом этапе, ведь предстоит нелицеприятный критический анализ самой перестройки, того, какие сегодняшние решения не работают и почему, какие новые пути избраны неверно, где сегодня еще сохранились зоны застоя и кто стережет их...

Возрождение политической публицистики — важное событие литературы наших дней, событие подлинно перестроечное. Есть предложение издательству «Художественная литература», оперативно выпустившему в свет «Если по совести»: через два-три года попросить авторов сборника рассказать о том, что изменилось в тех сферах жизни, о которых они писали в 1987—1988 годах. Произвести замер практики перестройки. Впрочем, думаю, что писатели и без просьб напишут об этом. Просто не смогут промолчать.

Георгий ВИРЕН

И нам сочувствие дается...

•

С. Аверинцев. Попытки объясниться. М., Правда, 1988.

•

«Всем известно потешное определение зануды: это человек, который на вопрос «Как поживаешь?» начинает рассказывать, как он поживает. Я решился быть именно таким занудой из анекдота: когда меня спрашивали, как мы живем, я пытался сказать, как мы живем,— я сам и все мы. Я пытался понимать вопросы буквально.

Если у моей книжки есть оправдание, оно только в этом и ни в чем другом».

Держу в руках эту совершенно удивительную «книжку» — не книгу, даже не брошюру — карманного формата «книжку» из «Библиотеки «Огонек». Собранные под ее тонкой обложкой интервью С. Аверинцева раскрывают совершенно новые стороны его личности. Автор книги — выдающийся наш современник, ученый с мировым именем. Он не только и, может быть, не столько литературовед и переводчик, но именно ф и л о л о г. Признаемся себе, мы не всегда понимаем, что есть собственно филология. Мы знаем о лингвистике, о литературоведении, критике, теории и истории литературы — мы знаем части, но не знаем ц е л о г о. С. Аверинцев говорит нам о нем. А поскольку филология для него есть нечто более значительное и социально значимое, чем совокупность отдельных наук, то разговор о филологии есть разговор о главном: «Одна из главных задач человека — понять другого человека, не превращая его ни в поддающуюся «исчислению» вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но также перед каждой эпохой, перед всем человечеством. Филология есть служба понимания и помогает выполнению этой задачи», ибо «простое общение людей — это вещь, важнее которой вообще ничего не может быть».

У этой книги есть подзаголовок: «Беседы о культуре». Мы, однако, так привыкли к разного рода «беседам», оборачивающимся поучениями, что, иногда кажется, забыли истинный смысл понятия. С. Аверинцев возвращает нас к нему. Его книга — беседа об искусстве понимания другого.

Когда я сказал, что здесь раскрываются новые стороны личности нашего собеседника, то имел в виду вот что: С. Аверинцев часто повторяет, что он кабинетный ученый, что занимается он далекой античностью, но вот прямая «попытка объясниться» с читателем-современником раскрывает личность страстную. Это не та страстность, что возгорается яркой вспышкой, но спокойный, а потому негасимый огонь.

Вот спрашивает корреспондент о современных переменах, о роли интеллигенции. «Перемены действительно очевидны и серьезны,— отвечает С. Аверинцев,— и как раз поэтому нельзя, чтобы дело было снова утоплено в потоке фраз. Надежда — это противоположность эйфории, она требует строгости и трезвости. Рацеи, которые к чему-то «призывают», но никого ни к чему не обязывают, недопустимы. Они не просто бесполезны, они губительны. Достаточно их наслушались. У меня есть личный интерес: если я, именно я, вдруг заговорю с наигранной решительностью призыва, чересчур размашисто, чересчур широковещательно мне перестанут верить. А потерять доверие я боюсь. Пока еще мне верят». Самое сильное ощущение от этих бесед — понимание собеседником о т в е т с т в е н н о с т и з а с л о в о. Как недостает нам порой в наших «решительных призывах», размашисто, чересчур широковещательно, именно этого непременного качества — осознания во всей полноте ответственности. Читатель (все время хочется сказать «собеседник») обязательно почувствует в книге С. Аверинцева обусловленное этим «нравственным обеспечением» всякое отсутствие напора, эпатажа, хотя речь идет о самом насущном.

Вот лишь один пример — статья «Старый спор и новые спорщики». «Слова «славянофилы» и«западники» систематически употребляются нашими современниками не в терминологическом, а в разговорном смысле как расхожие (если не бранные) клички теперешних умонастроений. По совести, не знаю, позволительно ли так употреблять слова? Вправду ли наши современники заслужили право называться старинными именами?» Так начинается эта совсем короткая статья, в которой всего на нескольких страницах сказано, быть может, главное слово в этом споре. Слово о том, как шел этот старый спор в XIX веке: «Славянофилы менее всего были узкими доктринерами и духовными провинциалами. Западники менее всего были представителями национального нигилизма. Где нам до них! Нам бы научиться спорить, не подменяя мысли апелляцией к страстям публики, а главное, простите, не жалуясь по начальству». И уже в другой статье С. Аверинцев, обобщая проблему, скажет: «Я думаю, что одна из актуальных обязанностей интеллигенции — противостоять распространяющемуся злу кружкового сознания, грозящему превратить всякую активность в сферу культуры, в подобие игры за свою команду, а программы и тезисы, расхожие словечки и списки хвалимых и хулимых имен — в условные знаки принадлежности команде вроде цвета майки. В этой сфере все переименовано, все значения слов для «посвященного» сдвинуты. Если открытый спор, в котором спорящий додумывает до конца

свою позицию, не прячась ни за условные обозначения, ни за прописные истины своего круга, может привести к подлинному пониманию, хотя бы и при самом серьезном несогласии, то оперирование знаками группового размежевания закрывает возможность понять не только оппонента, но самого себя».

Какова же тогда задача литературоведа, критика, историка литературы? Вдумаемся в то, что говорит С. Аверинцев: «Историк есть историк, то есть ученый, и поэтому он, не возлагая на себя вериг противоестественного бесстрастия, не принуждая себя к безразличию перед лицом добра и зла, должен, однако, не слишком увлекаться с в о и м и симпатиями и антипатиями, с в о и м и оценочными суждениями; его дело — вслушиваться в безмолвную речь фактов и делать ее внятной для других». И в другом месте: «Полезность литературоведения для литературы не определяется только прямым воздействием — литературовед поучает, писатель поучается. (Что за чушь!) Она осуществляет себя лишь в полноте связей культуры как целого». Ощущение полноты связей культуры — это то, что так необходимо нам сегодня, и это именно то, что дает нам ф и л о л о г и ч е с к а я п р о з а С. Аверинцева, восходящая к традициям М. М. Бахтина.

Мы часто говорим о консолидации, не имея подчас представления о фундаменте ее. Такой фундамент не единомыслие, но у м е н и е п о н и м а т ь. С. Аверинцев учит нас этому, и потому его «книжка» «томов увесистых» дороже.

О чем бы ни говорил с нами автор — об исторической памяти, о переводе, о современной архитектуре или о Плутархе, — он говорит о понимании, о диалоге, творящем культуру, о роли интеллигенции в обществе и об интеллигентности вообще, ибо «дело интеллигента — заботиться не о том, понимают ли его другие, а о том, понимает ли он других. Это должно быть его тревогой. Нереально ожидать, что все проблемы будут ему в одинаковой мере близки: у одного один опыт, у другого — другой. Но он не смеет игнорировать в своей мысли сложность целого и свою ответственность перед целым. Если мы хотя бы увидим, что вещи, для начала вовсе нам не близкие, реальны, если мы как следует проникнемся уважением к их реальности, мы сделаем первый шаг к пониманию».

Не случайно, наверное, вспомнилось загадочное тютчевское:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

Может быть, мы так часто повторяем именно первые две строки этого стихотворения, что слишком остро ощущаем сегодня недостаток «благодати» — понимания, сочувствия. Тем радостнее сознавать, что оно возможно. Об этом думал я, читая С. Аверинцева. Вернее, беседуя с ним.

Евгений **ДОБРЕНКО**

г. Одесса.

Отклик

Взяться за перо меня заставил **ОТКЛИК НА СТАТЬЮ А. АНАНЬЕВА «ЗЕМЛЯ» БЫВШЕГО ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МОСКОВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ В. И. КОНОТОПА.** По его письму наглядно видно, как глубоко может заморочить голову даже достаточно толковому человеку, каким, с моей точки зрения, является товарищ Конотоп, бюрократическая система.

Наблюдается типичная ситуация: и бывшему Генеральному секретарю Брежневу, и первому секретарю обкома услаждали слух положительной информацией о подвластных епархиях. Постепенно критическое мышление усыплялось, вытеснялось желанием видеть, как ты хорошо и мудро руководишь, исчезал объективный взгляд на окружающую действительность. У читающего отклик складывается впечатление, что в Московской области прекрасно развивается сельское хозяйство; растут надои молока, тучные стада нагуливают мясо на пастбищах, плодоносят сады, идет строительство деревень, счастливые селяне справляют свадьбы одна за одной.

К сожалению, реальная картина далеко не такая оптимистическая. Я живу на даче в пятидесяти километрах от Москвы рядом с совхозами «Борец» и «Менжинец». Первый находится в Дмитровском районе, второй — в Мытищинском. Хозяйства на хорошем счету, рентабельны. Товарищ Конотоп был в совхозе «Борец». Там построен поселок Новые Подосинки, состоящий из 50—60 коттеджей, довольно красиво расположенных на холме. Но буквально в километре от поселка стоит животноводческая ферма с разбитыми стеклами, облупившейся штукатуркой, полуоторванными дверями. Вокруг фермы грязь и навоз, внутри то же самое. Коровы неухоженные, многие хромают, да и молока дают, если учитывать их высокопородистость, очень мало (3,6—3,8 т в год). Доярки жалуются на холод, сквозняки, плохую уборку навоза, отсутствие нормального жилья. Но все в совхозе работают на тарифных ставках, и конечный результат труда никого не волнует. Что бы ни произошло, Агропром деньги даст.

А за десять километров от «Борца» находится Протасовское отделение совхоза «Менжинец». Это 1200 гектаров земли, семь деревень. Деревни пустеют, детей увидишь только летом, телефона здесь нет, так что случись, не дай бог, острый приступ аппендицита, погибнешь — с дорогами тоже плохо. Фермы здесь, в которых содержатся 400 коров и 200 телят, мало чем отличаются от той, что в совхозе «Борец». Ежегодный доход отделения составляет 150 тысяч рублей, то есть 375 рублей на корову. В то же время буренка на личном подворье дает хозяину в год не менее 1000—1500 рублей дохода. Если бы в этом отделении организовать с десяток ферм на семейном арендном подряде и раздать арендаторам землю, это смогло бы дать общего дохода минимум полмиллиона рублей, да и арендаторы внакладе не остались бы.

Трудно согласиться с основной мыслью товарища Конотопа, считающего, что коллективный труд, который сейчас применяется у нас в сельском хозяйстве, производительней труда заинтересованной семьи крестьянина, то есть труда небольшого коллектива. А как же тогда быть с Голландией, Швецией, Финляндией, где фермер, имеющий землю не лучше, чем в Подмосковье, производит продукции в пересчете на гектар в два-три раза больше? Коллективный труд может быть более продуктивным только в том случае, если каждый член коллектива будет чувствовать себя хозяином и земли, и орудий производства, коллективно будет решать, что сеять, по какой цене продавать, что покупать.

Но, как известно, наш крестьянин без земли, без орудий производства ничем не отличается от батрака, которому — скорее бы день прошел. Я не беру в расчет некоторые хозяйства, где за счет умного и волевого лидера удается создать работоспособные коллективы. Коллективный труд прежде всего необходим в тех случаях, когда технологический процесс сложен и одному человеку его не одолеть.

В сельском же хозяйстве главное — это забота о земле, которую, наверное, можно сравнить с ребенком или женой: у семи нянек ребенок рискует остаться без глаза. А уж если у жены будет с десяток дублеров...

Отсутствие закрепленной за конкретными людьми земли приводит к экологическому кризису. Свыше 100 миллионов гектаров затопленных земель, сколько списано из-за засоления! Если бы вы были хозяином земли, неужели дали ее затапливать?!

Сельское хозяйство на ничьей земле — огромная ошибка нашего государства. И не надо стыдливо прятать голову: ошибка сделана, надо ее признать и поскорее исправить. В нас всех сидят догмы, которые мешают нам посмотреть правде в глаза. Но и так уже слишком много потеряно времени. Рачительный, любящий землю хозяин вымирает. Необходим закон о земле, земля не должна быть бесхозной.

Я думаю, что вы, уважаемый товарищ Конотоп, должны, взвесив все факты, признать правоту писателя А. Ананьева. Наша с вами земля еще ждет настоящего хозяина. Ждет давно, и медлить с этим опасно.

С. Н. ФЕДОРОВ,
Генеральный директор МНТК
«Микрохирургия глаза»

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописей, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 27.09.88. Подписано к печати 31.10.88. А 01676. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 252 000 экз. Заказ № 3124.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.